А. А. ИГНАТЬЕВ

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В СТРОЮ

А. А. Игнатьев

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В СТРОЮ

2





А. А. Игнатьев

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В СТРОЮ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1955



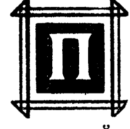
КНИГА
ЧЕТВЕРТАЯ





Глава первая

РОКОВЫЕ ДНИ

етербургский экспресс прибыл в Париж в понедельник 27 июля 1914 года точно по расписанию в шесть часов вечера. Он оказался последним поездом, прибывшим из России до мировой войны.

Порвалось первое звено моей связи с родиной...

На хорошо мне знакомом, закопченном парижском Северном вокзале навстречу мне бросились два французских офицера, ординарцы военного министра господина Мессими и начальника генерального штаба генерала Жоффра. Вытянувшись и взяв руку (по французскому уставу с вывернутой наружу ладонью) под козырек, они мне доложили, что их начальники ожидают с нетерпением моего визита. Тут уж было не до мундира с орденами, не до сюртука с цилиндром — весь этот церемониал был выброшен надолго, если не навсегда, из дипломатического обихода. Прямо с вокзала, не заезжая домой, я отправился на улицу Сен-Доминик и через несколько минут уже вошел в давно знакомый мне кабинет военного министра.

Все французские министерства размещены, как известно, в бывших дворцах королевской аристократии, и военным министрам было, между прочим, лестно восседать за роскошным столом самого Наполеона.

Мессими принадлежал к типу политических выскочек: он не был адвокатом и не был связан с парламентом «династическими» узами. По образованию это был блестящий

генштабист, по социальному положению — крупный помещик, разводивший известную мясную породу серых быков в провинции Невер, по политическим взглядам — республиканец с левым уклоном, по темпераменту — типичный сангвиник. Изношенное раньше времени лицо и красноватый нос хранили следы привольной жизни. На пост военного министра в кабинете Вивиани Мессими попал незадолго до моей поездки с Пуанкаре в Россию. При первом же приеме он успел выразить мне возмущение деятельностью своих предшественников: вместо трех французских офицеров он хотел командировать для стажировки в Россию ежегодно на правах взаимности несколько десятков, а русский язык ввести как обязательный во французской военной академии. Хотя эти столь желательные для меня мероприятия не успели осуществиться, но все же переговоры о них создали ту благоприятную атмосферу, которая оказалась столь ценной с минуты моего возвращения в Париж.

Мессими встретил меня уже почти как коллегу-генштабиста, и мне поэтому было нетрудно исполнить поручение Сухомлинова: объявить о частичной мобилизации против Австро-Венгрии не больше четырех военных округов, но вместе с тем на всякий случай «подбодрить французов».

Как я и ожидал, «подбодрять» наших союзников не пришлось. Мессими мне сообщил, что уже со вчерашнего дня были приняты первые меры по охране железных дорог и ценных сооружений, по возвращению отпускных, но что подготовку к мобилизации приходится проводить с особой осторожностью, дабы не вызвать этим затруднений в продолжающихся дипломатических переговорах с Германией, Англией и Австро-Венгрией.

— Во всяком случае, прошу вас заверить ваше правительство (это слово всегда звучало для меня фальшиво, так как по существу правительства, в европейском понимании этого слова, в царской России не существовало), что Франция при всех обстоятельствах точно выполнит свои союзнические обязательства, — закончил Мессими.

То же примерно повторил мне и генерал Жоффр, которого я застал в его рабочем кабинете на бульваре Сен-Жермен. Толстяк-старик с молодым лицом и хитрым взглядом был, по обыкновению, загадочен и неразговорчив. Принимать на себя роль газетного репортера мне

было не к лицу, хотя я и сгорал нетерпением узнать подробности выполнения союзниками плана мобилизации.

— Мы принимаем пока только меры, предусмотренные для предвоенного периода, — осторожно объявил мне Жоффр, и в этой осторожности отражалась та дисциплинированность в отношении к своему правительству, которая всегда меня поражала в будущем главнокомандующем. (Пуанкаре тем временем, прервав свое путешествие, еще только плыл по волнам Балтийского и Немецкого морей, а без него никто не решался брать на себя ответственность за какое-нибудь серьезное решение.)

В посольстве, расположенном в двух шагах от военного министерства, я застал всех коллег за лихорадочной работой, в которой они были истинными мастерами: шифровкой и расшифровкой телеграмм.

Если в мирное время шифр представлял одну из важнейших частей дипломатической машины, то в военное время от качества шифра зависела судьба армий и народов. Шифры существовали с незапамятных времен, но можно с уверенностью сказать, что никогда раньше они не играли такой роли, как в первую мировую войну. Приходилось передавать военные тайны между союзниками, разделенными непроницаемой стеной неприятельских фронтов. Техника позволяла преодолеть эту трудность. Через голову врагов понеслись по невидимым волнам эфира секретнейшие документы по взаимному осведомлению. Беда была только в том, что перехватить радиовещание оказалось гораздо проще, чем захватить вражеского посланца. Шифр в этих условиях стал одним из важнейших элементов секретной связи.

Русский дипломатический шифр, по мнению специалистов, был единственным не поддававшимся расшифровке, но зато военные шифры, в частности наш агентский, были доступны для детей младшего возраста и тем более для немцев. Трагическая гибель армии Самсонова в начале войны была связана, как многие объясняли, с тем, что немцы перехватили русскую радиотелеграмму. Урок этот не послужил, однако, на пользу нашему генеральному штабу: он был так влюблен в свой глупейший буквенный шифр, что продолжал в течение двух лет посылать нам под особым секретом необходимые для этой системы входные лозунги, рассчитывая затруднить этим расшифровку. Последняя была настолько легка, что ею занимались

не только наши враги, но даже и лучшие друзья. Я бы и сам этому не поверил, если бы однажды, при вскрытии обычной дневной корреспонденции во французской главной квартире, не нашел среди других документов не подлинную, а уже тщательно расшифрованную телеграмму на мое имя из Петербурга. Это была, конечно, небрежность того органа, на который была возложена цензура моей переписки. Французов я поблагодарил за выполненную вместо меня «работу», а начальство свое лишний раз попросил о присылке мне какого-нибудь порядочного шифра.

Этот вопрос явился особенно серьезным в роковые дни перед войной, и, не доверяя своему агентскому шифру, я вынужден был посылать свои телеграммы через посольство за подписью самого Извольского. Отношения, установленные с послом с минуты моего назначения в Париж, особенно пригодились: малейшая несогласованность и расхождение в оценке положения между нами могли повести к самым неправильным выводам в Петербурге. Как приговоренный к смерти сохраняет до самой последней минуты надежду на помилование, так и все мы, большие и малые участники дипломатических переговоров, в последние дни перед войной надеялись на какое-то чудо, на мирный исход русско-австро-сербского конфликта.

Между тем телеграммы Сазонова с каждым часом становились все тревожнее: главный дипломатический нажим Германии, естественно, был направлен на Россию.

Одним из решающих моментов явилась ночь с 29 на 30 июля.

Поздно вечером я послал очередную телеграфную сводку о военных мероприятиях нашей союзницы — сведения, которые мне не без труда удалось получить от Жоффра. (Пуанкаре вернулся в этот день в Париж, все власти почувствовали под собой почву и стали более общительными.)

«Во Франции все возможное сделано, и в министерстве спокойно ждут событий», — вот какими словами я заканчивал свою телеграмму.

События не заставили себя долго ждать.

Почти одновременно, то есть около двух часов утра, секретари уже расшифровали длинную депешу Сазонова, в которой он сообщил об ультимативных требованиях Германии прекратить наши военные приготовления.

«Нам остается только ускорить наши вооружения и считаться с вероятной неизбежностью войны», — гласили последние слова депеши.

— Как вы это понимаете? — спросил меня Извольский. — Что это за туманное слово — «вооружение»?

— Это всеобщая мобилизация, — ответил я.

— Но как же я объявлю об этом французам: мобилизация ведь еще у нас не объявлена, — колебался посол.

После обычного совещания со мной и с советником посольства Севастопуло Извольский решил лично пойти на Кэ д'Орсэ [1] и просил меня одновременно передать содержание сазоновской депеши военному министру.

Воинственный генштабист Мессими, услышав про «вероятную неизбежность» войны, превратился неожиданно в дипломата. Он долго подыскивал выражения и в конце концов выработал следующую форму ответа на мое заявление:

— «Вы могли бы заявить, что в высших интересах мира вы согласны временно замедлить мобилизационные мероприятия, что не мешало бы вам продолжать и даже усилить военные приготовления, воздерживаясь по возможности от массовых перевозок войск».

Я прекрасно сознавал, что в подобных советах, кстати невыполнимых, русский генеральный штаб не нуждался, но ссориться с союзниками из-за этого не стоило, и потому, зная щепетильность Извольского, я передал ему дословно записанные мною слова военного министра.

Трудность положения в эти дни заключалась в том, что Франция, следуя примеру Австро-Венгрии и России, начала мобилизацию еще во время дипломатических переговоров. Вместе с тем, не желая попасть в положение нападающей стороны и тем нарушить условия строго оборонительного договора с Англией, французское правительство было вынуждено на следующий день, 30 июля, принять даже такие противоречивые меры, как мобилизация пяти пограничных корпусов и одновременный отход их передовых частей на десять километров от германской границы. Пуанкаре представлял эту меру Извольскому как доказательство миролюбия, а Жоффр объяснял мне этот тонкий маневр как выполнение заранее предусмотренного плана мобилизации.

---

[1] На этой набережной помещалось министерство иностранных дел.

Эта рознь между французским дипломатическим и военным миром отражалась и на моих отношениях с Извольским, — его неприятный характер хорошо был известен всем сослуживцам. От бессонных ночей и трепки нервов посол становился совершенно несносным и придирчивым.

— Вы врете, — сорвалось у него, наконец, по моему адресу, — Пуанкаре мне это объяснял совсем не так.

Во всякое другое время я имел право тоже вспылить, но в эту минуту обижаться не приходилось: я понимал, что этот выкрик был вызван только горячим желанием как можно лучше выполнить свой служебный долг.

К утру 31 июля последние надежды на сохранение европейского мира улетучились. Оставалась одна забота: как бы не дрогнула в последнюю минуту Франция, как бы не сорвалась мобилизация.

Совет министров под председательством Пуанкаре заседал почти беспрерывно. Унизительный ультиматум Германии, конечно, был отвергнут: надо было быть или наивным, или непомерно нахальным, какими часто проявляли себя немецкие дипломаты, чтобы предложить Франции сохранение нейтралитета в случае войны с Россией и потребовать в залог этого «временную» уступку восточных крепостей — Туля и Вердена; это было равносильно по существу обезоружению Франции. Однако последнее слово — «приказ о всеобщей мобилизации» — в совете французских министров так и не было произнесено. Я ожидал его с нетерпением и по раздавшемуся около четырех часов дня телефонному звонку уже догадался, что Мессими вызывает меня, наконец, по этому вопросу.

Встреча была сердечная. По одному рукопожатию я понял, что дело сделано. Нервное настроение Мессими отразилось в той телеграмме, которую для точной передачи слов министра я составил первоначально на французском языке тут же в министерском кабинете. Вот текст этого исторического документа.

«Особо секретно. Срочная. От военного агента. Объявлена общая мобилизация в 3 ч. 40 м. дня.

Военный министр выразил пожелание:

1) Повлиять на Сербию, попросив перейти поскорее в наступление.

2) Получать ежедневные сведения о германских корпусах, направленных против нас.

3) Быть уведомленным о сроке нашего выступления против Германии. Наиболее желательным для французов направлением нашего удара продолжает являться Варшава — Позен. Игнатьев».

Последние слова вызывались не только сознанием относительной военной слабости Франции по сравнению с Германией, но и отражали то тяжелое впечатление, которое сохранялось во французских правящих военных кругах от последнего совещания между Жоффром и Жилинским. Я тоже разделял мнение Жоффра об опасностях, связанных с нашим вторжением в Восточную Пруссию. Во мне еще жила академическая теория моего профессора Золотарева об оборонительном значении линии Буг — Нарев, о Привислянском районе, о выгоде глубокого обхода левого фланга австрийских армий, приводившего к угрозе жизненному центру Германии — Силезскому промышленному району.

Телеграмма Мессими уже вскрывала сама по себе будущий основной недостаток в ведении союзниками мировой войны: отсутствие единого руководства.

Я вернулся в посольство с чувством человека, у которого свалилась гора с плеч. Союзники не подвели!

Извольский тоже был доволен, но не без сарказма по адресу «военных» заметил, что «мобилизация — это еще не война» [1]. Эту дипломатическую формулу уже повторяли на все лады в политических кругах Парижа, приписывая ее то Бриану, то самому Пуанкаре.

Было около семи часов вечера, когда, покончив со служебными делами, мы вышли с Севастопуло из посольства и вспомнили, что со вчерашнего дня еще не только не спали, но и не ели. Мы уже давно жили, как на биваке, подремывая то в том, то в другом посольском кресле в перерывах между телеграммами, совещаниями у Извольского и беготней в министерства. Хороших ресторанов поблизости не было, и мы решили перейти пешком на правый берег Сены.

Царившая во все эти тревожные дни нестерпимая жара как будто спала, и было приятно взглянуть, наконец, на мой милый Париж. Он, как всегда, был полон очарования, и, остановившись на мосту через Сену, я залюбовался картиной, на которую когда-то мне указала

---

[1] La mobilisation ce n'est pas la guerre.

одна очень чуткая француженка: закат солнца, светло-розовый, смягченный перламутровой дымкой, свойственной только Парижу. Где-то вдали обрисовывались башни старого Трокадеро.

Ближайшим к Сене рестораном, где можно было хорошо поесть, являлся «Максим», когда-то одно из самых веселых мест ночного Парижа. В нем и теперь было людно, но прежние завсегдатаи тонули в толпе самой разночинной публики: солдаты в красных штанах, мастеровой люд в кепках, скромные интеллигенты в соломенных шляпах. Всем этим людям в обычное время не могло прийти в голову перешагнуть порог этого фешенебельного ресторана: он был им не только не по карману, но и не по вкусу. Теперь веселье заменилось волнением последних минут перед расставанием со всем, что дорого, перед разлукой с теми, кто мил и люб сердцу. Ровно десять лет тому назад я сам испытал подобные чувства, отправляясь в далекую, неведомую для меня Маньчжурию.

По парижскому обычаю, многих мужчин сопровождали их «petites amies» (подружки), и от атмосферы старого «Максима», где когда-то разодетые парижские женщины со своими кавалерами подхватывали хором модные веселые куплеты, оставалась лишь та непринужденность, которая позволяла объединиться всем собравшимся в общем патриотическом порыве.

— За твое здоровье!

— За наше!

— За армию!

— За Францию! — слышалось со всех сторон.

Опытные гарсоны не успевали менять опорожнявшиеся бутылки шампанского. Денег никто не жалел. Некоторые из этих гарсонов, уже уходившие на фронт, принимали участие в общем празднике; гости подносили им полные стаканы искристого вина.

Широчайшие окна витрин и двери были настежь открыты, и скоро ресторан слился с улицей. По ней то и дело проходили кучки молодежи.

«A Berlin! A Berlin!» — подхватывали они в темп марша этот победный клич.

Больно было это слышать. Были ли эти люди только невежественны, или просто обмануты? А быть может, они были счастливее меня, не сознавая всей тяжести предстоящей борьбы?

Те же трогательные картины прощания мы встречали и на Больших бульварах: незнакомые люди крепко обнимали каждого встречного в военной форме, женщины не отрывали губ в последнем, прощальном поцелуе с возлюбленными. Немногим из них было суждено вновь повстречаться.

Ровно в двенадцать часов ночи по приказу военного губернатора «Максим», как и большинство шикарных ресторанов, закрыл свои двери на многие месяцы и годы.

Когда мы с Севастопуло подходили к «Опера̀», нас чуть не сбил с ног бежавший молодой человек без шляпы с перекошенным от ужаса лицом, повторявший только одно имя:

— Жорес! Жорес!..

За ним бежали другие, кричавшие уже ясно:

— Жорес! Жорес убит!..

Двигаться дальше оказалось невозможным. Толпа запрудила бульвары, появилась полиция, и дипломатам в подобные минуты попадать в сутолоку не рекомендовалось.

Севастопуло решил пробраться окольным путем в центр посольского осведомления — редакцию газеты «Фигаро», а я поспешил в военное министерство, чтобы узнать подробности злодеяния. Мессими еще не вернулся из совета министров. Меня принял начальник его военного кабинета.

— Это не иначе как дело des camelots du roi (королевских молодчиков), но как это ужасно и как некстати, — сказал генерал.— Можно опасаться народных беспорядков в день похорон, какой-нибудь новой провокации.

— Да, вы правы, — ответил я, — это незаменимая утрата. Я лично знал Жореса. Он был замечательный человек, и я знаю, какое он имел влияние на народ. Не думаю, однако, что это прискорбное событие могло бы помешать мобилизации. Я только что был на бульварах. Патриотический подъем большой. Ils sont tous bien partis. (Они все хорошо начали поход.)

На следующий день, 1 августа, я услышал ту же фразу от самого Жоффра. Он чувствовал себя уверенным, или, как говорят французы, il s'est bien mis en selle (хорошо сел в седло).

«Военная машина, — доносил я тогда, — работает с точностью часового механизма».

Где-то, в самой глубине души, теплилась еще последняя искра надежды, что Германия, убедившись в образовании против нее двух фронтов, в последнюю минуту поколеблется. Мобилизованные армии стояли друг против друга, не решаясь на первый удар. Жить в этой иллюзии пришлось недолго.

— «Сегодня в 6 часов вечера Германия объявила нам войну», — прочел телеграмму из Петербурга сидевший против меня за своим громадным письменным столом Извольский и, забыв в эту минуту свой английский снобизм, перекрестился.

Я невольно взглянул на стоявшие рядом настольные часы. Обе стрелки выровнялись в одну длинную линию, указывая тоже шесть часов: они были поставлены по парижскому времени, и телеграмма из Петербурга бежала по проводам со скоростью движения земли.

В кабинете воцарилась тишина. Извольский, протерев монокль и вынув из кармана батистовый платочек, утирал глаза. Развалившийся против меня в кресле долговязый Севастопуло неожиданно сложился перочинным ножиком и мрачно уставился в землю. Я последовал примеру Извольского и тоже перекрестился, как крестились в наше время русские люди, шедшие на войну. Война мне была хорошо знакома. Но испытания, выпавшие на долю России и русского народа в мировую войну 1914—1918 годов, превосходили в моем сознании все, что можно было себе вообразить...

Первым нарушил тишину Извольский:

— Ну, Алексей Алексеевич, с этой минуты мы, дипломаты, должны смолкнуть. Первое слово за вами, военными. Нам остается лишь помогать.

Спустившись по крохотной внутренней винтовой лестнице в канцелярию, чтобы пожать руку коллегам — секретарям посольства, — первым, кого я увидел, был раскормленный на хороших княжеских хлебах молодой лицеист Орлов. Он приехал в Париж в отпуск к своему богатому дядюшке, и его привлекли к работе по шифрованию телеграмм. Он так усердно печатал на машинке, что в первую минуту и не заметил меня, но сидевший рядом с ним малюсенький блондинчик, атташе посольства, барон X., порывисто подскочил ко мне и, заискивающе пожимая мне руку, сказал по-немецки:

— Gott sei Dank! Jetzt wird schon alles in Ordnung gehen! (Хвала богу! Теперь все будет в порядке!)

Немецкая речь резанула ухо. Да и на чей порядок намекает этот барон в стенах русского посольства? У меня помутилось в глазах.

— Вон! — мог я только крикнуть и ударил при этом так сильно кулаком по столу, что чернильница высоко подпрыгнула, а толстяк Орлов с трудом удержался на стуле.

Барон исчез, а я снова поднялся к послу.

— Вот что случилось, — доложил я. — Прошу немедленно убрать из посольства этого барончика.

— Я не имею права, — пробовал было успокоить меня Извольский, — надо запросить Петербург.

Но я не унимался:

— Если этот субъект перешагнет порог посольства, то завтра я покину свой пост и уеду в Россию.

Барона больше никто из нас не видал.

Этот урок оказался, однако, недостаточным для посольских сослуживцев. Не прошло и недели, как французский генеральный штаб просил меня принять меры для прекращения телефонных переговоров между русским и австро-венгерским посольствами.

Стало совестно за представителей России. Я стремительно влетел через несколько минут в кабинет первого секретаря посольства, моего дальнего родственника Бориса Алексеевича Татищева. У него как раз собрались и другие коллеги — вторые секретари: граф Ребиндер, барон Унгерн-Штернберг и граф Людерс-Веймарн.

— Неужели все это правда? — спросил я.

Татищев побагровел от стыда.

— Чего ты горячишься, Алексей Алексеевич? — удивлялись остальные. — Ты же сам знаком с австрийцами. Они такие милые люди, а ведь Австрия формально еще войны французам не объявила.

— Ну так слушайте, — не выдержал я в конце концов, — если вы не поймете того, что произошло, если не измените ваших чувств к России, то попомните мои слова: наступит день, когда на ваше место придут другие, настоящие русские люди. И вот их словам французы будут верить, а в вас скоро изверятся.

— Ради бога! Что ты говоришь! Одумайся! — разволновался всегда невозмутимый Татищев.

На следующее утро в посольской церкви по случаю начала войны был назначен торжественный молебен.

Собралась вся русская колония, но вместо молебна она услышала чуть ли не отпевание: вышедший на амвон настоятель протоиерей Смирнов оказался до того расстроенным, что при первых же словах проповеди расплакался и далее продолжать не мог. Вышел большой конфуз. Смутившийся Извольский обратился ко мне и просил меня выйти на амвон и поправить дело. Я объяснил, что мирянам в церкви патриотических речей произносить не положено. По моему совету, Извольский вышел на паперть и сам произнес несколько слов, покрытых криками «ура!» собравшихся на церковном дворе россиян.

Во французском генеральном штабе с внешней стороны не было заметно перемен. Все сидели в тех же комнатах и на тех же местах, на которых я застал их предшественников еще восемь лет тому назад.

Проходя по безлюдным унылым коридорам, я видел на стенах все те же большие батальные акварели — желтоватые пески и холмы, изображавшие поля сражений при Альме и Инкермане. Это всякий раз неприятно напоминало мне о Крымской войне. Неужели у французов не хватало такта заменить эти картины? Всеобщая мобилизация не нарушала установленного порядка работы этого центра военного управления — «мобилизация — это еще не война» — и поэтому все продолжали сидеть в штатских пиджаках.

Однако во внутреннюю организацию вторгся новый элемент: мой старый знакомый, краснощекий, жизнерадостный толстяк, полковник Бертело, был назначен, по настоянию Жоффра, помощником начальника штаба, или, по-русски, генерал-квартирмейстером штаба главнокомандующего.

— Зайдите к Бертело, ему надо кое о чем с вами поговорить, — просто и вместе с тем загадочно сказал мне Жоффр.

Бертело сидел уже в соседнем кабинете.

Не будучи избалован в русско-японскую войну работой нашего разведывательного отделения, я был поражен теми, хотя и неполными, сведениями о распределении германских сил, которые мне передавал тонкий генштабист

еще до соприкосновения с ними. Согласно этим данным, против Франции развертывались восемнадцать корпусов и от семи до восьми кавалерийских дивизий, а против России четыре корпуса (I, V, XVII и XX). Не установленными считались четыре корпуса (II, VI, Гвардейский и Гвардейский резервный). Всем было, конечно, прекрасно известно о существовании Гвардейского корпуса, но «не установленным» он считался потому, что на этот день не поступило еще данных о том, куда он будет отправлен — против нас или против французов.

Из-за ненадежности агентского шифра я продолжал передавать подобные сведения дипломатическим шифром за подписью Извольского, что в ту пору было связано с вреднейшей проволочкой времени, а впоследствии могло ввести в заблуждение относительно действительной осведомленности в военных вопросах дипломатов царской России.

Свидание с Бертело положило начало моей основной деятельности в мировую войну: осведомление русской армии о противнике по данным французской главной квартиры. С 1 августа 1914 года по 1 января 1918 года, то есть даже спустя три месяца после Октябрьской революции, не проходило ни одного дня, чтобы за моей подписью не поступило в Россию информации. На войне нет ничего тягостнее, чем перерывы в осведомлении о противнике.

•

Дома меня ожидал сюрприз. Наш буфетчик, степенный Иван Петрович, доложил, что меня уже давно поджидает какой-то французский военный; и действительно, передо мной в приемной вытянулся солдат-территориал в красных штанах и потертой шинели старого образца (новая форма защитного цвета для территориальной армии еще не была заготовлена).

— Mon colonel (мой полковник), солдат первого класса, Лаборд Леон, является по случаю назначения вестовым к «моему полковнику», — четко отрапортовал человек, которого я не сразу признал.

— Леон Лаборд, так это вы, мой милый граф? — спросил я.

— Ну, конечно, — ответил мне солдат. — Неужели вы позабыли наш вечер у Муммов два года тому назад?

И тотчас перед моими глазами встала одна из картинок беззаботного светского Парижа.

Сижу я как-то, окруженный парижанками, после обеда у хозяина одной из лучших марок французского шампанского — «Мумм».

Против меня, грея спину у большого камина, стоит во фраке, в белом жилете стройный блондин с голубыми глазами и упрямым подбородком — граф Лаборд.

— Что же, полковник, — обращается он ко мне, — когда же война?

— Какая там война, — бравирую я. — Все это только газетные утки.

— Полно, полно. Вы, конечно, многое знаете, — щебечут дамы, — но сказать нам не хотите. Вы ведь в случае войны останетесь с нами, не правда ли?

— А меня возьмете своим вестовым, — шутит Лаборд. — Мы с вами сверстники. Действительной службе в войсках я не подлежу, а для вас могу быть полезен. Вы увидите, как мы хорошо устроимся.

Лаборд пристал ко мне, как человек, твердо знающий, чего он хочет. На следующее утро он позвонил по телефону и, напомнив обещание, просил замолвить о нем слово в генеральном штабе. Отделаться было невозможно, и я скорее для проформы, в шутку, рассказал об этом случае при свидании начальнику 2-го бюро. К великому моему изумлению, полковник обещал передать пожелание Лаборда в инспекцию пехоты, а я совершенно об этом позабыл.

Вот какая случайность доставила мне ценного и преданного сотрудника.

Фактическое начало войны не изменило атмосферы посольства. Там попрежнему знакомили меня с бесчисленными телеграммами — копиями донесений наших послов и посланников в Петербург.

Самыми длинными были телеграммы русского посла в Лондоне, графа Бенкендорфа. Уроженец балтийских провинций, этот несметно богатый старик провел чуть ли не всю жизнь в Лондоне и своим уравновешенным спокойствием представлял полную противоположность Извольскому. Бенкендорф считался незаменимым для дипломатических отношений с Англией: ее государственный

и политический строй требовал особых качеств от посла. Между прочим, все свои депеши он составлял на французском языке: по-русски Бенкендорф писал с трудом и получил когда-то «высочайшее» разрешение не пользоваться родным языком даже для сношений с собственной страной.

С точностью фонографической пластинки Бенкендорф передавал в своих телеграммах бесконечные переговоры с Греем:

«Я просил Грея... Грей ответил... Я возразил Грею...» и т. д.

Эти донесения напоминали нам о том, что Англия была отделена от нервного континента и напряженной парижской атмосферы хоть и не широким, но очень глубоким проливом.

Сцена, разыгравшаяся передо мной во французском генеральном штабе через несколько часов после объявления Германией войны Франции, была в этом отношении особенно характерна.

Постучав и приоткрыв дверь в кабинет начальника 2-го бюро, полковника Дюпона, я заметил сидевшего ко мне спиной английского коллегу, полковника Ярд-Буллера — сухого, молчаливого и на вид весьма недалекого джентльмена. Не желая мешать беседе, я собирался уже скрыться за дверью, но Дюпон настойчиво просил меня войти.

— Вы не будете здесь лишним. Вот рассудите, как мне понимать молчание вашего коллеги? Он и сейчас еще не хочет сказать, можем ли мы рассчитывать на вступление его страны в войну.

Любезно со мной поздоровавшись, Ярд-Буллер продолжал упорно молчать, а на все мои расспросы вежливо отделывался неполучением инструкции от своего правительства.

Невесела была наша беседа с Дюпоном после ухода моего английского коллеги. Я никогда не забывал тех трех томительных дней, которые отделяли объявление войны с Германией от вступления в войну Великобритании.

Так велико было морское и экономическое могущество Англии, что со вступлением ее в войну на нашей стороне вся Германия воскликнула в один голос: Gott, strafe England!» (Боже, покарай Англию!)

Кроме дипломатической работы, с первого же дня мобилизации я должен был заботиться о судьбе русских военнообязанных во Франции.

Двор посольства неожиданно наполнился толпой соотечественников, настойчиво требовавших оформления их отношений к военной службе, а вскоре и двор стал тесен, и люди всех возрастов и состояний стали, по требованию французской полиции, в очередь, растянувшуюся до самого Сен-Жерменского бульвара. С трудом удавалось пробиться до дверей посольской канцелярии. В открытые окна кабинета Извольского, где обсуждались вопросы войны или мира, доносился гул нетерпеливой толпы.

Вначале я был уверен, что вопрос о призыве под знамена, подобно другим личным делам иностранцев за границей, касался только консульских властей, тем более что в инструкции для военных агентов об этом вовсе не упоминалось. На деле же оказалось, что наш генеральный консул, престарелый Карцов, как и все посольские коллеги, считал ответственным за судьбу русских граждан во Франции именно меня — военного агента. Наши граждане без оформления официальными властями их отношения к военной службе могли быть отправлены во французский концентрационный лагерь.

Когда я вышел в первый раз к толпе, из нее уже раздавались крики негодования за долгое бесплодное ожидание и прямые угрозы по адресу русских представителей. Особенно выделялся своим громким голосом и громадным ростом молодой брюнет, заявлявший о своем желании быть отправленным немедленно на фронт. Я не помню его фамилии, но не забыл его трагической судьбы. Будучи зачислен, как и большинство русских, в Иностранный легион, он после первых недель войны стал во главе соотечественников, возмутившихся против бесчеловечного к ним отношения со стороны французских унтер-офицеров, привыкших иметь дело только с теми подонками общества, которыми в мирное время комплектовался Иностранный легион. Многие вступавшие на службу в Иностранный легион меняли свою фамилию, как бы отрекаясь от своего прошлого, точь-в-точь как при поступлении в монастырь люди меняли свои имена. Нравы в легионе были особые: процветала порнография, пьянка, разврат, но надо всем довлела железная дисциплина и муштра, под-

держиваемая не только изощренными методами наказания, но и хорошими тумаками кадровых сверхсрочно служащих унтер-офицеров.

В течение войны не проходило ни одного кровопролитного сражения, в которое французское командование не бросало бы легион. Его нечего было жалеть. Много раз сменил он свой состав и, несмотря на это, берег традиции своей непревзойденной боевой дисциплинированности. В результате после войны эта «презренная» часть проходила на парадах не в хвосте, а в голове всех других полков, первой среди первых, заслуживших высшую боевую награду — красный аксельбант на правом плече.

Суровая военная школа перевоспитывала во Франции людей, и лучшими войсками на войне показали себя также полки пограничного XX корпуса и зуавы: они комплектовались преимущественно из парижан, или, что то же, из самых необузданных сорви-голов.

Возмущение русских легионеров, людей преимущественно интеллигентных, царившими в легионе порядками вполне объяснимо, но, к сожалению, оно вылилось в кровавый бунт против командования, да к тому же в момент, когда эта часть занимала передовые окопы. Улучив минуту, русские проникли в унтер-офицерскую землянку и зверски избили своих угнетателей. Расправа была жестокая: полевой суд приговорил бунтовщиков к расстрелу.

На следующее утро, получив об этом известие во французской главной квартире, я бросился к главнокомандующему, объяснил ему, что причина преступления лежит в непонимании русскими французского языка, французских нравов и добился помилования. Увы! Приговор к этому времени уже был приведен в исполнение.

Главным виновником определения русских в Иностранный легион я всегда считал самого Мессими. Он знал «порядки», царившие в легионе и тщательно скрывавшиеся от иностранных дипломатических представителей. Для меня же, не посвященного в это, предложенный военным министром выход из положения представлялся в день мобилизации единственным спасительным якорем, ибо доступ в регулярные войсковые части для иностранцев был строго воспрещен.

Принимая в свое ведение во дворе посольства неорганизованную и возмущенную толпу, я не предполагал встретить в ней столь разнообразные и даже враждебные друг другу элементы. В первую очередь я вызвал к себе нескольких офицеров, находившихся случайно проездом или в отпуску в Париже. Они настаивали на немедленной отправке их в Россию, но все сухопутные границы оказались уже закрытыми, и до вступления Англии в войну выезд морем был невозможен. Я попросил офицеров потерпеть и помочь мне в работе по регистрации соотечественников. Через несколько часов двор посольства превратился в своеобразное воинское присутствие: за столиками сидели мои импровизированные помощники и ставили наскоро изготовленные печати военного агента на представляемые документы.

— У меня паспорта нет!

— Я никогда его не получал!

— Я должен переговорить с самим военным агентом, — таинственно заявляет третий, еще не старый гражданин, сохраняющий под штатским пиджаком военную выправку. Он оказывается одним из офицеров саперного батальона, поднявших восстание в 1905 году и бежавших за границу. Теперь война призывает его вернуться в свою армию. Приходится принимать решение.

— Я эмигрант, враг царского режима, — заявляет другой. — Никаких документов у меня нет, но я желаю защищать свою родину от проклятых немцев.

Таких приходится уговаривать не возвращаться в Россию. Некоторые из эмигрантов-патриотов не послушали моего совета и были арестованы русскими жандармами при переезде через финляндскую границу.

— Я беглый матрос из Кронштадта!

— Я из Севастополя!

— Я бежал от еврейского погрома из Бердичева.

В конце концов я узнал тот Париж, о котором имел представление только понаслышке; я познакомился с бесчисленными обитателями Пятого парижского района, почти сплошь заселенного русскими евреями-фуражечниками, я увидел впервые людей, для которых царская Россия была не матерью, а злой мачехой.

Под шум толпы и постукивание печатей пришлось принимать самостоятельно ответственные решения.

Посол и генеральный консул давно умыли руки, и я

послал следующую телеграмму в Главное управление генерального штаба в Петербург:

«Признал необходимым разрешить всем русским гражданам и в том числе политическим эмигрантам вступать по моей рекомендации на службу во французскую армию. Прошу утверждения».

Оно последовало, как обычно, недели через две, то есть лишь после того, как дело было вполне закончено.

В те дни я считал, что перед лицом общей опасности должны смолкнуть внутренние политические распри, но, конечно, не предполагал, что мое решение в отношении революционной эмиграции облегчит мне связи с ее представителями в дни Февральской революции, а на старость дней доставит удовольствие встретить среди советских товарищей старых парижских знакомых.

Я всегда ценил свой пост в Париже из-за того разнообразия, которое характеризовало работу военного агента, и той самостоятельности, которую она предоставляла. Однако последние пережитые дни оставили после себя впечатление какого-то тяжелого кошмара. Тщетно старался я урегулировать часы работы, сосредоточить мысли, не разбрасываться. Как дипломаты, так и военные представители за границей оказывались в положении жалких щепок, втянутых в бурный водоворот исторических событий. Это чувство полной беспомощности вызывало потребность связи со своей родиной или хотя бы с родной семьей. Но я был предоставлен только самому себе. От начальства ни одной директивы, ни малейшего осведомления, а любящая душа где-то далеко-далеко.

Единственным нравственным удовлетворением являлось выступление против общего врага наших союзников французов, и потому-то 3 августа, в день объявления войны Германией, я почувствовал, что гора свалилась с плеч: Россия не оказалась одинокой.

Относительная слабость французской армии, ее техническая отсталость — все это искупалось в этот день общим патриотическим подъемом нации.

«Да здравствуют кирасиры! Да здравствует армия!» — услышал я под вечер из окон моей канцелярии.

То выступал в поход 1-й кирасирский полк, казармы которого располагались как раз по соседству. Я выглянул

и не поверил своим глазам: в 1914 году, через десять лет после русско-японской войны, на откормленных конях ехали стройные всадники, закованные в средневековые кирасы, покрытые для маскировки желтыми парусиновыми чехлами! Такие же чехлы скрывали и наполеоновские каски со стальным гребнем, из-под которого спускался на спину всадника длинный черный хвост из конского волоса. Судьба этого несчастного полка была, конечно, предрешена. После тяжких потерь он был превращен в пехоту, но, сохраняя свои боевые традиции, поддержал честь полка, атакуя немцев с карабинами наперевес в кровопролитных боях под Ипром.

Кирасиры прошли, служебные дела закончены, и около десяти часов вечера я решил, наконец, раздеться и с чувством исполненного долга заснуть.

Большое створчатое окно моей спальни выходило в парк Марсова поля, где над низенькими деревцами и декоративным кустарником высилась черная громада Эйфелевой башни. Ночь была особенно тихая, безлунная, и вершина башни уходила, казалось, куда-то в небо.

«Тра-та-та-та-та» — раздался вдруг совсем близко зловещий треск старого маньчжурского знакомого — пулемета. Со времен Мукдена мне не приходилось его слышать.

Он работал с одной из площадок Эйфелевой башни, но по какой цели? Где же враг? На земле все спокойно, — очевидно, враг был в воздухе.

Накинув снова пиджак, я спустился на пустынную улицу и зашагал по направлению к Сене, рассчитывая найти там более широкий кругозор и выяснить причину продолжавшейся ночной стрельбы. Под воротами соседних домов столпились растерянные жильцы верхних этажей.

С набережной открылась неповторимая картина: на черном небе выступала светложелтая масса формы толстой сигары — цеппелин, — под которой можно было различить даже кабины экипажа, настолько ярко это чудовище было освещено скрещивающимися лучами французских прожекторов. Оно плавно и не быстро двигалось в восточном направлении, преследуемое белыми облачками французских шрапнелей. То вела огонь полевая батарея, расположившаяся на зеленом пригорке Трокадеро. Казалось, еще вчера проезжал я на утренней верховой прогулке мимо этих столь знакомых мест.

«Началось!» — подумал я, как когда-то, услыша канонаду под Ляояном.

Утром я уже оделся в военную форму, с тем чтобы расстаться с ней только после окончания мировой войны.

Глава вторая
НАЧАЛО МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Отъезд мой в главную квартиру состоялся 9 августа 1914 года.

Основной документ франко-русского союза — протокол совещания начальников генеральных штабов — предусматривал, что связь между союзными армиями при возникновении войны будет осуществляться через военных агентов, для чего французский военный атташе в России будет состоять при ставке главнокомандующего, а русский — при французской главной квартире.

В день, назначенный для отъезда из Парижа, я встал рано и особенно тяжело почувствовал свое одиночество в давно опустевшей квартире. Некому было меня проводить, некому благословить на ратное дело, как когда-то провожали и благословляли на родной стороне перед отъездом на маньчжурскую войну.

Укладываю самое необходимое для жизни и работы в небольшой продолговатый ящик — французскую офицерскую кантину. Ящик сбит из грубых прочных досок, окрашен в серую краску, а на крышке красными буквами написано: «Attaché militaire de Russie» (русский военный атташе).

Другого багажа брать нельзя. Расстаюсь на долгие годы со штатским гардеробом и облачаюсь в походную форму — высокие сапоги, защитный китель, походные ремни с полевой сумкой, в которую приходится сложить и агентский шифр, благо он не громоздок. На грудь прицепляю только два ордена: Владимир с мечами, полученный за Мукден, и «офицерский крест Почетного Легиона» — последний как знак внимания к французам. Серебряных аксельбантов, присвоенных офицерам генерального штаба, по старой, маньчжурской традиции, не надеваю.

Выходя из квартиры, не знаю, на какой срок покидаю ставший уже для меня родным Париж. Завтракаю наспех

в посольстве, чтобы проститься с Извольским. Он крайне удручен моим отъездом.

— Что же я буду без вас делать? Не могу же я остаться без военного сотрудника!

— Я об этом подумал, — отвечал я, — помощнику моему, ротмистру Шегубатову, я, конечно, ничего поручить не могу, — он еще совсем мальчишка, и притом ничего в военных делах не смыслящий. Ко мне, однако, с предложением услуг явился полковник Ознобишин. Он, правда, от военного дела отстал, — в Париже обслуживал великих князей, обленился, — но все же когда-то кончил академию, хорошо знает Францию и французов.

Извольский, как обычно, вспылил:

— Ознобишин? Я знаю только, что он хорошо исполняет цыганские романсы.

— Он получил от меня все инструкции, я оставляю ему военный шифр, и он будет передавать мне все вопросы и пожелания вашего высокопревосходительства, — успокаивал я разволновавшегося посла.

Последовавший через несколько дней после этого разговора молниеносный разгром Бельгии вызвал полную растерянность в нашем посольстве. Извольский вызвал к себе Ознобишина.

— Скажите, полковник, чем вы объясняете такую быструю сдачу бельгийских крепостей? Пуанкаре уверяет, что у немцев очень большие пушки, но для донесения мне необходимо дать какие-нибудь более подробные сведения. Какие же это пушки? — допрашивал посол.

— Так точно, ваше высокопревосходительство, у немцев очень большие пушки, — глубоко вздохнув, ответил дородный, хорошо откормленный полковник, подтягивая брюшко и от волнения сидя почтительно уже на самом кончике стула..

— Вот каков ваш импровизированный помощник! — с возмущением жаловался мне впоследствии Извольский.

В два часа мне надлежало явиться во внутренний двор Cour de l'Horloge военного министерства, где меня должен был ожидать автомобиль, чтобы отвезти в главную квартиру. Местоположение ее держалось в секрете, и мне его не сообщили. Это недоверие показалось мне обидным, в Маньчжурии всякий офицер знал, где ночует Куропаткин!

Казенных легковых машин во французской армии еще не существовало, и для командного состава были реквизированы частные, а владельцы их обращены в шоферов. В первые же дни войны хорошие машины были быстро разобраны, а мне досталась какая-то крохотная, совсем низенькая открытая машина, принадлежавшая небогатому коммерсанту и совершенно несоответствующая моему положению представителя русской армии. Проводниками оказались жандармы с карабинами; они расселись в допотопный небольшой грузовичок, на который стали грузить почту.

После довольно продолжительного и раздражавшего меня ожидания мы, наконец, двинулись в путь, и я рассчитывал, быть может, в последний раз взглянуть на еще недавно столь оживленный Париж.

С первых же дней войны он, правда, опустел: такси не работали из-за экономии горючего, а пассажирские автобусы были предназначены для подвоза на фронт продовольствия. Окна их были заменены сетками, а к полкам приделаны большие крюки для подвески мясных туш. Жизнь беспечной и богатой страны перестраивалась на военный лад. Я должен был, впрочем, это заметить еще в первый день войны, когда вместо любимого слоеного «круассана» мне подали сероватый ситный хлеб.

Мне хотелось проехать через центр города еще и потому, что через него шел путь в Порт-Сен-Дени в северной части города. К этому дню уже определилось развертывание германских армий и наступление их через Бельгию, и потому я решил, что лучшим местом для расположения главной квартиры должен быть город Амьен. Отсюда, как мне казалось, можно было удобнее всего направлять контрудары как в северном, так и в восточном направлениях во фланг наступающим из Бельгии германским армиям. Амьен был, кроме того, одним из важнейших железнодорожных узлов Франции, достаточно при этом удаленным от границ. Меня, таким образом, тянуло на север, а вместо этого машина с жандармами, не переезжая на правый берег Сены, покатила прямо к восточному выезду из города — Порт де Венсен.

Вот и Венсенский лес, когда-то самое популярное место у отдыхающих парижан, вот и зеленые скаты Венсенского форта, в глубоких рвах которого были расстреляны еще несколько дней тому назад сотни

профессиональных взломщиков, воров и хулиганов; полиция давно была с ними знакома и использовала осадное положение для очищения столицы от подобных элементов, особенно опасных в военное время.

У самых ворот города, предназначенных в мирное время для взимания городского налога с горючего, построен из добротных дюймовых досок деревянный палисад с бойницами. Восемнадцать лет тому назад я вычерчивал на уроках фортификации в Пажеском корпусе подобные укрепления, но нам еще тогда объясняли, что палисады из дерева с введением на вооружение современных винтовок потеряли свое значение.

У ворот — первая остановка для проверки документов, остановка вполне «безопасная», так как бородач-территориал в форме старого образца при просмотре держит ружье у ноги. Но чем дальше мы удаляемся от города, тем эти остановки становятся опаснее: в каждом городе, селе, а особенно в маленькой деревушке, перед воздвигнутыми поперек дороги баррикадами из телег, столов и стульев, стоит охрана, преимущественно старики, кто с винтовкой, а кто просто с охотничьей двустволкой. При осмотре приходится сидеть под направленным на тебя дулом заряженного ружья. Их смущает моя военная форма, а в особенности погоны и фуражка: они принимают их за германские, и меня спасает только орден Почетного Легиона. Все твердо убеждены, что какие-то вражеские машины прорвались через границу и носятся по всей стране. Каждый хочет защитить свой родной угол.

Мой шофер возмущался этим непочтительным ко мне отношением, а я лишний раз оценил высокоразвитое чувство патриотизма у французов.

Сквозь облака пыли, подымаемые ехавшей впереди машиной (гудронированных дорог в ту пору еще не существовало), я не переставал любоваться разнообразием сменявшихся пейзажей нарядного цветущего центра Франции — провинции Иль де Франс. Влево от дороги расстилалась живописная долина Марны, а вправо ласкающие взор рощи и луга воскрешали картины Ватто, Коро и Робера. Оскорбляли глаз, как, впрочем, во всех европейских странах, торчавшие то тут, то там вдоль дороги безобразные щиты — рекламы торговых фирм, изображавшие то голого смеющегося ребенка с намыленной головой, то краснощекую рожу монаха за бутылкой ли-

кера. Но и они в этот день не казались столь пошлыми. Мне хорошо были знакомы разрушения, чинимые войной, и больно было подумать, что всему этому красивому миру, всем этим рощицам и лужайкам, деревушкам и древним замкам суждено, быть может, погибнуть под грубым сапогом германской солдатни.

Чем дальше мы продвигались на восток, чем больше переезжали перекрестков, тем сильнее хотелось приказать шоферу свернуть на север. Меня тянуло к нему точь-в-точь, как стрелку в полевом компасе. Скоро и ласкающая природа сменилась выженными палящим солнцем полями.

Жара продолжала стоять невыносимая. Мелькают скучные виноградники Шампани, цветущий Эперне, неприветливый Шалон, а мы всё продолжаем путь к восточной границе. Мне ясно, что на ней-то и развертывается французская армия. В моем понимании это должно было привести к неминуемой катастрофе, настолько я был убежден в наступлении главных германских сил через Арденны на Париж.

День склонился к вечеру, когда мы неожиданно свернули с большой дороги и, пересекши яркозеленый луг, обсаженный широчайшими пирамидальными тополями, въехали в небольшой городок Витри-ле-Франсуа. Нас остановили только на центральной площади, заявив, что путешествие окончено: мы находились уже в расположении французской главной квартиры.

Первым, что привлекло мое внимание, были пулеметы, установленные на одной из соборных башен (зениток в то время не существовало). Я не знал тогда еще немцев, я долго не мог поверить всем возводившимся на них обвинениям в варварском способе ведения войны. Наше поколение было воспитано на уважении к немецкой культуре, и потому рассказы стариков-французов, участников войны 1870 года, о диких нравах германских улан мы были склонны принимать за жалобы побежденных на победителей. Вот почему мне казалось, что бомбардировки немцами церквей как наблюдательных пунктов объяснялись тактическими требованиями и что пулеметы на соборе являлись как раз оправданием для подобной стрельбы. Но прошло немного времени, и я мог убедиться, что разрушение памятников входит в доктрину германского

империализма, а разницы между разрушением и грабежом для германской армии тоже не существует.

Через несколько минут, получив в комендатуре свой billet de logement (билет на квартиру) и пройдя по улице, я уже постиг ту беспросветную скуку, на которую меня обрекала служба при французской главной квартире. Никто не мог себе объяснить, в силу каких соображений Жоффр упорно выбирал для своего штаба только небольшие и самые захудалые города, не в пример немцам, которые, по доходившим до нас слухам, располагались в самых живописных замках. Вильгельмовские генералы грабили их дотла. Внешняя скромность Жоффра хорошо скрывала внутреннее честолюбие, и он ее, пожалуй, подчеркивал в назидание другим генералам как пример республиканского демократизма.

Витри-ле-Франсуа был типичным провинциальным французским городком. Центральная соборная площадь оживала только в течение двух часов воскресной обедни и в базарный день. Тут же, вблизи площади — мэрия, двухэтажный каменный дом с развевающимся национальным флагом на крыше. Двери этого дома с хорошо начищенными медными ручками открываются редко, главным образом для свадебных кортежей. Внутри он пахнет не то ладаном, не то чернилами.

Неотъемлемой принадлежностью города является так называемый бульвар, состоящий из двух рядов невысоких, но чрезвычайно толстых черных стволов лип. Верхушка их представляет безобразные наросты в виде кулаков, образовавшихся от многолетней ежегодной осенней стрижки ветвей. Весной эти черные нелепые столбы покрываются сперва красными молодыми побегами, а затем светлозелеными куполами нежной листвы. Они не всегда успевают даже зацветать и не дают почти никакой тени, но французы особенно ими гордятся.

— Qu'ils sont beaux nos tilleuls! (Как хороши наши липы!) — говорят они. Кроме этого бульвара, в городе нет зелени: «La ville ce n'est pas la campagne!» (Город — это не деревня!)

Вся жизнь — радости и печали, любовь и ненависть, — все в провинциальном городке должно быть тщательно прикрыто за вековыми каменными стенами домов и наглухо закрытыми серыми ставнями. Окна открываются

только для утренней уборки квартиры и для проветривания летом перед закатом солнца.

По улицам можно гулять, но нигде нельзя присесть. Это не «распущенный» Париж с его скамеечками для влюбленных парочек.

Провинциалы ложатся и встают с петухами. На первый взгляд трудно разгадать, чем они заняты целый день. Мужчин можно встретить только вечером, каждого в его излюбленном закопченном от времени «бистро», за бокалом кофе и рюмочкой коньяку.

Поселен я был у местного нотариуса. Он отвел для меня лучшую комнату с роскошной кроватью, покрытой розовым шелковым пуховиком. Все это так мало было похоже на войну! О ней напоминал только сам хозяин: каждый вечер он терпеливо ждал моего возвращения со службы, чтобы узнать новости с фронта. Газетам даже он, провинциал, уже перестал верить.

— Скажите, господин полковник, — умоляюще спрашивал мой хозяин, намекая на немцев, — как вы думаете, придут «они» сюда?

Голос его при этом день ото дня все более дрожал: все его клиенты ушли в армию, дела остановились, и он уже чувствовал себя глубоко несчастным. Зато по утрам я получал совершенно обратное впечатление от его тестя, небольшого сухого старичка с седой бородкой клинышком по моде Наполеона III.

— Пусть придут! — заявлял он. — Пусть придут! Я им покажу, что это для них не семидесятый год!

Не прошло и десяти дней, как в одном из таких же городков, далеко к югу от Витри-ле-Франсуа, я, проходя по главной улице, увидел мчавшийся мне навстречу небольшой двухколесный шарабанчик.

— Куда вы, куда вы? — закричал я, узнав в седоках нотариуса и его тестя.

— Я должен был спасти дела моих клиентов, — старался объяснить свое бегство нотариус.

— А я, — сказал старичок, — уехал только из-за необходимости: Mon boucher est parti; j'ai du partir (мой мясник уехал, пришлось и мне уехать).

Мои друзья мчались на юг, не предрешая конца своего путешествия.

Гнетущая тишина провинциального городка приходилась как нельзя больше по вкусу той мирной обители,

которую представляла собой французская главная квартира.

Жоффр жил в небольшом домике в три комнаты. При командующем состояло только два officiers d'ordonnance (адъютанта). Один из них, престарелый капитан Тузелье, взятый из запаса, кроме обязанностей службы, заведовал и несложным хозяйством главнокомандующего. Обслуживающий персонал Жоффра тоже был немногочислен: два вестовых и два шофера, из которых старший — старый знакомый, маркиз Альбюферра; забыв про Жокей-клуб, он исправно мне козыряет, ожидая во дворе: права входа внутрь здания он не имел.

С маленьким окружением главнокомандующего я познакомился тотчас после приезда, получив приглашение к обеду. Это был высший знак почета, которого я удостоился только два-три раза за всю войну. Скромный бюджет главнокомандующего не позволял никаких приемов. В крохотной столовой был накрыт стол на шесть приборов: кроме начальника штаба, совершенно бесцветного генерала Беллена, и его помощника, толстяка Бертело, постоянным гостем считался только капитан Тардье, мой старый парижский знакомый. Форма альпийского стрелка с беретом придавала ему довольно воинственный вид. За ним ухаживали как за единственным представителем прессы да к тому же и депутатом. Беседа, лишенная всякого живого интереса, прерывалась минутами гробового молчания. Много воды утекло, пока я сам постиг, что эта скука представляет на войне великую силу — результат внутренней дисциплинированности, силу, отодвигающую на задний план личные дела, запирающую в прочный сейф все военные вопросы и не допускающую засорение ума праздной болтовней и, что самое опасное, слухами и сплетнями.

В своем скромном спокойствии французская главная квартира своеобразно отражала героическое настроение этого периода войны во Франции. Личные интересы были оставлены там, где-то далеко в тылу.

В работе самого штаба также ничто не выдавало внешних событий и внутренних переживаний. Ни беготни, ни суеты, ни бесплодных ожиданий начальства. Никто мне не сказал, что вход, кроме 2-го разведывательного бюро, мне воспрещен, нигде не было немецкой надписи «Verboten» или русской «Вход запрещен», но в том-то и

состоит секрет французов, что одним подчеркнуто-вежливым приветствием, одним банальным вопросом о здоровье или погоде они умеют дать понять, что посетителю в комнате оставаться не следует. Отказ от приема облегчается, кроме того, строгим соблюдением общепринятого правила — не входить в помещение, не постучавшись.

В первые дни я оказался единственным иностранцем в этом своеобразном французском мирке, отделенном от всего окружающего мира невидимой, но непроницаемой стеной.

Бюро штаба располагалось в двух больших зданиях образцовой школы, соединенных стеклянной галереей. Она-то и была отведена для занятий русскому военному атташе и представителю прессы. Целыми днями мы сидели с Тардье друг против друга за большим столом, умирая не только от скуки, но и от жары. Ни писем, ни частных телеграмм из главной квартиры не принимали, это было нам объявлено в первый же день приезда. Утром разрешалась верховая прогулка, но только на зеленом лугу на окраине города. Я пытался было через несколько дней поехать на фронт или хотя бы осмотреть окрестности, но для этого оказалось необходимым испросить разрешение самого Жоффра, а об этом никто не смел заикаться.

Порядок дня по своей строгой регламентации напоминал мне монастырь или кадетский корпус. Подъем в пять часов утра, черный, очень скверный, кофе (не зная порядков, в первый день я так и остался без кофе) с куском серого хлеба, выдававшимся в самом помещении школы. В полдень — перерыв на завтрак в одном из городских ресторанов-столовок «Popottes», там же в шесть часов столь же скверный обед, а в десять часов вечера — сигнал для всех, кроме ночной смены.

— Все это возмутительно, вы должны протестовать! — негодовал Лаборд, но я улыбался и молчал. Если в мирное время надо было держать французов «в порядке», не допуская даже в мелочах умаления собственного положения как представителя союзной армии, то в военное время надо было ограничиваться только тем, что могло принести пользу собственной армии и общему делу.

Я хотел доказать, что мною руководят исключительно интересы службы, что мне можно доверять, как «строгому исполнителю» всех правил, установленных военными

законами (таков был текст первого параграфа русского дисциплинарного устава).

Первые же недели, проведенные во французском военном «монастыре», создали для меня то положение, которое не могли поколебать впоследствии ни парижские, ни петербургские интриги.

Строгая регламентация в работе всех органов французской главной квартиры распространялась и на мое служебное положение: по понятиям генерала Жоффра, я должен был сообщать в Россию главным образом сведения о противнике, но и эти сведения передавались мне французами лишь после их «окончательной и документальной» обработки — в этом французская главная квартира не хотела вводить в заблуждение нашу далекую ставку. Так думал Жоффр, так подсказывал здравый смысл, но Огенквар (Управление генерал-квартирмейстера русского генерального штаба) продолжал и в военное время считать меня подчиненным только ему, требовал отправки всех телеграмм в его адрес в Петроград. Там они пролеживали по нескольку дней для расшифровки и перешифровки (в многомиллионной русской армии шифровальщиков найти было трудно), и в конце концов сама ставка получала подчас самые срочные сведения только тогда, когда они теряли свое значение. Обидно было сознавать, что причиной задержки в осведомлении являлась исключительно наша бюрократическая неорганизованность, тогда как никаких технических затруднений по передаче телеграмм не встречалось. Не только башня Эйфеля для радиопередач, но и датский кабель, связывавший Россию с Францией, минуя Германию, работали бесперебойно.

Получение мною сведений о противнике облегчалось тем, что во главе разведывательного бюро в течение всей войны стоял мой старый парижский знакомый, полковник Дюпон. Угрюмый, неразговорчивый и невзрачный на вид полковник-артиллерист с пенсне на носу и вечной трубкой в зубах, он производил внешне впечатление вялого лентяя, а на самом деле был одним из лучших и наиболее культурных работников генерального штаба. Полковник Дюпон «умел читать» (это дано не всякому), много размышлял и хотя редко, но зато кратко и ясно писал. Его бисерный почерк, которым он писал почти без поправок, отражал дисциплинированность его мысли —

результат долгой работы над самим собой. Такой же работы он требовал и от подчиненных; он никогда не горячился, не выходил из себя, но все его боялись. Я сохранил о нем благодарное воспоминание за то, что многому от него научился.

Перед Дюпоном висела большая стенная карта театра военных действий.

Карта французского генерального штаба всегда представляла предмет моего восхищения и зависти.

Военный человек, будь то главнокомандующий или скромный разведчик, поставив перед собой задачу, вырабатывает план, который должен быть пронизан насквозь основной идеей маневра. При этом, однако, для принятия окончательного решения он должен уметь «читать» карту так, чтобы она становилась для него живой картиной местности и даже природы. В противном случае его план будет представлять мертвую и в большинстве случаев невыполнимую схему. Одноцветные русские и германские карты, несмотря на многолетнюю работу по ним, живой картины мне не давали, их приходилось «подымать» цветными карандашами: синими — речки и ручьи, зелеными — леса, коричневыми — дороги и т. д.

Карта, висевшая перед Дюпоном, как хорошая картина, запечатлелась в памяти навсегда: слишком много было пережито над ней тяжелых часов. У верхнего, северного, края испещренная черной сетью железных дорог — Бельгия. Как два часовых, на ее юго-восточной границе стоят две современных крепости — Льеж и Намюр. Где-то на отлете, к северо-западу, запирает устье главной бельгийской реки Эско Анвер (по-русски и по-немецки — Антверпен), это чудо крепостной техники и военная гордость маленького королевства. Его отделяет от Франции буро-зеленая полоса лесистых Арденн, просеченных только двумя-тремя красными жилками — будущими путями вторжения германских армий. Они должны разбиться о «неприступную», по мнению французов, современную крепость Мобеж, которая оседлала главную двухколейную железную дорогу на Париж. Весь театр будущих сражений прорезан в восточной части двумя притоками Рейна — Маасом и Мозелем, текущими в северном направлении, и притоками Сены — Уазой, Эн и Марной, текущими в западном направлении. Оба

бассейна разделены буроватой полосой Аргоннских возвышенностей.

Восточный край карты, окаймленный широкой светло-зеленой долиной Рейна, представлял потерянные французами в 70-м году дорогие их сердцу Эльзас и Лотарингию. Этот район рассматривался нашими союзниками как плацдарм для вторжения в Германию, как исторический и естественный барьер против нашествия немецких полчищ.

Все это не могло служить оправданием пренебрежения французским командованием Северного фронта.

Современная линия Мажино была представлена в ту пору цепью устарелых крепостей: на севере — Верден, а далее Туль, Эпиналь, Бельфор, запиравшие проходы живописных Вогезов до черневших на карте Дюпсна неприступных швейцарских Альп.

Как канва паутины, стягивающаяся к пауку, со всех сторон стягивалась к Парижу сеть французских железных дорог. (Эта особенность потребовала, между прочим, впоследствии больших усилий от железнодорожных обществ для организации параллельных к фронту магистралей, необходимых для войсковых переб
росок.)

В первый же день моего приезда, 9 августа, в главную квартиру общее положение на Западном фронте (то есть французском, в отличие от Восточного, как было принято именовать русский фронт) мне уже представлялось тяжелым: передовые германские корпуса вторглись в Бельгию, первоклассная крепость Льеж пала, и только несколько фортов еще геройски держались под огнем тяжелой германской артиллерии. Прибывший из Брюсселя для связи мой бельгийский коллега тяжело вздыхал, жалуясь на отсутствие поддержки со стороны французов и англичан. Первой моей заботой было уточнить номера германских корпусов, которые, по данным французской главной квартиры, находились на каждом из двух фронтов, а затем, выполняя возложенную на меня задачу, доносить о перебросках неприятельских сил с французского на русский фронт.

Вопрос этот представлялся настолько серьезным, что теперь я могу писать о нем, не полагаясь только на одну память, а основывать свои суждения на тех документах,

которые мне удалось вывезти после революции из Франции и сдать на хранение в Исторический архив нашей Красной Армии.

Задача моя облегчена, кроме того, тем, что мои скромные сотрудники, писаря, не покинули меня, подобно офицерам, после Октябрьской революции не перешли в стан белогвардейцев, а с любовью и сознанием долга перед родиной помогали составить документальный «Отчет о деятельности русского военного агента во Франции 1914—1918 годов».

Так, 11 августа я телеграфировал:

«Из числа не установленных еще корпусов, VI и Гвардейский находятся на Западном фронте, а из одиннадцати кавалерийских дивизий, формируемых немцами в военное время, девять уже действуют против Франции».

«Бельгийская армия, — добавлял я, — действует в полной связи, но на нее надежда плохая. Английская армия, вероятно, запоздает к решительному столкновению, которое, по моим расчетам, должно произойти в конце недели. Нашему решительному наступлению от Варшавы на Позен придается большое значение ввиду выгоды для нас использовать наше преобладание на германском фронте». «Настроение войск превосходное. В главной квартире — тоже спокойное и уверенное», — писал я своим, памятуя о настроениях нашего командования после Вафангоу, Ляояна и Сандепу. Мои расчеты на решительное столкновение были основаны на тех же отрывках разговоров, которые мне с трудом удавалось уловить в окружавшей меня молчаливой среде.

Ценным моим осведомителем оказался Лаборд. Он обедал в своей компании шоферов, которые возили на фронт то того, то другого офицера связи или генерала. Таким образом я узнал, что Кастельно атаковал немцев на восточном участке Западного фронта, но нарвался на заранее минированные немцами поля. Когда еще за пять лет до войны один из копенгагенских осведомителей рассказывал мне о заминированных участках, то я, признаться, с трудом ему верил, как не принимал долго всерьез и рассказы французов о постройке немцами в мирное время бетонных площадок в самой Франции под видом полов для гаражей у богатых помещиков. Действительно, Германия была единственной страной в Европе, основательно подготовлявшей мировую бойню.

Перегруппировка французской армии потребовала в первую очередь срочной переброски на север французской кавалерии под начальством генерала Сорде. По словам Лаборда, она почти целиком погибла от непосильных переходов в страшную жару и отсутствия воды в Арденнских горах. Стальным кирасирам, голубым гусарам и конноегерям пришлось первым бесславно заплатить за ошибки первоначального неправильного развертывания французских армий.

«В это время уже развивались, — доносил я 15 августа, — энергичные операции немцев в Бельгии: перебросив сильную кавалерию на северный берег Мааса для демонстрации против бельгийской армии, сосредоточенной к северо-западу от Льежа, немцы двинули прямо на запад со стороны Люксембурга 8 корпусов (II, IV, VI, VII, IX, X, XI и Гвардейский), которые к сегодняшнему утру должны были дойти до Мааса на узком фронте от Намюра до французской границы. На активные действия бельгийской армии во фланг германскому обходу рассчитывать трудно, ибо в ней уже есть стремление запереться в Антверпене. В этом же духе ожидаются здесь с нетерпением сведения от генерала Лагиша [1] о наших действиях, но он пока ничего не донес».

Таким образом, за весь период времени от вторжения немцев в Бельгию до 16 августа, то есть за пятнадцать тревожных для французов дней, никаких сведений — ни от Лагиша, ни от Огенквара, ни из ставки не поступало. Лишь в этот день, к десяти часам вечера, пришла первая циркулярная телеграмма с ориентировкой о действиях на русском фронте:

«Наша мобилизация прошла в блестящем порядке. До 1 августа противник проник на нашу территорию только в Завислянском районе».

Досадным казалось, что как раз в этот район на левом берегу Вислы проникли не мы, а немцы.

«Надежные сведения о группировке противника, — говорилось далее в телеграмме, — указывают нахождение против нас на германском фронте лишь пяти корпусов мирной дислокации, и то, вероятно, не полностью, а на австрийском — двенадцати корпусов».

---

[1] **Французский военный атташе при русской ставке.**

Отрадно было узнать, что сведения мои о пяти корпусах, находившихся против нас, считались надежными, однако самих номеров корпусов ставка упорно не сообщала — по той, очевидно, причине, что она этого не знала, как не знавали и мы когда-то в Маньчжурии размеров теснивших нас японских сил.

И наоборот, во французской главной квартире после первой же недели мне удавалось изо дня в день проверять присутствие на Западном фронте германских частей и появление то одного, то другого полка или бригады II и V германских корпусов, числившихся на русском фронте.

Восточный фронт продолжал оставаться для меня загадочным, что лучше всего видно из следующей телеграммы, посланной мною 20 августа, то есть через три недели после начала войны.

«Вернувшись из главной квартиры на несколько часов в Париж по делам службы, я был принят военным министром, который, как и все, интересовался сведениями об успехах нашего вторжения в Германию. Между тем сведения, получаемые мною для ориентировки, указывают лишь на столь незначительные действия передовых частей, что я принужден скорее умалчивать о них, с тем чтобы наши союзники приписывали моей неосведомленности отсутствие известий о серьезных операциях с нашей стороны. Министр совершенно серьезно допускает возможность нашего вторжения в Германию и движение на Берлин со стороны Варшавы. Если, по нашим соображениям, мы не предполагаем предпринимать в течение ближайших дней серьезных наступательных действий против Германии, то нахожу необходимым, в целях сохранения союзнического доверия, дать французам какие-либо серьезные объяснения о причинах, заставляющих нас отложить наступление на известный срок. В этом отношении необходимо считаться с тем, что французский главнокомандующий был извещен непосредственно французским послом в Петербурге Палеологом о нашей готовности к операциям к 1 августа и что, согласно последнего довоенного протокола штабов, наши армии могут начать серьезное наступление с двадцатого дня мобилизации, который для нашей армии истекает сегодня».

Я тогда не предполагал, что, сражаясь у Гумбинена, русские войска окажут серьезную помощь союзникам.

Между тем действия в Бельгии продолжали развиваться стремительным темпом: был взят Брюссель, обложен Намюр, бельгийская армия отходила к Антверпену.

Сообщая мне эти сведения, скромный, уже немолодой полковник — мой новый бельгийский коллега — выразил мне, между прочим, свое удивление по поводу отсутствия русского представителя в его армии. Наш военный агент, генерального штаба подполковник Майер, в первый же день войны выехал из Брюсселя в нейтральную Голландию, где он тоже был аккредитован, что, конечно, произвело дурное впечатление на страну, решившую мужественно защищаться против разбойничьего германского нападения. Мне казалось необходимым поддержать русский престиж, и этим-то и объясняется моя поездка в Париж, где я уже наметил своего представителя при бельгийской армии. Это был молодой гвардейский штаб-ротмистр Прежбяно, бывший паж, неказистый на вид, но прекрасно воспитанный и идеально владевший французским языком. Рано осиротев, он еще до выпуска в офицеры оказался владельцем богатейших имений в Бессарабии, что, по его понятиям, уже одно должно было открывать ему любую дверь, в какую он бы ни постучался. В этом маленьком уродце была заложена исключительная энергия, направленная на создание собственной карьеры. Он уже давно бросил строевую службу и еще корнетом добивался назначения в распоряжение одного из военных агентов. Русские деньги позволяли ему хорошо жить за границей. Искренность, в его понятии, не могла считаться добродетелью. Но выбора у меня не было.

— Ваш представитель в Бельгии имеет, повидимому, свое собственное осведомление, — сказал мне однажды Дюпон, показывая листовку на английском языке о небывалых победах, одержанных русской армией, о горящих немецких городах, о бежавших в панике германских корпусах. Произведя расследование, я с ужасом узнал, что автором подобной информации оказался Прежбяно.

— Их (то есть бельгийцев) необходимо было подбодрить, — развязно объяснял он мне, — и я не виноват, что соседи-англичане перехватили мою информацию.

Катастрофа, которую я предвидел, как следствие неправильного плана развертывания французских армий, выразилась в бесплодных попытках французского коман-

дования оказать Бельгии помощь. Германская армия выполняла с первого же дня войны разработанный в мирное время план вторжения через Бельгию, разбивая по частям перебрасываемые на север французские корпуса. Ни номеров этих корпусов, ни подробностей боевых действий мне, конечно, никто не сообщал.

Разобраться в обстановке мне отчасти помогал милейший и очень дельный английский майор Клэйв, прибывший в главную квартиру для связи и организации железнодорожных перевозок. Мы с ним быстро сошлись, и благодаря ему я мог заранее предупредить наше командование о предстоящем «решительном сражении в Бельгии», которое в истории получило название «Пограничного сражения».

«Великое сражение началось, — доносил я 22 августа. — Настроение в главной квартире спокойное, но уже более серьезное, в Париже — несколько нервное. Имея основание готовиться к худшему, продолжаю находить весьма желательным какое-либо серьезное действие против находящихся на нашем фронте пяти германских корпусов, так как это, помимо действительного для нас успеха, одно может поддержать дух Франции в тяжелые минуты. Меня все более закидывают вопросами о нашем вторжении в Германию, на что я всеми силами стараюсь подготовить союзников к неизбежной длительности характера кампании, которая неминуемо должна закончиться победой».

Слова телеграммы «тяжелые минуты» объясняются некоторыми подробностями, полученными мною от того же моего неофициального осведомителя, Лаборда: главный удар правофланговых германских армий был направлен против выдвинутой в Бельгию 5-й французской армии генерала Ларензака. По словам Лаборда, она была наголову разбита. Беженцы запрудили все дороги и сеяли панику среди войск, и без того деморализованных поспешным отступлением. То тут, то там вдоль шоссе валялись тела убитых французских солдат — на груди их белел кусок бумаги с краткой надписью, объясняющей их смерть: «Traitre» (предатель). Проходившие мимо солдаты плотнее сжимали ряды, а унтера и офицеры грознее наводили порядок в отступающих ротах.

Суровость, проявлявшаяся французскими командирами для поддержания боевой дисциплины в трагические

минуты, вначале меня поражала. В одном из знакомых мне пограничных пехотных полков произошел такой случай. Рота была выдвинута для активной обороны небольшого, но важного в тактическом отношении моста. Под натиском передовых германских частей необстрелянная рота дрогнула и стала отходить к речке.

— Ни с места! — тщетно кричал командир роты, перебегая по стрелковой цепи от одного взвода к другому, но, убедившись, что его слова не действуют, он выхватил револьвер, застрелил двух взводных и задержал отступление. Мост был спасен.

Демократическая свобода мирного времени потребовала суровой дисциплины для ведения войны.

В тихой штабной обители про поражение 5-й армии никто не упоминал, и только сидевший против меня Тардье по секрету сообщил, что «хозяин» уехал на фронт наводить порядок. Как оказалось, эта поездка явилась для Жоффра одним из самых тяжелых испытаний: Ларензак был его личным другом и, кроме того, справедливо считался одним из умнейших французских генералов. Это не помешало Жоффру принять решение и уволить его, но он предпочел объявить это своему другу лично. Военному человеку нельзя бояться тяжелых объяснений и лучше сказать правду с глазу на глаз.

Двадцать пятого августа началось наступление немцев на Париж.

Немцы овладели уже всей территорией Бельгии, форты Льежа пали. Намюр был взят, Антверпен обложен, английская же и французская армии постепенно отступали под концентрическим давлением превосходящих немецких сил, которые, перевалив через Арденны, дошли до линии Валансьен — Мобеж — Монмеди. Вот та первая линия, сведения о которой были мне, наконец, сообщены.

«Вся эта картина, — заканчивал я в тот же день свою телеграмму, — в связи с характером боев дает мне основание предполагать, что французские армии перейти в наступление в ближайшем будущем уже едва ли смогут...

На мой взгляд выясняется, что весь успех войны зависит всецело от наших действий в ближайшие недели до переброски на наш фронт германских корпусов (эти

строки телеграф, к сожалению, не давал возможности подчеркнуть).

Переброска германских сил будет облегчена находящимися в их распоряжении бельгийскими железными дорогами, повреждения коих, к сожалению, несущественны. Кроме того, немцы, вероятно, нарушат нейтралитет Голландии.

Потери с обеих сторон громадны вследствие ожесточенного характера сражений и открытого наступления пехоты днем. Во многих французских пехотных полках они достигли пятидесяти процентов. Дух армии продолжает держаться надеждой на окончательный благоприятный исход и выручку с нашей стороны».

От моих настойчивых просьб получить осведомление о происходящем на русском фронте ставка отделалась, наконец, следующей ни к чему не обязывающей отпиской:

«Ввиду нетерпения, с которым французское правительство относится к нашему наступлению в Германию, начальник штаба верховного главнокомандующего просит ваше высокопревосходительство (то есть Извольского) сообщить нижеследующее французскому высшему командованию для исключительного его сведения: наступательное движение наших войск против Германии производится большими массами и выполняется с наибольшей возможной скоростью, совместной с требованиями благоразумия(!). Ныне в Восточной Пруссии разрешаются стратегические задачи, и как только это будет выполнено, явится возможность более скорого развития дальнейших наших наступательных операций».

В то же время моя информация о действиях на Западном фронте становилась день ото дня все обширнее. Она позволила мне, начиная с 28 августа, в моих ежедневных телеграммах в Россию рисовать более полную картину наступления германских армий.

В этот день я доносил:

«Германские армии представляются мне как бы разбитыми на три группы:

А) Северную — правофланговую, состоящую из трех армий:

1-я — ген. Клука, II, IV, IV рез. и III корпуса.

2-я — ген. Бюлова, IX, VII и X корпуса.

3-я — командующий неизвестен, Гвардейск. и 2 саксонских корпуса.

Вся эта группа наступает уступами справа, причем правофланговая 1-я армия в направлении Валансьен — Сен-Кантен, коего она достигла сегодня, 15/28 августа, к вечеру.

2-я армия отделила два корпуса для осады Мобежа.

3-я армия наступает на юг между Мобежем и Арденнским лесом.

Б) Средняя группа: две армии.

4-я армия принца Вюртембергского — VIII, VIII резервн., VI и XVIII резервн.

Эта армия наступает на Маас на фронте от Арденнского леса до Виртона.

5-я армия кронпринца — V, XIII, XVI корпуса — наступает на фронте от Виртона до Вердена.

Атаки этих двух армий сегодня, 15/28 августа, отбиты.

В) Левая группа — лотарингская — две армии:

6-я армия принца Баварского: I, II и III баварские корпуса, XXI и III резервн. корпуса.

7-я армия генерала фон Херингена — XIV и XV корпуса.

Обе эти армии дерутся день и ночь с французскими армиями в равных силах на фронте от высот впереди Нанси до Вогезов.

Утомление войск сильное с обеих сторон, потери, особенно с немецкой стороны, громадные, но дух французской армии превосходен. Все со дня на день ожидают нашего вторжения вдоль левого берега Вислы».

«16/29 августа 1-я правофланговая германская армия, имея уступом слева 2-ю армию, стремительно и безостановочно двигаясь на Париж, достигнув Сен-Кантена сегодня утром, стала проникать еще более на запад, стремясь захватить переправы на Сомме, обороняемые англичанами. Немецкий кавалерийский корпус направляется на Шольн (Chaulnes), где он должен был сегодня натолкнуться на значительные французские силы. 5-я французская армия, сосредоточенная за рекой Уаз, перешла в решительное наступление во фланг обходящим немецким колоннам в направлении Сен-Кантена. Общее руководство этой решительной операцией принял на себя сам генерал Жоффр. На всех остальных фронтах ведутся кровопролитные бои, приближающие нас, на мой взгляд, к концу первого периода войны».

Контратака 5-й французской армии «против немецкой гвардии и X корпуса блестяще удалась, и немцы были отброшены с большими потерями, однако опасение 5-й французской армии быть отрезанной от остальных армий заставило главнокомандующего отказаться от решительного действия 5-й армии, тем более что на стороне французов не было преобладающих сил».

Открывшаяся передо мной картина планомерного наступления германских армий представляла положение, с часу на час все более и более серьезное. Когда я, по обыкновению, зашел к Дюпону около шести часов утра 30 августа, он подвел меня к карте и, расставив пальцы, стал отмерять расстояние от только что нанесенной углем линии фронта до Парижа.

— Вот положение к сегодняшнему дню, — сказал он мне. — Судите сами.

Он уже, вероятно, знал про полученные за ночь донесения о неудачных атаках, но, как обычно, не сообщал мне о них до окончательной проверки.

Париж! Он представлял для нас с Дюпоном в это утро совсем не то, что для хладнокровных исследователей войны!

После полудня я уже отправил следующую телеграмму:

«17/30 августа обходящая левый фланг германская армия неудержимо двигается на Париж, делая переходы в среднем около 30 километров, и к вечеру этого дня достигла линии Морейль, Руа, Нуайон[1]. Против Мобежа оставлены резервные войска. На мой взгляд, вступление немцев в Париж вопрос уже дней, так как французы не располагают достаточными силами, чтобы перейти в контратаку против обходящей группы без риска быть отрезанными от остальных армий. В силу той же причины удачная контратака корпуса 5-й армии против гвардии и X корпуса не могла быть развита сегодня (17/30 августа) ввиду решительно веденного наступления двух саксонских корпусов против IX французского корпуса; немецкая гвардия и X корпус понесли громадные потери, так как находились все под огнем трехсот французских полевых орудий. На восточном лотарингском участке фронта утомление обоих противников в связи с громадными

[1] Города юго-западнее Сен-Кантена.

потерями привело сегодня к усиленной канонаде без особо важных столкновений. I баварский корпус отправлен в Мюнхен для полного переформирования вследствие потерь, достигших 75 процентов. За 5-й германской армией открыты две новые резервные сводные дивизии, составленные из эрзац-батальонов разных корпусов».

Не скрывая этой телеграммой от русского командования истинного положения вещей, я не мог предполагать, что причинил этим, как я узнал впоследствии, столько хлопот французскому послу в России Палеологу. Из приятного и бесцветного собирателя питерских сплетен высшего света этот потомок греческих королей и богатейших одесситов, узнав о моей телеграмме, превратился в грозного Зевса: он горячо убеждал Сазонова, что «только такой паникер, как Игнатьев», может сомневаться в полной безопасности Парижа! Прозорливость почтенного дипломата не дала ему возможности предусмотреть бегства его собственного правительства из Парижа в Бордо.

«Общее впечатление, — доносил я на следующий день, 18/31 августа, — что немцы, миновав разделявшие их Арденнские возвышенности, выровняли полукруг своих армий и, ровняясь по обходящему флангу, концентрически будут наступать на Париж. Французы, удерживаясь пока с успехом на Восточном фронте, также концентрически отходят на центральный массив. Дух в войсках остается превосходный; в главной квартире настроение, конечно, удрученное, но вполне спокойное. Переданное мной сегодня содержание телеграммы из Петрограда о трехдневных боях 12/25, 13/26 и 14/27 августа в Восточной Пруссии в районе Сольдау — Алленштейн — Бишофсбург и занятие нами Алленштейна, известное уже из газет, не подняло духа в штабе, так как сведения об этих боях подтвердили опасения французов о затяжке наших операций в Восточной Пруссии».

Так думал штаб — французская главная квартира, которая была уже окрещена названием Гран Кю Же (от сокращения тремя начальными буквами GQG названия французской главной квартиры Grand Quartier Général), но не так реагировала на наше вторжение в Восточную Пруссию французская пресса.

Широкой, в палец толщины, стрелой обозначался на первых страницах таких газет, как «Матэн», наш поход на Берлин, представлявшийся уже не мечтой, а действитель-

ностью. В эти тяжелые дни германского нашествия наши успехи явились единственной могучей поддержкой духа французского народа.

Такой пламенный патриот, как академик Баррэс, продолжал кампанию в своей газете «Эко дё Пари» в течение долгого времени и еще 8 сентября 1914 года писал: «L'arrivée des cosaques à Berlin, répétons le encore, elle est prochaine, non immédiate, mais immédiatement l'Allemagne va être renseignée sur l'approche des Russes» (Приход казаков в Берлин, повторяем еще раз, произойдет вскоре, но не тотчас же, а Германия-то будет тотчас осведомлена о приближении русских).

Соображения, переданные в моей телеграмме, об отходе на центральный массив зародились после бесед с моим другом, подполковником Бертелеми — помощником Дюпона. Он был гораздо более общительным, чем его начальник, и оказался единственным моим компаньоном по посещению полутемного закопченного «бистро», где после скудного обеда мы позволяли себе «украшать жизнь» чашкой черного кофе.

— Что же, — говаривал Бертелеми, — существуют военные принципы, которые должны оставаться незыблемыми при всех обстоятельствах, и первым из них является сохранение живой силы. Для этого можно пожертвовать и Парижем, который защищать нелегко, но занимать противнику тоже трудновато, подобная операция потребовала бы от немцев немало дивизий, тогда как нам будет представляться возможность задерживаться последовательно на Марне, на Сене и отходить на центральное плато. Район этот богатый, плодородный, базироваться сможем на Лион, Марсель, Тулузу; артиллерийские заводы и арсеналы останутся в наших руках; немецкие армии непомерно растянутся, и это даст нам возможность действовать по внутренним операционным линиям.

— Да, — отвечал я, — мы тоже всю эту стратегию хорошо изучали в академии, но живая сила зависит столько же от материального, сколько от морального состояния армии и страны.

— Ну, в этом вы, кажется, сомневаться не можете, — заканчивал всякий раз Бертелеми, приводя сведения о быстром восстановлении духа даже в потерпевшей поражение 5-й французской армии.

«Генерал Бертело, занимающий специальное положение советника и главного исполнителя при главнокомандующем, — доносил я 31 августа, — позвал меня вчера вечером, объяснил положение вещей и сказал, что Франция, как это ей и ни тяжело, решила прежде всего сохранить армии с тем, чтобы, постепенно отбиваясь и переходя в контратаки, удержать на себе все германские армии и тем самым позволить нам возможно свободнее идти на Берлин. Веруя в наши решительные действия и, в частности, в наступление между Торном и Познанью, французские армии не дадут себя разбить и готовы пожертвовать Парижем. Конечный успех войны — в нашем занятии Берлина, ближайший — в занятии левого берега Вислы до переброски на нас германских корпусов. Я ответил, что уже неделю тому назад послал телеграмму о вероятности отхода французских армий, что наступательные операции вдоль левого берега Вислы, вероятно, предусмотрены, что все это выходит из пределов моей компетенции, но что я готов передать еще раз общий смысл операций французской армии в будущем. Декларация нового кабинета, тон прессы, мнения военных кругов — все подтверждает решимость Франции нести жертвы до разрешения нами судьбы Германии. Но, конечно, нам приходится считаться с тяжелым положением страны, предаваемой немцами огню и разорению».

«18/31 августа положение резко ухудшилось. Англичане, отступавшие все последние дни за французские войска (18/31), занимали линии Суассон — Компьен, однако при известии о наступлении немцев неожиданно покинули позиции, оголив совершенно левый фланг 5-й французской армии, расположенной вокруг Лаона. Правофланговая немецкая армия, повидимому, свернула с направления Парижа и предприняла глубокий обход левого фланга французских армий, центр коих занимал вчера линию Лаон—Реймс—Верден. На лотарингском участке Восточного фронта — без перемен.

Сегодня утром, 19 августа (1 сентября), немецкая радиотелеграмма известила о полном будто бы поражении нашей 2-й армии под Танненбергом, что мы приписываем фабрике фальшивых сведений».

«Обойденная с фланга 5-я французская армия сумела за сегодняшний день выйти из трудного положения и отойти за реку Эн к востоку от Суассона. Для облегчения отхода

1-я армия перешла в частичное наступление. Германские армии к сегодняшнему дню достигли следующих результатов: кавалерийский корпус силою в три дивизии, поддержанный, как всегда, пехотой, прошел Компьенский лес.

1-я германская армия дошла до линии Мондидье—Руа.

2-я германская армия — впереди Ретеля.

3-я германская армия — к западу от Монмеди.

4-я германская армия — к востоку от Стене.

5-я германская армия не перешла еще на левый берег Мааса между Стене и Верденом.

6-я и 7-я германские армии — повидимому, истощены в непрерывных боях».

«Дух французских армий, совершающих ежедневно чудеса храбрости, — превосходный, несмотря на необходимость отступать без победы».

«Как я уже доносил, Франция намерена драться до конца и, если надо, пожертвовать территорией с тем, чтобы дать нам возможность победы. Благодаря этому как страна, так и армия живут исключительно нами и нашими военными операциями. Я завален вопросами, на которые принужден отвечать содержанием циркулярных телеграмм, подтверждающих сведения Петроградского Телеграфного Агентства, или догадками. От генерала де Лагиш не поступило ни одного донесения хотя бы о германских частях, с коими мы имеем дело.

Указанная мною вчера (18/31 августа) немецкая радиотелеграмма о полном поражении нашей 2-й армии под Танненбергом остается без опровержения, между тем в ней упоминается о взятии немцами в плен 60 000 русских и командиров частей 13-го и 15-го корпусов. Так как исход войны зависит от дружного действия нашей и французской армий, признаю совершенно необходимым наладить дело оповещения французского главнокомандующего о наших операциях, возможно ежедневно».

В то время как в Витри-ле-Франсуа тяжелые события на фронте не нарушали спокойного, уравновешенного порядка жизни, из Парижа мой заместитель Ознобишин 1 сентября сообщил мне:

«Посольство с минуты на минуту ждет приказания об отъезде в Бордо и приняло все меры, а именно берут с собой лишь самые секретные дела, остальное все жгут, так как наше посольство в случае занятия Парижа немцами, несомненно, подвергнется разграблению и разрушению. Что

касается нашего архива, то я сложил все, что было в железном шкафу, в сундук, который увез с собой. Остальные дела (не секретные) я положил в железный шкаф — пусть лежат там, а лишние секретные издания статистического характера прикажу сжечь в момент нашего выезда. Посольство уезжает целиком, никого здесь не оставляя».

Вспомнился бравый казачий есаул под Мукденом, посланный на розыски брошенных при отступлении повозок с архивами. «Нашли, господин полковник, — докладывал он, — нашли, но, чтоб не отдать японцам, все сожгли».

«Ничего не жечь, — телеграфировал я Ознобишину, — приеду сам».

На рассвете мой автомобиль уже мчал меня в Париж. Около полудня я очутился на узкой улице Гренелль перед закрытыми массивными воротами нашего посольства. Через минуту меня радостно приветствовал француз-консьерж, старый служака, знакомый мне еще со времен Нелидова. Он очень обрадовался и, сняв фуражку с красным околышем, формы, присвоенной русскому министерству иностранных дел, почтительно доложил:

— Какое счастье! Вы приехали весьма кстати. Эти господа, — указал он глазами на открытые настежь двери канцелярии, — чуть ли не сожгли дома! В такую жару затопили калорифер центрального отопления, чтобы жечь в нем бумаги.

— Неужели это правда? — пришлось лишний раз спросить у Татищева.

— А что ж такого? — невозмутимо ответил он мне, допивая один из бесчисленных стаканов пива, к которому питал чрезмерную слабость после долгой службы в Берлине. — Это ведь копии, а подлинники донесений найдутся в Петрограде.

— Не знаю, найдутся ли, — усомнился я.

Какие-то смутные предчувствия о неизбежных грозных потрясениях в России уже зарождались в душе.

— Да к тому же, сжигая архивы, — пробовал я образумить Татищева, — вы уничтожаете ценнейший рукописный материал о пребывании в Париже Александра Первого во главе русской армии тысяча восемьсот четырнадцатого года, о революциях тысяча восемьсот тридцатого, тысяча восемьсот сорок восьмого годов, Парижской Коммуне, подлинные черновики писем таких интересных послов, как князь Орлов, граф Киселев и другие.

Неужели в Париже мало надежных подвалов? Поручили бы мне. Я бы нашел таких верных французских друзей, что сам черт не тронул бы наших бумаг!

Спорить с людьми, не знающими цены историческим документам, впрочем, не стоило, и я поднялся в кабинет к Извольскому, у которого уже сидели Севастопуло и Карцов. Все трое о чем-то горячо спорили.

— Вот скажите, Алексей Алексеевич, — набросился на меня посол, — войдут немцы в Париж или нет?

— Мне не удалось побывать в германской главной квартире, — улыбнувшись, ответил я, — и планы ее мне неизвестны. Могу только доложить, что сегодня ночью немецкий авангард ночевал в Шантильи (будущее место расположения французской главной квартиры, в сорока километрах к северу от Парижа), что разъезды неприятеля были уже замечены с внешних фортов столицы и что с востока, через Мо, я проехать уже не мог. От этого до оккупации немцами Парижа еще далеко: французская армия отступает в полном порядке.

— Вот всегда военные не могут дать точного ответа, — вспылил уже пунцовый не то от волнения, не то от нестерпимой жары Извольский. — Вы понимаете, что если немцы придут сюда, то первого, кого они расстреляют, так это меня.

— Ну, что ты, Александр Петрович, — дрожащим от страха голосом успокаивал и себя и посла генеральный консул (я был поражен, что Карцов обращается к послу на «ты». Консулы в России были не в почете, они считались дипломатами второго сорта, и Извольский тщательно скрывал свое родство с Карцовым). — Ты вот мне лучше скажи, — продолжал старик, — оставаться мне в Париже или уезжать в Бордо?

— Я тебе в конце концов не гувернантка, — уже не сдерживая себя, закричало «начальство». — Одно только знаю, что если б я был на твоем месте, то, конечно, никуда бы не уехал.

Но Карцов не растерялся и остроумно ответил:

— Вот в том-то только и беда, дорогой, что ты не на моем месте, а я не на твоем!

Тут уже все дружно рассмеялись.

Чтобы не пропустить на следующий день поезда, мои посольские коллеги решили ночевать в гостинице, при

вокзале, хотя он буквально находился в трех шагах от посольства.

Оставленный мною при Ознобишине Шегубатов поступил еще «мудрее».

В качестве моего официального помощника этот гвардейский штаб-ротмистр взял на себя охрану секретного сундука, погрузил его в мою собственную машину, заехал за своей дамой сердца, полусветской львицей, и приказал моему шоферу взять направление на запад.

— Как я мог этого ожидать? — пыхтел Ознобишин, объясняя невозможность зашифровать мою телеграмму в Россию: шифр уже укатил с Шегубатовым в спасительное Бордо.

Над русским посольством взвился не известный мне дотоле флаг из трех полос: желтой, красной и черной. Русская империя поручила свои интересы в опустевшем Париже испанскому королю!

Два месяца спустя, проезжая через Париж, я телеграфировал Извольскому в Бордо:

«Распорядился убрать испанские флаги. Простите самоуправство».

Правительство бежало, дипломаты за ним последовали, банкиры давно удрали, красивые витрины в роскошных магазинах закрылись серыми металлическими ставнями, но Париж стал еще прекраснее: его широкие авеню казались еще просторнее, его старинные дворцы — еще величественнее, а на центральной площади Конкорд, чувствуя полную свободу, рассаживались на перилах в часы досуга, как воробушки, веселые мидинетки и, болтая ножками, беззаботно рассматривали в небе пролетавших изредка «таубе» — голубей, как прозвали парижане вражеские самолеты.

Глава третья

МАРНА

Марна — какое ласкающее слух слово, какое красивое, чисто женское название реки!

Кто бы мог подумать, прогуливаясь в воскресный день по ее светлозеленым берегам или катаясь в лодке под нависшими над рекой живописными ивами, что этой речке

суждено будет обагриться кровью сынов французского народа, стать свидетельницей того внезапного подъема духа в отступающих французских армиях, который доставил им победу!

Моральная сторона войны столь трудно поддается учету, что современники, не желая над этим задумываться, окрестили сражение между 6 и 9 сентября 1914 года «Чудом на Марне». Красавица-река стала легендарной.

Мне выпало на долю быть свидетелем событий этих дней. Они стали историческими, но в ту пору ничем не нарушили того установленного порядка дня и работы, которые всегда отличали французскую главную квартиру. Если бы кто-нибудь мне тогда сказал, что происходит даже не «чудо», а просто битва, решившая участь всей войны, — я бы ему не поверил. Как и все французские товарищи, я лишь продолжал исполнять свои обязанности, стремясь использовать боевые столкновения для проверки сведений о противнике и для передачи, насколько это позволял телеграф, картины происходившего.

Не только военные атташе, ограниченные в своей деятельности, но и сами участники сражений не могут писать истории: у них нет для этого самого главного — неприятельских документов, по которым только и можно делать правильные выводы о талантливости собственного высшего руководства, о храбрости и стойкости войск и, наконец, о степени трудностей, встреченных на пути к победе, а у меня, кроме того, в то время не было всех сведений, по которым можно было судить о могучей поддержке, оказанной в эти дни русской армией Франции.

Кроме того, современникам не всегда удается быть хорошими историками. При оценке военных событий они не в состоянии отрешиться от невольного пристрастия к той или другой армии, стране, ее государственному строю, от воспринятого еще на школьной скамье вкуса к той или иной военной доктрине.

Да простят же мне историки ту неполноту данных, которая помешала мне тогда, в дни Марнского сражения, представить его во всем величии и военной поучительности.

В первые три дня по возвращении моем из Парижа операции на фронте явились естественным продолжением грозного и, казалось, безудержного наступления германских армий.

«1-я и 2-я германские армии, — телеграфировал я уже 3 сентября, — будут, повидимому, стремиться отрезать французскую армию от Парижа, в то время как их 3-я, 4-я и 5-я будут стремиться отрезать французов от восточных крепостей».

Опасное положение правофланговой 1-й германской армии фон Клука и 2-й армии фон Бюлова стало выясняться уже 4 сентября.

«Армии эти уже достигли реки Марны, не оставляя ничего против Парижа», — сообщал я, а в телеграмме от 5 сентября уточнял это так:

«Опасное положение 1-й германской армии, имеющей с фланга парижскую армию, должно быть причиной начала генерального сражения».

Этот прогноз основывался не только на движении германской армии, но и на тех отрывочных сведениях о положении французских армий, которые мне удавалось извлекать из бесед как с Бертело, так и с начальником 3-го оперативного бюро, подполковником Гамеленом, бывшим ординарцем и любимцем самого Жоффра.

Я встречался с Гамеленом еще в довоенное время. Он был самый толковый в окружении будущего главнокомандующего, и я привык советоваться с ним, когда приходилось проводить во французском генеральном штабе какой-нибудь деликатный вопрос.

Я никогда не получал французского Ordre de bataille (боевого расписания), но к началу Марнской битвы расположение французских армий представлялось мне так: на крайнем левом фланге из каких-то резервных частей и первых прибывших из Африки полков формировалась парижская 6-я армия под командой призванного из запаса, но бодрого старичка, генерала Манури. Вправо от нее отходила куда-то на юг английская армия фельдмаршала Френча, где-то еще правее отступала 4-я армия Лангль де Карри, о 3-й французской армии Саррайля я совсем не слыхал, а о 1-й и 2-й знал только, что ими командует мой старый знакомый Кастельно, продолжавший сражаться фронтом на восток.

Оригинальные проекты почти всегда зарождаются одновременно у нескольких людей.

Мысль использовать опасное положение правого фланга германских армий возникла внезапно у обоих ответственных военачальников — у главнокомандующего Жоффра и у военного губернатора Парижа, генерала Галлиени, который с отъездом правительства в Бордо являлся почти независимым диктатором столицы.

Идея эта явилась основой победы на Марне. Не только современники, но даже историки не смогли решить вопроса, кому обязана была Франция своим спасением. Бесконечные споры по этому поводу долгое время разделяли французский военный и политический мир на два лагеря — Жоффра и Галлиени, вызывая даже обширную полемику в прессе и военной литературе. Разрешение споров затруднялось, кроме того, почти враждебными личными отношениями между главными виновниками возникших разногласий.

Во Франции было во много раз меньше генералов, чем в России, и уже поэтому они все хорошо знали друг друга, а Жоффр и Галлиени оказались, вдобавок, старыми сослуживцами, причем Галлиени, командовавший когда-то войсками на Мадагаскаре, привык смотреть на Жоффра как на своего подчиненного — начальника инженерной обороны острова.

Служба в колониях налагала на французских генералов особый отпечаток: она развивала в них самостоятельность, независимость, предоставляла широкое поле для применения административных способностей каждого, но в то же время отрывала на несколько лет от жизни метрополии и превращала их в провинциалов, группировавших вокруг себя своих поклонников, из которых формировались так называемые Petites Chapelles (маленькие часовенки).

Оторванность от правящих кругов вызывала в них болезненную подозрительность, и Жоффр усматривал в каждом шаге своего бывшего начальника какую-нибудь интригу, ведущуюся против него в Париже.

Галлиени в свое время умел оценить Жоффра и как выдающегося администратора, но не мог примириться с низведением себя на роль подчиненного. Мне мало пришлось иметь дела с этим генералом, хотя вскоре после Марны он занял пост военного министра. Высокий, с

непомерно длинной талией и сплюснутой большой головой, близорукий, он казался мне штатским, одетым в военную форму, что, конечно, не соответствовало его страстной привязанности к военному делу, его скрытому, но сильному темпераменту.

Узнав о соскальзывании 1-й германской армии по периферии вверенного ему парижского района, Галлиени еще до получения директив от Жоффра, как всякий хороший командир, стал рваться в бой. Вместо пассивной обороны столицы он твердо решил выйти из окружавших ее фортов, собрать в кулак все небольшие силы и, перейдя в наступление, хорошенько наказать зазнавшегося противника за его пренебрежение к парижскому гарнизону.

Ему принадлежит пальма первенства в применении на поле сражения моторизованной пехоты: собрав все такси Парижа, он использовал их для переброски на север целой марокканской дивизии во фланг армии Клука.

Немцы увлеклись преследованием французских армий, — после пограничного сражения они считали их уже разбитыми. 1-я и 2-я германские армии продвигались на юг, ставя себя в опасное положение. Жоффр нашел этот момент удобным для общего перехода в наступление.

Так думали французские полководцы, но маленький седой упрямый старик, английский фельдмаршал Френч, не разделял их мнения. Выведя свои войска из тяжелого положения еще после попытки помочь бельгийской армии, Френч решил больше не рисковать и если помогать союзникам, то помогать благоразумно.

Опыт уже давно показал, что одной из труднейших задач в военном ремесле является согласование действий союзников.

Предупреждать и ликвидировать недоразумения, сглаживать шероховатости в отношениях высоких начальников — все это ложится на плечи одних и тех же лиц из их окружения, роль которых в разрешении великих задач почти всегда недооценивается. От них требуется одно, и самое редкое, качество — природный такт: способность учитывать при обращении с людьми условия обстановки, характеры, привычки, а иногда и слабости их начальников.

Много пришлось мне встретить на своем жизненном пути людей умных, образованных, талантливых, но как редко удавалось иметь дело с людьми тактичными! К такому типу людей принадлежал мой старый приятель, английский полковник Вильсон, будущий маршал; в дни Марны он был только помощником начальника штаба Френча.

Я познакомился с ним в Париже, еще на французских маневрах 1906 года. Мы оба одинаково полюбили Францию, и это сблизило нас навсегда. Чудный был тип англичанина — Вильсон. Мужественный, громадного роста, сухой, с лицом, избороржденным смолоду волевыми складками, сядет, бывало, Вильсон в кресло, закинет ногу на ногу высоко-высоко и слушает долго, терпеливо собеседника или докладчика, не выпуская из зубов вечной трубки. Он был способен выслушать, не моргнув, самую тяжелую истину, и только вглядываясь пристально в черты его лица, можно было угадать или горькую усмешку, или сердечную боль, а чаще всего тонкую, полную английского юмора иронию.

В дни Марнского сражения Вильсон, несомненно, сыграл большую роль: он понимал, что французы ставят все на карту и что англичанам с их небольшими силами надлежит согласовать все свои действия с союзниками. Благодаря ему английская армия хотя и с чрезмерной осторожностью, но все же выполнила свою роль.

Задача Вильсона затруднялась тем, что с самого начала войны отношения его начальника Френча с командующим соседней 5-й французской армией Ларензаком, властным и горячим южанином, были крайне натянуты.

Это, между прочим, послужило одной из причин замещения Ларензака генералом Франше д'Эспере, командовавшим I корпусом. Трудно иногда бывает определить, воинская ли часть обязана своей репутацией командиру, или наоборот. Каждый корпус французской армии комплектовался на территории своего округа и ярко отражал все качества или недостатки его населения. I корпус, квартировавший в мирное время в Лилле, состоял из северян — сильных белобрысых великанов, угрюмых, но честных солдат. Такими они показали себя в первых боях.

Пылкие, болтливые южане, уроженцы солнечной Ривьеры и жаркого Марселя, не выдерживали первых

боевых столкновений на Лотарингском фронте и зачастую попросту бежали. Северяне, забрав их в руки, превратили впоследствии южан в первоклассные войска, отличившиеся под Верденом.

Судьба сталкивала меня с командиром I корпуса Франше д'Эспере в течение долгих лет. Коренастый, пышащий здоровьем, хорошо упитанный, этот потомок французской королевской аристократии унаследовал от нее характерные для своей страны военные традиции: личное мужество, властолюбие, доходящее до жестокости, и мировоззрение в узких рамках военного ремесла. Он блестяще выполнил ответственную задачу, выпавшую на долю его армии в Марнском сражении: вдохнув в своих подчиненных — командиров деморализованных остатков 5-й армии — веру в успех, он заставил их перейти в наступление; ему приходилось в то же время тянуть за собой слева английскую армию, а справа — растягиваться, чтобы оказать поддержку 9-й армии Фоша, против которой была направлена сильнейшая германская контратака.

Естественно, что когда во время войны, с целью изучения фронта, мне приходилось посещать войска 5-й армии, оборонявшие впоследствии ближайший к Парижу сектор, я всегда относился с большим уважением к командующему армией Франше д'Эспере. Я никогда не мог забыть, что в Марнском сражении он, несмотря на растянутость своего фронта, по собственной инициативе передал в распоряжение своего соседа, Фоша, один из лучших своих корпусов. Таких генералов в истории встречалось немного.

Франше, со своей стороны, также оказывал мне особое внимание: он не поручал сопровождать меня, как это было принято, одному из офицеров своего штаба, а после хорошего завтрака сам брал меня с собой в машину и начинал осмотр передовых позиций с посещения города Реймса, входившего в сектор его армии. Это позволяло ему оказывать высшую, по его мнению, военную любезность: подвергнуть гостя обстрелу тяжелой германской артиллерии, систематически бомбардировавшей в эти часы уже сильно пострадавший центр города.

Постепенно разрушавшийся древний собор стоял, как часовой, — один среди развалин окружавших его старинных дворцов розоватого цвета. На его потемневшем от

веков каменном остове появлялись все новые и новые раны — белые пятна разбитого камня, а внутри все сильнее дул ветер через разбитые разноцветные стеклянные vitraux, составлявшие гордость этого памятника седой старины. Потом обрушилась одна из башен, и самый свод собора обратился в кучу мусора. После войны Реймский собор был полностью восстановлен по сохранившимся документам.

В конце войны Франше был назначен командующим армией на Салоникском фронте и здесь оказался одним из наиболее жестоких исполнителей приказа Клемансо о русских солдатах экспедиционного корпуса. После Октябрьской революции, выйдя перед строем безоружных, растерявшихся от непонимания обстановки наших несчастных соотечественников, Франше дал им только десять минут на размышление: продолжать сражаться или идти на работы в концлагерь под конвоем черных солдат. За редкими исключениями, все предпочитали переносить тяжелые испытания в Африке, чем продолжать служить за чуждые им французские интересы.

Прошло еще восемнадцать долгих лет, когда, исполняя обязанности комиссара нашего советского стенда в Авиационном салоне в Париже, я снова услышал фамилию Франше. Маршал Франции удостоил нас своим посещением, и мне пришлось приветствовать его при входе, почтительно сняв с головы мягкую фетровую шляпу.

— Здравствуйте, monsieur, — сказал мне Франше, подчеркивая подобным обращением, без упоминания не только моего прежнего звания, но даже фамилии, презрительное ко мне отношение. Меня это не задело, как не смутила и заключительная провокация со стороны маршала.

— Скажите, вы вот подобные аппараты и посылаете в Испанию? — обратился он ко мне, выслушав объяснение о стоявшем на углу стенда маленьком серебристом истребителе.

— Нет, господин маршал, — ответил я, — эти аппараты мы выставляем только для парижанок (нас окружало в эту минуту очень много нарядных дам), а в Испанию мы посылаем аппараты гораздо более современные.

Толпа зааплодировала, — то была эпоха народного фронта.

Адъютанты, стоявшие за спиной маршала, прикрыв рот рукой, не удержались от смеха. Франше отошел от советского стенда.

Позднее я узнал, что он уже тогда был женат на «знатной» русской белоэмигрантке.

Марнское сражение явилось пробным камнем для талантов многих генералов, а для некоторых, как Фош, — началом их блестящей боевой карьеры.

Выдающегося профессора тактики в высшей военной школе, полковника, а впоследствии генерала Фоша мне до войны встречать не пришлось. Он тогда уже командовал пограничным XX корпусом в Нанси. Корпус этот комплектовался из парижан, потомков санкюлотов, и имел еще более блестящую репутацию, чем I корпус.

Многочисленные ученики Фоша, как Гамелен и другие, восторгались не только его горячим темпераментом, но и той ясностью, с которой он излагал принципы стратегии, анализировал исторические примеры. То, схватив указку, Фош изображал фехтовальщика на рапирах, уподобляя различные виды маневров тонкостям фехтовального искусства, то, выбросив на карту спички, обозначал ими отдельные моменты военных операций. Фош, уже по одним рассказам, представлялся мне той самой фигурой, которую я встретил в Витри-ле-Франсуа в конце августа. Он по внешности вполне соответствовал типу опытного фехтовальщика.

На сохранившемся моментальном фотоснимке Жоффр стоит в профиль; грузный, неповоротливый, он одет небрежно, а перед ним вытянулся в струнку Фош в мундирчике в талию, руки по швам — сохранивший свою молодость лихой генерал.

Он в эту минуту только что получил неблагодарную роль: связать группой из нескольких деморализованных отступлением дивизий 5-ю и 4-ю французские армии и не предвидел, что через несколько дней на него-то и будет направлен главный удар германских армий с императорской гвардией во главе.

У него нет тыла, нет придающихся всякой армии органов снабжения, но об этом должен думать его начальник штаба.

У него нет штаба, но Фош — враг больших штабов.

Он — стратег, водитель войск, он не сын деревенского бондаря, как Жоффр, а потомок лотарингских вояк, из

рода в род защищавших свою пограничную область от германских гуннов.

Вызывая Фоша с командного поста XX корпуса, главная квартира приказала ему захватить с собой подполковника 5-го гусарского полка Вейгана, с которым он даже не был знаком. Этого стройного гусара в светлоголубом доломане я хорошо помнил по маневрам и во Франции и в Красном Селе. Под элегантной кавалерийской внешностью скрывалась большая работоспособность отличного генштабиста, чисто французская самоуверенность и самообладание. Если бы он и был способен на какие-либо переживания, то они, конечно, не отражались бы на окаменелых чертах его лица с тонкими губами и столь же тонкими усиками.

Вейган был создан Фошем, который нашел в нем идеального начальника штаба, освобождавшего его от всей штабной кухни, переносившего с терпением все резкости его властного характера, искренне преклонявшегося перед авторитетом бывшего профессора тактики — будущего маршала Франции.

Вот те главные военные вожди, имена которых связаны со сражением на Марне. Но исход его зависел, больше чем в каком-либо другом сражении, не от них, а от того трудно объяснимого морального перелома, который я пытался передать в заключительных словах своей телеграммы от 8 сентября, — то есть после первого же дня небывалого в истории — по своим размерам — столкновения вооруженных масс:

«Дух французских армий, выдерживавших десятидневное отступление, снова воспрял, и подъем его не поддается описанию».

Последние дни отступления от Марны ознаменовались, между прочим, и отступлением на юг самой главной квартиры: из Витри-ле-Франсуа — на два-три дня — в живописный Бар-сюр-Об, а оттуда, накануне Марнского сражения, — в Шатильон-на-Сене, расположенный более чем в ста километрах от поля сражения. Рассматривать немцев в бинокль Жоффр не собирался: это за него делали командиры дивизий и корпусов, осведомлявшие его о положении через командующих армиями. Жоффр не командовал, а давал директивы, распоряжался не батальонами и полками, а только армиями. Он вместе с тем не подражал, как многие полководцы, Наполеону, был не

охотник до громких фраз и, кроме директивы, известной мне тогда только в самых общих чертах, издал следующий скромный, но ставший историческим приказ:

«Au moment où s'engage une bataille dont dépend le salu du pays, il importe rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et à refouler l'ennemi.

Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer.

Dans les circonstances actuelles aucune defaillance ne peut être tolérée.

Signé: *JOFFRE*

Message à communiquer à tous, jusque sur le Front».

(«В момент, когда завязывается сражение, от которого зависит спасение страны, необходимо напомнить всем, что теперь не время оглядываться назад. Все усилия должны быть направлены к тому, чтобы атаковать и отбросить неприятеля.

Войсковая часть, которая не может продвигаться вперед, должна во что бы то ни стало удержать захваченное ею пространство и дать лучше себя убить на месте, чем отступить.

При настоящих обстоятельствах никакая слабость не может быть терпима.

Подпись: *ЖОФФР*

Извещение, которое должно быть немедленно доведено до сведения всех, до самой линии фронта».)

Подготовка к переходу в наступление отразилась на спокойном житье-бытье главной квартиры появлением множества запыленных машин, подвозивших с предельной скоростью офицеров связи. Они являлись не только передатчиками распоряжений, но и доверенными лицами главнокомандующего. Одним из самых интересных был майор Морен — ce cochon de Morin (эта свинья Морен), как в шутку встречали его в нашей «Popotte» — столовке 2-го бюро. Все хорошо знали Мопассана и ту новеллу, героем которой был некий Морен. Наш Морен, впрочем, не имел ничего общего с мрачным мопассановским мэром. Это был великолепный, мужественный офицер, зачастую небритый после бессонных ночей, но никогда не терявший

бодрого вида; одним своим появлением он неизменно веселял оживление в окружающих.

Таков и должен быть офицер связи — без паники, без суеты. За столом он, конечно, не позволял себе проронить слова о виденном на фронте, но за обедом все с затаенным дыханием ожидали от Морена очередного анекдота. Одно это как будто указывало, что на фронте несчастной 5-й армии, к которой Морен был прикомандирован, дела были уж не так плохи, как это было в действительности. На каждом языке можно пошутить по-своему, а на французском, благодаря богатству в нем синонимов, это особенно удается. На этом построена не только веселая сатира, но и весь французский юмор. Морен бывал тут неподражаем. Даже передавая телефонограммы, в которых встречались названия малоизвестных деревень, Морен, уточняя их по буквам, не мог удержаться, чтобы не повеселить своего собеседника на фронте, в особенности если тот чего-либо не понимал: — «O» — comme Octave, «U» — comme Ursule, «R» — comme Raymond et «Q» — comme toi. (По-русски это выходило примерно так: «И» — Иван, «Д» — ты, то есть дурак.)

До перехода французских армий в наступление сведения, доставлявшиеся офицерами связи от измученных армий, могли только причинять заботы, но зато вести от союзной английской армии внушали тревогу не только всему окружению главнокомандующего, но и ему самому, терпеливому и сильному духом старику. Жоффр в конце концов лично поехал к английскому фельдмаршалу, чтобы убедить его перейти в наступление одновременно с 5-й французской армией. Он этого частично и добился, так как три английских корпуса заняли 6 сентября исходное положение для наступления, хотя и не в восточном направлении, как того требовал удар во фланг фон Клуку, а в северном.

Ночью с 5 на 6 сентября, по показаниям очевидцев, на французском фронте никто не спал. Рассылались последние приказания для перехода в наступление. Но в главной квартире порядок работы не изменился: подписав последние директивы, Жоффр лег спать, по обыкновению, в десять часов вечера и приказал разбудить себя только на рассвете, в пять часов утра: он был уверен в исполни-

телях своих приказаний и заодно лишал их искушения обращаться к нему за помощью.

Мое личное положение к началу Марнской битвы значительно укрепилось. Терпение, проявленное в первые недели войны, принесло свои плоды: меня стали считать не чужестранцем, а равноправным членом французской военной семьи. Телеграммы мои становились благодаря этому день ото дня более полными: я мог упоминать в них названия ручьев и деревень, встречавшихся не на географических, а на топографических картах, давать не только сводки о противнике, но и кое-какие общие выводы и прогнозы на основании разговоров с такими толковыми коллегами, как Морен.

Переход в наступление французских армий был изложен в моей телеграмме на следующий день:

«Указанное мною ранее опасное положение 1-й германской армии было блестяще использовано главнокомандующим, который за 6 и 7 сентября исправил стратегическое положение так: против 1-й германской армии, перешедшей на левый, южный, берег ручья Гран Морен, удерживалась 5-я французская армия на линии Куломье — Эстерне, фронтом на север.

Английская армия повела наступление на фронте Куломье — Эсбли.

6-я парижская армия, заходя левым плечом, повела наступление во фланг 1-й германской армии на фронте Мо — Лези-сюр-Урк.

С 8 часов утра 7 сентября 1-я германская армия стала отступать в северо-восточном направлении.

На правом французском фланге, против 5-й германской армии, 3-я французская армия заняла фланговое положение на линии к западу от Бар-ле-Дюк — Сульи фронтом на северо-запад. В то же время гарнизон крепости Верден перешел в наступление в западном направлении, стремясь выйти на сообщения армии кронпринца. Таким образом, французские армии заняли охватывающее положение, и немцы для парирования его повели сегодня, 7 сентября, усиленное наступление на центр на фронте Фер-Шампенуаз — Витри-ле-Франсуа.

В Лотарингии идет горячее сражение, пока безрезультатное, причем выясняется, что с этого фронта немцы не перебросили против нас ни одной части».

В то время Дюпон и я не могли, конечно, знать о переброске в Восточную Пруссию XI германского корпуса еще до высадки его из вагонов на Западном фронте.

«1-я германская армия, выставив два корпуса заслоном на запад, продолжает, повидимому, отходить на линию Ла-Ферте — Монмирайль, — доносил я 8 сентября. — 2-я германская армия ведет бой на фронте Монмирайль — линия болот к северу от Фер-Шампенуаза.

3-я германская армия продвинулась своим левым флангом до Камп де Майльи, но сегодня, вероятно, контратакована превосходными силами, переброшенными французами по железной дороге. Последний способ вообще искусно применяется главнокомандующим для парализования сил на том или ином фронте.

4-я германская армия атаковала на фронте Витри-ле-Франсуа — де Сермез.

5-я германская армия, загнув свой левый фланг, XVI корпус, фронтом на восток, вела ожесточенные бои с 3-й французской армией и гарнизоном Вердена.

6-я и 7-я германские армии продолжали сражение на Восточном фронте».

Возникал вопрос: сумеют ли русские армии использовать опыт Западного фронта: переброска войск к полю сражения по железным дорогам представляла в то время последнее новшество.

Отход 1-й германской армии был, конечно, хорошим симптомом — как первый шаг назад, который немцы были вынуждены сделать с самого начала войны. Однако это никого не опьянило во французской главной квартире, и 9 сентября я доносил:

«8 сентября упорное сражение продолжалось на всем фронте с некоторым успехом для французов на некоторых участках; обходное движение против правого фланга 1-й германской армии не вполне удалось, так как немцы успели перебросить на правый фланг своего заслона, на запад, II, IV и IV резервный корпуса, которые повели наступление и потеснили парижскую армию с фронта Лизи — Бетц.

В образовавшийся прорыв 1-й германской армии английская армия продолжала наступать и с рассветом 9 сентября начала переправу на северный берег Марны у Ферте. Далее к востоку французы продвинулись также

вперед до ручья Пти Морен, имея перед собой III и IX корпуса в полном составе, а также X резервный. В центре, наоборот, немцы имели успех у Фер-Шампенуаза, где вели бой гвардия, XII и, вероятно, XII резервный корпуса.

Далее, сильнейшие, но безрезультатные бои велись на фронте Витри-ле-Франсуа — Сермез, где были обнаружены XIX, VIII и XVIII корпуса.

Наконец, армия кронпринца продолжала бой фронтом на юг и восток, причем левофланговый XVI германский корпус был оттеснен.

На восточном, Лотарингском, фронте — без перемен.

Крепость Мобеж пала».

Последнее известие не произвело, впрочем, никакого впечатления. Возраставшее с каждым часом напряжение на фронте приковывало к нему, естественно, все наше внимание, и перелом мы ощутили только в ночь на 10 сентября. Чувствуя важность момента, я под утро зашел к Бертело и принес ему на одобрение следующую телеграмму:

«9 сентября генеральное сражение продолжалось на всем фронте. 1-я германская армия отошла на северный берег Марны. После полудня немцы сделали попытку охватить в свою очередь обходящий фланг и заняли одним полком с артиллерией Нантейль, что не помешало парижской армии удержаться на всем остальном фронте и иметь даже успех, захватив два неприятельских знамени.

Английская армия, перебравшись через Марну, продолжала наступать в северном направлении, и противник отходил на северо-восток.

Для обеспечения правого фланга англичан французы продвинулись и к вечеру заняли Шато Тьерри.

Главное усилие немцев было направлено на центр, на фронте к югу от Сезан — Фер-Шампенуаз, но к вечеру 9 сентября французы контратаками отбросили немецкую гвардию и IX корпус к северу от Сен-Гондских болот.

3-я немецкая армия имела в начале дня также успех и в связи с гвардией отодвинула французский центр, но к вечеру французам и тут удалось продвинуться снова вперед верст на пять.

4-я германская армия вела бой с меньшей интенсивностью, чем 8 сентября, на фронте Витри-ле-Франсуа — Ревиньи.

На фронте 5-й германской армии горячие бои велись без особых результатов.

Вероятно, с целью угрозы правому флангу французских армий немцы подвели незначительные силы в долину Мааса.

На Восточном фронте они с дальних дистанций пытались бомбардировать Нанси».

«А-пе-те-о-ка-же, эс-а-ю-пе...» — слышалось чуть не круглый день из-за двери моей импровизированной шифровальной.

Это Лаборд диктовал по пятизначным группам очередную шифрованную телеграмму, а сидящий против него подслеповатый русский граф Мордвинов, в форме французского рядового, усердно стучал на машинке. Владел он ею плохо, и диктовка то и дело сопровождалась энергичными солдатскими окриками Лаборда, вошедшего уже в свою роль старшего и заведующего хозяйством. Кроме Мордвинова, он имел подчиненных двух шоферов и вестового при двух моих верховых конях. Вскоре появился и пятый подчиненный, в лице сына Извольского, восемнадцатилетнего парня, полного остроумия и совсем не похожего на отца. Я взял его к себе, после того как он показал себя не трусом при паническом отступлении 5-й французской армии.

Так зародилась Русская военная миссия.

Мы были поселены в опустевшей загородной усадьбе, принадлежавшей знакомым парижанам, и это придавало нам известную самостоятельность.

Главной гордостью нашей миссии стал автомобиль — громадный открытый синий «ролс-ройс», роскошно отделанный его хозяином Мордвиновым, владельцем известных заводов на Урале. Несмотря на всю свою близорукость, Мордвинов умолял взять его с собой на войну вместе с его прекрасным открытым автомобилем. Лаборд, проехав со мной из Парижа в этой машине под управлением Мордвинова, вопрос о нем разрешил мудро.

— Вот что, — сказал он мне, — машина хороша, мы ее оставим себе, этого слепого русского хозяина посадим

печатать на машинке, а его шофера определим в армию, и он будет нас возить.

Много тысяч километров сделала эта машина без единой поломки. На смену лопнувшей покрышки я позволял тратить не более двух минут, участвуя при этом лично в снятии и надевании запасного колеса. Осколком снаряда пробило как-то крыло этой птицы, летавшей со скоростью ста двадцати километров в час, другим осколком повредило капот мотора, но верный шофер и личный мой друг — сержант Латизо не унывал: ни буря, ни вьюга не могли нарушить плавного и регулярного хода его любимицы.

Война больше всего сближает людей. Лет двадцать спустя, уже советским гражданином, еду я как-то по железной дороге и сажусь обедать в роскошном вагон-ресторане. Замечаю, что ко мне приглядывается хозяин буфета, а через несколько секунд, к великому не только моему, но и всех пассажиров изумлению, — бросается ко мне и горячо меня обнимает.

— Неужели не узнаете? Я тот самый ваш вестовой Верне, которого так частенько распекал наш друг Лаборд!

Латизо и Верне остались моими друзьями, но, конечно, ни Лаборд, ни Мордвинов, ни Извольский не примирились с моим уходом из прежнего мира.

Между тем в Шатильоне они разделяли со мной все те огорчения, которые доставляли мне получавшиеся из России телеграммы.

О том, что происходило в это время на Восточном, русско-германском, фронте, по циркулярным телеграммам невозможно было составить себе понятие. Это продолжало оставаться для меня вечной загадкой.

Полученные мною как раз накануне Марнского сражения первые шифрованные телеграммы тоже не помогли разрешению загадки, не дали самого ценного — уточнения номеров германских корпусов и дивизий, обнаруженных на нашем фронте. Первая телеграмма, присланная через посольство 4 сентября, как особо секретная, гласила:

«Сообщите срочно Игнатьеву: 25 австрийских дивизий, наступавших на фронте Ополе — Красностав, по-

несли громадный урон, вынуждены к обороне и частью подаются назад. 12 австрийских дивизий (номеров и тут не упоминалось) совершенно разбиты у Львова. Как только выяснится ожидаемое отступление австрийцев, немедленно будут приняты меры к переброске наших сил на германский фронт, причем имеется в виду также развитие наступательных действий на левом берегу Вислы».

Вторая половина этой телеграммы, повидимому, являлась следствием многократно передававшихся мною пожеланий французской главной квартиры о развитии наших операций в направлении Краков — Познань.

«Полагаю соответственным, — телеграфировал мне еще 1 сентября Монкевиц, — чтобы вы доложили генералу Жоффру, что у нас имеются достоверные сведения о начавшейся еще в четверг 27 августа перевозке германских сил с западной границы на восточную (части, как обычно, не указывались).

Ряд признаков (выражение очень невоенное и достойное автора — представителя министерства иностранных дел при ставке, Базили) указывает на то, что немцы перебрасывают войска с Западного на Восточный фронт. Помимо сведений о перевозке частей по германским железным дорогам, в настоящее время обнаруживается присутствие этих войск на нашем фронте». (Каких именно войск, тоже, конечно, не сообщалось.)

Наконец, и генеральный штаб и ставка сообщили о появлении на нашем фронте III баварского корпуса, не покидавшего, как известно, за все четыре года войны фронта в Лотарингии. Однако верх бестактности проявил генерал-квартирмейстер ставки Николая Николаевича, так называемый «черный» Данилов (мы его так называли в отличие от «рыжего» Данилова — талантливого и всеми уважаемого Николая Александровича).

«Для разговоров в главной квартире Жоффра, — гласила телеграмма Данилова от 7 сентября (то есть на второй день Марнского сражения), — мы можем констатировать факт переброски части сил немцев против нас, чем облегчается положение французов и что, вероятно, позволит им перейти к проявлению соответствующей активности».

Напоминать французам об активности в подобную минуту казалось более чем неуместным: Марнское сражение находилось в самом разгаре.

Тем не менее, как ни было тяжело, но я по долгу службы передал и эту телеграмму Жоффру, и Бертело просил меня сообщить 9 сентября следующий телеграфный ответ французской главной квартиры на французском языке:

«On estime qu'il est actuellement impossible de supposer que des unités actives quelconques puissent être retirées du Front français, la bataille actuelle en donne toutes les preuves. — On ne nie pas quand même, que les troupes de réserve et de landwehr peuvent être dirigées contre nous, mais on met en doute leur valeur militaire. Il se pourait bien aussi que des bruits de ce genre étaient lancés par les Allemands eux-mêmes dans le but de retenir notre offensive et gagner du temps pour les coups contre la France, ainsi que pour le perfectionnement de leur défense sur notre frontière. On reste nassuré que nous faisons en ce moment l'effort suprême avec le but de concentrer toutes les ressources disponibles pour utiliser le temps qui nous est donné par la lutte de la France contre le gros des forces allemandes».

(«Мы считаем, что в настоящее время невозможно предполагать, будто какие-либо действующие части могли быть сняты с французского фронта; происходящее сражение дает этому все доказательства. Впрочем, не отрицается, что резервные и ландверные войска могут быть направлены против нас, но их ценность вызывает сомнение. Возможно также, что подобные слухи распускаются самими немцами с целью задержать наше наступление и выиграть время для ударов против Франции, а также для усовершенствования обороны на нашей границе. Здесь вполне уверены, что мы делаем в настоящий момент самое большое усилие для сосредоточения всех наших сил и всех средств для использования того времени, которое нам дается борьбой, ведущейся Францией против главных германских сил».)

Этот тонкий намек на возможность неправильного осведомления нашего командования напомнил мне сложившееся еще с маньчжурской войны мнение о нашем пристрастии к тайной агентуре и о плохой организации войсковой разведки.

Лишь много позже удалось раскрыть источники русского осведомления и убедиться, что маньчжурская болезнь, которой были заражены разведывательные отделы

штабов, оставалась неизлеченной и что она-то и явилась одной из главных причин не заслуженных русской армией тяжелых поражений.

Величественная по своей напряженности эпопея, что разыгралась на марнских полях, к 10 сентября подходила к своему финалу.

«На крайнем левом фланге парижской армии немцы стали отходить и очистили Нантейль. С девяти часов утра их 1-я армия продолжала отступать в северо-восточном направлении. Гвардия и X корпус также начали отступление на север», — доносил я вечером того же дня и заканчивал свою телеграмму следующим скромным намеком на победу: «В общем надо признать, что французы имели за истекший период сражения большой успех, откинув правый фланг германской армии почти на три перехода».

Я не считал сражения оконченным, но я мог ошибиться. Мне казалось, что я вправе оторваться хоть на несколько часов от своих телеграмм и лично выяснить положение на фронтах. Баки моей машины были давно наполнены горючим, и Лаборд и Латизо уже третий день ходили подпоясанными, при револьверах, а моя шашка заняла почетное место за кожаным конвертом для карт, прикрепленным позади переднего сидения. Оставалось только получить словесное разрешение «хозяина», так как постоянный «Laisser passer» (нумерованный пропуск, выдававшийся только старшим чинам главной квартиры) уже лежал в моей полевой сумке. Он давал право без сообщения пароля проезжать в любой час дня и ночи на любой, даже передовой, участок фронта. Я сохранил этот пропуск как воспоминание о первой мировой войне.

Бюро штаба в Шатильоне располагалось на окраине городка в старинном здании женского монастыря, давно поступившем в собственность государства: там же, в одной из келий, жил и работал Бертело.

Нестерпимая жара первых дней сражения сменилась холодными осенними дождями, но толстяк продолжал работать в своем белом халате: он, как хирург, руководил операциями. Впрочем, на форму одежды никто не обращал внимания.

Доступ к Бертело я уже имел свободный и, как обычно, просил через него разрешения Жоффра faire une tournée sur le Front (прогуляться на фронт).

— Это вопрос принципиальный, мой милый полковник, — сказал Бертело. — Вы знаете, что мы ни одного иностранца на фронт не допускаем. Но для вас, как раз сегодня, главнокомандующий приказал сделать исключение. Необходимо только, чтобы ваши коллеги — англичане, бельгийцы, японцы, сербы — про это не узнали. Кроме того, вам ни в коем случае не следует переезжать на северный берег Марны, избегая тревожить и без того занятых наших генералов. Впрочем, вы это сами прекрасно понимаете, — провожатого для вас не требуется.

— Привозите нам завтра хорошие вести, — улыбаясь, закончил Бертело.

Он всегда был всем доволен, что являлось одним из главных качеств этого хитрого стратега. И мне странно вспомнить сейчас о том, что несколько лет спустя выдержанный, уравновешенный Бертело потерял голову под чарами румынской королевы, красавицы Марии, и ринулся в бесславный, заранее обреченный на неудачу, поход против Советской России.

•

Было еще совсем темно, когда перед рассветом я выехал из нашей усадьбы на фронт. Избранный с вечера маршрут был нанесен на карту, и «ролс-ройс» плавно помчал меня прямо на север, в направлении Фер-Шампенуаза.

Это название было мне давно и хорошо знакомо. Я читал его не раз на серебряной трубе трубача, когда-то стоявшего со мной в дворцовом карауле. Кавалергардский полк получил это отличие за подвиг, совершенный в одном из последних боев против Наполеона в 1814 году. Ровно через сто лет Фер-Шампенуаз — небольшая деревушка, расположенная на шоссе из Парижа в Нанси, — явилась центром самых ожесточенных боев в Марнском сражении.

На центральной крохотной площади уцелел скромный памятник — колонка из серого камня, наверху которой распластал свои крылья почерневший от времени двугла-

вый орел. Я велел Латизо остановиться, вышел из машины, снял фуражку и прочел краткую надпись:

«En mémoire des soldats russes tombés ici en 1814» [1].

Неподалеку, в сторонке, прижимаясь к стенке, стояла небольшая партия пленных немцев. Это были гвардейцы. Их охраняли республиканские солдаты в красных штанах, с неизменной трубкой во рту. По исхудалым лицам немецких пленных, по их потухшим, безразличным взорам можно было убедиться, что эти люди были доведены до предела изнеможения. Вот он, результат пресловутых пятидесятикилометровых переходов на «кайзер-маневрах», которыми так гордились перед войной мои германские коллеги. Их армии пришли на поле сражения измученными не только непосильными переходами по страшной жаре, но и голодными — из-за отставания продовольственных транспортов и обозов. Когда после сражения на Марне французские врачи вскрыли из любознательности несколько немецких трупов, то в их желудках нашли только куски сырой сахарной свеклы. Поля были еще не убраны, и голодные германские солдаты заменяли свеклой недополученный военный рацион.

Куда девались традиционные немецкие каски из черной кожи с остроконечным шишаком и золотым орлом! При походной форме цвета «фельд-грау» (полевой серый) каски эти покрывались, подобно французским кирасам, матерчатыми чехлами. Для облегчения на походе пехота расставалась даже с шанцевым инструментом.

Интересен был замысел, положенный в основу плана Шлиффена, — захождение с семью армиями, правым плечом вперед, через Бельгию во Францию. Добросовестно был разработан в берлинском генеральном штабе марш-маневр на Париж. «Nach Paris!» — было лозунгом всей германской армии. Офицеры уже мысленно заказывали хороший завтрак у Вуазена и непревзойденное французское вино — «солнце в бутылках!»; немцы, как известно, любили не только покушать, но и пожрать. Теперь эти планы рухнули — если не навсегда, то надолго. Немецкие стратеги неисправимы: привыкшие с детства смотреть на все немецкое через сильное увеличительное стекло, etwas colossal (нечто колоссальное), они проваливают свои

[1] В память русских солдат, павших на этом месте в 1814 году.

проекты из-за несоответствия поставленных задач силам своих бесспорно хороших солдат.

Немецкие генералы учитывают патриотизм только своих соотечественников, патриотизм других народов и готовность их на подвиги для защиты родной земли они в расчет не принимают.

Глядя на пленных верзил — германских гвардейцев, трудно было узнать в этих оборванцах тех самых людей, которыми я любовался еще месяц назад на гвардейском вахтпараде в Берлине.

По дошедшим до меня впоследствии рассказам о допросах пленных строевых офицеров, картина сражения немцам представлялась так.

По порядку, вошедшему уже в привычку, они встали 6 сентября очень рано, чтобы использовать для очередного тяжелого перехода более прохладные утренние часы. Попили кофе, закусили чем бог послал, или, вернее, что удалось пограбить во французских деревнях, и, ничего не подозревая, тронулись в путь. Пройдя через собственное ночное охранение, головная кавалерийская застава задержалась: она была встречена ружейными выстрелами из-за стен какого-то каменного замка. Подошел пехотный головной отряд, развернулся, открыл огонь. Колонна авангарда приостановилась, ожидая распоряжения, потом сошла с дороги, стала тоже перестраиваться в боевой порядок, выдвинула артиллерию. А пехотный огонь все усиливался, фронт с каждым часом расширялся. Пехотные цепи авангарда стали наступать, как вдруг внезапно попали под страшный ураган французских гранат.

Так выполнялся приказ Жоффра: «Прекратить отступление».

Так и началось сражение.

А вот и начало его конца. Когда я приближался к тем боевым рубежам, о которых за последние дни упоминал в своих телеграммах в Россию, меня обдало волной тяжелого трупного запаха. Лаборд и Латизо, конечно, тоже почувствовали его, но, вероятно, из чувства военной этики, не поделились этим первым впечатлением. По мере приближения к Фер-Шампенуазу смрад этот смешивался с запахом гари — не дыма пылающих деревень, а гари от тлеющих старинных дубовых балок в разрушенных снарядами каменных постройках и разбросанной то тут, то там, отсыревшей от непогоды бивачной подстилочной

соломы. Я уже замечал, что всякое сражение в маньчжурскую войну заканчивалось почему-то дождем, — и небо во Франции также, повидимому, гневалось на артиллерийскую канонаду.

Трупный запах, характеризовавший марнские поля сражений и еще долго меня преследовавший, исходил от бесчисленных трупов лошадей, валявшихся по обочинам шоссе. Громадные животные казались какими-то чудовищами от непомерно вздутых животов. Зловоние исходило также от растертых до глубоких ран конских спин и боков.

Причина падежа была для меня ясна: лошади пали не только от снарядов, но и от переутомления, от допотопной французской седловки, а главным образом от недостатка воды. По привычке, унаследованной от мирного времени, конница, очевидно, двигалась исключительно по дорогам, переходя через речки и ручьи по мостам, и потому могла пользоваться для водопоя только колодцами на ночлегах. А они давно пересохли в это небывало жаркое лето.

Мои мрачные предположения подтвердились видом пересекавшей наш путь колонны в несколько эскадронов; они плелись шагом вслед за своей пехотой, чуть ли не вперемежку с продвигавшимися на север полковыми обозами. Это были уже совершенно не пригодные для боя и потому оставленные в тылу части 9-й кавалерийской дивизии, которой, как я помню, командовал мой «крестный» по Жокей-клубу, генерал де Лепе. Я встретился с ним через несколько недель после Марны в Париже, но это уже был не тот подвижной, полный лихости кавалерист, каким я привык его видеть; он постарел, и нервный тик его лица казался еще сильнее.

— Не о такой войне мечтали мы, — сказал он со вздохом. — Конные атаки немыслимы из-за проклятых пулеметов, а из деревень не выкуришь этих бошей.

— Наше высшее командование, — продолжал де Лепе, — требовало от нас боевых действий в спешенном строю, а разве это дело для кавалерии! Покоя начальство тоже не давало, лошади оставались по целым неделям нерасседланными и целыми днями непоенными...

Бороться с консерватизмом французских генералов на войне оказалось задачей невыполнимой; их самих

пришлось сменять и отправлять «на траву» — «отдыхать», как говаривали в свое время русские кавалеристы.

После этой беседы мне тоже стало ясно, почему ни в одной из своих телеграмм я не нашел повода упомянуть о когда-то блестящей и не оправдавшей возлагавшихся на нее надежд французской кавалерии.

Отправляясь на поле сражения, я не представлял себе, что, не видя войск, мне удастся вынести из поездки что-либо поучительное. Но я ошибся. Не зря ведь тратил время даже сам Наполеон, объезжая поля сражений.

Самые жестокие бои в Марнском сражении происходили к северу и востоку от Сен-Гондских болот, где местность представляла собою безотрадные, волнистые, малонаселенные равнины, испещренные чахлыми сосновыми рощами. В мирное время это были те редкие для Франции районы, где имелась возможность производить маневрирование крупными войсковыми соединениями и вести боевую артиллерийскую стрельбу. Тут раскинулся исторический Шалонский лагерь, на который возлагал в свое время столько надежд создавший его Наполеон III. Здесь же, неподалеку, располагался лагерь Мальи — местопребывание русских бригад во время мировой войны.

Для укрытия от взоров противника французы при обучении войск рекомендовали широко использовать складки местности, но, проехав много километров, я нигде не нашел следов столкновения на открытых пространствах. Лишь вдоль придорожных канав лежали отдельные трупы солдат в красных штанах. «Вот они — безвестные защитники родины!» — думалось мне. Среди них я, быть может, узнал бы и тех беспечных парижан, что целовались, прощаясь, с возлюбленными на бульварах в памятную ночь мобилизации.

Стало ясно, что войска уже постигли значение хотя и примитивной, но все же кое-какой воздушной разведки и укрывались по-иному. Остановив машину, мы решили заглянуть в рощицу, и то, что увидели, открыло глаза на многое. Даже маловпечатлительный и замкнутый Лаборд, и тот не удержался от тяжелого вздоха: вдоль прорубленной артиллерийскими гранатами просеки лежали выравненные взводы французской пехоты. Все головы были обуглены, и раскрытые глаза мертвецов казались от этого еще более страшными. Сомнений не было: это были жертвы знаменитых coups de hache (ударов топо-

ром) собственной французской 75-миллиметровки, стрелявшей на рикошет гранатами, начиненными мелинитом.

Я изучал эту стрельбу как раз за два года до войны, сопровождая нашу артиллерийскую комиссию в Шалонский лагерь на курсы усовершенствования командиров батарей. Правда, на показной стрельбе нам хвастались только поражениями деревянных болванок, уложенных в окопы, но в своем рапорте я уже указывал на несравненную в ту пору мощь французского полевого орудия. Председатель комиссии, генерал Маниковский, поддерживал мое мнение, но всемогущий в ту пору артиллерист, великий князь Сергей Михайлович, методов французской стрельбы не признавал и продолжал увлекаться прицельной стрельбой по щитам, преимущественно шрапнелью, на Лужском полигоне.

Не доверяя первому впечатлению, мы стали заходить в другие рощицы и увидели жертвы французской артиллерии — полегшие на опушках цепи германской пехоты, а за ними жертвы французской артиллерии — части собственной пехоты: артиллерия поддерживала, очевидно, ее наступление, но не удлиняла достаточно прицела. Увы, причиной оказывалось все то же пренебрежение техникой и отсутствие телефонной связи, на которую я безрезультатно указывал нашим союзникам. Телефоны были редкостью, а радио в частях тогда еще не существовало.

Но вот и брошенные немцами их артиллерийские позиции. Как свидетель поражения, валяется на земле полевая гаубица с разбитыми колесами, другая рядом с ней осталась стоять со стволом, сдвинутым с муфты одним удачным разрывом французской полевой гранаты; в ровиках полегла поголовно вся прислуга с обугленными головами.

Чем дальше я продвигался на север, тем громче гремела артиллерийская канонада. Казалось, что ей нет границ ни в силе, ни во времени, ни в пространстве. Подобной музыки мне еще слышать не приходилось. Маньчжурские сражения показались столь же ничтожными, как жалкой кажется теперь Марна по сравнению с великой битвой под Москвой...

Становилось все яснее, что Марнское сражение было выиграно не пехотой, а французской артиллерией. В Маньчжурии «царицей полей сражений» оказалась пехота, — на Марне усталую, деморализованную долгим отступлением пехоту спасла артиллерия. Это мнение

разделял, как я мог впоследствии убедиться, и сам генерал Жоффр.

Осмотр германских батарей, разбитых французской артиллерией, убедил меня, что отход гвардии и X германского корпуса, сражавшихся против 9-й армии Фоша, не был добровольным и что вслед за отступлением армии фон Клука и Бюлова, о которых я уже доносил в своих телеграммах, германский центр тоже дрогнул. Рубежи, намеченные в моем маршруте, уже остались позади, и не сравнимое ни с чем ощущение успеха на войне побуждало не обращать внимания на неприглядную картину победоносной армии. В такие часы жертвы в счет не идут.

Двигаясь вдоль фронта в западном направлении и доехав до высоты Монмирайля, обращенного в груду развалин, мы еще раз попробовали пробиться на север, ближе к тем местам, откуда продолжала доноситься канонада, но все дороги были запружены спешившими на север синими колоннами пехоты. Казалось, им не было конца. Люди шли плотными рядами, без отсталых, без растяжек, — так, как я привык их видеть на больших маневрах после тяжелых переходов. Латизо, как всякий хороший шофер, стремился их обогнать, но я считал неуместным стеснять движение войск своей машиной и велел повернуть обратно на восток, чтобы успеть взглянуть и на правый фланг французских армий.

Вот и родной Витри-ле-Франсуа, который еще не остыл от горячих боев: то тут, то там по его окраинам из полуразрушенных построек вырываются языки пламени незатушенных пожаров. Хочется взглянуть на гостеприимный дом моего нотариуса, и Латизо сворачивает с дороги на соборную площадь. Малооживленный городок совершенно вымер и своей тишиной напоминает кладбище. На повторные звонки Лаборда дверь открыла изумленная нашим появлением хозяйка; она приняла нас, как родных, и свела в подвал, где собрались ее подруги, спасаясь от бомбардировки. Мужья уже давно скрылись. Милые женщины усердно угощали нас чем бог послал, но мы спешили: на дворе уже темнело, а нам предстояло еще проехать больше сотни километров до главной квартиры.

Ночь была как-то особенно темна. Усталость не чувствовалась, и, полулежа в машине, я все же не дремал: хотелось как можно скорее поделиться впечатлениями

с французскими товарищами, узнать про общее положение за день на фронтах.

Главная квартира уже спала, и в полутемном, освещенном только ночником монастырском коридоре я не без труда нашел келью Бертело.

Приоткрыв дверь, я изумился. Несмотря на поздний час, Жоффр еще не спал и, наклонившись над картой, освещенной коптившей керосиновой лампой, слушал доклад стоявшего около него Бертело. Тут же, в сторонке, сидел и начальник штаба, генерал Беллен.

— Ах, это Игнатьев? Входите, входите! — весело воскликнул Бертело. —Расскажите, что нового!

Жоффр оторвался от карты и, как всегда, слегка свернувшись на левый бок, пожал мне руку, приглашая присесть на крохотный переплетенный соломой табуретик.

Докладывал я, как помнится, кратко, но с большим подъемом, и в заключение просил разрешения в моей телеграмме в Россию охарактеризовать общее положение словом «победа».

— Ах, зачем такое громкое слово? — как-то смущенно улыбаясь, возразил Жоффр. — Вот тут, в Аргоннах, ils se cramponnent (они еще цепляются), — и он показал на карте армию германского кронпринца к юго-западу от Вердена. — Напишите: «успех», «общий отход немцев».

Но я не унимался и продолжал настаивать на слове «победа», пытаясь найти поддержку у Бертело.

Тяжелая работа не отразилась на его лоснящемся от здоровья лице. Своим довольным видом он напоминал ученика, только что блестяще выдержавшего трудный экзамен. Но Бертело знал своего упрямого начальника, не посмел ему перечить и только лишний раз стал указывать карандашом успехи, достигнутые на каждом из участков обширного фронта.

— Ну, пусть будет так, — сказал Жоффр. — Но вот о чем вы должны были бы предупредить великого князя: это о непредусмотренном расходе артиллерийских снарядов. Совершенно необходимо, чтобы он учел это для вашей армии.

— Я бы с удовольствием это сделал, — заметил я Жоффру, — но генерал Бертело уже знает, сколько мне пришлось преподать непрошенных советов великому князю, и лишний урок с моей стороны мог бы вызвать в нем только раздражение. А вот если бы вы, за своей

подписью, посоветовали, на основании опыта вашего фронта, принять меры по обеспечению снарядами русской армии, то это могло бы быть более действенным.

— Да, вы правы, — сказал, подумав, Жоффр. — Я даже сделаю это через наше правительство. Это будет выглядеть еще более серьезным.

Я, конечно, промолчал о том упорстве, доходившем до враждебности, с которым русское начальство еще до войны относилось к моим настойчивым указаниям об увеличении, по примеру французов, боевого комплекта снарядов до тысячи пятисот на каждое полевое орудие вместо имевшихся у нас девятисот снарядов.

«У них так, а у нас так», — звучал еще в ушах ответ Жилинского.

Жоффр тут же стал диктовать Бертело телеграмму Мильерану, а я пошел строчить письмо Извольскому, томившемуся в неведении в далеком Бордо.

«Глубокоуважаемый Александр Петрович! — писал я. — Общее положение представляется мне в следующем виде: минувшее генеральное сражение, несмотря на его кровопролитность, в которой я лично убедился, объехав поля сражений, не было решительным в том отношении, что германские армии хотя и вынуждены были отступить, но отступили в порядке и сохранили, повидимому, полную способность к возобновлению боя. Однако это сражение имело громадное моральное значение, доказав не только самой французской армии, но и всему миру, что французы способны побить немцев во главе с самим императором.

Высшее французское начальство утвердилось в вере в себя, а это крайне важно для конечного успеха...»

Прошли года, окончилась война. Безвычурные, но полные воли и упорства приказы Жоффра сменились трескучими фразами Фоша, гордого своей победой над армиями кайзера.

Франция почувствовала себя вправе диктовать свои законы всей Европе, и только одна страна, занимавшая шестую часть мира, позволяла себе роскошь жить и думать самостоятельно.

Среди драгоценных камней, украсивших корону победительницы, самым блестящим бриллиантом все же оста-

валась битва на Марне. Ее-то особенно старались использовать все те силы реакции, которые подняли голову после заключения Версальского мира.

Когда-то один из величайших американских миллиардеров, Морган, хвастаясь организацией своего громадного дела, говорил, что он может в этом отношении завидовать только «организации германской армии и католической церкви».

Организация католической церкви позволяла ей использовать все средства для собственной пропаганды, и Марнское сражение тоже послужило для нее «подходящим материалом».

В одну из годовщин этого события я получил следующую пригласительную карточку:

> Как участник Марнского сражения, вы приглашаетесь на церемонию для прославления Всевышнего, показавшего себя в дни Марны таким добрым французом.
>
> *Архиепископ Парижский* *Маршал Франции Фош*

Самодовольство победителей, захвативших права на самого «всевышнего», могло вызвать в то время только горькую улыбку, но соединение на одном и том же, хотя и полуофициальном, документе подписей представителей церкви и армии ярко отражало тот реакционный послевоенный консерватизм, который уже тогда открывал широкую дверь для грядущего фашизма.

Не за то проливали кровь французские солдаты первых дней войны, не такой представлялась им будущая судьба Европы. Все мы надеялись, что эта война будет последней.

Глава четвертая

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

— Когда же кончится война? — задал мне наивный вопрос спустя несколько дней после Марны офицер военного кабинета президента республики Пенелон, встретив меня во дворе штаба главной квартиры.

Поддерживая связь между Жоффром и Пуанкаре, Пенелон, вероятно из желания придать более воинствен-

ный характер своей миссии, прилетел из Бордо измученным, в запыленном автомобиле, вместо того чтобы совершать ту же поездку несравненно скорее в железнодорожном экспрессе. Война представлялась еще многим интересной новинкой, такой, как про нее читалось в исторических романах; только лихие ординарцы на взмыленных конях заменялись офицерами связи в потрепанных от стоверстных пробегов машинах.

— Не менее двух лет, — бросил я в ответ Пенелону, учитывая опыт маньчжурской войны и нерешительный результат битвы на Марне.

— Не может быть, — ужаснулся мой собеседник. — А господин президент собирался уже к рождеству вернуться в Париж.

Я пожал плечами и не задерживал всегда куда-то спешившего Пенелона. Однако через несколько дней оказалось, что мой ответ произвел в мирном Бордо совсем неожиданное впечатление.

— Пуанкаре очень озабочен вашими пессимистическими взглядами на войну, — сообщил мне Извольский. — Президент считает, что подобные мнения могут возыметь вредное влияние на французскую армию.

Пришлось давать объяснения.

— Если союзники не подготовятся к длительной борьбе, — ответил я, — если не озаботятся пополнением материальной части и в особенности накоплением запаса артиллерийских снарядов, то они будут разбиты. Впрочем, если мои советы признаются господином президентом вредными, то я готов немедленно покинуть свой пост и просить мое начальство о срочной присылке заместителя, бóльшего оптимиста, чем я.

Как лавировал в Бордо Извольский, мне, конечно, неизвестно, но вопрос был исчерпан.

Однако и я ошибся: война длилась не два, а целых четыре года. Я не мог предвидеть, что уже через месяц после разговора с Пенелоном она начнет принимать характер мировой, что 29 октября 1914 года на стороне Германии выступит Турция, а ровно через год и Болгария; что на стороне России, Франции, Англии, Бельгии и Сербии выступят Япония и Италия, через два года — Румыния и Португалия, а через три — Китай, Греция, южноамериканские республики и Северо-Американские Соединенные Штаты.

В войне на несколько фронтов каждый союзник склонен видеть прежде всего то, что находится непосредственно перед ним. Быть может, это и было причиной недооценки нашей ставкой Западного фронта, несмотря на то, что за все четыре года войны этот фронт притягивал на себя большую часть германских корпусов. Французы прекрасно сознавали, что, не будь русского фронта, они были бы раздавлены германской армией, но в русских правящих кругах даже сама марнская победа вызвала совершенно неожиданную реакцию. Ставка поручила мне запросить мнение генерала Жоффра по следующему вопросу:

«Ход военных операций на обоих европейских театрах войны и сведения, получаемые со всех сторон о перевозке значительных германских сил с запада на восток, наводят на мысль, что немцы, оставив слабую завесу на Западном фронте, все силы бросят на восточный театр, с тем чтобы совместно с австрийцами нанести решительный удар России...»

Подобные тревожные телеграммы, не указывающие источников осведомления и даже примерного размера перебрасываемых войск, заставляли французов предполагать, что наши разведывательные органы придают чрезмерное значение данным агентурной разведки.

Широкое и планомерное развитие германской контрразведки вынуждало Гран Кю Же относиться с чрезвычайной осторожностью ко всякого рода сенсационным и недокументальным сведениям, заподозривая в них работу германского контршпионажа.

Последняя телеграмма ставки сопровождалась в тот же день телеграммой Сазонова к Извольскому. В ней-то и скрывалась истинная подоплека стратегических и малообоснованных размышлений русского командования, а именно:

«Как бы Франция, утомленная войной, не нашла в себе решимости продолжать наступление в то время, когда она будет иметь в руках достаточные гарантии возвращения ей утраченных в 1871 году земель. Настоящая дипломатическая обстановка, конечно, в принципе исключает возможность принятия Францией того положения, но она может быть к нему вынуждена состоянием своей армии к моменту, предусматриваемому великим князем,

а также общественным мнением. Великий князь, придавая своему сообщению генералу Жоффру исключительно характер разговора между обоими главнокомандующими, то есть строго военного, просит вас (посла), со своей стороны, в пределах возможного выяснить положение, которое может принять Франция в предусматриваемом его высочеством случае».

За такой формой, достойной византийских чиновников, скрывался намек на возможность предательства со стороны Франции: царские министры, видимо, опасались, не заключит ли она сепаратного мира с Германией за счет России.

Этот документ показывал, кроме того, полную неосведомленность русских правящих кругов о положении на Западном фронте. «Неужели эти господа не читают моих ежедневных телеграмм? — думалось мне. — Или, быть может, попросту они с ними не считаются?»

Они должны были знать, что после Марнского сражения боевые действия на западе не прекращались. Вся Франция с напряженным вниманием следила за той упорной борьбой, начало которой было положено французским обходом правого фланга германских армий в сражении на Марне.

Немцы парировали удар, перебросив к этому флангу свои резервы, и пытались в свою очередь обойти левый фланг французов, с тем чтобы пробиться к северным портам Франции, откуда ожидались английские подкрепления. Толстяк Бертело тоже не дремал и перебрасывал на север войска, снятые с Лотарингского фронта.

«Для обоих противников, — как я доносил, — переброска по железным дорогам с каждым днем приобретала все большее значение».

Количество наличных резервов имело, однако, свой предел, и к середине октября 1914 года, к моменту растяжения фронта до бельгийской границы, резервы французов почти истощились.

После беспримерных по ярости контратак французской морской пехоты (fusiliers marins), покрывшей себя славой, германское продвижение приостановилось, а для обороны оставшегося до моря двадцатипятикилометрового пространства пришлось прибегнуть к «последнему резерву» — искусственному наводнению.

— Ну, слава богу! — с облегчением сказал мне Бертело. — Им больше идти некуда: мы открыли северные шлюзы и пустили на них воду!

Так закончилась длительная операция, прозванная «бегом к морю»!

Это были черные дни для несчастной Бельгии. Пал Антверпен, был занят Брюссель, и остатки деморализованной бельгийской армии, вперемежку с населением, спасались от бесчеловечного преследования немцев бегством к французской границе. Остановить эти толпы и разобраться в них требовало немало усилий, но никакие испытания не могли лишить французов права посмеяться и пошутить.

В армии долго был в ходу следующий, весьма близкий к действительности, анекдот.

За недостатком полевых войск на последнем пограничном мосту через Изер стоял часовым добрый старый французский территориал. Холод. Дождь. Часовой поднял воротник и вглядывался в ночную даль. По дороге со стороны Бельгии ему уже не раз приходилось пропускать мимо себя то солдат, то мирных граждан, жен, детей, и бравый часовой решил, наконец, самостоятельно навести порядок.

— Halte là? Qui vive? (Кто идет?) — останавливает он надвигавшуюся на него новую толпу, из которой доносятся жалобные крики:

— Les fuyards (беженцы)

На что территориал спокойно и авторитетно приказывает:

— Les fuyards, à gauche! (Беженцы налево!)

После перехода моста он собирал беженцев налево, а всех одетых в военную форму — направо.

Там, за рекой Изер, на последнем небольшом клочке бельгийской территории, король Альберт собрал вокруг себя остатки своей армии. Высокий, близорукий блондин в пенсне, он ни в каком отношении не казался выдающимся человеком. Но за то, что он не продал немцам чести своей страны и разделил судьбу своего несчастного народа, он заслужил его уважение и покрыл себя славой героя.

В конце 1914 года, в одну из своих поездок на фронт, я заехал, из военно-дипломатической вежливости, и на крайний левофланговый участок, оборонявшийся

бельгийцами. Он оставался частью затопленным до конца войны и тактического интереса уже не представлял. Время от времени немцы все же напоминали о себе тяжелыми снарядами, а позднее и бомбежкой с самолетов скромной бельгийской главной квартиры. Она была расположена почти непосредственно на линии фронта, в небольшой деревушке Фюрн, где в уцелевшей вилле принял меня сам король, он же главнокомандующий, и пригласил меня к завтраку.

Обстановка была действительно трогательная: никакого двора, никакой придворной роскоши. Королева — маленькая, худенькая, но очень энергичная женщина в костюме сестры милосердия — напомнила мне знакомую простоту Скандинавии.

Как всегда и везде, разговор со мной вращался вокруг положения на русском фронте, и, как всегда и везде, мне ничего не оставалось добавить к появляющимся в газетах официальным и сухим сообщениям Петроградского телеграфного агентства.

Эти сообщения изредка пополнялись так называемыми «циркулярными» телеграммами нашего генерального штаба, но когда они получались, они производили на французов, как я доносил, «впечатление, обратное тому, которое мы желали произвести».

Как показала история, уже в начале октября 9-я германская армия Макензена начала марш-маневр против Варшавы, заставляя этим русское командование изменить первоначальные наступательные планы.

Мое служебное положение снова стало нестерпимым, так как за период горячих сражений на Восточном фронте посылка даже «циркулярных» телеграмм нашего генерального штаба совсем прекратилась.

«Высшее французское командование знает об операциях наших армий не больше, чем обыватель любой страны мира», — телеграфировал я генерал-квартирмейстеру ставки Данилову 4 декабря 1914 года.

«А мы находимся в аналогичном положении, но нисколько этим не тяготимся» (!), — мудро ответил мне Данилов, отделываясь от меня, как от назойливой мухи, и умалчивая с этой целью о получаемых им ежедневно телеграммах с Западного фронта.

С постепенной его стабилизацией от моря до границы и развитием операций на русском фронте во-

прос переброски германских сил приобретал все большее значение.

Учет их представлял, однако, тоже все большие трудности, — не только из-за отвода германских частей на долгий срок во вторую линию, но и вследствие неожиданного появления уже в начале октября шести новых германских корпусов серии от 22 до 27, из которых пять были постепенно обнаружены на французском фронте и один — на русском. Все знали, что после тяжелых потерь, понесенных немцами в первые недели войны на Западном фронте, они поспешат досрочно призвать под знамена очередной призыв 1915 года, размер которого в два раза превосходил французский и определялся от четырехсот до пятисот тысяч человек, но самому Дюпону не верилось, что немцы сумеют в такой короткий срок сформировать столь крупные соединения, как корпуса.

Брошенная в сражение во Фландрии необстрелянная и неуверенная в себе молодежь, составлявшая эти новые корпуса, пошла в атаку, держа друг друга под руки. Быть может, этим было положено начало пресловутых германских «психических атак» 1940 года.

Хладнокровных англичан, переведенных после Марны на северный фронт в район города Ипр, это не смутило, и их пулеметы исправно косили плотные немецкие строи.

Французы на первых порах показали, впрочем, по-своему красивую, но ненужную храбрость: сен-сирские юнкера пошли в первую атаку в парадной форме и в белых замшевых перчатках.

Агентурные сведения о переброске германских сил, поступившие после Марны из русской ставки, начали получать свое подтверждение во французской главной квартире только в первых числах ноября, когда было переброшено на восток две кавалерийских дивизии. В связи с этим я счел полезным телеграфировать некоторые соображения о времени, потребном для проведения немцами перебросок:

«Принимая за основание расчета расстояние от Брюсселя до Бреславы в 1 200 км, среднюю скорость движения поездов — 20 км в час, число отправляемых поездов в сутки — 40, число поездов, потребных для корпусов, — 120, можно заключить, что для перевозки корпуса потребуется: на сбор и погрузку — 2 дня, на пробег всех

120 поездов — 6 дней, на выгрузку и сосредоточение — 2 дня, — то есть всего от 10 до 12 дней».

С начала вторичных боев под Варшавой русский генеральный штаб, служба которого, как казалось, начала налаживаться, определял германские силы на русском фронте от трех до пяти полевых корпусов, шести резервных, от двух до трех ландверных и шести кавалерийских дивизий.

«Здесь полагают, — отвечал я 20 ноября, — что против нас действует гораздо больше сил, чем те, кои показаны в вашей телеграмме».

А через неделю после этого пояснил:

«Неудачи, которые потерпели немцы в боях во Фландрии, равно как и временное затишье, наступившее за последние дни, естественно изменили мои соображения о переброске сил на Восточный фронт. По многим признакам, немцы сняли с фронта большую часть тяжелой артиллерии».

Переброска частей с французского на русский фронт становилась тяжелой реальностью.

И чем дальше длилась война, тем сложнее становилась работа по выяснению не только германских перебросок, но и роста германских сил. После октябрьских корпусов в январе 1915 года была обнаружена целая серия новых корпусов, в конце марта — правда, уже не корпусов, а дивизий, из которых одиннадцать насчитывалось на французском и три на русском фронте, в мае 1915 года — уже только полков. Число дивизий росло, но сила каждой из них уменьшалась. С неподражаемой изобретательностью и организованностью немцы перетряхивали свои людские запасы, разыскивая пополнения dans le fond des tiroirs (на дне ящиков), как говаривали французы.

Я давно покинул свой стол в помещении штаба и работал в отведенной мне квартире госпожи Буланже, жены мобилизованного писателя — типичного буржуазного эстета. Приехав как-то с фронта в краткосрочный отпуск, хозяин набросился на моего шофера Латизо за то, что масло от моей машины закапало каменную плиту в подворотне. Буланже считал высшей несправедливостью свое пребывание в грязных, холодных окопах в обществе «некультурных» людей.

В гостиной госпожи Буланже, обращенной в мой рабочий кабинет, вместо гравюр XVIII века с любовными сценами и пасторалями, появились две громадных карты русского и французского фронтов, испещренные надписями углем, с названиями обнаруженных германских частей. (Уголь легко было стирать.) Подле каждой карты, от низенького потолка до самого пола, висели таблицы: на одной стене — красного цвета, для французского фронта, а на противоположной — зеленого, для русского фронта, отображавшие организацию всех германских армий.

На моем письменном столе, застланном богатым хозяйским шелковым покрывалом, стояли две деревянные картотеки, доведенные до номеров немецких полков, а подчас и батальонов: одна для русского, а другая для французского фронта. На каждой карточке были точно проставлены документы, то есть номера сводок или телеграмм из России, на основании которых она была составлена.

Мои скромные помощники, выполнявшие всю эту кропотливую работу, знали, что к вечеру, перед отправкой телеграмм в Россию, данные карты, таблиц и картотеки должны были сходиться.

В те «святая святых», что представлял мой кабинет, вход посторонним лицам был запрещен, но, конечно, я не мог в этом отказать такому высокому начальнику, как Фош. Он в эту зиму командовал уже всем Северным фронтом, как единственный из французов, умевший ладить с англичанами. Являясь по службе к Жоффру, Фош неизменно заходил ко мне «попить русского чайку», как он сам выражался. Незадолго до войны он побывал на маневрах в России, и здоровые, загорелые лица наших солдат в пропотевших гимнастерках, русское раскатистое «ура!» произвели на этого пехотного командира неизгладимое впечатление. Он постоянно возвращался в разговоре к этим воспоминаниям.

В противоположность Жоффру, которого ослепило оказанное ему Николаем Николаевичем внимание, Фош старался избегать вопроса о высшем русском командовании.

Рассматривая внимательно висевшие на стенах вокруг нас карты и таблицы, он восторгался установленным

у меня тройным контролем над немцами и забавлялся, как ребенок, сверяя сведения об обнаруженных на его фронте германских полках.

— Вы не согласны, mon général, — осторожно настаивал я, — что инициатива остается в руках немцев исключительно по причине несогласованности действий наших армий и отсутствия общего высшего руководства. Вот сейчас мы выдерживаем натиск на Варшаву, а вы только подготовляете операцию. Хоть и неудачно был задуман наш первый налет на Восточную Пруссию, а все же, как теперь выяснилось, это сильно повлияло на моральное состояние немецкого командования и вынудило его в самую критическую для него минуту наступления на Париж перебросить на наш фронт целый полевой корпус, да, вероятно, приостановить и другие, быть может, мне не указанные, подкрепления.

— Кому вы говорите, — с горечью отвечал Фош, не отрывая глаз то от одной, то от другой карты. В моем укромном кабинете он чувствовал себя свободным и от начальства и от подчиненных. — Мы на нашем собственном фронте страдаем от отсутствия общего руководства. Попробовали бы вы сговориться с англичанами! Они твердо решили, — правда, из-за недостатка снарядов, в которых мы и сами нуждаемся, — начать воевать только в будущем году!

Мечте Фоша о единстве командования суждено было осуществиться лишь через три года после нашей беседы. Он был назначен главнокомандующим всеми силами союзников на Западном фронте в самом конце войны, в марте 1918 года, после последней предсмертной попытки немцев прорвать Западный фронт. Английская армия, против которой был тогда направлен первый удар, оказалась в таком критическом положении, что только энергичное вмешательство Фоша задержало дальнейшее развитие успеха неприятеля. Ллойд-Джордж добился после этого подчинения своей армии французскому главнокомандующему.

Уходя из моего кабинета, Фош неизменно приглашал меня посетить его фронт.

— Надо, чтобы мои войска видели представителя союзной армии, — пояснил он.

Эти последние слова заранее облегчали для меня тяжелое положение, в которое попадает военный человек,

оказываясь в роли безучастного зрителя на войне. Когда я вспоминал о докучливых иностранцах, с которыми приходилось возиться в русско-японскую войну, мне нередко бывало совестно отрывать от дела французских начальников на фронте и мучить их расспросами о положении на их участках, о встречаемых затруднениях, технических усовершенствованиях. Война предъявляет военному атташе даже союзной армии еще больше требований дипломатического такта.

На Западном фронте все было для меня ново и совсем не похоже не только на то, чему нас учили в академии, но и на те уроки, которые были нам даны русско-японской войной.

Техника XX века стала шагать такими темпами, что пошатнула немало доктрин, казавшихся нам священными. Параллели, сравнения в методике ведения войн, отделенных одна от другой не веками, а десятком-другим лет, стали невозможными, а для высшего руководства подчас и преступными. В мировой войне сроки стали уже измеряться не годами, а месяцами.

В течение первых двух лет войны союзникам с трудом удавалось догонять немцев в отношении технических средств. При первых же попытках, еще осенью 1914 года, прорвать германский фронт французы нарвались на не разрушенные полевой артиллерией бетонированные капониры, а вскоре — и на стальные купола. Не хотелось верить, что бетон и сталь могут быть применены в столь короткий срок в полевой войне.

В декабре 1914 года французы рассчитывали, что, выпустив на фронте в полтора километра за один день двадцать три тысячи снарядов, они сметут с земли всю сложную паутину проволочных заграждений и подавят оборону.

В феврале 1915 года атака почти на столь же ограниченном участке потребовала для своей подготовки уже семьдесят тысяч снарядов, но в обоих случаях вторая линия неприятельской обороны оказалась неразрушенной и французская пехота смогла продвинуться с большими потерями всего на три-четыре километра.

В апреле 1915 года немцы не остались в долгу и для подготовки собственной атаки — правда, тоже бесплод-

ной — выпустили на фронте в шесть километров до пятидесяти тысяч одних только тяжелых снарядов, которых у союзников было совершенно недостаточно.

Как только начали обозначаться признаки равновесия сил в артиллерии и, в особенности, в обеспечении снарядами обеих сторон, немцы уже в январе 1915 года стали подготовлять атаки тяжелыми минометами; эта новая траншейная артиллерия явилась такой новинкой, что, за отсутствием соответствующих военных терминов как на французском, так и на русском языках, я сохранил для этих чудовищ, стрелявших, правда, всего на сотни метров, немецкое название: «минненверфер».

Когда и этого средства стало не хватать, чтобы сломить стойкость французской пехоты, немцы пошли на последнее страшное средство, превзошедшее по своей бесчеловечности все те зверские методы ведения войны, в систематичность и преднамеренность которых так долго не хотелось верить.

«XXVI германский корпус, — телеграфировал я, — вчера, 22 апреля (1915 года), внезапно атаковал территориальную (то есть, по-нашему, ополченскую) дивизию, которая являлась звеном между правым крылом бельгийцев и левым флангом англичан. Отравив защитников передовых траншей удушливыми ядовитыми газами, немцы ворвались в укрепленные линии. При поспешном отступлении, вызванном исключительно волной удушливых газов, дивизия потеряла 24 орудия, частью старых образцов».

Заканчивая донесение, я добавлял:

«Отчаянные усилия немцев одержать успех на Западном фронте объясняют здесь стремлением воздействовать на Италию». Эта бывшая германская союзница продолжала сохранять в начале войны нейтралитет и уже поглядывала в сторону союзников.

Неподвижность Западного фронта продолжала представлять загадку, чем и объясняются мои частые поездки на боевые участки. Французы, в противоположность мирному времени и порядкам засекречивания, завещанным Жоффром в первые дни войны, стремились использовать мои посещения для возможно полного осведомления.

Обычно меня принимал один из командующих армией или корпусом; они были заранее предупреждены о моем приезде. На схеме, представлявшей из месяца в месяц все более сложную паутину окопов и ходов сообщения, генерал, со свойственной французам доскональностью, объяснял систему обороны своего участка и хвастал отвоеванными в последних боях неприятельскими траншеями, длиной иногда только в несколько десятков метров. Первое время меня поражало несоответствие достигнутых результатов с числом сосредоточенных для этого орудий и пулеметов: только постепенно, из бесед то с одним, то с другим командиром, мне становилась ясна картина боев, совершенно отличная от всего, что я видел в Маньчжурии. Расход ружейных патронов бывал ничтожный, так как никакой стрелковой огневой подготовки вести не приходилось. Ее заменял систематический прогрессивный артиллерийский огонь в течение иногда двух-трех часов, а иногда и целых суток. Одновременно, под покровом ночи, в передние окопы незаметно подводились пехотные подразделения для атаки. Перед холодным зимним рассветом притаившиеся в полной тишине ряды солдат, предназначенных для удара, обходил унтер с бочонком подмышкой, угощая каждого стаканом крепкого, душистого коньяку. В утреннем тумане беззвучно выскакивала первая волна атакующих, за ней, через несколько минут, вторая, потом третья... Рукопашный, а тем более штыковой бой отошел в область предания.

Вот первая волна blaue Teufeln (голубых дьяволов), как прозвали немцы французских пехотинцев за их порыв и серо-голубые шинели, добегает до немецких окопов и, найдя их разрушенными артиллерией, не задерживается. Люди перепрыгивают через немецкие траншеи и бегут дальше. Так же легко они преодолевают нередко и вторую линию, рвутся вперед, но тут же начинают падать под ураганным огнем тяжелой артиллерии и укрывающихся у прочных капониров немецких пулеметов.

Третья линия немецкой обороны представляла неодолимую крепость и требовала для своего разрушения новой длительной бомбардировки. Винтовка оказалась мало пригодной для борьбы в окопах: немцы в первые месяцы войны показывали исключительное упорство в обороне и продолжали держаться даже после того, как волны атакующих уже прошли через их траншеи. С ними

разделывались отборные солдаты, получившие название les nettoyeurs (чистильщики): вместо винтовок они были вооружены кинжалами, ручными гранатами и револьверами.

«Нужны ли нам револьверы?» — запрашивал я самого начальника артиллерийского управления, великого князя Сергея Михайловича, после того как донес о новой роли этого оружия. «Нет, не нужны. Сергей», — получил я ответ и, возмущенный вечной самовлюбленностью этого управления, ответил с непозволительной по тем временам дерзостью: «Подтверждаю получение вашего номера 7642. Револьверы нам не нужны. Игнатьев».

Самые наглядные объяснения происходившего на французском фронте удавалось получать только по утрам, после ночевки у командира корпуса. В сопровождении одного из офицеров штаба я отправлялся в передовые линии окопов. Зимой их бывало трудно даже найти, до того они сливались с окружавшей сероватой местностью, но зато летом перевернутая земля покрывалась сплошной пеленой красных маков, напоминавших о других, более счастливых, мирных временах.

Навсегда запомнился мне милый рыжий капитан с толстой палкой в руке, не раз сопровождавший меня на излюбленном мною участке фронта в Артуа, между Монт-Сент-Элуа и Нотр Дам де Лоретт. С высоты открывалась панорама на десятки километров. Слева, на севере, в сфере дальнего артиллерийского огня, виднелась жертва германского нашествия — угольный район Бетюма, впереди — длинная плоская цепь небольших голубовато-серых возвышенностей, представлявших, по объяснению капитана, линию германской обороны.

Я рассматривал ее в свой прекрасный цейссовский бинокль, подаренный когда-то шведскими артиллеристами, но поддакивал капитану, признаться, больше из вежливости: разглядеть что-либо удавалось редко.

Немцы бывали по-своему вежливы и, несмотря на большую дистанцию, хорошо пристрелявшись, приветствовали обычно появление непрошенных наблюдателей двумя-тремя тяжелыми фугасками. Через два года войны живописный лесок, покрывавший высоту, был перепахан глубокими воронками. Далее, вниз к передовым окопам, приходилось продвигаться по бесконечным ходам сообщений. На это у меня обычно терпения не хватало, тем более

что благодаря моему высокому росту и малой глубине французских окопов они, казалось, не представляли для меня достаточно надежного укрытия. Капитан мой уже привык сокращать по моей просьбе расстояния и торжественно маршировал со своей палкой напрямик, перемахивая через ходы сообщения, попадавшиеся на пути.

Самым надежным укрытием и прекрасным наблюдательным пунктом мне представлялись глубокие воронки от снарядов, — второй раз снаряд ведь в то же место не попадет!

Во время подобных прогулок капитан был неутомим и, спустившись в окопы, он то и дело хвастал то укрытым под землей погребком с ручными гранатами — этим тоже новым оружием пехотинца, — то хорошо замаскированным пулеметным гнездом. Одним только он не мог похвастаться — видом людей. (Санитарная часть работала в начале войны очень плохо.)

Зима 1914 года выдалась особенно суровая, и землянки, то затопленные водой, то промерзшие, без теплушек, без всяких, даже примитивных, удобств, делали невыносимым для нервных, подвижных французов тягостное сидение в окопах. Теплой одежды заготовлено не было, и, в виде драгоценной новинки, часовым выдавались безрукавки из козлиных шкур. Сколько раз хотелось похвастаться перед французами нашим русским полушубком! Русские башлыки заменялись шерстяными шарфами всех цветов; они высылались на фронт заботливыми женами и les marraines (крестными матерями).

Женщины Франции, привыкшие играть большую роль в жизни страны и народа в мирное время, немало содействовали поддержанию воинственного духа не только на фронте, но и в тылу.

Прежде всего большинство француженок, особенно тех, кто имел близких людей на фронте, стало относиться с презрением к мужчинам, укрывшимся в тылу. Для них было создано специальное прозвище: les embusqués (окопавшиеся).

Самыми несчастными оказались солдаты из оккупированных немцами департаментов; о них позаботиться было некому, и для этих одиноких людей были созданы «крестные матери» — les marraines. Командование через гражданских префектов доставляло списки солдат и офицеров, не имевших в тылу ни родных, ни знакомых, и

женщины всех возрастов и положений наперерыв выбирали себе крестников, заводили с ними переписку, посылали подарки на фронт и, что еще важнее, давали приют отпускникам. Не обходилось, конечно, без романов и семейных драм. Благодаря удобным сообщениям недельные отпуска давались регулярно, каждые три-четыре месяца, за исключением периода напряженных боев, но при этом на условиях, одинаковых для всех — от генерала до рядового солдата. Зато в зону армий, кроме сестер милосердия, ни одна женщина не пропускалась.

Читателю может показаться странным, что при всех расчетах за первый год войны я не учитывал английской армии. Обрамленная с двух сторон французскими дивизиями, она продолжала занимать в то время небольшой сравнительно участок к югу от бельгийцев, который постепенно расширялся по мере прибытия первых эшелонов новой армии, формируемой на островах, согласно ненавистному для довоенной Англии новому закону, вводившему воинскую повинность. Формировал эту армию упрямый и жестокий солдат — лорд Китченер. Все его помнили по его деятельности в англо-бурскую войну, и все знали, что с ним шутить не приходится.

Но как ни скромны были силы английской армии в первые месяцы войны, мне все же казалось неприличным отсутствие при ней русского военного представителя. И военный агент, престарелый генерал Ермолов, и специально назначенный впоследствии на пост представителя ставки генерал Дессино предпочитали на континенте не появляться. А между тем англичане уже тогда могли оказать немалую помощь союзникам своей непревзойденной в ту эпоху Intelligence Service и даже Scotland Yard. Их агентурная разведка, направленная, правда, больше на политические и экономические, чем на военные вопросы, раскрыла бы русскому военному руководству многие немецкие тайны, выдала бы и немецких агентов, завербованных в самой России.

Хотя французы относились почти с предубеждением к сведениям военного характера, получаемым англичанами из бельгийских и голландских источников, мне все же казалось необходимым использовать английскую глав-

ную квартиру для проверки сведений о переброске немецких дивизий на русский фронт.

Прием, оказанный мне в Сент Омере — скучном и малопривлекательном городе севера Франции, — благодаря любезности моего старого друга Вильсона, отличался той простотой, лишенной всякого панибратства, которая представляет одну из главных прелестей английской нации. Я приехал for business (для дела), и этого было достаточно, чтобы в разведывательном отделении я мог получить все нужные сведения.

Англичане с трудом одолевали новую для них науку войны. Помнится, как, проходя через одну из классных комнат городской школы, превращенной в штабные бюро, я поражался терпению какого-то французского капитана. Стоя у черной доски с большим куском мела в руке, этот дотошный маленький артиллерист усердно старался вложить в умы окружавших его великанов в просторных френчах цвета хаки премудрости прогрессивного и баражного огня.

— Aôh! Aôh! — слышались удивленные негромкие возгласы то одного, то другого из собравшихся английских командиров. Все это было для них так ново и малопонятно, но терпеливый французик не унывал и честно выполнял возложенное на него поручение.

Вспомнив, что я по роду оружия — кавалерист, Вильсон предложил мне посетить на фронте одну из спешенных кавалерийских бригад, занимавшую передовые окопы.

Вечерело, когда мой грузный открытый «ролс-ройс», забыв про все мои скоростные рекорды, тихо пробирался по узенькой булыжной дорожке, среди безбрежного моря болотистых лугов.

Как бы прощаясь с холодным зимним днем, лениво бухали то тут, то там тяжелые немецкие снаряды.

Мы никого не встречали и начали уже было сомневаться в правильности взятого направления, когда, наконец, приближаясь почти в полной темноте к какой-то одинокой двухэтажной каменной ферме, мы были остановлены окриком на английском языке. Перед нами вырос великан-часовой. После проверки моего французского

laisser passer (пропуска) он объяснил, что тут помещается штаб кавалерийской бригады.

Кому же, кроме англичан, на шестом месяце войны могло прийти в голову разместиться не в хорошо замаскированной землянке, а в привлекавшем внимание, но зато комфортабельном домике!

— До нас могут долететь только тяжелые снаряды, и шансы попадания в ферму у немцев очень невелики, — хладнокровно объясняли мне хозяева.

После представления генералу, бодрому, сухому джентльмену, и доклада начальника штаба о положении на фронте я получил предложение to change (переодеться к обеду).

К счастью, под сидением машины у меня всегда находились длинные рейтузы и ботинки со шпорами, которыми я смог заменить высокие сапоги. Но чего стоила эта прикраса перед тем великолепием, которое я увидел, спустившись по внутренней лестнице из отведенной мне комнаты в столовую!

Там был сервирован обеденный стол с прекрасной посудой и серебром (содержать серебро в блестящем виде умеют только англичане). Около каждого прибора лежал большой кусок чудного, совсем белого хлеба; о нем я уже давно забыл и предвкушал удовольствие поскорее его отведать. Мой походный китель совершенно не соответствовал элегантным английским мундирам образца мирного времени, накрахмаленным рубашкам и рейтузам с тонкими красными лампасами, в которые облеклись к обеду хозяева. Они свято хранили традиции даже переодевания к обеду и были способны мужественно умереть, но умереть с комфортом.

Разница в бытовых условиях военного времени между французской и английской армиями никого не смущала. Когда, под впечатлением прекрасного обеда, ничем не отличавшегося от приемов в мирное время, я очутился на следующее утро в окопах, меня интересовали не столько предметы вооружения, сколько сами войска, которые я видел впервые. Поражало прежде всего то достоинство, с которым держали себя не только младшие командиры, но и рядовые солдаты. Правда, это были волонтеры отборной кавалерийской части.

Марать сапог в окопах не пришлось: я шел по аккуратно сбитым решетчатым деревянным мосткам, под кото-

рыми стояла жидкая грязь, спускался в землянки по обитым деревом ступеням, любовался прочными, почти красивыми блиндажами из нескольких рядов толстых бревен, пересыпанных землей. Откуда и как завезли англичане столько леса в эту безлесную, безотрадную равнину? Люди побеждали природу, отводили воду, боролись за чистоту и хотя бы скромный, но все же комфорт.

Английская армия жила во Франции своей самостоятельной жизнью и считала вполне нормальным иметь все преимущества перед французской не только в отношении продовольствия, но, впоследствии, и вооружения.

Война для англичан представлялась хотя и новым, но одним из тех государственных предприятий, которые издавна проводились Британской империей с настойчивой последовательностью, доводившей конкурентов и врагов до отчаяния.

На третий год войны во всю длину расширявшегося с каждым месяцем английского фронта были выстроены в три яруса орудия всех калибров, начиная с полевых и до самых тяжелых морских. Триста шестьдесят пять дней в году, с утра до ночи, не соблюдая даже пресловутых week-end (уик-эндов), англичане бомбили немецкую оборону. Подобную роскошь они могли себе позволить благодаря неограниченному запасу боеприпасов и развитой за первые годы войны мощной орудийной промышленности. Расстрелянная пушка заменялась так же просто, как лопнувшая автомобильная шина. Всякому попавшему в конце войны на английский фронт казалось, что он обходит громадный кузнечный цех, и оглушающий шум молотобойцев надолго оставался в ушах.

Но до этих счастливых дней вся тяжесть борьбы с германской, австро-венгерской и турецкой армиями продолжала, увы, лежать на плечах только русской и французской армий.

«В гостях хорошо, а дома лучше», — и таким домом являлась для меня в первые два года войны французская главная квартира GQG (Гран Кю Же). Она занималась войной, и только войной, не считаясь с тем, что о ней скажут. Работники этого военного дома были несловоохотливы, документы содержались под надежным замком,

считаясь долгие годы даже после войны секретными. Вот почему памфлеты немногих журналистов типа Pierrefeu (Пиерфё), опубликовавших свои тенденциозные мемуары под громким названием «Гран Кю Же», только извратили представление о работе этого муравейника, составленного из скромных, но усердных тружеников. Роль французского Гран Кю Же в конечном исходе мировой войны, несомненно, оставалась недооцененной.

В результате марнской победы Гран Кю Же, вслед за армией, тоже продвинулся на север и в течение двух месяцев оставался в Ромильи-на-Сене, очень неприглядном, закопченном городке. Общество восточных железных дорог сосредоточило в нем свои заводы и мастерские. Латизо это учел и словчился заменить в нашей машине мягкие рессоры мирного времени вагонными! Машина с рамой в две тонны стала после этого действительно военной.

Ромильи считался одним из крупных центров социалистической партии, и, предаваясь невеселым размышлениям о затяжном характере войны, под шум барабанившего в оконные рамы беспросветного осеннего дождя, мы с Лабордом нередко рассуждали: почему это папа́ Жоффр выбрал это местопребывание; не из политических ли соображений?

На унылой площади, насупротив того опрятного домика рабочего, который был нам отведен, высился, как полагается, собор, откуда по воскресным дням доносились звуки органа и необычных для католической церкви хоровых песнопений. Несмотря на марнскую победу, в них слышался вопль потрясенного германским нашествием французского народа, отчаяние вдов, сестер и матерей.

Oh reine de France, priez pour nous,
Notre espérance, venez et sauvez nous!
(О царица Франции, помолись за нас,
Наша надежда, приди и спаси нас!) —

пели дружным хором молящиеся; среди них бывало немало и солдат.

Наконец, в начале ноября Лаборд, вернувшись как-то с ужина, сообщил под большим секретом полученную им от шофера сенсационную и приятную новость: «Мы переезжаем в Шантильи».

Шантильи, куда, казалось, совсем еще недавно мы ездили с моим другом Нарышкиным на скачки. Там, по строго установленному порядку, разыгрывался за неделю до Большого парижского дерби приз Жокей-клуба, служивший последним испытанием для отобранных уже на предшествующих скачках лучших французских трехлеток. В этот жаркий день на светлозеленой скаковой дорожке встречались впервые соревнующиеся в решающей скачке красавцы-жеребцы и нежные кобылы.

С раннего утра набитые до отказа поезда, отходившие из Парижа каждые полчаса, перевозили в Шантильи — городок, расположенный в сорока пяти километрах к северу от Парижа, — толпу, жадную до скакового спорта, или, вернее, до игры в тотализатор. Обычно в этот день стояла нестерпимая июньская жара, но это не освобождало нас, членов Жокей-клуба, так сказать «героев дня», от длиннополых черных сюртуков, лакированных ботинок и блестящих цилиндров.

В специально отведенной для нас громадной ложе в центре трибун шли горячие пересуды то о шансах какой-нибудь скаковой конюшни (имена владельцев играли бо́льшую роль, чем имена лошадей, а тем более жокеев), то о прогуливавшихся мимо ложи красавицах в самых модных туалетах: очень длинных, чуть ли не со шлейфами, платьях из легких, почти прозрачных пестрых материй и в громадных соломенных шляпах, украшенных бантами и искусственными цветами. Парижские моды в военное время быстро изменились: из-за отсутствия других средств городского передвижения, кроме метро и собственной пары ног, парижанкам пришлось укоротить платья чуть ли не до колен, а форму шляп как можно больше приблизить к мужскому головному убору.

Война, заперев двери театров, цирков и мюзик-холлов, упразднила и скачки. Но Шантильи не потерял своего военно-спортивного облика. Правда, дворцовые конюшни, расположенные против скаковых трибун (один из памятников роскошной жизни принца де Конде, двоюродного брата Людовика XIV), были обращены в гараж главной квартиры, но по широким аллеям, проложенным в лесу, окаймлявшем скаковой круг, продолжал галопировать чистокровный молодняк.

На этих аллеях, тянувшихся на много километров, не встречалось ни одной травинки, ни одного твердого

комка: старик-сторож на паре грузных серых першеронов уже двадцать лет, каждый день, систематически, не торопясь, бороновал эти замечательные тренировочные дорожки. Где-то в стороне скрывались за высокими отводами из лавровых кустов копии грозных стипльчезных препятствий скакового круга Отейля. Старая парижская знакомая, баронесса Нардуччи, страстно любившая свою верховую лошадь — громадного рыжего скакуна, просила меня спасти его и «реквизировать». Фураж на вторую лошадь по случаю войны мне полагался, и, выполнив просьбу баронессы, я получил возможность поддерживать время от времени свою кавалерийскую тренировку, преодолевая то покрытый нежным газоном высокий ирландский барьер, то прикрытую изящным хертелем «реку».

Это было единственное развлечение, которое допускалось в нашем военном «монастыре», строго охранявшем свой устав и порядки, не понятные для непосвященных.

Многоэтажная, когда-то первоклассная, гостиница «Гранд Конде», куда в мирное время съезжались влюбленные парочки богатых парижан, потеряв свой блеск, с трудом вмещала штабные бюро. Организация, предусмотренная мобилизационным планом, оказалась несоответствующей требованиям войны. Главная квартира не могла оставаться в узких рамках чисто оперативного органа.

Прежде всего был создан новый отдел — личного состава. Продолжая придавать первостепенное значение подбору и квалификации кадров, Жоффр, получив права главнокомандующего, отрешил от должности в первый же месяц войны «по служебному несоответствию» двух командующих армий, семь командиров корпусов, двадцать четыре начальника дивизий, то есть около тридцати процентов высшего командного состава. Жоффр оказался в более счастливом положении, чем Куропаткин.

Чистка началась с головы, но одновременно потребовались и пополнения; подготовка их началась не сверху, а снизу. Небывалый и неожиданный процесс потерь в младшем и среднем командном составе в сражении на Марне и отмеченная в первых же боях недостаточная боевая подготовка мирного времени потребовали срочных мер для коренной перестройки на ходу всей французской военной машины. Для этого была необходима выдержан-

ная, спокойная, и главным образом систематическая работа. Никакие успехи, неудачи и связанные с ними войсковые переброски не должны были отражаться на занятиях в той «грандиозной школе», которую представляла французская армия в первые два года войны.

Когда впоследствии мне задавали вопрос, кого из двух французских полководцев я ставлю выше — Жоффра или Фоша, я неизменно отвечал: «Без всего того, что сделал Жоффр для подготовки победы, Фош не мог бы победить».

Бессменным и ответственным исполнителем указаний главнокомандующего по вопросам комплектования и подготовки кадров был начальник отдела личного состава, ординарец Жоффра, майор Белль. Этот маленький близорукий еврей в черном мундирчике с серебряными пуговицами — форме, присвоенной стрелковым батальонам, обладал необыкновенной памятью и способностью разгадывать людей по первому взгляду: казалось, что пенсне, которое он беспрестанно поправлял на носу, ему в этом помогало.

Всякий раз, когда мне удавалось проникать в его бюро, куда вход посторонним был строжайше воспрещен, я еще в дверях задавал стереотипный вопрос:

— Et bien, Bell, où en sommes nous? (Так что же, Белль, до чего мы дошли?)

И так же спокойно, пожимая мою руку, он последовательно отвечал: в октябре — «до сержантов», в ноябре — «до лейтенантов», в январе — «до капитанов» и т. д. — вплоть до генералов, очередь до которых дошла в конце следующего, 1915 года.

Отобраные для продвижения по службе кандидаты должны были проходить через спешно открытые в тылу фронта школы, где ознакомлялись со всеми новыми методами ведения боя, со всеми новыми образцами вооружения. После этого их прикомандировывали на некоторый срок для практики к командирам тех подразделений, для которых они предназначались. Только по получении отличной аттестации от фронтового командира они получали право на следующий чин и назначение на высшую должность.

Когда мне случалось спросить мнение Белля о встреченном генерале или командире, он, не заглядывая

в досье, тут же давал подробный ответ, будто все они были людьми из его роты.

Большие и мало кем оцененные услуги оказал своей армии скромный майор Белль, немало нажил он врагов, но заставил их смолкнуть своим блестящим поведением на фронте: он погиб во главе бригады, переброшенной в Италию для прекращения паники после неслыханного разгрома итальянцев под Капоретто.

Самым близким для меня человеком после переезда в Шантильи стал только что произведенный в генералы полковник Пелле, организатор чешской армии в послевоенное время. Он представлял образец военного дипломата — тип, весьма редко встречающийся во Франции, где каждое ремесло отгораживается одно от другого, сужая круг мышления подчас самых талантливых и одаренных от природы людей. «Генерал должен воевать, а дипломат ноты писать, скрывая за ними свои мысли». Пелле показал себя и тонким дипломатом на ответственном посту военного атташе в Берлине в самые тяжелые, предвоенные годы, и крупным военным организатором. В начале войны вопрос о материальном снабжении армии был поручен именно Пелле, после чего он стал начальником штаба при таком упрямом и нелегком начальнике, каким был Жоффр.

Пелле хорошо знал Берлин и в особенности военное окружение Вильгельма. Его не подкупили все те заигрывания с Францией, на которые не скупился Вильгельм, чтобы обеспечить для Германии дружественный нейтралитет ее извечного западного врага и облегчить этим реализацию своей авантюристической политики на Востоке, оторвать Францию от Англии, а если можно — и от России.

Еще в бытность мою в Дании мне приходилось слышать рассказы своего коллеги в Берлине, Александра Александровича Михельсона, об исключительном внимании, которое оказывал Вильгельм французскому военному атташе. После каждого парада, а их было немало, император демонстративно подолгу разговаривал на французском языке только с Пелле.

С постепенным превращением войны между Францией и Германией в мировую такой человек, как Пелле, оказался особенно ценным. Мне было уже известно, насколько нелегко французам приноравливаться к жизни

скандинавских стран, а понимать образ мысли воинственных сербов, хитроумных греков и своеобразных американцев было дано не всякому. Не проходило дня, чтобы кто-нибудь из союзников не совершал какой-нибудь gaffe (небольшой промах); они были оглашены впоследствии во всех белых, желтых, синих и прочих толстых книгах, в которых опубликовывали дипломатические документы первой мировой войны.

Пелле умел улаживать отношения даже с таким беспокойным человеком, как президент республики Пуанкаре. С трудом подчинившись необходимости удалиться в Бордо, Пуанкаре по возвращении в Париж стал поистине несносен, томясь предоставленной ему конституцией властью без прав. Телефон между Парижем и Шантильи не умолкал, а Жоффр так не любил им пользоваться: следа после себя этот аппарат не оставлял, а старик уважал и ценил документ, хотя бы самый краткий, но налагающий ответственность на его составителя.

— Что вы думаете, генерал, об оставлении русскими Варшавы? — спросил Пуанкаре Жоффра в день получения этого известия.

— Я ничего об этом не слыхал, — ответил Жоффр.

— Как же так? — возмутился президент. — Все газеты полны этой новостью!

— А Игнатьев мне еще об этом ничего не сообщал, — исчерпал вопрос главнокомандующий.

Телеграмма из нашего генерального штаба, как частенько случалось, пришла после телеграммы Петроградского телеграфного агентства, и я еще не передал Жоффру подписанной мною ежедневной утренней сводки.

По случаю войны Пуанкаре вспоминал свои молодые годы и гордился службой в стрелковых частях, в которых он дослужился до чина капитана резерва. В таком невысоком чине ему показываться было неудобно, и при выездах на фронт он одевался в форму шофера из богатого дома. Его фигурке типичного французского буржуа с козлиной бородкой это переодевание воинственного вида не придавало, но зато пришлось по вкусу французским солдатам: народ они опасный и всегда найдут предлог посмеяться. «Самое опасное — показаться смешным», — сказал когда-то один французский писатель XVII века. И вот этой судьбы не избежал Пуанкаре. Он с первого же своего посещения фронта стал настолько непопулярным

в солдатской массе, что в главной квартире приходилось изыскивать всякие способы, чтобы избежать какой-нибудь враждебной по отношению к нему демонстрации.

— Куда бы нам его послать? — советовался, бывало, со мной начальник оперативного отделения полковник Гамелен. — В Эльзасе (на самом спокойном участке) он уже дважды побывал. Послать в Шампань? У, черт! Да там как раз заняли участок насмешники-марсельцы. Своими анекдотами они способны убить кого хочешь.

Пуанкаре умел говорить прекрасные речи, но до солдатского сердца они не доходили. Жоффр не умел построить даже красивой фразы, но когда, в знак уважения к совершенному подвигу, он жал рядовому солдату руку, — скромный подчиненный чувствовал, что «папá Жоффр» — хороший начальник.

Стоял холодный дождливый март 1915 года. Французская пехота тонула в грязи, выбираясь из окопов после очередной попытки прорвать немецкую оборону на участке в Шампани, — попытки, стоившей больших потерь.

При подобных неудачах союзников мне хотелось всякий раз получить лишнее объяснение от самого главнокомандующего. Он никогда мне в этом не отказывал и через своего офицера-ординарца назначал обычно прием в какой-либо ранний утренний час. Он неизменно продолжал вставать в шесть часов. Привыкнув терять время в бесплодных ожиданиях приема в России, я всегда бывал удивлен, не встречая в скромной приемной главнокомандующего ни одного посетителя. На офицере-ординарце лежала обязанность пропускать их строго по расписанию.

Жоффр, как обычно, насупив брови, делился со мной впечатлениями о минувших боях:

— Nous les grattons peu à peu (Мы их скоблим понемногу), — говорил он, — и тем препятствуем переброскам германских сил на ваш фронт. Поверьте, я чувствую, сколь дорого обходится русскому народу эта война, но я опасаюсь, что вы не в состоянии оценить значение тех потерь, которые мы сами несем. Мы теряем в этих боях цвет нашей нации, и я вижу, как после войны мы очутимся в отношении национальной культуры перед огромной пропастью (он подкреплял последние слова жестом своих толстых рук). И я не знаю, чем эта пропасть будет

восполнена. Что будут представлять собой новые поколения?

Жоффр не терял никогда случая напоминать французской армии об ее могучем союзнике.

— Qui vive? (Стой! Кто идет?) — издалека останавливал меня часовой, когда темной ночью я возвращался из штаба по тропинке, протоптанной через скаковой круг.

— La Russie! (Россия!) — вместо положенного ответа «Франция» неизменно отвечал я.

Часовой брал наизготовку и командовал:

— Avance au ralliement! (Иди на сближение!)

В трех шагах требовалось произнести пароль, который два-три раза в неделю, чередуясь с названиями французских городов, бывал то «Москва», то «Владивосток», то «Рязань», то «Казань».

В то самое утро, когда Жоффр собирался отправиться навстречу дивизии, возвращавшейся из тяжелых боев, я как раз подал ему телеграмму о падении крепости Перемышль. Он ухватился за этот счастливый случай для поднятия духа своих войск, приказав отпраздновать победу русских войск выдачей всем чинам, от генерала до солдата (а в том числе и мне, зачисленному на французский паек), по четверти литра красного вина. Я был, кроме того, приглашен сопровождать главнокомандующего в поездке.

Французам, конечно, неизвестна наша осенняя и весенняя распутица, наши непролазные ухабы, но после первой военной зимы даже их прекрасные шоссе оказались разбитыми и покрылись толстым слоем липкой известковой грязи. Приближение к фронту обозначалось, кроме того, долетавшими отзвуками артиллерийских выстрелов.

Но вот передняя машина с небольшим трехцветным флажком, окаймленным золотой бахромой, сворачивает с дороги, и из нее грузно вылезает Жоффр в длинной серой шинели с пелериной.

Моросит дождь. Навстречу по узкой дороге надвигается длинная лента французской пехоты. Она уже в новом обмундировании серо-голубого цвета и хорошо сливается с серым горизонтом и нависшим над пустынными полями свинцовым небом.

Беспокоить войска на походе, заставляя их сходить с дороги, Жоффр не позволял, и потому после прохождения первых двух рот колонна остановилась и выстроилась вдоль обочины. Развалистой походкой, склонившись,

как обычно, немного на левый бок, Жоффр пошел сам обходить ряды вышедших только что из боя своих солдат. Изредка он останавливался и, прикалывая к шинели боевой орден, нагибался сперва к левому, потом к правому плечу награжденного, как бы обнимая его. Это входило в церемониал награждения. Другим солдатам, по указанию сопровождавших его вдоль фронта ротных командиров, он только пожимал руку.

За эту простоту и ценили Жоффра французские солдаты.

Некоторые дивизии, отведенные на отдых, уже успели расположиться квартиро-биваком и были выстроены для встречи главнокомандующего на ближних полях.

— Vive la Russie! (Да здравствует Россия!) — слышались крики из поредевших в боях рядов французских солдат, когда я проезжал вдоль фронта в русской серой папахе на голове.

Оркестры вместо «Марсельезы» исполняли в этот день русский гимн.

Сердце, казалось, разорвется от чувства гордости быть русским.

Глава пятая

НА БОЛЬШОМ ДЕЛЕ

Некоторым писателям удается написать на своем веку только одну хорошую книгу. Многим людям выпадает на долю сделать лишь одно крупное и полезное для своей родины дело.

Для меня таким делом во время мировой войны явилась организация снабжения русской армии из Франции. Оно стало, кроме того, отправной точкой всей моей последующей жизни.

Пришло это дело ко мне, как это чаще всего бывает, совсем просто и неожиданно.

29 декабря 1914 года, ранним морозным утром, в мою импровизированную штаб-квартиру в Шантильи вошел закутанный в шинель французский жандарм и, как обычно, подал мне ночную почту. Кроме повседневной и малоинтересной телеграммы со сводкой о положении на русском фронте, пакет содержал длинную шифрованную телеграмму, переданную из ставки через Извольского.

Сразу же с первых слов расшифровки: «Передайте Игнатьеву для доклада генералу Жоффру» я насторожился. Пришлось, однако, долго терпеть стук машинки шифровальщика, прежде чем я добрался до сути этой пространной, мудрой грамоты: одни только дипломаты, изыскивающие все способы тщательной маскировки основной мысли, могли затратить столько слов, чтобы оправдать тяжелое положение, в котором оказались русские армии на фронте. Главная вина в этом сваливалась на союзников: немцы, мол, не перестают перебрасывать свои силы с Западного фронта на Восточный, но что это были за силы и какой был их состав, авторы телеграммы, разумеется, не указывали, и я мог лишний раз убедиться, что мои донесения о перебросках в расчет не принимались. Наконец, на третьей странице выяснились истинные причины невозможности перехода русских армий в наступление: непредусмотренный расход артиллерийских снарядов и недостаток в ружьях, то есть недостаток во всем том, чем, по мнению русского верховного главнокомандующего, «так богаты союзники». Русские армии могут «переходить в частичные наступления», для чего, однако, требуется немедленная материальная помощь со стороны союзников.

Копия этой телеграммы была послана и лорду Китченеру в Лондон.

Жоффр, как обычно, принял меня немедленно и, выслушав мой доклад, призадумался.

— Скоро же вы устали! — сказал он после минутной паузы. — Я не вижу, чем бы мы могли вам помочь. Вы помните, еще после Марны мы с вами говорили о невероятном расходе артиллерийских снарядов, и я тогда же предупредил об этом великого князя. Теперь мы только начали мобилизацию нашей промышленности и сами ждем со дня на день пополнения наших запасов. Вот, быть может, ружья найдутся. Поезжайте, мой милый полковник, в Париж. Voyez vous même (Посмотрите сами). Я обещаю вам свою поддержку.

Я знал, что старик словами не бросается, но все же не мог предполагать, что именно эта «поддержка» и послужит главной опорой всей моей дальнейшей работы во Франции.

Телеграмма Николая Николаевича, русского главнокомандующего, несмотря на ее туманность, впервые от-

крыла мне глаза на действительно трагическое положение нашей армии. Если французской пехоте удается пробиться через проволочные заграждения только после предварительного разрушения их многочасовым артиллерийским огнем, то что же смогут сделать наши солдаты при отсутствии снарядов! Немецкое радио не перестает сообщать о русских атаках, отбитых со страшными потерями.

— Он нашего брата, солдата, жалел! — говаривали маньчжурцы про Куропаткина. Но Николаю Николаевичу, конечно, в голову не придет считаться с потерями. Он уже успел уложить в лобовых атаках в Галиции цвет русской гвардии, а теперь будет губить на неразрушенных проволочных заграждениях наших родных сибиряков. Обидно было до слез вспоминать возмутившие меня когда-то объяснения Жилинского о малом комплекте артиллерийских снарядов мирного времени. «У них так, — говорил он про французов, — а у нас так».

Приложу все свои силы, а у меня их так много, но поправлю дело. Из-под земли, но достану и пошлю в Россию снаряды.

Роль постороннего наблюдателя на войне бесконечно меня тяготила; казалось, что за всю свою жизнь начальство не использовало меня, что я не нашел применения своей энергии.

Теперь, вдали от этого начальства, представляется случай применить с пользой для своей армии все свои познания, весь опыт, накопившийся за первые недели войны.

Люди ведь умирают на фронтах под снегом, а я сижу в тылу. Опра́вдаюсь перед своей совестью и не пожалею себя. Сделаю такое дело, которое заслужит «спасибо» от каждого русского солдата, идущего в атаку.

Вот в каком настроении мчался я в этот памятный день в своем «ролс-ройсе» в Париж.

Там должна была начаться новая жизнь, открывшая мне неведомый, новый для меня мир, — мир талантливых инженеров, трусливых чиновников, честных тружеников, ловких взяточников, беспринципных, жадных на наживу дельцов и истинных паразитов, взлелеянных капитализмом, — комиссионеров.

В эти годы я приобрел тот жизненный опыт, который помог мне в будущем, в критические часы одной ночи, о которой я расскажу дальше, решить, на чью сторону перейти: остаться ли со своим народом, или, оказавшись

«нейтральным», очутиться в одних рядах с «рыцарями наживы».

С первых же шагов я встретился с казавшимися непреодолимыми трудностями. Помимо того, что в моем распоряжении не было заранее выделенных кредитов, не было и органа, на который была бы возложена организация снабжения русской армии.

После долгой переписки, лишь в конце 1916 года, военный министр разрешил мне организовать Специальный заготовительный комитет, который, впрочем, так и не был утвержден царским правительством.

Однако повседневные нужды войны требовали ответственных решений. Я месяцами не получал ответа на свои запросы из канцелярий различных ведомств. На свой страх и риск я разрешал многие дела, формально не входящие в мою компетенцию. Конечно, это было «превышение» власти, и за это мне могло не поздоровиться. Но выхода не было. Сознавая всю полноту своей ответственности, в интересах дела я принимал ответственные решения самостоятельно.

Стремясь быть объективным, старик Палицын попробовал было в своем рапорте Николаю II сказать несколько одобрительных слов о моей деятельности.

Рапорт этот был написан 31 января 1917 года. В России уже нарастали революционные события.

«Верноподданнейше представленный» самому Николаю II, рапорт этот был еще в пути, когда оказался уже никому не нужной бумажкой.

Из первых же разговоров в посольстве я узнал, что французское правительство, или, как мы его называли в телеграммах, «Фрапра» (сокращенные названия фирм и учреждений только что начали входить в моду), реквизировало те несколько автомобилей и самолетов, которые мы заказали еще в мирное время во Франции; вывезти их в Россию было невозможно, и работа Ознобишина и Извольского сводилась к бесплодной переписке по этому поводу с французскими министерствами и петербургскими канцеляриями. (Я, между прочим, никогда не мог примириться с перекрещиванием «Петербурга» в «Петроград». Для победы над немцами, как известно, немало русских изменило свои немецкие фамилии, но оттого, что генерал Цёге фон Мантейфель оказался Николаевым, —

германофилов, а главным образом германских шпионов в России не убавилось.)

Я понял, что так продолжать работу по снабжению не имеет смысла, что надо изыскивать какие-то новые пути.

Единственными моими русскими сотрудниками на первых порах оказались: случайно командированный из России мой старый знакомый, артиллерийский капитан Костевич и присланный главным инженерным управлением приемщик, полковник Антонов.

Политическая обстановка в Париже оказалась для меня благоприятной. Правительство и парламент, вернувшиеся из Бордо, еще «не оперились» и, напуганные первыми неделями войны, с трепетом подчинялись всем требованиям Жоффра. Это было мне особенно на руку: терять времени не приходилось, двери министерств открывались для меня сами собой.

— On ne refuse rien au colonel Ignatieff. C'est l'enfant chéri du G. Q. G. (Полковнику Игнатьеву нельзя ни в чем отказать, это «любимое дитя» главной квартиры),— так говорили про меня в Париже.

Чтобы сохранить это положение «любимого дитяти», требовалось не отрываться от Гран Кю Же, покрывая ежедневно, с головокружительной скоростью, сорок пять километров — расстояние между Парижем и Шантильи, где я обычно проводил конец рабочего дня. Каждая поездка, считая и задержки при въезде и выезде из столицы, занимала не больше часу времени, но не всегда обходилась без инцидентов.

Сижу я рядом с шофером Латизо и поглядываю на стрелку, указывающую скорость: она перевалила через сто и прыгает вокруг ста двадцати пяти. Машина мчится под уклон по скользкой брусчатке, пожирая последние километры, остающиеся до Парижа. И вот мне мерещится, что какой-то черный предмет, вроде колеса, перемахивает через отлогую канаву, отделяющую узкую дорогу от аэродрома Буржэ. Колесо катится по зеленому, гладкому, как биллиард, полю, обгоняя нашу машину, но тут же вижу, как Латизо, приподнявшись на сидении, судорожно впился в руль, поворачивая его изо всех сил в левую сторону. Однако тяжелая машина продолжает катиться, постепенно замедляя ход, слегка кренится вправо и, наконец, останавливается. Латизо, покраснев от напряжения, молчит, и мне с трудом удается от него

добиться, что нас бы уже, пожалуй, не было на свете, если бы он только дотронулся до тормоза. Он побежал искать в поле покрышку правого переднего колеса.

Поддержка, оказанная мне Жоффром, помогла, между прочим, разрешить одну из важнейших проблем, стоявших перед военной промышленностью: возвращение с фронта необходимых инженеров и квалифицированных рабочих. Массовая мобилизация, проведенная в первые дни войны, парализовала даже ту относительно слабую военную промышленность, которой обладала Франция в мирное время. Уже с первого дня объявления войны мне докучал наш старший приемщик на заводе Шнейдер-Крезо, полковник Борделиус; он умолял выхлопотать разрешение продолжать обточку первой почти готовой одиннадцатидюймовой русской полевой мортиры. Это была ценная новинка, но французская артиллерия ею тогда не интересовалась.

Из-за слабости русской военной промышленности и, пожалуй, не без материальной заинтересованности некоторых лиц, порочивших русское главное артиллерийское управление, им же составленные программы вооружений передавались для выполнения не русским, а заграничным заводам.

Борделиусу требовалось для окончания работ только двадцать три рабочих; я не без труда их выхлопотал и впоследствии об этом не пожалел: мортиры пригодились.

Ко времени моего возвращения в Париж, то есть к декабрю 1914 года, положение на французских заводах улучшилось. Мобилизация промышленности, не предусмотренная планом войны, осуществлялась после сражения на Марне быстрыми темпами. Производство снарядов возрастало с каждым днем, оставляя уже далеко позади обычные нормы. При этом, однако, для удовлетворения все возрастающей потребности собственного фронта французам пришлось отказаться от многих технических условий мирного времени. За недостатком в прессах они пошли даже на такой риск, как замена кованых корпусов снарядов сверлеными.

Результатом этого вынужденного войной упрощенного способа явились преждевременные разрывы стволов орудий на фронте, повлекшие за собой потери в личном составе артиллерии (огонь от порохового заряда, проникая

через пористое дно снаряда, воспламенял мелинит, которым он был начинен).

— Que faire! Что же поделаешь! Лучше рисковать жизнью нескольких людей в артиллерии, чем вести пехоту на неразрушенные снарядами проволочные заграждения. Потери ведь тогда будут во сто крат тяжелее!

Было ясно, что французы хотя и поздно, но взялись за ум и пошли на крайние меры для усиления мощи артиллерийского огня в кратчайший срок.

Начальник артиллерийского управления генерал Бакэ, стройный, высокий, седой старик, принял меня довольно сухо. Он привык иметь дело с казенными арсеналами и заводами, при мобилизации промышленности ему приходилось торговаться с какими-то неведомыми для него штатскими людьми, заключать контракты с заводчиками, требовать, казавшихся ему дикими, банковских гарантий, изыскивать рабочую силу, в результате же всех усилий получать то от Гран Кю Же, то от военного министра чуть ли не ежедневный нагоняй за медленность поставок вооружений.

Мое появление с новыми русскими требованиями, естественно, не могло доставить ему особого удовольствия, и, чтобы отделаться, он предложил мне оказать прежде всего пресловутую concours technique (техническую помощь). Россия издавна дорого платила за свою техническую отсталость, представляя лакомый кусочек для иностранной промышленности: без затраты капиталов, одной продажей патентов на новейшие методы производства и технические чертежи, что и носило громкое название «техническая помощь», можно было снимать любые барыши с русских заводов.

«Техническая помощь» являлась одним из самых надежных средств для обращения России в колонию и хорошим подспорьем для иностранного шпионажа. Немцы еще до первой мировой войны в этом отношении побивали, несомненно, все рекорды.

Однако предложением Бакэ пренебрегать не приходилось: трагическое положение, в котором оказались русские армии, требовало принятия срочных мер, тем более что, по словам Костевича, недавно прибывшего из России, там ни о какой мобилизации промышленности еще не думали; одним из главных затруднений в решении этого вопроса явилось то недоверие, с которым царский строй

относился к собственному населению и даже к частным промышленникам. Все шло по старинке, и в главных управлениях военного министерства все прочно окопались на тепленьких местах. Ушам не верилось, и невольно хотелось объяснить недостаток в снарядах исключительно слабостью нашей металлургической промышленности, о которой, как ни позорно, я имел самое смутное представление. Знания, полученные в академии, если не испарились, то во всяком случае не освежались: русские газеты, которые я читал, вопросов народного хозяйства почти не касались, а технические журналы попросту не попадались в руки.

Начинать работу «в темную» представлялось невозможным, и, как всякому военному, хотелось произвести разведку. В Россию понеслись от меня телеграфные запросы, редактированные совместно с Костевичем, о наших потребностях, так как слово «снаряды», о котором упоминалось в телеграмме Николая Николаевича, требовало расшифровки. С немалым трудом и путем повторных телеграмм, на которые ответы получались не ранее восьми — десяти дней, удалось выяснить, что помощь союзников в первую голову должна выразиться в присылке не снарядов, а полных орудийных патронов с трубками, порохом, гильзами и взрывчатым веществом.

Это уже представляло большое дело, тем более сложное, что иностранные калибры, рассчитанные по метрической системе, не совпадали с русскими, исчислявшимися в дюймах и линиях. Подобное затруднение доставило мне много хлопот.

Выяснение наших потребностей, как это ни странно, в течение всей войны представляло одну из самых больших трудностей. Много потратил я времени, пока сам не понял, что причина этого замалчивания лежала не только в бюрократизме и медленных темпах работы наших главных управлений, но зависела от сложной структуры их взаимоотношений с заграничной промышленностью. Всякий намек на государственную монополизацию военных заказов за границей, объяснявшуюся требованиями войны, нарушал искони установленную в царской России систему работы через петербургских представителей иностранных фирм и посредников. Эти господа были — увы! — любезны сердцу многих высоких чиновников.

Преступное отношение русского тыла к потребностям русских армий вскрылось для меня уже на тех совещаниях, которые, при содействии генерала Бакэ, удалось собрать в Париже; это были представители французской артиллерии и частной металлургической и химической промышленности; некоторые из них работали до войны в России, главным образом в Донецком бассейне.

— Мы удивляемся, — говорили участники совещания, — что вы обращаетесь к нам за содействием. Одни ваши петроградские заводы по своей мощности намного превосходят весь парижский район. Если бы вы приняли хоть какие-нибудь меры по использованию ваших промышленных ресурсов, вы бы нас оставили далеко позади себя.

По соглашению с Бакэ было решено, что в Россию будет спешно командирована небольшая комиссия, составленная из лучших мобилизованных техников под начальством майора Пио, с целью ознакомить наше главное артиллерийское управление с принятыми во Франции методами ускоренного производства снарядов. Вопреки освященным временем обычаям, техническая помощь передавалась без расхода для русской казны и без заинтересованности частных французских фирм.

Результат получился плачевный. По приезде в Петроград французам вместо гостиницы отвели помещение в наиболее удаленных от центра Гренадерских казармах, а начальник главного артиллерийского управления великий князь Сергей Михайлович наотрез отказал им в приеме. Через некоторое время, чтобы отвязаться от непрошенных советчиков, их отдали в распоряжение отставного генерала Ванкова. Этой личности, оставшейся для меня загадочной, удалось создать трест из московских купцов и промышленников; они были допущены к работе на оборону только под нажимом на царских чиновников военной комиссии Государственной думы.

Первоначальный мой проект — привлечь на совещание все крупные французские фирмы — был сорван монополистом военной промышленности — Шнейдером-Крезо, соперником немецкого Круппа и английского Виккерса. Эта фирма считала себя «государством в государстве» и имела свои особые, весьма таинственные, но прочные связи в петербургских высших сферах. Ей казалось ниже своего достоинства сесть за один стол с другими, более

слабыми собратьями. Пришлось познакомиться с ее директорами на специальном совещании, собранном в роскошном управлении фирмы на Рю д'Анжу.

Как ни обидным казалось мне идти в пасть к этим хищникам, но все же конкретные переговоры о срочном изготовлении артиллерийских патронов пришлось начать именно с ними.

«Сергей», — как подписывал свои телеграммы мой новый «корреспондент», великий князь Сергей Михайлович, вынужден был одобрить мое предложение дать заказ Шнейдеру на два миллиона триста тысяч трехдюймовых орудийных патронов.

Сергей с первых же дней занял по отношению ко мне малопонятную враждебную позицию. Лишь позднее мне стало ясно, что мое вмешательство ломало существовавший порядок его непосредственных сношений с представителями иностранных фирм в Петрограде.

От препирательств с Сергеем и от серии ни на чем не основанных отказов в размещении при помощи французского правительства наших заказов у энергичного Костевича опускались руки. Мы чувствовали себя как в дремучем лесу, не будучи в силах объяснить то недоверие, которое сквозило в полных яда ответных телеграммах Сергея Михайловича. Они к тому же приходили все с большим опозданием.

Кое-какой свет на это дело удалось пролить только несколько месяцев спустя. Не получая разрешения на продление договора со Шнейдером, Фурнье мне сказал:

— Ах, сегодня пятница, вы получите ответ в понедельник.

Я не обратил было на это внимания и приписал случайности действительно полученную во вторник утром ответную телеграмму Сергея, но когда тот же случай повторился две-три недели спустя, я просил Фурнье объяснить мне тайну «понедельников».

— По субботам Рагуза играет в карты во дворце Кшесинской, — объяснил мне вполголоса Фурнье.

С Рагузо-Сущевским, представителем Шнейдера в России, я не был знаком, но вспоминал, что в молодости я частенько видел этого раскормленного на артиллерийских делах польского пана в первом ряду на балетах в Мариинском театре. Я, конечно, тогда не мог догадаться, что его балетоманство объяснялось появлением на

сцене тоже польки и аккредитованной любовницы семьи Романовых — прима-балерины Кшесинской.

Из-за подобных козней падать духом не приходилось. Образ сибиряков в черных папахах, шедших в атаку без поддержки артиллерии, не переставал стоять перед глазами.

Все, впрочем, органы русского военного ведомства не постигали трудностей, которые даже крупные фирмы встречали при выполнении заказов в военное время. Неустойки за опоздание в сроке поставок отошли в область воспоминаний о мирном времени. Заводы не могли работать без содействия французского правительства, а я не мог давать заказов без согласования моей работы с тем же правительством. Это мне уже стало ясным из первых переговоров с фирмой Шнейдер.

Для наших заказов особым затруднением явилось согласование русских и французских технических условий.

Один талантливый инженер стоит сотни бесталанных, один хороший работник может с успехом заменить целый десяток. Таким помощником на техническом участке моей работы явился в самые первые тяжелые дни Михаил Михайлович Костевич. Только благодаря ему я смог сдвинуть вопрос об артиллерийском снабжении с мертвой точки, почувствовать и сам почву под ногами во всем этом новом для меня деле.

Осваивать технические познания пришлось в самом процессе работы, и я не раз с благодарностью вспоминал и родителей и наставников, которые с детства вложили в меня хотя и ограниченные, но серьзные понятия о физике, механике и химии.

Первым и самым крупным затруднением представилась невозможность изготовлять во Франции ударные трубки русского образца.

«Лучшее — есть враг хорошего», — говорит французская пословица. Технические усовершенствования, не учитывающие производственного процесса, зачастую вместо пользы приносят вред, усложняя работу и задерживая массовый выпуск заводской продукции.

Никто не посмеет бросить камень в русскую артиллерию, никому не придет в голову упрекнуть бывший русский артиллерийский комитет в недостатке специалистов, достигнувших высокого уровня технических познаний.

Имена и труды многих членов этого ученого учреждения остались достоянием мировой химии и оружейной промышленности.

Однако для удовлетворения требований русского артиллерийского комитета понадобилось бы не только специальное оборудование, специальные сорта стали, но и соблюдение таких минимальных допусков, которые были невыполнимы при массовом производстве в военное время.

Развалится, бывало, Михаил Михайлович в смазных сапогах, которые он уже не снимал много дней, на розовом шелковом диване в моем салоне и долго, долго думает. Ночь. Кругом все спят. На плохо выбритом и таком некрасивом лице Костевича лежит отпечаток переутомления от умственной работы и бессонных ночей. Запрашивать по телеграфу Сергея — значит терять добрые две недели до получения ответа. Разрешить вместо русских взрывателей ударные трубки французского образца — это значит изменить центр тяжести снаряда, лишить наше орудие присущих ему прекрасных баллистических качеств и чуть ли не заменять самые таблицы стрельбы. Не разрешить эту замену — это значит вообще не выполнить заданий Сергея, заявившего, что «нас могут интересовать поставки только полных орудийных патронов».

Решаем изменить чертеж самого снаряда применительно к французской трубке и просить светило французской артиллерийской техники, одного из создателей полевого орудия — знаменитой «семидесятипятимиллиметровки», генерала Сен Клэр де Вилля разработать для нас подобный проект.

На большом письменном столе у хозяина, утонченно воспитанного генерала старой школы, случайно лежала серия трубок самых различных образцов. Пока я объяснял причину нашего визита, Костевич без всякой церемонии стал рассматривать трубки, хватая их и откладывая в сторону одну за другой. «Се бон» (это хорошо). «Се мове» (это плохо), — выносил он непреложные приговоры на французском языке с ужасным русским акцентом.

Изумление, выразившееся в первый момент на лице генерала, сменилось сперва любопытством, а вскоре неподдельным восторгом.

Знание техники победило все условности вежливости. Сен Клэр проникся таким уважением к представителю

союзной артиллерии, что немедленно согласился разработать для нас проект снарядов и, конечно, безвозмездно. Одновременно такие же проекты разрабатывались по нашему поручению французской артиллерией и самим Шнейдером. Оставалось вооружиться терпением, считая дни, необходимые для изготовления первой пробной партии снарядов и производства опытной стрельбы на учебном полигоне Шнейдера в Гавре.

Накануне этого торжественного дня, являвшегося венцом всей нашей работы первых недель, из Петербурга неожиданно пришла телеграмма с приказанием Костевичу немедленно выехать в Россию.

Это, впрочем, совпало с его собственным желанием.

Уже несколько дней перед этим Костевич тщетно настаивал передо мной на отправке следующей телеграммы Сергею:

«Убедившись в невозможности изыскать в союзной Франции все средства удовлетворения насущных потребностей русской армии, мы (то есть я и Костевич) попробовали предложить вам использовать для этого нейтральную Испанию (оружейная промышленность, цветные металлы), получили от вас фулль-стоп (под этим английским словом грубоватый Костевич, побывавший в Лондоне, подразумевал отказ). Сунулись в Швейцарию — получили фулль-стоп, попробовали двинуться на нейтральную Италию — получили фулль-стоп. Не пора ли вернуться в Россию?»

Из-за отъезда Костевича техническую приемку опытной партии пришлось производить самому военному агенту. Генштабист со шпаргалкой, составленной для него артиллеристом, стоял на полигоне и отмечал попадания на различные дистанции, взрывал в песке гранаты, считая после этого осколки, расположив их по величине размера, — словом, выполнял все обязанности технической комиссии, состоявшей, правда, только из одного лица. Результаты превзошли ожидания, и гранаты французского образца оправдали себя не только на опытном полигоне в Гавре, но и на далеких полях Галиции.

Ночью, в снежную пургу, тот же генштабист, закончив приемку, мчался за сто пятьдесят километров в Шантильи для составления телеграммы об обнаруженных за день на фронте германских дивизиях.

Едва удалось справиться с техническими затруднениями, как передо мной встал не менее сложный вопрос о финансировании заказов. Шнейдер твердо мне заявил, что до получения аванса он приступить к выполнению заказа на снаряды не намерен. Таков был установленный для русских заказов порядок.

Подобный ультиматум меня возмутил: по тогдашней моей наивности мне казалось, что все должны думать, как и я, считая каждый потерянный день и час за тяжелое преступление перед фронтом.

По предварительным круглым подсчетам, для аванса надо было срочно найти десятка два миллионов. Сами цифры с шестью, а тем более с семью нулями на первых порах заставили было меня содрогнуться. Но человек ко всему привыкает, и чеки, которые мне пришлось подписать за время войны на сумму в два миллиарда триста миллионов, меня уже не смущали. Я знал, что они идут на дело, я был спокоен, что, подписывая чеки на франки, я не перевожу из России ни одного рубля и не связываю ее никакими краткосрочными обязательствами.

Французы были правы, составив мне впоследствии репутацию «самого дорогого для Франции русского человека».

Каждая капиталистическая страна имела в то время для финансирования крупных дел свои навыки, отражавшие отчасти ее характерные черты.

Если, например, вы предлагали какое-нибудь дело, крайне выгодное, но требующее вложения капитала, крупному русскому банку, то вы должны были представить ваш проект раздутым до мировых масштабов, сулящим миллиардные наживы.

Если вы с тем же делом ехали в Берлин, то проект ваш должен был предусматривать строго рассчитанные сроки выполнения, детальную разработку всей техники, с тем чтобы одной уже этой чисто кабинетной работой доказать серьезность предлагаемого вами проекта.

Если же, наконец, вы решались обратиться к настоящему серьезному банкиру, которым являлся в ту пору Париж, — то вам следовало, для верности, заехать сперва в Брюссель и заручиться там хотя бы только принципиальным одобрением какого-нибудь бельгийца.

Появившись с ним во французском банке, вам не следовало открывать всех ваших карт, запугивать «нулями», сулить крупные барыши через десять лет, а просто запросить только первую необходимую для начала сумму и доказать возможность заработать хоть какие-нибудь гроши, но в кратчайший срок. Раз французский капиталист дал первые франки, он будет не в силах считать их потерянными — il courra après son argent (он побежит за своими деньгами) и никогда не даст вам погибнуть. Мнение бельгийца как тяжеловатого на подъем, но серьезного дельца послужит вам лучшей рекомендацией.

Мне бельгиец не потребовался, так как я вошел в кабинет французского министра финансов, седовласого согбенного старика Рибо, с безгласной, но солидной рекомендацией — самого Жоффра.

Рибо был опытным лоцманом на правительственном корабле Третьей республики, менявшем так часто капитанов для лавирования среди подводных парламентских рифов.

— Шнейдер — фирма вполне надежная, — сказал мне министр, — аванс ей выдать можно, но надо бы нам заранее установить с вами какой-нибудь общий порядок ведения принятого вами на себя дела. Вы сами знаете, что французская армия срочно нуждается решительно во всем, и жаловаться, как делает ваш посол, на реквизицию военных материалов на частных заводах — просто неудобно. Просьбы на получение лицензий исходят главным образом в силу заинтересованности наших собственных промышленников в более для них выгодных русских заказах. Помните с трудом замятые скандалы с вашими довоенными заказами по авиации, связанными с деятельностью пресловутого господина Ребикова? Такого ажиотажа цен на промышленном рынке, такого нарушения интересов собственной армии в военное время мы допустить не можем. Если генерал Жоффр найдет возможным уступить России часть военных материалов, — это его право. А о денежной стороне мы всегда договоримся.

Простая передача нам материальной части вооружения французской армии, конечно, нас удовлетворить не могла хотя бы из-за одной разницы в калибрах и типах орудий и снарядов, а потому я предложил, чтобы вместо прямого договора со Шнейдером заказ был основан на конвенции между мною и генералом Бакэ: французское

правительство брало на себя обязательство не только облегчить фирме выполнение нашего заказа, но и обеспечить приемку готовой продукции, с тем чтобы избавить Россию от посылки за границу собственных квалифицированных инженеров-приемщиков. Они были, как мне казалось, для нас ценнее золота.

Рибо согласился и для «облегчения» моего затруднительного положения сам предложил открыть для меня текущий счет в Банк де Франс на те суммы, которые потребуются для уплат по договору. Банк де Франс, созданный семьей Ротшильдов для поддержки Бонапарта, хотя и продолжал формально пользоваться дарованной ему еще тогда автономией, по существу являлся государственным банком, самым прочным организмом из всех, на которые можно было опереться в Третьей республике.

Из переговоров с Рибо мне стало ясно, что текущий счет в государственном банке налагает на меня обязательство иметь дело только с этим банком, не допускать вмешательства в дела русских заказов частных банков, подчинить всю свою работу хоть и негласному, но строгому французскому государственному контролю.

Я сиял. Костевич разделял мой восторг, и мы вместе подробно изложили в телеграмме Сергею вновь установленный порядок проведения русских военных заказов. Ответа на это, однако, из России не получили.

Первый аванс Шнейдеру — двадцать миллионов франков — явился тем «мизинцем», за который уже можно было забрать и всю руку: в то время, когда для обеспечения военных заказов в Англии вывозились золотые рубли в размере шестидесяти процентов суммы каждого заказа, когда нейтральная Америка и союзная Япония требовали оплаты своих поставок наличным русским золотом, — Франция ограничилась на первое время моей скромной подписью на чеках, дополнявшейся впоследствии телеграммами кредитной канцелярии русского министерства финансов.

Взаимное доверие и в государственной и в частной жизни представляет одно из важнейших условий для успеха, но никогда этот ценный для меня принцип не был лучше доказан, чем на этом наглядном примере. Оказанное доверие обязывает, но я не мог предполагать, что выполнение принятых на себя обязательств перед французским правительством обойдется мне столь дорого,

потребует такой беспощадной борьбы и с французскими и с русскими врагами государственных интересов!

Оформление моего соглашения с Рибо состоялось только осенью 1915 года, когда в Париж прибыл русский министр финансов, господин Барк.

Этот бывший директор Волжско-Камского банка сменил незадолго до войны такого хитрого и весьма осторожного государственного человека, как Коковцев. Барку на министерском посту было нелегко догнать своего блестящего предшественника, награжденного и за услуги и за угодливость даже графским титулом. Но Барк был приятен в обращении, ладно сложен, хорошо упитан и, как говорили злые языки, пользовался даже большим успехом у женщин.

Для придачи своему первому визиту к Рибо большей серьезности Барк предложил мне и русскому финансовому агенту в Париже, престарелому Рафаловичу, его сопровождать.

Собравшись после этого в роскошной гостинице «Крильон», где Барк занимал целый апартамент, мы постарались установить цифру месячных кредитов для урегулирования уже открытого для России в Банк де Франс текущего счета. Рафалович мрачно молчал: война сократила до минимума его финансовые и биржевые махинации. Мне пришлось первому заявить, что хотя предел развития производства и сроков уплат за военные материалы определить трудно, я тем не менее полагаю, что на ближайшие двенадцать месяцев мне потребуется ежемесячно по восьмидесяти миллионов. Рафаловичу надо было определить суммы, потребные для уплаты купонов по русским займам. Цифры этой он определить не пожелал и пошел наводить справку, как выяснилось впоследствии, в банк Лионского кредита.

Рафалович, как русский финансовый агент, занимался займами только официально и, быть может, от этого получал барыши неофициально, а Лионский кредит, наоборот, занимался займами полуофициально, но зато зарабатывал на них вполне официально, снимая законные комиссионные с каждой сделки. Этим же прибыльным делом занимались и все четыре так называемых фондовых банка в Париже.

Лионский кредит имел, однако, над ними преимущество, так как, вероятно ценой каких-то крупных взяток,

он был вместе с тем единственным иностранным банком, имевшим в России свои филиалы, которые пользовались одинаковыми правами с русскими банками. Благодаря этому он был заинтересован во многих русских делах французских промышленников в России, но почему-то именно самых темных. Когда я получал телеграммы о заказах с ссылкой в какой бы то ни было форме на Лионский кредит, то уже привык настораживаться, зная, что за спиной этого банка и проводимого им заказа стоят какие-нибудь русские дельцы-авантюристы типа Рубинштейнов или даже Рябушинских.

Война раскрыла для меня и всю процедуру русских займов во Франции. 1914 год явился как раз критическим для всей франко-русской финансовой политики: сумма, потребная для оплаты одних только очередных купонов, возросла до полумиллиарда франков в год!

В течение двадцати пяти лет эти постепенно возраставшие суммы покрывались из очередных займов той же Францией, но так как эти займы должны были кормить и частные банки, снимавшие свою комиссию, и французскую прессу, одурачивавшую подписчиков, и биржевиков за поддержку искусственной ценности русских бумаг, не говоря уже о политических партиях и государственных деятелях, — то выручаемых от займов сумм с трудом хватало только на уплату купонов по предыдущим займам. Общая сумма задолженности России Франции достигала двадцати семи миллиардов франков.

Из этой суммы до русской промышленности и до народного хозяйства докатилось немного. И когда, через десять лет после войны, все тот же Мессими, с которым в бытность его военным министром я переживал первые дни мобилизации, старался взвалить на Советскую Россию всю тяжесть долгов царской России, я дал ему следующий простой ответ:

— Одолжите мне до следующего утра только двух ваших жандармов. Обойдя с ними четыре парижских банка, я потребую выписки из русского счета и принесу вам завтра добрую половину денег, оставшихся во Франции от русских займов.

Помню также, как еще за год до мировой войны мне пришлось сопровождать Жоффра в Россию. Будущий французский главнокомандующий не упустил случая переговорить в Петербурге об использовании очередного

французского займа в целях развития стратегических железных дорог на русско-германской границе. Не добившись толку у начальника генерального штаба Жилинского, старик просил меня устроить ему свидание с самим Коковцевым, который принял нас на роскошной даче министра финансов, что на Каменном острове.

С чисто военной наивностью Жоффр пытался доказать совсем штатскому русскому сановнику важность проведения на некоторых участках двойной и даже четверной колеи, необходимых для сосредоточения и перебросок сил во время войны.

В ответ Коковцев, поглаживая свою холеную русую бороду, стал излагать тоже совершенно не понятные ни для Жоффра, ни для меня свои финансовые проекты.

— Мы очень довольны результатами только что заключенного во Франции государственного займа, — изрек русский министр финансов, — и я не премину собрать директоров крупнейших наших банков, с тем чтобы «просить их помочь», насколько возможно, осуществить те мероприятия, которые вы, господин генерал, нам предлагаете.

Таким образом, исход войны с Германией ставился в зависимость от степени благоволения русских банкиров — истинных хозяев государственных французских займов. Русский государственный банк, кредитовавший, как мне хорошо было известно, искусственно созданные на народные средства русские частные банки, сам ставил себя в зависимость от них. Новая обстановка, созданная войной, требовала и других, новых методов работы от государственных финансовых органов.

Переговоры Барка с Рибо вылились в протокол от 4 октября 1915 года, по которому французское правительство согласилось продолжать выдавать России ежемесячные беспроцентные авансы размером не свыше ста двадцати пяти миллионов в месяц.

Согласно этому документу, «общая сумма этих авансов будет размещена русским правительством через год по окончании войны посредством нового займа во Франции». Составители надеялись, что после некоторого перерыва финансовое колесо снова станет вращаться.

В протоколе также указывалось, что «авансы предназначаются исключительно на покрытие процентов по существующим государственным займам и для оплаты заказов военного снабжения», причем «министры финансов

согласились признать, что в интересах обеих стран эти покупки и заказы производились не иначе как с согласия французского военного министра, с тем чтобы обеспечить для русского правительства наиболее выгодные цены и воспрепятствовать конкуренции, которая может только быть вредной как для Франции, так и России. Этот вопрос составит предмет особого согласования между военными министрами Франции и России».

Единственным обязательством, принятым на себя Барком, было обещание разрешить вывоз из России хлеба и спирта. Барку, конечно, отлично было известно, что хлеба для вывоза не найдется, но не только он, а даже я знал, что от уступки французам спирта Россия не разорится.

«Спирта на нашем чертолинском винокуренном заводе из-за прекращения продажи казенной водки накопилось столько, что акцизные чиновники распорядились выпускать излишек из цистерн прямо в речку Сишку», — писала мне в последнем письме моя мать из деревни.

Между тем вопрос о получении спирта возник уже с первых дней моей работы по снабжению: он был необходим для изготовления бездымного пороха. После захвата немцами севера Франции недостаток в промышленном спирте принимал угрожающие размеры, и я неоднократно просил Сергея оказать содействие в высылке с обратным пароходом из Мурманска сотни бочек этой драгоценной жидкости.

Спирт, конечно, выслан не был, но в Париж для переговоров по этому вопросу с французским правительством прибыл один из высших акцизных чиновников, скромный, честный патриот, Геннадий Геннадиевич Карцов. Он привез с собой разрешение на какую-то предельную цену за гектолитр, по которой ему разрешалось заключить договор с французским правительством. Последнее согласилось, но как только Карцов телеграфировал об этом своему начальству, оно запросило двойную цену. Французы снова согласились (при своих закупках в Англии они никогда с ценой не считались — надо было выиграть войну!), а Петроград тогда утроил цену. Время шло. Карцов, державший меня все время в курсе переговоров, краснел за свое ведомство и доходил до отчаяния, а я был вынужден послать следующую дерзкую телеграмму уже непосредственно военному министру Сухомлинову:

«Если до конца месяца спирт не будет отгружен в Мурманск, буду вынужден прекратить производство русского пороха во Франции. Игнатьев».

Спирт был отгружен.

Вскоре объяснилась и сама проволочка: главное акцизное управление было связано договором с так называемым «Союзом винокуренных промышленников», в распоряжение которого государственная винная монополия передала все железные бочки. Спирт имелся, но доставить его было не в чем. Пользуясь этим, Союз послал в Париж собственных делегатов — трех темных аферистов, решивших продать французскому правительству спирт, минуя Карцова. Французский министр, у которого они добивались свидания, телефонировал мне и заявил, что без моего согласия он отказывается принять неведомых ему русских дельцов. После этого они, конечно, ни у министра, ни у меня не появились, но я долго не мог поверить, до какого бессилия дошла «самодержавная власть царского правительства»! Как могло оно разрешать крупнейшие вопросы, поднятые злосчастной войной, когда оно не смело реквизировать в собственной стране даже бочки!

Барк уехал, но с подписанием дополнительного соглашения между военными министрами торопиться было некуда: финансовый протокол только закреплял уже заведенный порядок проведения военных заказов.

На парижском горизонте восходила новая звезда — будущий министр вооружения, член социалистической партии Альбер Тома.

Честному, прямолинейному солдату, каким был начальник артиллерийского управления генерал Бакэ, было не под силу бороться с хитрыми интриганами-депутатами и крупными тузами — французскими сенаторами. Его «ушли», и после войны он подарил мне свою небольшую книжку воспоминаний с краткой, но многозначительной надписью:

«En souvenir des jours où on nous promettait d'apporter des fusils sur des yachts!» («На память о днях, когда нам обещали доставить ружья на яхтах!»)

Надпись эта напоминала об одном из наиболее фантастических проектов, которыми нас заваливали жадные до легкой наживы французские политические дельцы.

«Игнатьев должен внести залог в десять миллионов франков для того, чтобы не упустить покупки для России крупной партии маузеров, предназначенных якобы для Германии. В целях соблюдения тайны ружья погружены на яхты и стоят в ожидании перед входом в порт Бордо».

Конечно, ни я, ни Бакэ на подобную удочку не клюнули и, как обычно, обвинялись в отсутствии должного патриотизма!

Для таких категорических отказов потребовалась, как ни странно, некоторая тренировка. Из головы не выходила чудовищная картина: наши солдаты, идущие на фронт с дубинками вместо ружей. Правда, здравый смысл доказывал, что запасов готовых ружей на свете существовать не может, а все же отклонять хитроумные предложения о доставке ружей первое время бывало нелегко. А ну как действительно в каком-нибудь заморском «царстве-государстве» найдутся такие министры, которые за хорошую взятку будут способны под предлогом перевооружения временно разоружить собственную армию!

Не может же наше главное артиллерийское управление без всяких оснований настаивать не только на покупке определенных типов современных винтовок, но и ставить условия снабжения их определенным количеством патронов.

От мысли о постройке специального завода пришлось сразу отказаться, так как, к немалому моему удивлению, я узнал, что изготовить простую на вид винтовку гораздо труднее, чем самую сложную пушку.

В конце концов реальной оказалась только уступка нам французами устарелых ружей системы «Гра», состоявших до введения магазинного ружья Лебеля на вооружении французской армии. Эти ружья были сверстниками наших добрых старых берданок, на которых я обучался ружейным приемам еще в Киевском кадетском корпусе. Помнится, как в первый же год по выходе в офицеры мы получили вместе с очередным приказом по полку предложение купить по три рубля за штуку одну или две берданки, замененные к этому времени нашей трехлинейной винтовкой. Кто купил их для охоты на медведя, кто для своих лесников, но казна, повидимому, просто не знала, как бы от них отделаться.

Французы, как всегда, проявили при перевооружении свое отличительное свойство — бережливость. Сперва они

попробовали переделать часть однозарядных ружей «Гра» на магазинные по три патрона системы «Кропачек», а когда этот опыт не удался, они их собрали и аккуратно составили в специально построенные деревянные склады. След этих ружей оставался только в штатах сторожей военного министерства: в них значились четыре инвалида войны 1870 года, охранявшие склады в городе Шартре. Эти старики жили со своими семьями в небольших домиках рядом со складами, разводили огороды, но, несмотря на отсутствие всякого контроля, в силу только военной дисциплинированности, выполняли полученную ими когда-то «consigne»: каждое утро они были обязаны протирать по двести винтовок. В результате, когда спустя тридцать лет я вошел в почерневшие от времени бараки, передо мной стройными рядами стояли двести пятьдесят тысяч винтовок с открытыми и тщательно смазанными затворами. Оставалось только их упаковать и отправить в Россию хотя бы для обучения запасных частей. Как жаль, что слово «consigne» непереводимо на русский язык.

Создание вместо артиллерийского управления целого министерства вооружения во главе с Альбером Тома было вызвано мобилизацией промышленности: она не только расширила круг деятельности органов снабжения, но и требовала урегулирования отношений между рабочими и предпринимателями. Заводчики стремились усилить эксплуатацию рабочей силы, используя труд мобилизованных и возвращенных с фронта солдат. Кому же, как не одному из виднейших членов социалистической партии, было под силу разрешить деликатную проблему ставок заработной платы!

При первом знакомстве Альбер Тома меня очаровал. За одни его прекрасные голубые глаза можно было не замечать плоских черт лица, бестолково обрамленных какой-то рыжеватой растительностью. Его безупречная по своей грамотности и выразительности французская речь уже сама по себе пленяла собеседника своей четкостью и убедительностью.

Альбер Тома подкупал меня также своей работоспособностью, живым умом, дерзостью решений.

Только после нашей Февральской революции и поездки Альбера Тома в Россию для меня выяснилось

разложение этого политического деятеля, социалиста, — будущего председателя комитета труда при Лиге наций.

Одна из встреч с Альбером Тома помогла, впрочем, дополнить портрет этого политического деятеля.

Перегруженный работой и не желая обязываться, я принципиально отказывался во время войны от всяких приглашений, поступавших даже от самых близких французских друзей и уж тем более от заводчиков и поставщиков. Однако, когда та же фирма Шнейдер пригласила меня на обед с министром вооружений, я счел нужным сделать исключение. Завязать, кроме служебных, и личные отношения с министрами всегда бывало полезно для дела. Обед оказался интимным. В уютном кабинете старинного и самого дорогого ресторана «La Tour d'Argent», знаменитого приготовлением руанских уток (с основания ресторана каждая подаваемая утка носила свой очередной номер), был накрыт стол на четыре прибора. Горел камин. Ослепляющий электрический свет был заменен канделябрами со свечами под нежными желтыми абажурчиками.

Альбер Тома запаздывал. Главный директор Шнейдера, Фурнье, начал с того, что показал мне меню обеда и, как это обычно делается, из вежливости спросил, подходит ли оно мне. Я нашел его чересчур роскошным для военного времени, но второй директор, адмирал в отставке де Курвилль, хитро улыбнулся и объяснил:

— Monsieur le Ministre aime la bonne chère! (Господин министр любит сладко покушать.)

Знатоком кухни Альбер Тома мне не показался, так как, то ли из-за обычной для французских депутатов деловитой суетливости, то ли просто от голода, он пожирал все, что ему подавали, доставляя большое удовольствие хозяевам. Хотя деловых разговоров за обедом и не велось, но эта встреча подчеркивала дружеские отношения между государственным деятелем и частной фирмой. Она мало соответствовала той атмосфере, в которой я начал работать с Альбером Тома в первые недели его неограниченной власти на министерском посту.

Он был тогда диктатором и полностью, казалось, поддерживал всю мою борьбу против грабительских условий договора со Шнейдером. В знак доверия он просил меня даже лично составить текст конвенции, предусмотренной финансовым протоколом Рибо — Барк.

Документ был короткий, но давал мне в руки то, что было всего ценнее:

«Французское правительство обязуется соблюдать интересы Русского правительства, как свои собственные, обеспечивая выполнение всех заказов, как сырья, так и готовых изделий, в кратчайшие сроки и при наиболее выгодных условиях».

Русское правительство брало на себя обязательство проводить все заказы не иначе, как через своего военного агента во Франции.

Конвенция была одобрена в Париже и подписана в двух экземплярах 3 декабря 1915 года.

Подписи:

«За Францию: Государственный Секретарь артиллерии и снарядов Альбер Тома.

За Россию: Уполномоченный на это Русский Военный Агент Полковник Игнатьев».

Этот необычный документ сводил на нет все попытки с чьей-либо стороны извлечь из французских военных заказов личную выгоду, а впоследствии использовать их для целей интервенции. Разбивались о него и волны клеветы, поднимавшиеся против меня как человека, строго соблюдавшего эту своеобразную монополию внешней торговли, продиктованную интересами России в мировую войну.

Конвенция с французским правительством не избавила меня, однако, от тех затруднений, которые я встретил уже в самом начале при заключении договора со Шнейдером. Когда важнейшие технические трудности были преодолены, когда первые необходимые для аванса миллионы уж лежали на моем текущем счету в Банк де Франс, наступил последний акт подписания самого договора. Особенно деликатным вопросом оказалось установление цены; для меня в те критические для русской армии дни это представлялось делом второстепенным. Но не так смотрела на это фирма Шнейдер.

Цена навсегда запечатлелась у меня в памяти: восемьдесят один франк за артиллерийский трехдюймовый патрон, из которой — шестьдесят четыре франка шестьдесят сантимов за металлические части, а шестнадцать франков сорок сантимов за снаряжение порохом и взрывчатым веществом, производившееся казенными французскими

арсеналами. Скорее для очистки совести, чем для облегчения переговоров о цене, потребовал я, по совету Костевича, подробную расценку на отдельные части патрона: тело снаряда, латунную гильзу, ударную трубку. Но, как мы ни торговались, сложение всех цифр приводило в конечном итоге к той же цене — восемьдесят один франк. Я обращался за помощью для определения цены во французское артиллерийское управление, но оно умыло руки.

Чувствуя свою беспомощность (а каждый день промедления стоил на русском фронте лишних потерь в людях), я пошел прямо к Мильерану.

— Успокойтесь, полковник, — сказал мне военный министр, — я сам когда-то состоял адвокатом у фирмы Шнейдер и могу вас заверить, что договор, который вы собираетесь подписать, будет еще самым выгодным для России из всех, заключенных до сих пор вашим правительством.

Дальше идти было некуда.

Дома меня уже ждал коммерческий директор Шнейдера, безупречно вежливый Дэвис, хитрая лиса, ни в технике, ни в финансах не смыслящая, но настойчивая до упрямства и терпеливая до унизительности. Эти качества являются отличительными и для коммерческих директоров, и для посредников, и для комиссионеров. Они своей вежливой настойчивостью способны довести клиента до бешенства и безропотно перенести любые выражения его гнева, с тем чтобы тут же вернуться к тому же интересующему их вопросу.

Так было и с моим договором: Дэвис — уже который раз — его переделывал и выслушивал от меня, не посвященного еще тогда в тайны политики Шнейдера, совершенно излишние, как я скоро сам убедился, жалобы на сроки поставок, цены и прочее.

Когда я вернулся от Мильерана, я знал, конечно, наизусть текст договора и перечитывал его переписанным уже на гербовой бумаге скорее для проформы, как вдруг у меня блеснула в голове счастливая мысль: цифра «восемьдесят один» приходилась как раз в конце одной из строк. А не переделать ли единицу в ноль? Это ведь на общей сумме заказа составит два миллиона триста тысяч франков.

Как последнее средство выторговать что-либо у Дэвиса я предложил ему эту поправку.

— Не станете же вы заставлять меня усложнять всякий раз наши расчеты этой паршивой единицей! Я люблю цифры, заканчивающиеся нулем, — шутливо объяснил я свое предложение.

— Pour vous être agréable, mon colonel! (Чтоб быть вам приятным, господин полковник!) — услышал я в ответ от стоявшего почтительно за моим правым плечом Дэвиса. Он наклонился и в знак согласия поставил под моим парафированием поправки вытянутую в длину начальную букву своей фамилии — «Д».

На том мы и расстались, а я, глубоко вздохнув, как человек, у которого гора свалилась с плеч, решил в одиночестве отпраздновать свою первую победу, запив полубутылкой шампанского большой красный омар в ресторане Ларю. Я ведь заключил сделку и выторговал на ней два миллиона триста тысяч франков!

Благодарности за сделанную мною экономию по заказам, достигшую по подсчетам моих досужих бухгалтеров за все время войны доброй сотни миллионов, я, конечно, не ждал, как никогда и ни от кого не дождался. Отец всегда меня учил, что лучшей наградой в жизни является чувство исполненного долга.

На следующее утро, к большому моему удивлению, мне позвонил по телефону сам хозяин — господин Шнейдер. Этот на вид скромный, любезный и совсем невзрачный человек ни с кем посторонним о делах своей фирмы не говорил, и я встречал его часто до войны только в великосветских салонах. При своей заурядной внешности этот потомок эльзасских выходцев благодаря своим деньгам приобрел себе красавицу-жену из обедневшей, но древнейшей аристократической семьи графов де Сен-Совер, но наследника ему не суждено было оставить: его единственный сын погиб на фронте в мировую войну. Так трагически расправилась судьба с этим «фабрикантом смерти», как прозвал Шнейдера французский народ.

— Вы, конечно, только пошутили вчера над Дэвисом, — сказал мне Шнейдер. — Вы же не станете наносить такого удара моему «дому» (слово «фирма» на французском языке однозначаще со словом «дом»). Дэвис просто «с ума сошел», и я надеюсь, что вы восстановите прежнюю цену.

— Мой милый патрон (такова вежливая форма обращения во Франции к хозяевам предприятий), я же не ви-

новат, — ответил я, — что вы мне послали сумасшедшего, — и, обращая в светскую шутку деловой разговор, от души рассмеялся. — А подписи своей мне еще никогда не пришлось вычеркивать. За это вы не прогневайтесь.

Кончилась мировая война, разбогател Шнейдер, и его главному директору Фурнье, энергичному дельцу международного масштаба, Франция показалась тесна.

— Не забудьте, что я родом из Оверни, — нередко говаривал мне Фурнье, — а оверньяты — народ упрямый и предприимчивый.

Подчинив своему финансовому и техническому влиянию такие иностранные концерны, как заводы Шкода, подавляя своей мощью более слабых соперников и связываясь с прежними врагами, как Крупп, Фурнье незаметно для себя обратил фирму Шнейдер в «курицу, высидевшую утят». Не явилась ли эта политика одной из причин потери Францией своего национального лица, а через двадцать с небольшим лет и своей национальной независимости?

Естественно, что Фурнье после войны пришлись по вкусу наехавшие в Париж после Октябрьской революции международные дельцы типа Алексея Ивановича Путилова, бывшего директора Русского международного и Русско-азиатского банков.

Мне стало известно, что Путилов относится с некоторым недоверием к политике интервенции, и мне хотелось поглубже отколоть его от кадетской клики Маклакова. Знакомство наше устроил Фурнье, который повел такую речь:

— Вы вот не знаете, господин Путилов, что это за человек ваш генерал. Сколько мы с ним за время войны спорили, и сколько он нам испортил крови! А мы вот его за это уважаем и очень даже сожалеем, что он не соглашается променять своих большевиков на хорошее место в управлении нашей фирмы. А все же, мой милый генерал, позвольте мне вам напомнить инцидент с Дэвисом при подписании первой конвенции. Теперь я вправе вам заявить, что франк, который вы тогда у него выторговали на цене каждого снаряда, предназначался именно вам!

Шнейдер мог всегда пригодиться России, и портить с ним отношения было не в наших интересах, а потому в том же шутливом тоне, в каком говорил Фурнье, я ответил:

— Таких денег вам, конечно, мне подарить не удалось, но я все же могу лишь гордиться, что выиграл у вас во время войны хоть одно пари в сто франков.

Помните, как для получения очередного аванса на орудия, которые ваша фирма, по моим расчетам, выполнить не могла, вы, доказывая обратное, утверждали, что к первому августа будет готов для этого заказа новый бессемеровский цех. Я поехал сам в Крезо и, убедившись, что на месте будущего цеха вырыт для него только котлован, стал спорить и согласился даже на ваше любезное предложение держать пари, что цех будет готов к сроку. Действительно, тридцатого июля вы мне телеграфировали: «Букет поставлен», что означало готовность печи, но той же ночью вам пришлось послать другую телеграмму: «Вы были правы, полковник, мы проиграли пари — печь провалилась».

Шнейдер не торопился с работой, но не терял времени на получение денег.

Среди различных доводов фирма неизменно указывала мне на недостаток в денежных средствах.

— Послушайте, — сказал я им как-то после трех лет работы по заказам, — вы не раз просили меня, чтобы я помог вам через французское правительство облегчить доставку стали из Америки, — я это сделал. Вы просили, чтобы я вернул для вас с фронта рабочих и инженеров, — я это выполнил, но когда теперь вы опять просите аванса после всех тех надбавок цен, на которые вы меня вынуждали соглашаться, то я действительно убеждаюсь, что вы бедны. Я обещаю вам после войны вделать в стену вашего дома на Рю д'Анжу мемориальную доску из белого мрамора с выгравированной надписью:

«Aux pauvres, mais honnêtes.
Souvenir du colonel Ignatieff».

(«Бедным, но честным. На память от полковника Игнатьева».)

Глава шестая

РЫЦАРИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Французы не могли подыскать более меткого слова, чем «рыцарь», для злого осмеяния промышленников, защищавших на войне не родину, а собственный карман.

Первым «рыцарем», не только процветавшим на русских хлебах, но и угнетавшим собственную французскую

мелкую братию, являлся, несомненно, все тот же Шнейдер. Отгораживаясь своими патентами от французской казенной промышленности, Шнейдер, между прочим, широко использовал в своих интересах французских дипломатических представителей за границей: некоторые из них умели соединять приятное с полезным — политику с коммерцией.

«Послушайте, дружище, вы все можете в Париже, — писал мне из Петрограда в личном письме, доставленном не с дипломатическим курьером, а «с надежным человечком», Алексей Алексеевич Маниковский. Он заменил по должности начальника главного артиллерийского управления великого князя Сергея Михайловича. — Спасите нас от здешнего филиала Шнейдера — французского посольства, требующего от нас в разгар войны вагонов для доставки через Финляндию апельсинов! — Затем, продолжал Маниковский, — великое вам спасибо за ваше неизменное содействие во всех вопросах, по которым приходится вас беспокоить, особенно по делам Шнейдера.

Путиловский завод: уже чувствуется ваше влияние, так как представители Шнейдера сейчас сильно сбавили тон и употребляют усилия к тому, чтобы только «сохранить лицо».

Конечно, вам возня с этими господами особого удовольствия не доставляет, как и мне тоже! Но что ж поделаешь, раз приходится оберегать тощую русскую казну от покушений этих проходимцев... Поэтому и впредь не сетуйте, если я буду допекать вас, тем более что ведь мне (это начальнику-то главного артиллерийского управления!) не к кому и апеллировать, кроме вас!»

Чтобы заслужить столь ценное для меня доверие, а вместе с тем нажить в Петрограде, как пишет в конце того же письма Маниковский, «кое-каких доброжелателей», приходилось не столько работать, сколько «воевать с рыцарями»!

Шнейдер, как и следовало ожидать, был настолько загружен французскими заказами, что для изготовления наших снарядов по первой конвенции привлек в одном только Париже шестьдесят девять sous-traitants (мелкие заводы и мастерские, работавшие из вторых рук). На одних стучали молоты, на других вертелся десяток-другой токарных и шлифовальных станков. Сегодня у одних не

хватало металла, завтра для других требовались рабочие руки, а в результате поставки первых партий снарядов задерживались из-за неодолимых, но предусмотренных в каждом контракте «форс-мажор».

Подобно таблицам с германскими дивизиями, развешанными на стене моего кабинета в Шантильи, в Париже в моем «салоне» красовались графики, отмечавшие параллелизм различных процессов производства: то красная линия, обозначавшая производство тел корпусов снарядов, плавно повышалась от цифры сто до цифры двенадцать тысяч (я поставил себе целью догнать ее до цифры двадцать тысяч в сутки), то она пересекалась, а следовательно, отставала от синей линии, изображавшей производство трубок, между тем как желтая, указывавшая число тонн «шнейдерита» — взрывчатого вещества, — одно время упорно не хотела следовать за повышением остальных своих сестер.

Программа рабочего дня дополнилась ночными визитами то к одному, то к другому «сотруднику Шнейдера». Его директора, раздав во вторые руки наш заказ, мечтали спокойно класть в карман барыши и не портить себе крови то от недостатка на одном из заводов стали, то на другом угля, то рабочих рук. Пневматички, синие «petits bleus», отправлявшиеся мною Шнейдеру после осмотров, не доставляли директорам особого удовольствия.

Если уже тщательно оформленная конвенция на снаряды требовала постоянных понуканий, то изготовление тяжелых полевых орудий вызвало борьбу не только со Шнейдером, но и с самим Сергеем.

— Мы имеем «нариад», — твердил, плохо выговаривая это мало убедительное для меня слово, коммерческий директор Шнейдера — хитрый Дэвис. — Мы о ценах спорить не имеем права. Мы имеем такие «расходы» по русским заказам, о которых не может подозревать французское правительство. Петроград такой ведь дорогой город!

Между тем, в силу финансового соглашения, я не имел права не оформить знаменитого «нариада» договором, согласно ценам, установленным для подобных же орудий французским правительством. Поэтому в ответ на приказ Сергея подписать договор по русским ценам на сто пятьдесят длинных сорокадвухлинейных пушек и двенадцать одиннадцатидюймовых мортир я отвечал:

«Я готов, ввиду небольшой разницы калибров, повысить наши цены против французских на двадцать процентов. Ввиду не известных мне соглашений со Шнейдером довести повышение цены до тридцати процентов, но подписать договор при пятидесятипроцентной надбавке отказываюсь».

Как только закончились финансовые передряги со Шнейдером, началась дележка продукции с Альбером Тома.

Франция в отношении программы тяжелых полевых орудий оказалась в хвосте у России. Пока французская артиллерия еще только обсуждала производство этих орудий, полковник Борделиус со своими двадцатью тремя рабочими в Крезо успел уже отделать первые две одиннадцатидюймовые мортиры.

Первенство осталось за нами, но Альбер Тома предлагал делить производство пополам. Я протестовал, доказывая, что в Россию следует отправлять только полные двухмортирные батареи; потом пробовали делить мортиры на четные и нечетные, а в конце концов Альбер Тома не раз заявлял:

— Никак не могу понять, почему из двадцати четырех мортир, выпущенных Шнейдером, Игнатьев получил шестнадцать, а я только восемь. Это новый способ деления, принятый в военное время!

Работа моя с каждым днем становилась все более сложной, я разрывался между Шантильи и Парижем, но повторные мои просьбы о присылке из России хоть одного молодого генштабиста долго оставались безуспешными. Западный фронт у русского начальства был не в фаворе.

Как ни странно, но помощь в моей работе по снабжению пришла ко мне неожиданно от того же Гран Кю Же.

— Хозяин приказал командировать в ваше полное распоряжение одного из офицеров старшего командного состава французской артиллерии, — заявил мне Пелле. — Скажите только, каким условиям он должен удовлетворять?

— Быть в состоянии после трех бессонных ночей плодотворно работать, — ответил я, улыбнувшись, зная доходившее до трагизма пристрастие французов к регулярному распределению часов отдыха и работы.

Искренне посмеявшись, Пелле обещал подыскать подходящего человечка, но выполнить это оказалось не так просто, и только через десяток дней ко мне явился уже немолодой, лысеющий майор крохотного роста, Шевалье, и убедительно просил взвалить на него самые тяжелые вопросы. Я начал со Шнейдера, но маленький Шевалье не реагировал: Шнейдер представлялся ему божеством, не допускавшим критики, и, только проработав со мной всю войну, Шевалье не раз вспоминал о том недоверии, с которым он отнесся тогда в Шантильи к моей оценке французского монополиста.

Шевалье окончил в свое время Высшую политехническую школу. Для него, как достойного ее ученика, единственным развлечением, кроме утренней верховой прогулки, за которой мы устанавливали программу рабочего дня, было решение задач по высшему анализу. Он сам себе их задавал и занимался этим делом даже в автомобиле. Как всякий ученик этой школы, Шевалье мечтал, выслужив пенсию, получить под старость дней теплое местечко у Шнейдера. Не сразу он понял, что эта фирма являлась настоящим рабовладельцем XX века: какие бы проекты ни выносил любой из ее инженеров — каждый поступал в безвозмездное использование фирмы. Шнейдер монополизировал и эксплуатировал мысли своих сотрудников.

— Вызовите-ка мне нашего глухого друга, — не раз говаривал я Шевалье.

Этот глухой старичок хоть и занимал скромное положение, однако, благодаря своей компетентности, считал себя вправе высказываться, правда больше чертежом, чем словами, но зато без обиняков, по любому техническому вопросу, тогда как остальные инженеры были только покорными, безгласными чиновниками шнейдеровского царства.

После размещения во Франции заказов на полевые гранаты у меня еще долго оставался на руках невыполненным полученный из России заказ на шрапнели. От них все заводы, начиная со Шнейдера, открещивались обеими руками из-за невероятной сложности производства. В конце концов Бакэ, жалуясь как-то раз на преследование его депутатами, указал мне как на характерный пример трения по поводу какого-то Ситроена:

— В палате из-за него мне не дают покоя. Это не то банкир, не то торговец, но во всяком случае не промышленник. Говорят к тому же, что его отец — выходец из вашей Одессы. Его настоящая фамилия Цитрон. Я не могу ему дать заказов, окажите мне услугу, милый полковник, — умолял Бакэ, — примите этого типа. Депутаты уверяют, что его тесть — богатый человек, который может дать солидную финансовую гарантию. Быть может, вам удастся всучить ему ваши злосчастные шрапнели?

На следующий день в мой кабинет вкатился быстрым, энергичным шагом маленький человек лет сорока в безупречной черной визитке, с маленькой ленточкой Почетного Легиона в петлице. Мог ли я думать, что через три года эта ленточка заменится большой круглой кокардой, обозначавшей при штатской одежде одну из высоких степеней того же ордена!

— Андрэ Ситроен! — назвал себя вошедший, оглядываясь вокруг себя быстрым беспокойным взглядом сквозь пенсне. Под рукой он держал громадную картонную папку для придачи себе, как мне было показалось, более солидного вида.

— Меня прислал к вам генерал Бакэ, позвольте объяснить, — начал Ситроен и без всяких обычных для французов длинных приветственных фраз и комплиментов разложил передо мной вынутый из папки громадный лист ватмановской бумаги. — Вот тут, в левом нижнем углу, этот небольшой малиновый квадрат обозначает мой завод шарикоподшипников; филиал его уже успешно работает в Москве. А вот это, — он обвел пальцем громадный светлорозовый прямоугольник, — это законтрактованная мною земля. На ней, как видите, существуют только два-три небольших домика, которые можно снести, а главная площадь занята огородами с цветной капустой, прикрытой по случаю зимнего времени стеклянными колпаками. Все это находится, как ни странно, в двух шагах от вас, то есть от Эйфелевой башни, и никем не используется. Я и предлагаю построить на ней большой завод по всем правилам современной техники и для этого жду только получения крупного военного заказа. Кроме того, я имею еще (тут он вынул из папки целую пачку писем на английском языке) «Options» (право закупки) на американские автоматические станки, которые, как вам должно быть известно, ни одному из моих конкурентов еще получить не

удалось. Дайте мне ваше задание, и через шесть дней я представлю детально разработанные как технический, так и финансовый проекты.

«Сладки твои речи, — подумал я, — а вот как покажу тебе чертежи да технические условия нашей шрапнели, так ты тут и скиснешь».

Я позвонил и через минуту передал Ситроену документацию.

Точно в условленный день и час маленький человек с большой папкой снова вошел в мой кабинет.

— Вот мое предложение, — спокойно, но с всепобеждающей уверенностью в себе заявил Ситроен, разложив снова передо мной план местности. — Сегодня у нас десятое марта. К первому августа завод будет построен, и я начну сдачу шрапнелей с таким расчетом, чтобы выполнение всего заказа закончить к первому августа тысяча девятьсот шестнадцатого года. Цена — шестьдесят франков за снаряд. Аванс — в размере двадцати процентов с общей суммы, в обеспечение которого выдаю, кроме банковских гарантий первоклассного банка по вашему выбору, еще и закладную «на все заводское оборудование и на земельный участок с существующим уже заводом». Прошу мне сообщить по возможности без промедления ваше решение.

Последнее у меня уже созрело, и я только для вида отложил ответ на несколько дней, объясняя задержку необходимостью запросить согласие моего начальства в России. Если бы даже завод и не был построен, — рассуждал я про себя, — то мы получили бы в свое распоряжение участок в городской черте, представляющий бесценные преимущества для любого промышленного предприятия в военное время — первоклассные пути подвоза: реку Сену, соединяющую завод непосредственно с Англией и Америкой, и проходящую между берегом и заводом двухколейную железную дорогу. Работа шестидесяти девяти шнейдеровских подручных заводиков, разбросанных по Парижу и лишенных автомобильного транспорта, отправленного почти полностью на фронт, представляла достаточно затруднений. И я, принимая на себя ответственность, пошел на риск, на который не преминуло указать в своем ответе наше главное артиллерийское управление.

Ситроен, как хороший психолог, повидимому, понимал мои переживания.

— Со мной хлопот у вас не будет. Все будет сосредоточено на одном заводе. Для вашего успокоения я буду доставлять вам ежедневно большие фотоснимки с участка, по которым вы сможете следить сами за ходом работы по постройке завода, — отрапортовал мне Ситроен.

Переплетенный альбом этих фотоснимков сохранился у меня навсегда.

Первую неделю Ситроен посвятил тщательной нивелировке всего участка, и лишь после того как площадки для всех цехов были не только выровнены, но и зацементированы, он разрешил подвоз первых основных железных ферм. Для этого, одновременно с нивелировкой, была оборудована железнодорожная ветка нормальной колеи. Завод в законченном виде представлял нарядную по тем временам техническую новинку, оборудованную, между прочим, электрической сигнализацией и внутренней механической тягой. Четырехмесячный срок готовности оказался рекордным.

Если Ситроен чувствовал, что посетитель, осматривая детские ясли, любуясь белоснежными косынками работниц и блистающими чистотой стенами и даже полами, может заподозрить хозяина в очковтирательстве, то он вел его в лабораторию, представлявшую редкую для Франции, но столь необходимую для всякого хорошего завода роскошь.

Заказ был выполнен с минимальным опозданием и без единого процента брака.

Через несколько дней после заключения перемирия в Компьенском лесу Ситроен, которого я уже потерял из виду, неожиданно мне позвонил по телефону и просил заехать к нему на завод, выполнявший в то время какой-то румынский заказ на снаряды.

— В течение скольких лет, по вашему мнению, не будет войны? — задал он мне вопрос.

— В течение по крайней мере десяти лет, — ответил я.

— За такой срок можно успеть амортизировать любой капитал, — заметил Ситроен. — А что бы вы сказали, если бы я предпринял поход вот против этого господина? — и он указал на противоположный берег Сены, где дымились трубы мощного автомобильного завода Рено в Бийянкуре.

На заседаниях поставщиков, собиравшихся у меня во время войны, Рено и Ситроен всегда садились на противоположных концах стола.

— Конкуренция тяжела, — ответил я, — но если выпускать машины по более низкой цене, то рынок для них, по-моему, уже создан самой войной.

Так рассуждали мы с Ситроеном и оставили открытым только один вопрос: создавать ли пятисильные машины, или остановиться на слабейших из появившихся в ту пору типах десятисильных американских «фордов».

— Я решение принял, — в обычной категорической форме заявил Ситроен. — Приглашаю вас приехать через неделю на «наш завод».

Как по мановению волшебного жезла, опустел завод, потухли заводские трубы, затих шум тысяч станков. Они были выставлены на центральном дворе завода в ожидании покупателя, и в заводских цехах, посыпанных для красоты желтым песочком, не осталось следа от еще недавнего оживления. «Рабочая площадка» была, как и до постройки завода, готова к установке нового оборудования.

Начав со сборки отдельных частей, заказанных на мелких существующих заводах, Ситроен, постепенно открывая цех за цехом, развертывая и механизируя производство, занял через два-три года второе после Рено место во французской автомобильной промышленности.

Несмотря на суровый контроль по последней американской системе, всякий рабочий мечтал попасть к Ситроену единственно из-за тех небольших преимуществ, которые доставляли некоторые культурные достижения (столовая, приемный покой, ясли, спецодежда и т. п.). Слава его росла с каждым днем, и он сам ее раздувал по всем правилам американской рекламы; избалованных парижан было не так легко чем-либо поразить, но когда они увидели среди бела дня в чистом голубом небе белые облачка, рисовавшие слово «Ситроен», то не сразу могли понять, что буквы выводил самолет. Вечером их ожидало другое необычайное зрелище. Скрывавшаяся во тьме ночной десятками лет Эйфелева башня внезапно засверкала, от вершины до нижнего края, тысячами разноцветных и мигавших во тьме электрических ламп. «Ситроен!!!» — мог прочесть прохожий любого квартала Парижа. Красные буквы тухли, и на их месте зажигались желтые лампы,

изображавшие фабричную марку фирмы — продолговатый щит с тремя полосками. Видение исчезало, но будущий покупатель привлекался непомерно низкой ценой — «Только 20 000 франков», — выведенной надписью из зеленых ламп. И так всю ночь, и так целую неделю до изобретения новых сочетаний слов и новых красивых электрических реклам.

Ситроен мог бы избежать зачисления себя в категорию акул, если бы фаустовский Мефистофель не ходил бы еще по земле и «кумир златой» не царил бы почти во всей вселенной. Сильны соблазны роскоши и привольной парижской жизни, в особенности для такого выскочки, как Ситроен. Он не изведал их смолоду, и этот выдающийся организатор и талантливый администратор, да к тому же и хороший инженер, после блестящих взлетов оказался не в силах противостоять соблазну.

В городе распространялись необычайные слухи о его богатстве, которые заставляли меня, знавшего всю подноготную, только улыбаться. Однако упорный слух о проигрыше Ситроеном в игорном казино Довилля одного миллиона франков заставил меня призадуматься.

Это уже случилось как раз в ту эпоху, когда, по поручению советского правительства, я вел переговоры с Ситроеном по привлечению его к нашему автомобильному строительству. Атмосфера его окружения сразу мне не понравилась: его личным секретарем оказался какой-то элегантный молодой человек, ответивший мне с сильным русским акцентом.

— А между прочим, мой милый патрон, — бросил я на прощание своему бывшему поставщику, — неужели вы не чувствуете, что не имеете права рисковать миллионом, отвечая за судьбу десятков тысяч рабочих?

Но о рабочих Ситроен уже думал меньше всего и стал объяснять мне свои финансовые затруднения, которые он приписывал, равно как и слухи о его игре, своим врагам с Рено во главе.

Однако Ситроен перестал уже тогда интересовать французское правительство, которое было вынуждено спасать его от финансового краха единственно из-за боязни недоразумений с рабочими. Его борьба с «врагами» оказалась ему не под силу, и он умер от кровоизлияния в мозг в разгаре ликвидации дела.

Каждый день ставил передо мной новые и, на первый взгляд, неразрешимые задачи, для которых приходилось прибегать к содействию новых «рыцарей».

Едва я успел закончить вопрос с орудийными патронами, как возник вопрос о нескольких миллионах ударных трубок не только для снарядов, заказанных во Франции, но и для тех, что начали изготовляться по французскому образцу в России.

Трубки выделывались до той поры исключительно на французских казенных арсеналах, которые, естественно, были перегружены заказами собственной армии. Случайно один из знакомых артиллерийских майоров, служивших в военном министерстве, желая прийти мне на помощь, почти по секрету рассказал:

— Есть, конечно, человечек, мой старый товарищ по Высшей школе — Лушер, который мог бы вам быть полезным. Это такой ловкач, что способен разрешить любой вопрос, но он призван из запаса и командирован на один небольшой заводик, работающий на оборону в окрестностях Парижа. Если вы попросите министра отпустить его к вам, он, конечно, не откажет, но надо, чтобы вы поговорили с самим хозяином предприятия. — И он дал мне адрес.

Появление мое на этом «предприятии», напоминавшем скорее второстепенные мастерские, чем настоящий завод, произвело, конечно, большую сенсацию. В каком-то полутемном коридоре, представлявшем приемную, был выстроен в одну шеренгу руководящий персонал, и директор, любезный старичок, стал представлять мне одного инженера за другим. Третьим или четвертым по старшинству стоял немолодой, в грязноватой «vareuse» (куртке), совершенно лысый артиллерийский капитан почти отталкивающей наружности, напоминавшей рыбу-телескоп: те же выпученные глаза, тот же приплюснутый нос и подбородок, обезображенные, сверх того, самодовольной улыбкой. Это и оказался Лушер.

Как только невзрачный капитан вошел на следующи день в мой кабинет и узнал про цель своего вызова, о мгновенно преобразился, и передо мной предстал то делец, с которым пришлось иметь дело в течение вс войны. Он говорил быстро, почти скороговоркой, сов шенно не считаясь с производимым впечатлением, как б не допуская мысли, что собеседник может ему возразить.

— Вы настоящий министр, — говаривал я, когда апломб Лушера превосходил всякую меру. — Вы имеете для этого все данные.

Лушер улыбался и сбавлял тон.

Мне казалось самому, что я только шучу, не допуская мысли, что подобная акула, заклятый враг всякого государственного вмешательства в его частные дела, сможет действительно стать вскоре министром и что мне придется иметь с ним дело не как с поставщиком, а как с вершителем всех вопросов по тем самым военным заказам, на которых он нажил свое состояние. Сильный Лушер без труда проглотил мягкотелого Альбера Тома и сел на его место. Моя шутка стала былью. «Вы для меня дважды министр», — именовал я после этого Лушера.

На этом, впрочем, карьера Лушера не кончилась, он стал после войны министром финансов, и все примирились с тем, что, распивая в течение многих лет вместо прекрасного довоенного кофе скверный бразильский, они обязаны этим Лушеру, он предоставил государственную монополию на этот излюбленный французами напиток крупному бразильскому тресту, что позволило ему приобрести, одновременно с этим, великолепный исторический замок в окрестностях Парижа. Подобную блестящую карьеру Лушер начал хотя с трудного, но сравнительно скромного дела.

— Вы просите меня создать в кратчайший срок производство ударных трубок. Металл я закуплю у англичан, которые, как вы знаете, не спешат с мобилизацией своей промышленности, — объяснял мне Лушер. — А вот рабочей силы для выполнения такого заказа, который требует специальной точности, мы уже с вами во Франции не найдем, она вся разобрана. Ее надо искать за границей. Вы говорили со мной в первый раз об этом вопросе третьего дня, а сегодня у меня проект уже готов. Мы выпишем из Швейцарии несколько сот часовщиков с их семьями. Более квалифицированных мастеров для точной работы по металлу мы во всем мире не найдем, а под мастерские я возьму только что построенные и еще пустующие нелепые здания Лионской ярмарки, — не моргнув глазом отпалил мне Лушер. — Решение за вами.

Я надеялся охладить пыл этого энергичного капитана, предупредив, что могу дать цену, только установленную

для французского правительства. Но это Лушера не смутило.

Задержки по обыкновению надо было ожидать со стороны Сергея. Завязалась телеграфная переписка с ироническим упоминанием о «ваших (то есть моих) швейцарских часовщиках». Все же колесо и тут завертелось, и почин Лушера открыл для меня путь в страну часов: швейцарские фирмы стали принимать непосредственно для меня наши заказы, и за время войны удалось отправить в Россию свыше десяти миллионов ударных трубок.

Подобные договоры с швейцарскими фирмами, работавшими по очень сходным ценам, представили предмет особых вожделений Лушера. Он терпеливо ждал удобного случая захватить в свои руки налаженное дело швейцарских заказов, и Февральская революция, как это ни странно, расширила спекулятивные возможности моим врагам — финансовым и промышленным дельцам.

Под высоким покровительством Альбера Тома Лушер едет в Петроград и привозит мне оттуда на подпись уже заготовленный в России договор на ударные трубки.

— В государственных интересах объединять промышленность в крупные тресты, — поясняет мне Лушер. — Этих часовщиков надо прибрать к рукам. Ну, а что касается цены, то она уже утверждена вашим правительством: тринадцать рублей за трубку.

— Но это же составляет больше тридцати франков, тогда как я плачу швейцарской фирме Инвикта только двенадцать франков пятьдесят сантимов. Впрочем, господин «министр», спорить не стоит, я получаю французский кредит во франках и подписывать договор в рублях не стану.

Лушер не унимался:

— Но у вас есть приказ подписать договор на десять миллионов трубок с Лушером.

— Слушайте, — в конце концов сказал я Лушеру, — послушайтесь моего доброго совета: в военное время не играйте на валюте.

Этот последний аргумент оказался самым действительным, договор не состоялся, но Лушер, как оказалось, навсегда запомнил наш приятный разговор.

Стоял тяжелый для России 1920 год, а для меня он совпал с приступом сильного недуга и тяжелых мате-

риальных затруднений. С трудом удалось добраться до целебных серных источников Экс-ле-Бэн и приискать какую-то дешевую комнатушку на окраине этого шикарного модного курорта. Старые знакомые мне уже понемногу переставали кланяться, а таких высоких лиц, как министр финансов Лушер, во избежание оскорбительного к себе отношения, приходилось всячески избегать. Велико поэтому было мое удивление, когда, выходя однажды из водолечебницы, я был окликнут Лушером, одетым, как и я, в белый купальный халат. Сколько я ни отговаривался нездоровьем, но он настоял на своем приглашении к завтраку в самой роскошной гостинице. Там, представляя меня своей совсем обыкновенной и уже немолодой супруге, он заявил:

— Вот, представляю тебе человека, который один среди всех убеждал меня не играть на русском рубле. Я его не послушал и потерял на этом пять миллионов!

Только ранняя смерть укротила этого дельца.

По тому количеству крови, которое пришлось испортить в борьбе с алчностью «рыцарей промышленности», следующим после Шнейдера явился, несомненно, Луи Рено.

В отличие от Лушера его нелегко было раскусить. Младший сын рабочей семьи, состоявшей из матери-вдовы и трех братьев, Луи получил лет за десять до войны в наследство от старшего брата Фернанда небольшой завод автомобилей. Они только что входили тогда в моду.

В палисаднике, перед входом в главное здание, сохранился навсегда небольшой барак, в котором Фернанд Рено, токарь по металлу, ковырялся с одним из своих друзей над постройкой первого во Франции кустарного автомобиля. Второй брат погиб вскоре на первой примитивной автомобильной гонке, а третий, Луи, получил уже хорошее техническое образование. На средства брата он успел также побывать в Америке и еще за несколько месяцев до войны, показывая мне свой завод в Бийянкуре, предместье Парижа, хвастался, между прочим, образцовым порядком, установленным в заводских магазинах. При тогдашней технической отсталости Франции, в

особенности в отношении чистоты и порядка в цехах, это, конечно, было достижением.

Он в ту пору, подобно Шнейдеру, монополисту в артиллерии, захватил монопольное право в России на поставку автомобилей. Кажется, только сам царь не ездил на машине Рено, а пользовался более дорогой маркой «Делонэ-Бельвилль».

Ко времени начала моей работы по снабжению армии Рено имел в своем деловом портфеле целую серию запутанных мелких контрактов на поставку легковых и грузовых машин.

Изыскивая способы расширить производство артиллерийских снарядов, я заехал на завод Рено и убедился, что часть знакомых мне уже прессов выделена для ковки корпусов французских гранат. Генерал Бакэ выразил мнение, что Рено мог бы усилить это производство, и дал мне согласие на размещение на этом заводе еще одного миллиона русских снарядов и притом уже по сниженной против договора со Шнейдером казенной французской цене.

— Я не вправе принять от вас этот наряд, — мрачно бурчал хозяин, — и не могу задерживать выполнение заказа на машины, данного мне по приказу самого генерала Сухомлинова.

Но я уже знал, что дело не в автомобилях, а в барышах, связанных с русскими заказами, и лицемерно вздыхал о жестких требованиях, объясняемых военным временем.

Борьба с Луи Рено всегда носила характер подводной войны: мины на поверхность не всплывали, ни та, ни другая сторона не смела открыть своих карт. Я не мог высказаться потому, что мне пришлось бы перед частной фирмой компрометировать не столько ее представителей в Петрограде, какого-то таинственного Сико, сколько собственное военное ведомство. Рено, со своей стороны, с первых же дней понял, что говорить в Париже на том же языке, на котором Сико мог говорить в Петрограде, ему не удастся. Минутами мне хотелось даже себя убедить, что Луи Рено — этот выходец из рабочего класса, этот молчаливый и как будто подавленный заботами человек — не ведает даже всей той грязи, которой покрыты его дела с Россией.

Распутывать их и отписываться от телеграмм главного технического управления, напоминавших по своей мелочности переписку с лавочниками, помогал мне представитель этого управления, полковник Антонов.

Для того чтобы судить о человеке, крайне интересно посетить его квартиру: уже по ее размерам, чистоте, царящем в ней порядке или беспорядке можно почувствовать, как живет и чем дышит хозяин. Антонову были чужды парижские нравы и обычаи. Поселившись в крохотной, но чистенько прибранной квартирке, он обратил ее в небольшой уголок России, где его располневшая раньше времени супруга готовила ему в будни рубленые котлеты (их за границей никто не ест), по воскресеньям — пышный пирог с капустой, на масленицу — блины, а на пасху — красные яйца и кулич.

Впрочем, во время войны он смотрел на свой дом как на величайшую роскошь, и облик этого полковника с нелепыми длинными баками, росшими не на щеках, а на подбородке, слился навсегда с его малюсенькой крытой двухместной машиной, окрашенной почему-то в белый цвет. Это и был его настоящий домик, из узкого окошечка которого он смотрел на мир, упорно не желая расширить свой горизонт. Он сам ухаживал за своей машиной и заправлял ее, тщательно записывая расход горючего и масла на каждый километр, с тем чтобы не обсчитать русскую казну на представляемых им подробных счетах, скрепленных моею подписью и «приложением казенной печати».

Жаль становилось этого честного чиновника с серебряными погонами на плечах, когда он приносил мне на подпись ответную телеграмму своему начальству в Петроград. Критиковать, а тем более заподозривать в чем бы то ни было царских генералов и офицеров Константин Александрович, конечно, не смел. Непогрешимость самодержавной власти, представлявшая для него неоспоримую и неопровержимую истину, распространялась прежде всего на его собственное начальство.

Только проделками «этого мошенника Сико», как говорил Антонов, можно было объяснить упорное нежелание начальства считаться с установленным во Франции порядком проведения наших заказов. Для вздувания цен на тридцать — сорок процентов все предлоги были хороши, и главным из них являлось несоответствие,

например, списка запасных частей, принятого во французской армии, с нашими табелями. Между тем вопрос о запасных частях был всегда самым больным в России: еще с детства, в Чертолине, я только и слышал о нехватке запасных частей то к косилке, то к сноповязалке. С другой стороны, всякое нарушение стандартного изготовления, вплоть до такой мелочи, как окраска, давало возможность расценивать машины по любой, угодной для Сико, цене. Урегулировать этот вопрос, заставить Рено работать по французским ценам нам не удавалось. Главное техническое управление нас в этом не поддерживало, а Рено после долгих настояний вынужден был сознаться, что сам он связан секретным договором с Сико, который, подобно Шнейдеру, объясняет повышенные цены «дороговизной петербургской жизни».

На этой почве в августе 1915 года произошел уже настоящий скандал. Рено задерживал поставку нужного числа грузовиков. Когда я в беседе с Пелле пожаловался на трудности положения, то на следующий день, к великому моему удивлению, этим делом занялся сам Жоффр.

— Сколько машин вы считаете возможным отправить в Россию до закрытия навигации в Архангельске? — спросил он меня (Мурманский порт еще не был оборудован).

Упустить такой счастливый случай из-за подсчета тоннажа было невозможно, и я назвал такую круглую цифру в двести — триста машин, о которой и мечтать не мог.

Приподняв, как обычно при важном решении, правую бровь, главнокомандующий спокойно ответил:

— У меня в Венсенском складе припасены на всякий случай грузовички. Прикажите от моего имени вам их показать, выберите себе сколько вам нужно машин, любых марок по вашему вкусу, упакуйте и отправьте поскорее великому князю. Они ведь ему зимой должны пригодиться.

Обычно невозмутимый, Константин Александрович чуть не растерялся от подобной радостной вести, и мы уже судили-рядили, сколько нам взять трехтонок, сколько полуторок «рено», тяжеловатого, но прочного «панхарда», или «дион-бутона». Соответственные запасные части по русским табелям были, конечно, срочно

заказаны, грузовики высланы и благополучно доставлены в Архангельск, но вместо благодарности, которой мне так хотелось порадовать Жоффра, мы получили выговор по службе.

«Высланные вами грузовики окрашены в неуставный цвет».

— И здесь не обошлось без «подлеца Сико», — только вздохнул бедный Антонов.

Никакие интриги со стороны его русских сослуживцев и проходимцев не могли его смутить, не могли раскрыть глаза на развал всего царского режима.

Он и после революции упрямо продолжал служить той России, образ которой был создан им в Псковском кадетском корпусе и армейском саперном батальоне. Прекрасное техническое образование, полученное им в Инженерной академии, не расширило его политический кругозор. Честно исполняя свой служебный долг даже после Октября, он образцово составил тогда по моему приказанию подробный отчет по каждому из заказов: сотни грузовых и легковых машин, сотня-другая самолетов и моторов, полевые прожекторы, тысячи велосипедов — ни один из этих заказов, высланных в Россию, не ускользнул от добросовестного анализа Константина Александровича.

Не по душе уже ему пришлись представители Временного правительства, а тем более деникины и колчаки. Как смели они претендовать на верховную власть? Ему с ними было не по дороге, да, впрочем, и парижским белогвардейским организациям этот полковник не пришелся бы ко двору.

Он, как и многие мои подчиненные, потребовал от меня отдачи в приказе по управлению военного агента «об увольнении полковника Антонова в бессрочный отпуск без сохранения содержания».

Получив на руки эту бумажку, не имевшую уже никакой цены, Антонов сдал дела в мой архив и скрылся, не причинив мне никаких хлопот по устройству своей судьбы. На службу к французам он не пошел, а поселился, как я случайно узнал, на горе, возвышавшейся над игорным дворцом Монте-Карло — этой жемчужине Средиземного моря, — обращенным в место погибели многих обломков человечества. Что могло быть общего между скромным Антоновым и международными игроками,

проводившими время за рулеткой? Меня это так заинтриговало, что, очутившись как-то на Ривьере уже по советским делам, я разыскал Антонова.

Он жил в одиноком и закопченном от времени домишке у самой станции фуникулера, где променял свою беленькую машину на нелепый открытый драндулет. С болью сердца снял Антонов свои широкие полковничьи погоны и перевозил за недорогую плату тех бездельников, что чередовали игру за зеленым столом в душных залах казино с игрою в гольф на зеленых альпийских горных лугах. В беседы с ними он, конечно, не вступал.

Встреча наша была самая дружеская. Вспоминали о проделках Сико; он недавно вернулся из России, и я описал Антонову наружность этого загадочного для нас типа, напоминавшего слизняка. Как провинившийся пес, Сико, появившись у меня в кабинете, ни разу не смел посмотреть мне в глаза, бормотал что-то маловнятное о трудностях работы с советской властью. Он считал, как и многие в ту пору, приход к власти большевиков неприятным, но временным недоразумением.

Антонов, как мне казалось, в это не верил. Он молчал и только пуще насупился.

Два русских человека, любуясь расстилавшимся у их ног лазурным, спокойным, но чужим для них морем, не посмели проронить ни слова о России. В борьбе с «рыцарями промышленности» они служили ей одинаково, но любили и понимали ее по-разному.

Глава седьмая

УЛИЦА ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ, 14

Хлопоты первых дней по выяснению возможностей оказать материальную помощь родной армии превратились для меня в самостоятельную ответственную работу. Список вопросов, подлежавших разрешению, рос с каждым днем, и, как водится на всякой войне, все они оказывались крайне срочными.

Материальные ресурсы Франции были не в состоянии обеспечить наших требований, и я, незаметно для себя, превратился из военного агента во Франции в активного участника мировой войны.

Отчаливая от надежной пристани, которой стала для меня Гран Кю Же, я рассчитывал не удаляться от нее, не покидать «территориальных вод». На деле же утлому суденышку, которым являлся мой импровизированный рабочий аппарат по снабжению, суждено было выйти вскоре в открытое море, выдерживать настоящую океанскую волну и лавировать между подводными рифами, не помеченными ни на одной из лоций. Волны мы выдерживали легко, базируясь на такой богатый порт, каким был Банк де Франс, а вот от рифов, в виде российских интриг, спасались с трудом.

Подобно капитану торгового судна, вербующему свой экипаж из людей самых разнообразных национальностей и профессий, мне пришлось собрать вокруг себя молодых работников независимо от их паспортов, общественного положения и даже их прошлого.

Как когда-то запорожцы принимали к себе сообщников по принципу «како веруеши», так и наш коллектив ставил для всякого желавшего в него вступить одно лишь требование: работать без ограничения часов и без воскресных и праздничных дней. Отдыхать будем после войны.

Аппарат мой был франко-русским. Люди вдалеке от родины бывают подчас большими патриотами: они любят свою отчизну, как жених любит недосягаемую, но дорогую его сердцу невесту. Так относились мои русские сотрудники, заброшенные в Париж, к нашей родине. Они вносили в мою канцелярию на улице Элизе Реклю, 14 увлечение работой, порыв, а французские товарищи, дополнявшие русских, — организованность и порядок в работе. Это сочетание качеств двух культур позволило мне с семнадцатью сотрудниками сделать то, на что по соседству, в лондонском комитете по снабжению, потребовались сотни работников.

Первыми сотрудниками, естественно, оказались два моих довоенных секретаря: Ильинский и Ширяев. Ширяев был отставным армейским подпоручиком, одним из застрявших случайно в Париже русских туристов. Он задолго до войны женился на француженке, принял французское гражданство и был ценен только тем, что остался русским человеком и благодаря усердию выучился, не интересуясь текстом (а для военного атташе это было очень важным), печатать на русской и французской

машинках. Такой секретарь даже в мирное время, конечно, не мог меня удовлетворить, но заместителя было найти нелегко.

В Париже проживала по нескольку месяцев моя дальняя родственница — тетушка, хотя без «наследства», но отменного ума, — герцогиня Сассо-Руффо, урожденная Строганова, вышедшая когда-то замуж по своей взбалмошности за итальянца. Высокая, стройная, хотя и некрасивая, она имела немало приключений, пользуясь успехом благодаря своему остроумию и неожиданным капризам.

— Слушай, племянник, твое желание исполнено, — сказала тетушка, — я нашла для тебя секретаря. Это камердинер Ферзена — атташе нашего посольства, живущего игрой на бирже. Его камердинер во сто раз умнее своего хозяина, томится своим унизительным положением. Я его тебе пришлю.

Моя замечательная тетушка оказалась права. Петр Константинович Ильинский был честен, толков, тактичен и самолюбив. По его приятной внешности скромного блондина, по его манерам воспитанного француза трудно было заподозрить в нем сына сельского дьячка и бывшего маленького чиновника — статистика в одном из уездов Херсонской губернии. Таков уж природный дар русских людей не теряться в незнакомой им обстановке.

В царской России многие статистики, земские врачи и некоторые «батюшки» считались издавна «красненькими» уже потому, что ближе знали горе и темноту народную. К этой категории принадлежал и Петр Константинович, который, оказавшись в списке «неблагонадежных», предпочел своему скучному уездному городку ни меньше ни больше, как веселый Париж. Он не предполагал, что Париж не только весел, но и жесток, что немало людей, даже более сильных, чем Ильинский, кончили свой век, ночуя под мостами мутной Сены.

Казалось бы, что, пройдя через суровую школу жизни, Ильинский больше чем кто-либо мог бы оценить ту политическую позицию, которую я занял после Октябрьской революции. Увы! Он вскоре после этого умер моим врагом, будучи не в силах примириться с необходимостью пожертвовать своими материальными интересами в пользу интересов государства.

А еще накануне революции тот же Ильинский в форме французского лейтенанта подносил мне на подпись чеки для оплаты накопившихся за день счетов и денежных документов.

Главный секрет ведения финансовой стороны моего дела заключался в «единстве кассы», что давало возможность не задерживать платежей из-за хронического запаздывания телеграфных разрешений на них из Петрограда.

«Военный агент, — доносил в конце войны самому царю его военный представитель в Париже, все тот же престарелый Федя Палицын, — берет на себя величайшую ответственность, производя платежи без предварительного согласия на это наших главных управлений, но я долгом почитаю всеподданнейше доложить вашему императорскому величеству, что без него и я и подчиненные мне во Франции войска давно умерли бы с голоду».

«Ответственность», впрочем, парализовалась тем, что каждую субботу в служебный кабинет Ильинского наведывался таинственный рыжий человечек, секретарь Банк де Франс, сверявший наши денежные расчеты с банком. Помню, каким великим событием оказалась как-то ошибка в двадцать пять сантимов в недельном расходе около сорока семи миллионов франков.

— Найти! — сказал я Ильинскому, и через три дня все пришло снова в порядок.

Для подобной ответственной бухгалтерской работы Ильинский подыскал и воспитал для себя помощника в лице уже седеющего красавца-барина, Владимира Александровича Карышева. Этот застрявший в Париже русский дворянин — маменькин сынок и доморощенный «пиит», был до войны истинным лоботрясом, но, заразившись трудолюбием Ильинского, полюбил наше дело, как будто всю жизнь только к нему и готовился. Будучи далек от всякой политики, Карышев объяснял мое отношение к советской власти исполнением долга. Ни сокращение оклада, ни лишение в конце концов всякого жалованья не помешали ему остаться при мне до самого дня признания советского правительства Францией. Он составил полную денежную отчетность, скрепил ее своей изящной подписью и, получив при ликвидации часть недополученного содержания, пригласил меня, по старой привычке, позавтракать в самом шикарном ресторане.

Он сиял, считая, что выполнил долг перед Россией до конца.

Таким же барином, обращенным в моем парижском аппарате в скромного труженика, оказался и московский богач Карнеев. Он кончил Катковский лицей и, прожигая до войны жизнь в Париже, нелепо женился на чрезвычайно властной и вульгарной француженке, попав под ее туфлю. Он в первый же день мобилизации пожелал вступить в ряды союзной армии, видя в этом свой патриотический долг, и был принят на службу, несмотря на свою близорукость, доходившую до комизма. Французы на это не обращали внимания. Как и все русские волонтеры, Карнеев начал службу в казармах чисткой уборных, сослепу спотыкался на полковом дворе, старался, потел, но все же на фронт не попал. Секретарем при мне Карнеев, конечно, быть не мог: из-за застенчивости он не смел объясниться ни с одним из посетителей, хотя говорил идеально по-французски. Но, выучившись у меня печатать на машинке, он обрел свое истинное призвание: шифровку и расшифровку даже самых запутанных при передаче телеграмм. Чтобы оценить размер проделанной им работы, стоит лишь вспомнить, что за первую мировую войну я составил и подписал двадцать семь тысяч шифрованных телеграмм!

«Начальник шифровального отдела военного агента», — с гордостью подписывал он расшифрованный материал.

Слава о его работоспособности и таланте докатилась до самого французского министерства иностранных дел, пригласившего его на работу как высокого специалиста после ликвидации моего управления.

Французский персонал, поставленный мною под начальство Шевалье, представлял ту же пеструю, но сработавшуюся со своими русскими товарищами группу. В передней встречал меня вестовой, подметавший по утрам помещение, обросший волосами, подобно большому орангутангу — мобилизованный небезызвестный парижский адвокат и кутила Дюзар — ce sacré Dusart (этот проклятый Дюзар), как ругал его Шевалье за не стертую со стола пыль и недостаточную военную выправку.

Личным секретарем моим состоял красивый стройный лейтенант, французский кирасир Тэсье, женатый на прелестной донской казачке. Выйдя в запас, он несколько

лет служил до войны во Французском обществе в Донецком бассейне и, как почти все французы, пожившие в России, обрусел.

Его товарищ по службе в России, пехотный лейтенант Делавинь, раненный на фронте в первые же дни войны и прекрасно говоривший по-русски, тоже попал ко мне. Он ведал ответственным и сложным транспортным отделом и являл пример четкости в работе; это достигалось умением отделять главное от второстепенного, что позволяло в краткой телеграмме изложить полную картину погрузки отправляемого в Россию очередного парохода с военным имуществом.

Оба эти прекрасных работника получили после Октябрьской революции приказ отправиться со специальной миссией в «деникинскую Россию» для «спасения в ней французских интересов». Плачевный результат этой антрепризы можно было заранее предвидеть: Тэсье, очутившись в Новороссийске, занялся игрой на валюте, а Делавинь, по дошедшим до меня слухам из Константинополя, получал доход от выдачи паспортов белоэмигрантам. Грязные дела, подобно заразной болезни, молниеносно губят даже честных людей, не обладающих силой характера им противостоять.

Впрочем, мировая война являла примеры быстрого перерождения не только отдельных людей. Послевоенные тэсье и делавини пришлись вполне ко двору той части французской буржуазии, для которой страсть к легкой наживе затмила на долгие годы всякое понятие о честном патриотизме. Таким французам все казалось дозволенным.

Как далек был этот послевоенный мир от моего парижского аппарата по снабжению, который, по примеру Гран Кю Же, гордился своей скромностью, что не мешало русской военной миссии во Франции приобретать день ото дня все большую известность.

В связи с этим утренняя почта росла, но, несмотря на это, я твердо держался правила лично ознакомляться с каждой бумагой до распределения писем и телеграмм по соответствующим отделам. Опыт парижской работы мне доказал, что выгоднее затрачивать лишний час на личный просмотр бумаг и быть благодаря этому в курсе работы подчиненных, чем работать в потемках, оказываясь игрушкой в руках собственных, хотя и ответственных

помощников. Резолюции я всегда накладывал не карандашом и даже не черными, а красными чернилами, с тем чтобы запретить самому себе в чем-либо их изменять, памятуя военный принцип: ordre et contre-ordre — désordre (перемены в приказе ведут к беспорядку).

«Кровавые резолюции военного агента», — шутил надо мной после Февральской революции комиссар Временного правительства старый парижанин Евгений Иванович Рапп.

Одна уже пометка начальника, а не секретаря, на полях бумаги побуждает подчиненного отнестись более внимательно к вопросу и выполнить в кратчайший срок решение, а за границей воздержаться иногда от некоторых знакомств, могущих вызвать подозрения у начальника. Вопросительный знак на полях письма говорит подчас больше, чем пространная резолюция.

Одним из основных признаков культуры являются аккуратные ответы на письма. Иностранцы это особенно ценили, и потому для ускорения и упрощения работы ответы были у меня заранее выработаны, напечатаны и даже занумерованы на все случаи жизни.

Так «№ 1» — наиболее употребительный — обозначал «похороны по первому разряду», объясняя в вежливой форме, что предложение каких-нибудь чугунных ручных гранат нас совершенно не интересует. Этот новый вид пехотного оружия, созданный мировой войной, мог изготовляться в любой небольшой мастерской, и мне казалось верхом нелепости использовать драгоценный тоннаж под подобный малоценный товар. Наше главное артиллерийское управление держалось, однако, другого мнения, но предложения на ручные гранаты превосходили даже запросы из России. Навсегда запомнилась мне хорошенькая, миловидная блондинка, в прозрачном летнем платье, проникшая ко мне на прием и вынувшая из элегантной сумочки яйцевидную ручную гранату.

— Не убейте только меня, — засмеялся я было, не подозревая, что мой ответ доведет бедную девушку чуть ли не до слез: она не хотела отстать от почтенных сенаторов и даже кюре, пытавшихся, как и она, faire une affaire (сделать дело)!

Следующий ответ, «№ 2», призывал изложить предлагаемое дело в письменной форме, что тоже избавляло от лишнего посетителя-говоруна.

«№ 3» направлял просителя в Лондон, «№ 4» — в Нью-Йорк с указанием точных адресов русских заготовительных органов. Одним из подобных ответов воспользовался некий Ринтелен, германский шпион, построивший на этом целую главу своего «детективного» романа. Доказывая, каким образом он, якобы благодаря мне, вошел в доверие русских представителей в Америке, Ринтелен, между прочим, выставил меня как отличного знатока бордоских вин. Специальность «дегустёра», как и всякая другая, могла, быть может, пригодиться мне в жизни!

И, наконец, один из последних номеров-ответов назначал личное свидание.

Несмотря на все попытки сократить до минимума число посетителей, мне все же не удавалось от них отделаться, и моя приемная ежедневно в течение нескольких часов представляла человеческий муравейник, из которого приходилось делать отбор только самых нужных людей. Как ни странно, одним из последних и постоянных посетителей в конце дня оказывался скромный человек, ничего общего с заказами не имеющий, доктор Эдуард Бенеш, представитель Чешского комитета. О самостоятельности его страны еще никто и не помышлял, но он, убежденный патриот, уже формировал первую роту добровольцев — будущее ядро чешской армии. Он был очень деликатен, ценил мое время и молча вручал мне крохотную записочку с неизвестными мне чешскими именами. Это были те волонтеры, служившие во французской армии, которых я освобождал для него в тот же вечер при свидании с Пелле в Шантильи.

Среди постоянных деловых посетителей выделялся человек с измученным лицом, поседевший раньше времени, известный французский химик Бадэн. Он состоял директором крупнейшей фирмы Аллэ и Камарг и приходил по делу расширения производства пикриновой кислоты. Как известно, это взрывчатое вещество ярко-желтого цвета, и, глядя на желтый клок волос, спадающий на лоб Бадэна, хотелось каждый раз спросить его, не испачкался ли он в своей лаборатории. Бадэна неотступно сопровождал какой-то рыжий элегантный мужчина еврейского типа. Он не принимал никакого участия

в разговоре, но, как всякий лишний человек, действовал на нервы, тем более что разговоры с Бадэном носили зачастую секретный характер. Недостаток взрывчатых веществ как в России, так и во Франции принимал с каждым месяцем войны все более угрожающие размеры.

— Это господин Хиггинс, — объяснил мне, наконец, Бадэн, улучив минуту, когда его таинственный спутник вышел по какому-то делу из моего кабинета. — Он к нашей фирме не принадлежит, но без него я не имею права говорить о русских делах.

Сдерживая внутреннее негодование, пришлось в особенно любезной форме выяснить роль этого рыжего холеного господина.

— Я стал «экспертом» по русским делам, — весьма просто рассказал мне Хиггинс. — Отец мой родом из Одессы, но я русского языка не знаю (в этом я всегда сильно сомневался) и обосновался в Париже, где открыл небольшой банк специально для работы с Россией. В тысяча девятьсот двенадцатом году я съездил в Петербург и затратил немало труда на проникновение во все ваши министерства и военные управления, объясняя, что им будет гораздо удобнее иметь дело только со мной, вместо того чтобы переписываться с отдельными французскими фирмами. Мне удалось убедить в этом ваших влиятельных лиц и, заручившись их письмами, заключить комиссионные договора за границей на все виды химической промышленности. Я довольствуюсь немногим: всего полтора процента со сделок!

При миллионных оборотах этот процентик дал ему возможность жить на широкую ногу в роскошном особняке на проспекте Булонского леса.

Я знал, что французский закон охраняет права комиссионеров строже, чем самих поставщиков, выгонять из своего кабинета Хиггинса был поэтому не вправе и «отводил душу» только тем, что предлагал этому бездельнику вести протокол наших переговоров с Бадэном.

— Le colonel est le premier homme, qui m'a fait travailler! (Полковник первый человек, который заставил меня работать!) — вздыхал рыжий человек, исписывая листы бумаги.

С производством пикриновой кислоты связаны воспоминания и о первых наших пленных солдатах. Летом 1915 года в один из французских окопов, на спокойном

участке в Эльзасе, вскочил ночью здоровяк в желто-серой гимнастерке, повторяя лишь одно слово: «Русс!» На следующее утро вся Франция только и говорила об этом подвиге русского пленного, пробравшегося с германской стороны через проволочные заграждения к союзникам. Его фотографировали, чествовали, и я представил этого неграмотного деревенского парня к награждению георгиевской медалью.

Но уже через несколько дней переход на французскую сторону наших пленных стал обычным явлением. Немцы, не считаясь ни с какими международными правилами, использовали наших солдат для рытья окопов чуть ли не на самой передовой линии. По их рассказам, немцы относились лучше всего к английским пленным; последние мало в чем нуждались и жили особняком. Французы получали продовольственные посылки и зачастую делились с русскими товарищами по несчастью, которые были обречены на самое тяжкое и голодное существование. Они были самыми несчастными среди пленных всех национальностей.

Производство пикриновой кислоты задерживалось из-за отсутствия рабочих рук, и потому я отправлял сотни бежавших из плена солдат на юг Франции к Бадэну. Как ни старался я устроить для них приличные условия существования, но Франция второй родиной для них стать не могла. Чужды были для них ее нравы, ее пища и даже ее климат. Горько было сознавать, что из-за отсутствия тоннажа я не мог удовлетворить единственное их желание променять солнечные берега лазурного моря, где располагался завод Аллэ и Камарг, на родные русские снега.

Калейдоскоп в моем кабинете продолжал вращаться. Вот старые довоенные знакомые финансисты Жак Гинзбург и Николай Рафалович. Они считают, что война требует от них лихорадочной деятельности для «спасения России»; трудно бывает справляться с их «патриотическими» чувствами, диктующими им необходимость принять живое участие в делах оборонной промышленности. Ни тот, ни другой в ней ничего не смыслили, но они не хотели походить на тех французских банкиров, про которых Лушер мне не раз говаривал:

— Всех наших банкиров мы должны сами таскать на плечах; они только тормозят дела.

Но вот еще необычный тип банкира: скромного вида, призванный из запаса старый артиллерийский капитан — Лавалэ-Пуссэн. Этого потомка королевской аристократии завербовал единственный французский банк международного масштаба — Банк де Пари э дэ Пеи Ба. Капитан являлся ко мне в качестве аккредитованного союзными державами делегата для ведения дел в нейтральной Норвегии. В предвидении длительной войны мне удалось чуть ли не обогнать самих англичан и влезть в сложную комбинацию по законтрактованию для нас норвежских заводов в Тисседаль и Эрндаль. Они производили из французских бокситов алюминий. Другие два завода вырабатывали из воздуха аммиачную селитру. Все оборудование этих заводов было выполнено немецкими фирмами; они уже тогда пустили корни в эту страну, используя ее богатейшие запасы белого угля, как прозвали французы водяную энергию. Финансировал все эти предприятия тот же Банк де Пари э дэ Пеи Ба.

На небольших суденышках алюминий и селитра, не боясь германских подводных лодок, провозились в Мурманск и Архангельск.

Всякий раз, когда приходилось разрешать одну из подобных проблем, выходивших за пределы Франции, я чувствовал свою неосведомленность в вопросе о мировых источниках сырья. Экономикой военные атташе не интересовались, так как этим должны были ведать представители министерства торговли и промышленности. При этом мы в мирное время с ними даже не были знакомы уже потому, что эти коллеги в списках дипломатического корпуса не состояли. Дослужившись до полковничьего чина, я бы уже, конечно, не смог сдать экзамена по статистике генералу Золотареву и не ответил бы на вопрос, добывается ли в России такой, например, металл, как свинец, а если нет, то откуда мы его получаем. Такой вопрос возник для меня при получении приказа закупить десять тысяч тонн свинца.

Расшифрованный и перепечатанный на папиросной бумаге текст этой телеграммы был только что вклеен в лежавшую передо мной на столе телеграфную книгу. На левых страницах вклеивались входящие телеграммы, а на правых против них — ответные, на полях имелось место для пометок. Свинец! десять тысяч тонн свинца! Где же их достать? К какой фирме обратиться? — ломал

я себе голову, когда Тэсье мне доложил о посетителе, не включенном в очередной дневной список. «M-r Hauzeur (господин Озёр) настойчиво просит его принять, уверяя, что он ваш хороший знакомый», — объяснил мне мой секретарь.

Мне всегда приходилось состоять в той категории людей, у которых много мало известных им самим знакомых, и потому я не сразу вспомнил, что фамилию Озёр я слышал еще до войны где-то в ресторане, при разговоре о каком-то красивом высоком мужчине.

— Ну просите, — раздраженно сказал я Тэсье. В эту минуту мне было не до посетителей.

Во внешности Озёра я не ошибся. Это был немного сгорбившийся великан, хорошо воспитанный, говоривший медленно, негромко, как положено довольному собой светскому и в то же время деловому человеку. Тяжеловатый акцент во французском языке выдавал его бельгийскую национальность. Озёр был чересчур безукоризненно одет и слишком часто поглядывал на свои отполированные ногти, на что обычно не обращает особого внимания подлинный аристократ. Я все же никак не мог ожидать, чтобы именно от подобного благовоспитанного человека я получил единственное за всю войну предложение, именующееся по-русски «взяткой».

Участие в барышах всех причастных к делу лиц принималось во Франции как вполне нормальное и зачастую даже законное явление, создавая для действительных блюстителей казенных интересов немало забот по борьбе со злоупотреблениями.

Утонченные деловые люди Франции избегали, конечно, пользоваться таким грубым словом, как pot de vin (взятка), и употребляли более приятные и на первый взгляд невинные выражения, как, например, intéresser quelqu'un à l'affaire (заинтересовать кого-нибудь в деле) или participer à l'affaire (участвовать в деле).

Для Озёра эти выражения даже не понадобились, так как этот неожиданный для меня неприятный инцидент произошел, как ни странно, чуть ли не по моей собственной вине.

После обмена любезностями, которые являются во Франции обязательным вступлением в любой разговор, Озёр стал мне описывать, насколько могущественно

общество Астюриен дэ Мин, в котором он состоит председателем.

— России совершенно необходим цинк, без нас вы получить его не сможете, так как наши прииски находятся в нейтральной стране — Испании.

— Это очень интересно, — по привычке ответил я, — только в цинке мы, к сожалению, не нуждаемся.

Но как я ни старался, мне не удавалось сломить упрямство Озёра; он продолжал сидеть, раскуривая дорогую папиросу, и убеждать меня, что при всех обстоятельствах цинк для России необходим.

Становилось невмоготу. Хотелось найти предлог, чтобы закончить бесцельную беседу, и я «сорвался»:

— Если бы вы вместо цинка еще предложили мне свинец (он не выходил из моей головы), то тогда, пожалуй, нам было бы о чем поговорить.

Это подействовало. Озёр неторопливо встал и с тем же довольным видом, с которым вошел, направился к дверям. Он надолго оставил меня в покое.

Тем временем я узнал от Альбера Тома, что о свинце, как и о других металлах, существует между Англией и Францией соглашение и что без предварительного разрешения этих правительств испанская фирма Пэнаройя не вправе принять нашего заказа. Цены устанавливались международной биржей по металлам, и мне не представило большого труда отнести этот крупный государственный заказ на французский кредит, хотя платежи в иностранной валюте конвенцией моей с Альбером Тома не были предусмотрены. Для России возможность закупать военное снаряжение в нейтральных странах на французский кредит представляла, конечно, большой интерес.

Дело было налажено, свинец закуплен, отправлен, и я уже поставил в телеграфной книге против текста телеграммы из России самую приятную пометку: «ИСП.» (исполнено), как снова в моем кабинете появился Озёр.

— Я попал в очень неловкое положение, — начал он своим обычным спокойным тоном, — и вы должны помочь мне из него выйти. Помните тот вечер, когда я предлагал вам цинк, а вы мне намекнули про свинец? Через полчаса после моего визита к вам я уже сидел в кабинете директора Пэнаройя и передал ему только ваши последние слова. Этого оказалось достаточно, чтобы он выдал мне тут же комиссионное письмо на получение одного про-

цента с каждого русского заказа И вот у меня в кармане чек Пэнаройя на пятьдесят тысяч франков. Как же вы хотите, чтобы я их принял, когда все дело мне стоило только пять франков пятьдесят сантимов, которые я заплатил за такси от вашей квартиры до Пляс Вандом! Вы не имеете права отказать мне в дружеской услуге и поделить со мной эту сумму поровну, — закончил Озёр и как-то особенно, чуть ли не заискивающе заглянул мне в глаза.

Первой причиной моего возмущения было сознание, что я сижу в военной форме, с Владимиром с мечами на груди и орденом Почетного Легиона на шее. Неужели мой собеседник не отдает себе в этом отчета, неужели этот сытый промышленник имеет столь низкое понятие о представителе России за границей! Но я быстро справился с первым порывом возмущения и спокойно ответил:

— Как видите, в дружеских чувствах я вам не отказываю и ради них не позволяю даже порвать из-за ваших слов наших отношений.

Озёр хотя и понял мой намек, но, как оказалось, только наполовину. Он молча вышел из кабинета, и я долго с ним не встречался. Только позднее одна общая знакомая парижанка напомнила мне про Озёра.

— Он в отчаянии, — сказала она мне, — что вы на него рассердились. Он думает, что сделал вам недостаточно выгодное предложение!

Мы хорошо посмеялись, но я призадумался.

Почему за все время войны один только Озёр позволил по отношению ко мне подобную бестактность? Не потому ли, что, считая себя светским человеком, он судил обо мне, как о самом себе? Он ошибся, тогда как сотни дельцов, вступавших со мной в деловые сношения, оказались более тонкими психологами и не смели заикнуться о какой-либо личной заинтересованности.

Не по той ли самой причине меня впоследствии никто не соблазнял участвовать в каком-либо политическом заговоре? Вербовщики наперед чувствуют, к кому они могут обратиться.

Как часто приходилось слышать от собственных сотрудников в ответ на мои требования постоянное возражение: «Стоит ли на это обращать внимание? Это ведь такая мелочь!» Между тем война на деле убедила меня,

что преимущество немцев над союзниками заключалось главным образом в разработке до мелочей всякого плана. Правда, эта тщательная проработка деталей мешала зачастую предусматривать случайности и приводила к провалам, но союзники не раз выручали немцев своим пренебрежением к этим самым деталям.

Вспоминались невольно то оболочка аэростата на курских маневрах, промазанная не русским, а немецким лаком, то все мелочи технической подготовки в злосчастную Маньчжурскую войну. Мировая война показала, что и я сам, несмотря на приобретенный опыт, недостаточно продумал все детали материальной подготовки как союзной, так и собственной армии. В голову не могло прийти, что русская артиллерия будет нуждаться и в шелковой ткани для мешков пороховых зарядов и в донных втулках для гильз, а военная промышленность — в сверлах, в напильниках, в прессах, в станках и призматическом стекле для зрительных приборов.

Требования на высылку всех этих предметов сваливались одно за другим на наши головы в бурном потоке телеграмм из России, а удовлетворение их затруднялось не только относительной слабостью Франции, но и характерной особенностью всей ее промышленности: специализацией и связанной с ней распыленностью.

Так, например, капсюльные втулки нашего образца выполнялись чуть ли не лучше, чем в самой России, но секрет производства был известен только одному молчаливому до мрачности хозяину-инженеру; этот человек, не требовавший от меня даже технической помощи, представлялся мне истинным благодетелем. Зато другой, старичок, один обладавший во всей Франции секретом изготовления призматического стекла, был истинным врагом не только моим, но и почтенного генерала Буржуа, ведавшего снабжением своей армии биноклями и оптическими приборами. Старик Парамантуа был невидимкой. Вызвать его для объяснений оказывалось невозможным, и оставалось только без протеста оплачивать еженедельные фактуры на несколько граммов изготовленного им стекла с неизменным повышением цен в прогрессивной пропорции на сто, двести, четыреста и так далее процентов. Ни генералу Буржуа, ни мне не удавалось добиться расширения Парамантуа своего производства. Монополист стекла

наотрез нам в этом отказывал. Напрасно я предлагал купить у него на свой риск и страх секрет производства, напрасно сулил миллионы за установку производства оптического стекла в России. Французского монополиста нисколько не трогало трагическое положение, в которое были поставлены союзники потерей своих поставщиков мирного времени — германских фирм Цейсса и Герца. На счастье, последние оказались лучшими коммерсантами, чем Парамантуа, и, не желая терять свою иностранную клиентуру, давали возможность предоставлять часть своей продукции врагам своей страны. Иначе я не мог себе объяснить удавшуюся мне покупку ста тысяч немецких биноклей сперва через Италию, а после вступления ее в войну — через Швейцарию.

Оптическое стекло вывезти из Германии все же не удавалось, и, отчаявшись в мерах обычного воздействия на фирму через французское правительство, я решил использовать с этой целью его врагов во главе с нашумевшим уже тогда своей полемикой сенатором Шарлем Эмбером.

Как директор вполне правоверной в политическом отношении газеты «Журналь», Эмбер громил французское правительство за недостаточную энергию, проявляемую в снабжении французских армий.

«Des canons! Des minutions!» («Пушек и снарядов!») — озаглавливал он свои ежедневные передовицы. Он обладал хлестким пером, и так как с его газетой в отношении тиража могли только соперничать «Пти Паризьен» и «Матэн», то, естественно, с Эмбером приходилось считаться, да и звание сенатора вызывало к нему большое почтение.

Его заклятый враг Пуанкаре — и тот, отвечая на его бесчисленные назойливые письма, обращался к нему не иначе как к «дорогому коллеге» (cher collègue). Шумному, наглому и честолюбивому Эмберу подобное обращение к нему президента республики доставляло необычайное удовольствие. Эти письма давали право ему, человеку, не помнящему родства, бывшему уборщику ресторанных полов и посуды, право глумиться над родовитыми представителями чопорной французской буржуазии. Во время войны штатские парламентарии были вынуждены прислушиваться к голосу Эмбера как бывшего

офицера генерального штаба, начавшего службу простым рядовым.

С каким нескрываемым сарказмом препроводил он мне подлинное письмо Пуанкаре, в котором тот с горечью сознается в своем бессилии «воздействовать на патриотические чувства гражданина Парамантуа». «Чего же вы от нас можете ожидать, — сказал Эмбер, — когда мы имеем такого президента».

Для меня особый интерес представляли обеды Шарля Эмбера, на которые я приглашался не как военный агент, а как один из протестующих против недостаточной материальной помощи, оказываемой союзниками русской армии.

Узенькая небольшая столовая Эмбера была загромождена обеденным столом. Вполне «демократическая» атмосфера выражалась в отсутствии дамских туалетов, штатских фраков и заранее предназначенных мест за столом. Эта простота позволяла толстяку Шарлю блеснуть не только хорошей кухней и винным погребом, но и собственным красноречием. Раскрасневшийся, с седеющими колючими усами на широком самодовольном лице, Шарль считал себя по меньшей мере главнокомандующим. Закинешь ему перед обедом слово о затруднениях, чинимых мне в получении самолетов, глядишь — и после первого стакана вина он уже набрасывается на кого-нибудь из приглашенных, деятельность которых была связана с вопросами авиационной промышленности. Пожалуешься на медленную работу главной жертвы Эмбера — завода Крезо, и смотришь, от Шнейдера летят уже пух и перья.

В результате получаешь через два-три дня телефонный звонок из соответствующего департамента министерства вооружения о готовности ускорить отправку в Россию нужной материальной части.

Главный же интерес разговора откладывался до чашки кофе в крохотном кабинете Шарля. Там одной из главных фигур становится маленький артиллерийский полковник Александр, о котором я слышал как о влиятельном члене франкмасонской ложи. Когда полковник говорил: «Да, это надо сделать», то можно было быть уверенным, что твоя просьба будет уважена. Сам Шарль в своем кабинете стихал, и беседа касалась крупных вопросов стратегии и политики мировой войны, о которой

ни в прессе, ни даже в парламентских кулуарах не говорилось. О России в моем присутствии говорили с осторожностью, но не скрывали опасений за германофильские настроения царского окружения. Эмбер собирал, как хороший журналист, материал из всех упреков, которые расточали собеседники и по адресу Жоффра, окружившего себя бюрократами в военных мундирах, и Альбера Тома, раздавшего тепленькие места своим политическим друзьям, вплоть до учителей арифметики, решавших задачи по металлургии. «La critique est aisée,— l'art est difficile» («Критика легка — искусство тяжело») — вспоминалась не раз французская пословица, и я молчал, придерживаясь к тому же русской поговорки: «Две собаки дерутся, третья не лезь». Ни мне, ни кому из присутствующих не могло, однако, прийти в голову, что сам хозяин, обвиненный в шпионаже в пользу Германии, окажется в конце войны за тюремной решеткой.

Клемансо, получивший в 1917 году неограниченную власть от парламентариев, потерявших веру в победу, недаром заслужил прозвище «тигра». Кому, как не ему, были известны все грязные финансовые комбинации, с которыми была издавна тесно связана французская пресса. Он стал распутывать клубок нитей, шедших из Парижа в Берлин и Вену, направлял усилия 2-го бюро генерального штаба и Сюрте Женераль против совершенно несерьезных на первый взгляд бульварных сатирических журнальчиков, вроде пресловутого «Бонэ руж» («Красный колпак»), под предлогом, что их хозяевами оказывались иностранцы. Арестованный одним из первых, Боло Паша, директор «Бонэ руж», при дознании раскрыл свои связи с Шарлем Эмбером, которому его рекомендовало само же французское министерство иностранных дел! Оказалось, что газета «Журналь» была приобретена Эмбером при финансовой поддержке богача Боло. Париж ахнул — сенатор Эмбер был арестован! Дальнейшее расследование открыло, что часть объявлений, представлявших для «Журналь», как и для всех парижских газет, главную статью дохода, заключала зашифрованную переписку германских агентов, получивших в наше время кличку «пятой колонны». Она родилась еще тогда, в первую мировую войну. После длинного и тяжелого процесса Боло был расстрелян, а остальные обвиняемые,

французские граждане, а в том числе и Эмбер, отпущены на волю.

Этот надломленный силач остался верен сам себе и, собрав последние силы, разразился перед смертью такой обличительной книгой против подкупленной французской прессы, что перед ней побледнела вся его прежняя газетная полемика.

Я часто замечал, что когда человек отдает себя целиком разрешению одной определенной задачи, то обстоятельства сами приходят к нему на помощь. В одну из поездок из Шантильи в Париж я заехал как-то закусить в сильно опустевший, а когда-то самый роскошный ресторан гостиницы «Риц». Он отличался тем, что там всегда были прекрасные готовые дежурные блюда и что подавали там быстро. В этом фешенебельном месте, переполненном иностранцами, меня хорошо знали, но в отношении алкоголя, даже для русского военного агента, исключения не делали: спиртные напитки для военных, независимо от их чинов, в военное время были строго воспрещены. Что действительно может больше компрометировать армию во время войны, чем пьяный командир!

Война вместе с тем упростила нравы. И никто не смел протестовать против принятого мною обычая закусывать во время поездок за одним столом с Латизо. Эта демократизация, вполне естественная для республиканской армии, подвергалась, конечно, критике со стороны моих соотечественников. Но я имел все права с этим не считаться и не мог отправлять человека, ответственного за мою жизнь, обедать в лакейскую. В этот день я, кроме Латизо, пригласил за свой столик и сержанта Лаборда, старого завсегдатая в мирное время этого ресторана. Приехав со мной из Гран Кю Же, он, естественно, интересовался моей работой в Париже и, по обыкновению, возмущался задержками, чинимыми французским начальством при выполнении заказов для России.

Главным затруднением в это время было получение пороха.

— А что вы скажете, mon colonel, если я вам его достану? — неожиданно заявил Лаборд. — Вон смотрите, там, в углу зала, сидит маленький человечек. Это — мой знакомый. Личный секретарь английского лорда Муль-

тона. Хотите, я вам его представлю? — И, не дожидаясь моего ответа, Лаборд через минуту притащил к нашему столику своего приятеля.

— Мой шеф занимается всей организацией химической промышленности в Англии, — объяснил мне незнакомец, — и будет очень счастлив оказать вам содействие. Вам необходимо съездить в Лондон, там вы все устроите. Прошу вас, ждите моей телеграммы, — почтительно, но не без апломба закончил нашу беседу маленький еврей.

Я колебался, но сама судьба толкала меня в Англию. Не успел я дождаться ответа из Лондона, как меня вызвал к себе сам Жоффр и показал телеграмму, составленную в истинно английском стиле:

«Send me Ignatieff. Ketchener».

(«Пришлите мне Игнатьева. Китченер».)

— Я, конечно, не вправе вас посылать, но убедительно прошу вас исполнить просьбу Китченера. Вы знаете, как для нас важны отношения с Великобританией, — заявил мне главнокомандующий.

Зачем я мог понадобиться Китченеру, когда он имел при себе моего коллегу в Лондоне, генерал-лейтенанта Ермолова? Но отказать Жоффру я не мог, тем более что одновременно получил и личное приглашение от лорда Мультона.

Не раз пришлось мне за войну побывать на Британских островах, но в первую же поездку, как только мой пароход отчалил от французского порта, я понял, что на море порядки, установленные англичанами, следует принимать как непреложный закон. Французы могут надрываться, обучая своих заморских союзников ратному делу, но, как бы ни были блестящи традиции французских моряков, они не могут состязаться в искусстве морского дела с людьми, для которых море представляет их настоящую стихию.

Внешне переход через Ламанш напоминал о войне только обязательством для всех пассажиров надевать на себя спасательные пояса, но всякому, даже не посвященному в тайны английского адмиралтейства, было ясно, что для бесперебойного сообщения с континентом через водное пространство, заполненное неприятельскими подводными лодками, требовались какие-то особенные мероприятия.

В один из переездов, вызванных междусоюзнической конференцией в Лондоне, меня застал в Булони такой морской шторм, что английский представитель отказался доставить нас в Англию ранее утра следующего дня. Я беспрекословно подчинился его решению и спокойно расположился на ночлег в какой-то прибрежной гостинице. Но прибывший через несколько минут военный министр Пенлеве, знаменитый, но не в меру суетливый математик, был возмущен моим спокойным сидением за обеденным столом.

— Мы не можем опоздать, — шумел он. — Я лечу в Гавр, там возьму французский миноносец и ночью же буду в Лондоне. Предлагаю вам меня сопровождать.

Хорошо я сделал, что поверил английскому капитану, а не французам. В одиннадцать часов утра я уже был в зале заседаний, которое откладывалось из-за неприбытия в Лондон Пенлеве.

Впрочем, по-настоящему английская культура начинала ощущаться при входе в пульмановский вагон, плавно и без остановки доставлявший пассажиров от морской пристани Фолкестон до центрального лондонского вокзала «Виктория». Измученный морским переходом, а то и морской болезнью, пассажир усаживался не в купе, не на диванчик, а в комфортабельное кресло вагона. Перед каждым пассажиром был уже накрыт маленький столик, на котором дымилась чашка чаю, розовели горячие тосты из какого-то особенно белого и вкусного хлеба с маслом и ягодным джемом всех вкусов и цветов. Поезд не успевал тронуться, как пассажир был уже осведомлен о происходящем на всей земной планете: ему вручалась газета последнего дневного выпуска. Не мне, конечно, было дано судить о впечатлениях, производившихся Лондоном на обыкновенного туриста. Я ведь был гостем английского правительства, но по оказанному мне приему сразу понял, что Англия — страна богатая и что англичане умеют жить более удобно, чем люди на европейском континенте. Несмотря на срочность вопросов, из-за которых я приехал, меня никто не торопил, и хозяева прежде всего подумали об устройстве моей личной жизни. На вокзале уже ждала предоставленная в мое распоряжение большая военная машина, окрашенная в светлобурый цвет. Дверцу открывал шофер — прелестная шотландка с шатеновыми, подстриженными под

скобку, кудрявыми волосами, в военной форме цвета хаки. Несмотря на мои протесты, она тщательно укрыла мои ноги клетчатым пледом, так же спокойно села за руль и плавно двинула громадную машину. Перемена скоростей производилась без шума, не то что во Франции; тысячи машин двигались, держась не правой, а левой стороны, без гудков; толпы людей шли молча. Автобусы при остановках не скрипели тормозами на всю улицу, как на парижских бульварах, и, кажется, даже собаки не лаяли. И это отсутствие городского шума, это движение, регулируемое одними знаками великана-полисмена, производили величественное впечатление. Каменные громады домов тоже казались безмолвными, а люди — безразличными ко всему, что их лично не касалось. Французы из одной уже вежливости спросят вас при встрече о здоровье, а если хорошо с вами знакомы, поинтересуются, с кем вас вчера встретили, между тем как англичане вообще не имеют обыкновения задавать вопросы при встречах.

В первоклассной гостинице без лишних слов вносится багаж, без скрипа открываются двери, плавно поднимается лифт, и даже ванна наполняется бесшумно...

Поднявшись и переодевшись, забываешь уже и о морском переходе и о шумном Париже, чувствуешь себя во власти какого-то молчаливого и загадочного исполина. Негромкий звонок по телефону извещает, что лорд Мультон, как было условлено, ожидает меня к обеду. В густом тумане моя машина останавливается перед трехэтажным небольшим особнячком — все они как один похожи друг на друга. Из ярко освещенной прихожей дверь налево ведет в гостиную, а направо — в столовую (спальни размещаются во втором этаже, а прислуга живет на третьем). Лорд Мультон, седой, как лунь, старик с бачками, одет в домашний смокинг из мягкого черного бархата. Он ожидает меня, стоя посреди гостиной, и после первых приветствий ведет в столовую. В углу накрыт круглый стол на два прибора. Два лакея в чулках и туфлях с медными пряжками, бесшумно ступая по пушистому ковру, вносят блюда, ставят на стол и исчезают. Свидетелей нет, деловой разговор, прерываемый изредка оценкой бесподобных французских вин (таких вин в Париже не найдешь), затягивается далеко за полночь. Старик оказывается вполне в курсе всего, что

делается в Англии и во Франции, но не может постичь, что делается в России. По его словам, в Лондон наехало много русских представителей, но ни один или не может, или не желает дать английскому правительству списка своих требований. Знакомая мне парижская картина повторяется: англичане не выдают лицензий на вывоз, не желая допускать дезорганизации собственной промышленности из-за вторжения в нее иностранных заказов, а русские стремятся обделывать свои дела тайком от английского правительства.

Бездымного пороха Мультон дать мне не может и тем не менее делает мне заманчивое предложение: Франция уже значительно увеличила производство серной кислоты, необходимой для изготовления пороха, но она еще не успела наладить использование продуктов перегонки каменного угля. Мне это уже известно, так как парижские газовые заводы взялись за ум только по настоянию Костевича. Поэтому в отношении толуола Франция еще зависит от Англии.

— Мы увеличим поставки толуола Франции на сто тонн в день, но заявим, что взамен этого она должна наладить для России производство у себя бездымного пороха по вашей спецификации.

На следующее утро мне предстояло явиться к лорду Китченеру. Деловые свидания назначались в Лондоне не в столь ранние часы, как в Париже, и я успел заблаговременно явиться к Ермолову, который и повез меня в War Office.

— Ради бога, будьте осторожны, — поучал меня Николай Сергеевич. — От этого страшного человека можно всего ожидать. Главное — не надо ему ни в чем перечить.

До кабинета Китченера пришлось проходить по бесконечно длинным, широким коридорам, перекрытым чуть не скрывавшимися в полумраке древними сводами. Не только маленький Ермолов казался муравьем, но и я потерял в этом городе понятие о своем росте: сопровождавший нас унтер-офицер был на голову выше меня.

При нашем входе в кабинет Китченер встал, но, подчеркивая свое маршальское достоинство, поздоровался, не выходя из-за своего письменного стола. Я ответил на его приветствие на английском языке, чему он крайне обрадовался.

— Вот хорошо, — сказал он, — мы сможем говорить с вами по-английски.

Зная, что Китченер начал свою военную карьеру во франко-прусскую войну 1870 года, зачислившись добровольцем-лейтенантом во французскую пехоту, я ответил вежливо, но твердо, что предпочитаю вести деловой разговор о франко-русских делах на хорошо для него знакомом французском языке.

— Вот вы какой, — с удивлением сказал Китченер и в упор направил на меня взгляд своих свинцовых глаз.

Наступила минута молчания. Передо мной сидел человек-монолит, испытавший походы под палящими лучами африканского солнца, выпивший немало джина и виски, лишенный всякой утонченности мысли и чувства, но твердо-натвердо знающий, чего он хочет.

— Вот что, — начал Китченер на французском языке. — У вас у всех были армии мирного времени, и вы были обязаны обеспечить их заранее всем необходимым. А я только что начал создавать армию (я уже заметил по дороге в министерство расклеенные на стенах громадные афиши, восхваляющие службу под знаменами) и поэтому нуждаюсь решительно во всем. Я ничего уступить вам не могу.

— В таком случае, — ответил я, — нам не о чем и говорить.

— Нет, это не совсем так. Я просил вас приехать, чтобы переговорить с вами об Америке. И вы и французы распределяете уже там ваши заказы, но мы нуждаемся в американской промышленности больше, чем вы, мы заняли там твердые позиции. И потому нам нужно договориться, а я слыхал, что вы, как никто, знаете русские потребности и можете нам помочь в них разобраться.

— Я к вашим услугам, — в том же примирительном тоне продолжал я, — и не премину согласовать свою программу с русскими представителями в Лондоне. Генерал Ермолов может вам засвидетельствовать мои добрые пожелания в этом вопросе.

Заручившись поддержкой Китченера в тяжелом вопросе о тоннаже и взрывчатых веществах, подтвердив обещание установить тесную связь с лондонским комитетом по снабжению, я по знаку Ермолова встал, считая аудиенцию законченной. Китченер провожал уже до

дверей, крепко, по-военному пожал мне руку, и мы с Ермоловым снова очутились в мрачных коридорах, направляясь к выходу, как вдруг сзади неожиданно нас догнал тот же великан унтер-офицер и доложил, что милорд просит меня вернуться в кабинет одного, без генерала Ермолова.

— Вот видите, как я был прав! Вот и скандал. Не надо было ему перечить, — взволновался Николай Сергеевич.

Китченер стоял посреди кабинета. Он был хорош в своем простом френче с двумя длинными разноцветными полосками из ленточек на груди, обозначавшими полученные им за долгую службу боевые ордена и медали. Он вплотную подошел ко мне и снова, глядя в упор, негромко, с большим внутренним волнением спросил на английском языке:

— Подтвердите, полковник, что вы не сторонник соглашения с Морганом?

Подобного оборота я, конечно, ожидать не мог и потому дал уклончивый ответ:

— Не знаю, быть может, моей стране подобное соглашение может пригодиться, хотя мне известно, что наши заказы размещены уже в США помимо этой фирмы. Но, позвольте узнать, почему вас так может интересовать этот вопрос?

И без того красное, обветренное лицо генерала стало пунцовым. Он нервно взял меня за пуговицу походного кителя и процедил сквозь зубы:

— Хотя бы потому, что этого как раз желает Ллойд-Джордж!

Англичане хорошо осведомлены о всех сколько-нибудь интересных для них лицах, и краткая телеграмма Китченера Жоффру расшифровалась для меня сама собой. Лорд-солдат знал, что я с первых же шагов не поддался соблазнительным предложениям представителя Моргана в Париже господина Харджеса, предлагавшего предоставить его фирме исключительное право на размещение наших заказов в США. Морган умел выбирать своих послов в Европе. В Лондоне этот пост занимал какой-то медлительный, спокойный брюнет совершенно английского типа, тогда как в Париже светский человек Харджес в союзе со своей супругой, красивой блондинкой, поко-

рял парижан своим умением говорить о самых серьезных делах в приятной и легкой на вид форме.

Если предлагавшийся Морганом порядок мог быть по вкусу англичанам, умеющим всегда использовать услуги третьих лиц, то для нас предоставление монополии Моргану было бы равносильно сдаче себя ему в плен. Ни в голову солдата Китченера, ни в мое сознание не укладывалась мысль о возможности возвести американского миллиардера в ранг третейского судьи между военными министрами союзных государств. А между тем длительный характер войны ставил перед союзниками один из важнейших вопросов — распределение мирового сырья, в котором Англия, несмотря на свое промышленное и морское могущество, вынуждена была считаться с потребностями более сильных, чем ее собственная, армий Франции и России.

Это открывало широкие возможности для использования излюбленной англичанами формы работы: совещания, конференции с комиссиями, подкомиссиями, экспертами и бесчисленными секретарями. К счастью, эту громоздкую машину приводил в движение живой ум маленького подвижного человечка с копной седеющих волос на голове — министра снабжения Великобритании Ллойд-Джорджа. Да, он был большим патриотом. Но ни по внешности, ни по темпераменту он не был похож ни на одного из встреченных мною в жизни англичан. И можно было только пожалеть, что мы не имели в Лондоне представителя, который мог использовать в интересах России кипучую натуру этого валлийца, как зовутся уроженцы западной горной части Англии.

Председателем русского комитета по снабжению, представлявшего целое министерство, размещенное в громадном здании «Индиан Хауз», состоял величественный генерал-лейтенант артиллерии Гермониус. Он считался одним из серьезнейших артиллерийских техников, был до этого директором, если не ошибаюсь, Сестрорецкого ружейного завода, но в Лондоне терял пятьдесят процентов своих качеств вследствие абсолютного незнакомства с иностранными языками. Такие люди принуждены переносить вокруг себя помощников (акколитов), искажающих мысль собственного начальника. Ни чина моего почтенного лондонского коллеги, ни его компетенции в технических вопросах я, конечно, не имел и не скрою,

что мне было особенно лестно, когда Гермониус, получив в конце войны новое назначение в России, выставил мою кандидатуру как единственного достойного себе заместителя. Гермониус, правда, уже имел случай близко со мной познакомиться на всех тех конференциях, на которые меня вызывали в Лондон.

Зал, где они происходили, был громаден, стол был тоже громаден, английских представителей было громадное число и поставлены были вопросы громадной важности, но все они распределялись по комиссиям и превращались не в решения, а в пожелания, основанные, правда, на соответствующего размера таблицах и меморандумах.

На бумаге деятельность нашего Лондонского комитета представлялась блестящей, о чем свидетельствуют и сохранившиеся исторические документы: тысячи орудий и пулеметов, миллионы ружей и снарядов, или обещанных, или даже заказанных, правда, с поставками, рассроченными до 1917 и чуть ли не 1918 годов. А на деле даже кредитов не хватало, что не мешало петроградским чиновникам быть крайне довольными: не в пример нам, парижским работникам, лондонские наши коллеги принимали к исполнению любое требование, а о выполнении его, по их мнению, всегда еще было время «списаться». Телеграфные ленты все терпели. На конференциях дела тоже шли гладко.

— Итак, — заявляет председатель Ллойд-Джордж на пленарном заседании, — по вопросу о потребностях России все уже высказались в подкомиссии, и этот вопрос можно считать исчерпанным. Теперь можно перейти к вопросу об Италии.

С противоположного конца стола, где я сижу младшим среди русских генералов и седоволосых действительных статских советников, сотрудников Гермониуса, едва виден маленький председатель, однако его хотя и негромкая, но скандирующая речь хорошо до меня доносится. Наступает минута молчания. Молчат, уткнувшись в свои бумаги, и сидящие по левую руку от Ллойд-Джорджа в светлоголубых куртках с золотыми галунчиками французы; молчат заложившие ногу на ногу какие-то полувоенные английские эксперты; молчат — увы! — и мои соседи. Я, к сожалению, «не могу молчать». Мне необходимо обеспечить французские заказы металлами, зафиксиро-

вать сроки поставок сурьмы, свинца, алюминия, и я нерешительно поднимаю руку. Ллойд-Джордж сразу настораживается, я встаю, вытягиваю ладонь левой руки и, симулируя на ней, будто пишу, произношу лишь одно слово:

— Sign (подпишите).

После первого изумления весь зал понял, что я прошу скрепить подписью протокол подкомиссии по русским делам, и наградил меня раскатами смеха и аплодисментами. Ллойд-Джордж тоже от души смеялся над волокитой собственного министерства и обещал выполнить мою просьбу в тот же вечер. Но я уже приобрел опыт в сношениях с нашим Лондонским комитетом и предпочел прождать еще два дня, но получить на руки подписанный протокол.

«Signing man», — смеялся Ллойд-Джордж, встречаясь со мной на следующих конференциях.

Перед отъездом из Лондона я обычно наносил прощальный визит Николаю Сергеевичу Ермолову. Генерал продолжал, как и в мирное время, надевать военную форму только в официальных случаях и принимал меня обычно в сереньком пиджачке в своей крохотной канцелярии, где-то неподалеку от War Office. За стеной стучала пишущая машинка.

— А вы знаете, что моим секретарем состоит сам великий князь Михаил Михайлович, — не без гордости объяснял мне Ермолов. — Бедняга из-за вступления в морганатический брак с графиней Торби был лишен права вернуться в Россию. Он написал об этом царю и, не получив ответа, предложил мне помочь в работе хотя бы в печатании на машинке. Неловко же было в военное время оставаться в Лондоне без определенных занятий.

Вот чем кончил бывший нареченный моей двоюродной сестры, маньчжурской соратницы Кати Игнатьевой.

— Дел у меня, правда, хоть и прибавилось, но я не создаю себе таких затруднений, как вы, — наставлял меня мой старший коллега. — Зачем вы себя мучаете? Я, например, получаю, как и вы, запросы из России — из-за которых вы портите себе столько крови — то о пушках, то о ружьях, и, хотя знаю наперед, что Китченер нам ничего не может дать, я все же иду к нему в тот же день на прием. А вечером без промедления отвечаю: «На номер такой-то запросил Китченера, но он отказал. Ермолов». Долг я исполнил и ложусь спать спокойно.

— Жаль мне вас, мой молодой дорогой коллега, — сказал мне на прощанье Ермолов, влезая на диван, чтобы меня обнять (он был крохотного роста). — Взгляните на меня. Вот видите, я всеми уважаемый генерал-лейтенант, на отличном счету, недавно еще получил орден и ленту Белого Орла. Верьте мне, чтобы служить России, необходимо соблюдать только одно правило: ни в чем никогда не проявлять инициативы!

«Старый циник, — вынес я в ту минуту мысленный приговор Ермолову. — Он не представляет себе моего положения во Франции, при котором никаким, даже самым высоким, питерским бюрократам будет не под силу сломить мне шею».

— La Mission Russe en France — est une maison en cristal! (Русская военная миссия во Франции — это дом из хрусталя!), — не без гордости передавал мне как раз перед моим отъездом майор Шевалье отзыв, слышанный им во французском министерстве вооружения.

Отгоняя, таким образом, от себя всякие сомнения, я упустил из виду, что крепости можно брать не только штурмом, но и принуждать к сдаче измором. Возвращаясь из Лондона, я не мог предполагать, что слова Ермолова найдут себе блестящее подтверждение, и не замечал, что врагов у меня прибавлялось с каждым днем.

В Булони мне пришлось задержаться на несколько часов в ожидании моей машины, вызванной из Парижа. Случайно как раз в этот день немцы прорвали у Ипра участок английского фронта, занятый индийской дивизией. Она понесла тяжелые потери, и легкие санитарные машины пролетали одна за другой к пристани в Булони, подвозя многочисленных раненых. Я подошел к трапу, перекинутому на высокую каменную набережную с громадного океанского парохода, обращенного в санитарное судно. Оно было сплошь окрашено в яркобелый цвет и среди грязненьких французских береговых построек и закопченных пароходиков блистало своей чистотой. Та же тишина и спокойствие, которые поразили меня в Лондоне, царили и при погрузке раненых. За недостатком носилок большинство индусов, даже раненных в ногу, двигалось самостоятельно, опираясь на плечи товарищей. Эти смуглые сухопарые великаны с черными бородами,

в чалмах цвета светлого хаки, хорошо гармонировавшего с их френчами, не проронили за два часа, что я наблюдал за погрузкой, ни единого слова, и даже их лица не отражали ни боли, ни жалобы. Это были какие-то безгласные факиры, о которых я наслышался в свое время столько неправдоподобных рассказов. Зачем они здесь? За что сражаются, за что так мужественно страдают и умирают вдали от их солнечной и казавшейся волшебной родины? И нелепая преступность мировой войны лишний раз заставила призадуматься.

Глава восьмая

ТОРМОЗА

Париж показался после Лондона большой, красивой, но все же деревней. В Шантильи и Жоффр и Пелле крепко жали мне руку, узнав об увеличении ежемесячных английских поставок толуола на три тысячи тонн! Таковы были масштабы первой мировой войны.

При содействии Жоффра я получил в свое распоряжение лучшие пороховые заводы в Севре и не без гордости сообщил о своем успехе главному артиллерийскому управлению. Но оно-то как раз раньше других открыло по мне огонь с дальней дистанции. Оно не могло допустить, что какой-то генштабист, да к тому же не природный артиллерист, мог своей работой за границей восполнять недостаток в боевых припасах на русском фронте, косвенно подчеркивая этим неудовлетворительную подготовку к войне русского артиллерийского ведомства. Дела у этого генштабиста идут блестяще, денежек, да еще к тому же французских, в его распоряжении сколько угодно, — как же не отведать такого вкусного казенного пирога! Сделать это, однако, надо тонко: пусть он продолжает добывать деньги, а мы уж сами сумеем их тратить.

Для осуществления подобных хитроумных замыслов во всех странах существуют канцелярские писаки, ум которых, за отсутствием творческих мыслей, целиком направлен на составление или казенных отписок, или бумаг, слагающих с их начальства возможно большую долю ответственности. Впрочем, отношение ко мне всех наших главных управлений отражало характерные черты

царского режима. Каждый министр считал себя самостоятельным и ответственным якобы только перед царем. Однако не только слабовольный Николай II, но и такие диктаторы, как Витте и Столыпин, оказывались не в силах подчинить своему авторитету собственных министров, подобно тому как это делал во всякой другой стране любой, даже посредственный, премьер. В результате один министр вел подкоп под другого, одно управление военного министра изыскивало способы свалить с себя ответственность на другое. Каждое российское ведомство, каждая комиссия мечтала завоевать для себя побольше прав и нести вместе с тем поменьше ответственности.

Подобные порядки плохо согласовались с той установкой в проведении заказов, на которой была основана моя конвенция с Альбером Тома. Это, конечно, хорошо понимали в Петрограде, и потому присылка в Париж весной 1915 года особой артиллерийской комиссии была обставлена так, как будто она не нарушала установленного в Париже порядка.

«Окажите содействие прибывающей во Францию особой артиллерийской комиссии полковника Свидерского», — гласила полученная мною краткая служебная телеграмма.

А я-то, глупец, взваливал на плечи французов всю техническую работу, стремясь сохранить для России не только специалистов-инженеров, но и офицеров, глубоко сознавая недостаток как в тех, так и в других.

Через несколько дней в мой кабинет вошел благообразный, еще не старый, но уже лысеющий артиллерийский полковник. Он познакомился со мной, как равный с равным, и так неясно произнес свою фамилию, что я скорее догадался, чем расслышал, что это и был Свидерский.

Ни из напечатанного на прекрасной бумаге «Положения об особой артиллерийской комиссии», ни из объяснения Свидерского, всячески избегавшего смотреть мне в глаза, мне не удалось установить наших с ним служебных взаимоотношений. Я только чувствовал, что сидевший против меня тихоня получил в Петрограде какие-то негласные инструкции, позволявшие ему претендовать на полную от меня независимость. Решившись поговорить с ним по душам, я пригласил его в тот же день отобедать. Ласково припугнув меня своими связями с Сергеем

Михайловичем, а следовательно и с Кшесинской, в салоне которой брат Свидерского завоевал себе прекрасное положение как хороший винтер, — мой собеседник стал в конце обеда открывать передо мной и собственные карты. В Петрограде, по его словам, очень недовольны тем влиянием, которое якобы оказал на меня Костевич (в этой форме Свидерскому было приказано объяснить недовольство моей деятельностью представителя Шнейдера в Петрограде).

— В России дела идут совсем не так-то плохо, как это вам здесь кажется (Свидерскому, представителю тыла, не было дела до трагического положения на русском фронте), и потому лихорадочная поспешность, которая проявляется в Париже по отношению к вопросам снабжения, производит невыгодное впечатление.

— Чего же ваше начальство хочет от меня? — уже с раздражением спросил я.

Но Свидерский принадлежал к тому типу молчалиных, которых никакое раздражение не только равного с ним в чине офицера, но даже и начальства не могло пронять, и он совершенно спокойно ответил:

— Мне просто приказано «наложить на вас тормоза».

Все стало ясно. И мне оставалось охранять русские дела против подрывной работы свидерских, используя лишь те преимущества, которые предоставлялись мне не русским, а французским правительством. А именно: отправка шифрованных телеграмм исключительно за моей подписью и письменное сношение с французским правительством только на моих бланках.

Благодаря этому «тормоза» выражались в том безделье, которому предавались многочисленные члены артиллерийской комиссии, тем более что приемку нашего вооружения продолжали производить французские офицеры. Подобную ответственность наехавшие гости принимать на себя побоялись, а на ту работу, которую выполнял при мне один майор Шевалье, потребовался целый десяток офицеров, роскошное, отдельное от моей канцелярии помещение, французские военные машины и такие оклады, о которых моя миссия и мечтать не смела: юнец-прапорщик получал большее жалование, чем сам военный агент. Это было началом той деморализации русского офицерства в Париже, бороться с которой представило для меня новую и почти непосильную задачу.

— Какой ужас, — рассказывала, например, супруга Свидерского нашим общим знакомым, — я вынуждена защищать в своем салоне репутацию нашего прелестного военного агента, про которого все говорят, что он взяточник.

Так родилась та знаменитая легенда, согласно которой я после революции успел отложить в Швейцарии, как нейтральной стране, восемьдесят миллионов, именно восемьдесят, а не сто миллионов франков!

«Подождите, мы с ним расправимся! Он не имеет права наводить в Париже свои порядки», — хвасталась пьяная компания в баре шикарной гостиницы «Крильон». Там сын богатейшего купца Елисеева, пожалованного Николаем II дворянским званием, угощал ежедневно на свой счет героев тыла. Елисеев был зачислен рядовым во французскую армию и, как отъявленный пьяница, спасался в баре «Крильон» от посылки на фронт, находясь под высокой протекцией представителя высшего русского командования.

— Да, все это недопустимо, — сказал мне со вздохом навестивший Париж новый начальник генерального штаба генерал Беляев. — Вам должны быть предоставлены права по крайней мере командира корпуса, если не командующего армией.

Но никаких прав я не получал и боролся с офицерскими безобразиями больше показом, чем приказом.

Между тем число командированных в Париж офицеров, якобы специалистов, множилось с каждым месяцем. Не успел я привести в какой-то порядок свои отношения с артиллерийской комиссией, как прибыла заграничная авиационная комиссия полковника Ульянина. Она тоже захотела быть «самостоятельной», используя с этой целью название «заграничной», как будто в России не было известно, что все авиационное имущество можно было получать только из Франции. Тяжело было приказать исполнительному полковнику Антонову, ведавшему приемкой самолетов и моторов, сдать дела новой комиссии. И ему и мне они уже стали очень дороги.

Сергей Алексеевич Ульянин, один из пионеров русской авиации, был, как и Антонов, человеком чистой души, но увлеченным исключительно техникой и, в частности, моторами. В противоположность Свидерскому, он был далек от всяких интриг и, почуяв ненормальность

положения в отношении ко мне своей комиссии, сочувственно пожал мне руку, передав бразды правления своему помощнику, капитану Быстрицкому. Летчиком Быстрицкий не был, но в делах снабжения оказался большим ловкачом. Внешне дисциплинированный, а по существу натура анархическая, Быстрицкий, как человек пронырливый, нашел новые средства для получения разрешения на заказы от французского правительства, до которых мы с Антоновым, признаться, не додумались.

— Господин полковник, для нашей успешной работы нам необходимо включить в состав комиссии французского летчика капитана Фландэна. Вам ничего не стоит попросить французов командировать этого офицера в ваше распоряжение,— настойчиво и упорно твердил мне Быстрицкий.

В главной квартире действительно никаких препятствий против прикомандирования Фландэна не встретилось. И через несколько дней передо мной предстал вытянутый, как спаржа, белокурый капитан в светлоголубом гусарском ментике, плохо скрывавшем его полуштатскую военную выправку. Это был тот самый Фландэн, эта «макарона-Фландэн» (Cette nouille de Flandin, — как его ругал Шевалье), который многие годы, при скандальной репутации крупнейшего взяточника, продолжал играть политическую роль соглашателя с гитлеровской Германией. Только тогда для меня открылся секрет Быстрицкого: как депутат и богатейший человек, связанный со всей авиационной промышленностью, Фландэн имел возможность «выхлопатывать» для нас то, чего нельзя было получать от французского правительства законными путями. К чему мы с Антоновым тратили столько времени для доказательств непригодности пятидесятисильных моторов «клерже», на хлопоты о получении восьмидесятисильных моторов «гном и рон», на замену полагавшихся нам устарелых «морис фарманов» современными «вуазенами»! С приходом в нашу комиссию Фландэна многие вопросы стали разрешаться сами собой.

Фландэны — вот в чьи руки переходило управление военной промышленностью. Они «оскопляли» самых энергичных министров, развращая их технические аппараты, и довели Францию до полной военной беспомощности.

Обе эти комиссии, конечно, не оправдывали тех средств, которые требовались на их содержание; впрочем,

новая комиссия, прибывшая в Париж для приемки дирижабля фирмы «Клеман Баяр», в этом отношении далеко их превзошла.

Тщетно и Антонов и я в ряде телеграмм убеждали главное техническое управление в бесцельности присылки подобной комиссии по той простой причине, что к постройке заказанного нами еще до войны дирижабля фирма и не приступала, будучи вынужденной выполнять подобный же заказ французского правительства. Представитель «Клеман Баяра» в Петрограде убеждал в обратном и сумел, очевидно, «заинтересовать» в своем деле нужных людей. Он оказался сильнее нас. Комиссия прибыла, наняла тоже «приличную» квартиру, развесила на стенах громадный флаг, предназначавшийся для не существовавшего еще воздушного великана, и, справив новоселье с молебном и соответствующей выпивкой, явилась ко мне за содействием.

— Наш дирижабль действительно не совсем еще готов, — вынужден был сознаться прапорщик Дорошевский — в мирное время русский подрядчик старого, уже отжившего типа. Он с первого дня забрал в свои руки скромного и безгласного председателя — капитана Тихонравова.

— Французский дирижабль, однако, уже готов, и нам бы хотелось получить его от союзников взамен нашего собственного, — заявил Дорошевский.

Каково же было мое удивление, когда Гран Кю Же, обычно столь ревниво оберегавший интересы собственной авиации, согласился на мою просьбу почти без возражений. Это мне показалось подозрительным, и из перекрестных расспросов удалось узнать, что грузоподъемность дирижабля якобы не удовлетворяет техническим требованиям. Впрочем, сама идея дирижабля при быстром росте авиационной техники казалась мне чистейшей утопией.

— Французы ничего не понимают, — заявлял мне сиявший от достигнутого успеха Дорошевский. — С понедельника начнем испытания и надеемся, ваше сиятельство, вас прокатить.

— Благодарю, — ответил я. — Обещаю принять участие только в последнем испытательном полете на скорость.

Храбрость Дорошевского на том и кончилась, и в воскресенье он уже пришел меня просить поручить испыта-

тельные полеты французскому военному экипажу, так как комиссия с вождением дирижабля должна еще ознакомиться. Недель через пять звонок по телефону известил меня о печальном конце всей этой антрепризы: на предпоследнем испытании дирижабль, при вынужденном спуске, беспомощно повис на дереве, по счастью вблизи парижского аэродрома. Пришлось вызывать пожарную команду и снять с дерева среди других пассажиров и Дорошевского, нимало, впрочем, не сконфуженного, а мне с Антоновым — расхлебывать отношения с фирмой, потребовавшей уплаты многих тысяч франков за газ, потраченный на наполнение злосчастного аппарата.

Совершенно неразработанным в мирное время явился вопрос о доставках морским путем военных материалов.

Гораздо более предусмотрительным, чем союзное правительство, оказался, как это ни обидно, владелец небольшой парижской транспортной конторы, некий Шретер. Номинально он торговал русскими газетами, главным образом «Новым временем», а в действительности представлял мелкого комиссионера, эксплуатировавшего наезжавших в Париж русских бар, столь падких на чужие услуги и готовых нести любые накладные расходы, лишь бы освободиться от излишних хлопот.

О существовании столь удобного человека, как Шретер, мне сообщил в первый же день моего приезда в Париж мой предшественник, все тот же неподражаемый Гришо́к Ностиц.

— Ты знаешь, — объяснил он мне, — обстановка квартиры тебе обойдется совсем недорого. Если, входя в любой хороший магазин, ты упомянешь, что он тебе рекомендован Шретером, то немедленно получишь хорошую скидку в цене.

Я, конечно, не стал доказывать Гришку, насколько более ценными для самого Шретера могут оказаться в известном случае рекомендации военного агента и, само собой, не использовал «мудрого» совета моего предшественника.

В первые же дни войны, когда еще не возникал вопрос о каких-либо перевозках, Шретер пришел ко мне в канцелярию со следующим предложением:

— Господин полковник, вам должно быть известно, что я являюсь монополистом по доставке в Россию и багажа и товаров. Ни один великий князь не обходится без моих услуг, а вам тоже нельзя мною пренебрегать, так как в военное время вам, несомненно, придется отправлять в Россию различные грузы, заказанные, как мне уже известно, русским военным ведомством. Поэтому я вам предлагаю теперь же подписать со мной договор на зафрахтование для вас пароходов по твердой цене за тонну.

И он назвал мне такую баснословную цифру, которая, как я впоследствии узнал, не была достигнута за все время мировой войны. Как принципиальный враг предоставления монополий, я больше всего возмутился апломбом этого типа, претендовавшего поразить меня своими связями с романовской семьей. Внешний вид его тоже раздражал своей претензией на французского джентльмена — в клетчатых штанах и белых гетрах. Чести было много ссылаться перед Шретером на неполучение мною должных полномочий, что представляло стереотипный ответ всех дипломатов, и поэтому я ограничился простым, но твердым отказом на его предложение.

Но Шретер не унимался. Он стал грозить:

— Подумайте, полковник, о печальных для вас последствиях от подобного невнимания к моим словам. Ваши предшественники оказывали мне всегда особое доверие. Впрочем, вы получите соответственную бумагу от самого военного министра генерала Сухомлинова и тогда увидите, чем грозит вам подобное ко мне отношение.

Не помню, какая муха меня тогда укусила, но через минуту я уже оказался на площадке лестницы моей канцелярии, а Шретер внизу оправлялся от печального падения.

Казалось бы, что после столь любезного приема я был гарантирован от встреч с этим господином. Но мне потребовалось получить много уроков, чтобы убедиться в живучести подобных слизняков: их недостаточно побить, их надо убивать.

В самый разгар войны Свидерский стал настаивать на заказе какого-то нового типа пулеметов, доказывая, подобно прапорщику Дорошевскому, что французское правительство показывает себя в этом вопросе невеждой, что

пулемет представляет верх совершенства. Это вынудило меня в конце концов самому отправиться на казенный полигон, чтобы ознакомиться с этой новинкой, которая, как оказалось, представляла усовершенствованную копию прародительницы современного пулемета — французской митральезы: сноп пуль достигался соединением одним затвором нескольких ружейных стволов. Видимо, Свидерский продолжал считать меня за круглого невежду в стрелковом деле, чтобы осмелиться согласиться даже на опыт стрельбы из подобного оружия. Но тайна разрешалась сама собой: в почтительном отдалении я увидел шагающего по полигону Шретера в своих неизменных клетчатых штанах.

Когда с начала моей работы по оказанию материальной помощи русской армии я занялся вопросом о перевозках, то с великим изумлением узнал, что первый пароход с автомобилями и самолетами был направлен, по распоряжению из Петрограда, кружным путем вокруг Африки на Владивосток. Несчастные ящики, погруженные на палубе, сперва рассыхались под тропиками, а в конце плавания покрылись толстой ледяной корой. Надо было изыскивать другой, кратчайший путь.

Используя в первые месяцы войны нейтралитет Греции, Болгарии и Румынии, французы помогли мне организовать провоз наших военных материалов через Салоники. Для этого я зафрахтовал сперва один пароход в три тысячи тонн — «Сен Пьер» («Святой Петр»), а затем и всю серию однотипных «святых», что крайне упрощало составление планов погрузок. Для обеспечения провоза по железной дороге через нейтральные страны орудия грузились под видом фортепиано, самолеты — под видом молотилок; ящики со снарядами, по мнению моего начальника транспортного отдела де Лявиня, были очень схожи с ящиками шампанского. Кое-кто на подобных сложных комбинациях «подрабатывал», но в конце концов мои ящики прибывали на пограничную русско-румынскую станцию Рени через две-три недели после отплытия из Марселя. Обидно было узнать, что после первой же отправки две одиннадцатидюймовых полевых мортиры, на изготовление, отправку и погрузку которых было затрачено столько усилий, «затерялись» в самой России: запломбированные вагоны с этим ценным грузом, после долгих и тщетных розысков по всем нашим

железным дорогам, оказались загнанными на запасные пути в Ростове-на-Дону, а их так ждали на нашем фронте в Восточной Пруссии.

Вовлечение в войну всех стран Балканского полуострова потребовало новой организации морских перевозок, сперва на Архангельск, а впоследствии на Мурманск, что было большим достижением, так как сообщение через Архангельск, за недостатком ледоколов, прерывалось на добрую половину года. Кроме того, перевозка по железным дорогам из Архангельска на Петроград и Москву была так плохо налажена, что, по свидетельству французов, побывавших в этом порту, они в 1916 году проезжали на санях по крышкам ящиков с французскими самолетами, занесенных снегом и высланных мною еще летом 1915 года!

Между тем авиационные грузы как раз требовали скорейшей доставки. Авиационная техника развивалась такими быстрыми темпами, что самолеты за время пути от Парижа до русского фронта уже оказывались устаревшими и германские аппараты неизменно превосходили их в скорости. Когда же после долгих усилий удавалось получить от французов новейшие модели и быстро доставить их в Россию, то и это не гарантировало возможности использовать самолеты на нашем фронте.

«Все прибывающие от вас самолеты и автомобили оказались без магнето», — гласила лаконическая телеграмма начальника технического управления генерала Миллеанта.

Магнето! Магнето «бош»! Да ведь из-за этой небольшой, но жизненной части мотора в мировую войну приносились жертвы, совершались преступления. Когда, еще в первые дни, Жоффр выехал навстречу отступавшим войскам 5-й армии, его машина дважды остановилась из-за порчи моторов.

— Если бы господин генерал приказал выдать мне магнето «бош», — заявил маршалу шофер, — то такая задержка не происходила бы.

Но главнокомандующий ответил:

— Нет, оттого что я опоздаю на несколько минут, большой беды не будет, а рисковать из-за отсутствия хорошего магнето жизнью хотя бы одного нашего летчика я не вправе.

После всех затруднений, связанных с доставкой самолетов, отсутствие магнето на высылавшихся из Франции моторах сводило к нулю всю нашу работу в Париже.

Минутами казалось, что еще вчера, приезжая в Петербург из Стокгольма, я присутствовал на первом авиационном празднике, где-то невдалеке от Коломяжского ипподрома! Я видел полет поручика Нестерова, будущего героя; при мне скатился с открытого сидения «морис фармана» и разбился насмерть капитан Руднев. Самые смелые наши офицеры шли в авиацию. И теперь эти герои будут вправе проклинать нас за те устарелые типы машин, эти «гробы», на которых им придется летать.

Получив телеграмму, я набросился на бедного Антонова, который недоумевал.

— Я собственноручно запечатываю каждый ящик казенной печатью, — докладывал он мне, — проверяя предварительно все его содержание.

— Но, видимо, ваша печать с орлом оказывается не очень прочной, — смягчился я. — Возьмите же, дорогой Константин Алекса́ндрович, мою собственную, с семейным гербом, ее подменить не смогут. А внутри большого ящика прикрепите специальный небольшой ящичек для магнето и запечатайте его.

Когда и эта мера не возымела действия, я распорядился принести и разложить на моем письменном столе всю партию магнето с аппаратов, отправлявшихся на очередном пароходе. Их упаковали в особый ящик, проставили номер по морскому коносаменту, и мне казалось, что уже на этот раз мы могли быть покойны за доставку этого драгоценного груза по назначению. Но ответ главного технического управления на телеграмму об отправке был еще более лаконичен:

«Ящика за номером таким-то не оказалось».

Из тысяч ящиков, отправленных на ста двадцати пароходах из Франции в Россию во время войны, это был первый и единственный пропавший в пути ящик.

— В Петрограде царит ужасающая спекуляция, — вздыхали прибывавшие из России французские офицеры связи. — За деньги там можно все получить, и даже наши магнето «бош» продаются, правда, по баснословной цене, через Северный банк на Невском проспекте!

Вмешательство русских частных банков в вопросы заграничного снабжения заставляли все больше пригляды-

ваться к деятельности наезжавших в Париж «представителей».

Так, однажды среди обычных посетителей записался ко мне на прием какой-то соотечественник, инженер Клягин, о командировании которого я не был извещен. Я насторожился, когда в мой кабинет вошел молодой, стройный, элегантный блондин, не без апломба отрекомендовавший себя представителем Мурманской железной дороги. Это еще более меня заинтриговало, так как постройка этой магистрали разрешала основную задачу доставки из-за границы военных материалов. Оказалось, что Клягин уже некоторое время действовал в Париже совершенно самостоятельно, закупая самые разнообразные товары — от болтов для рельсов до чернослива включительно, располагая какими-то крупными суммами в иностранной валюте. Затруднения Клягин встретил, как обычно, в разрешении самого «пустячного», как казалось ему, вопроса — получения лицензии на вывоз. Соотечественники в этом отношении оставались неисправимыми, не желая подчиняться установленному в союзных странах порядку.

Вопрос этот я, конечно, немедленно разрешил, предложив молодому инженеру вместо работы с частными фирмами занять столик в моем управлении и получать товары через французское правительство. Александр Павлович Клягин стал моим сотрудником, а впоследствии и представителем при мне нашего министерства путей сообщения.

Среди командированных из России благодушных, самодовольных и безразличных к делу, но кичившихся своими чинами и положением офицеров-чиновников Клягин выделялся своей деловитостью и самостоятельностью суждений. Хотя фуражки и мундира с зелеными кантами и серебряными контрпогончиками, присвоенными инженерам путей сообщения, он из России и не захватил, но в обхождении со мной сохранил следы той военной выправки, которой, по традиции, отличались инженеры путей сообщения. Их институт, как известно, при Николае I входил в систему военно-учебных заведений.

В русской армии придавали большое значение правильному титулованию старших начальников младшими. И ко мне, как к полковнику, офицеры обращались, приставляя к моему чину слово «господин», штатские

величали по имени и отчеству, а писаря и солдаты из-за моего графского титула заменяли титулование «ваше благородие» — «вашим сиятельством». Так же обращался ко мне и Клягин. Первое время я объяснял себе такое чинопочитание хитростью: для того чтобы проводить дела за спиной начальника, его надо ослеплять внешней почтительностью.

Вскоре, однако, я узнал, что эта форма обращения объяснялась тем раболепием, на котором воспитывались по семейным традициям люди «простого» происхождения.

— Не забывайте, ваше сиятельство, — соткровенничал со мною как-то Клягин, — что дедушка мой был простым лесником, хорошо знал свое дело, а потому и нажился на лесных заготовках. Отец уже был лесничим у богатых помещиков, которые, как вы знаете, в делах понимают мало. А я уже, как видите, пробился в настоящие инженеры, одет по последней парижской моде (тут он привстал и хитро улыбнулся). Женат на настоящей столбовой дворянке. Да-а, разорительна, правда, Мария Николаевна, ну, что ж поделаешь, барские ее капризы переношу. А все ж таки умру русским мужиком. Не взыщите.

Разрасталось мое дело, множились охотники до французского кредита, до обеспеченного морского тоннажа. Все были только не прочь избавиться от опеки военного агента над их делами. Пример французских сенаторов и дельцов оказывался заразительным. И каждый хотел проявить «личную инициативу», прикрываясь возвышенным идеалом «спасения России».

К весне 1916 года дела на родине действительно шли из рук вон плохо. Сотни телеграмм с требованием доставки самых разнообразных товаров указывали на беспомощность военного министерства удовлетворить насущные потребности фронта. Так, Свидерский настаивал на заказе какой-то весьма подозрительной фирме в Бордо — городе, не имевшем ничего общего с военной промышленностью, — траншейных минометов и бомб к ним, как назывались в ту пору мины.

— Помилуйте, — пробовал я возражать против предложенной нам баснословной цены, — ведь такие, с позволения сказать, орудия может склепать наш кузнец

Ванька в Чертолине. Зачем обременять тоннаж на перевозку такого барахла!

Переспорить представителя ведомства бывало трудно: каждый заручался надежной поддержкой из Петрограда, а этого-то как раз мне и недоставало.

Долго хотелось верить, что в конце концов вся моя работа во время войны и на фронте и в тылу, несмотря на полемику с правящими кругами, все же заслужит должную оценку, хотя некоторые мелкие факты должны были убедить меня в противном. Получение очередных орденов давно, правда, потеряло в России свое значение, и, прочитав как-то в довоенное время в «Русском инвалиде» о награждении меня Анной второй степени, мне не захотелось заменять этим мирным орденом полученный за сраженье под Сандепу шейный орден Станислава второй степени с мечами. Однако, когда с очередным дипломатическим курьером я получил в разгар мировой войны за выслугу лет снова очередной орден Владимира третьей степени, лишенный мечей, то принял это не как награду, а как оскорбление.

Французы прекрасно знали, что орден с мечами жаловался не только строевым, но и штабным офицерам на театре военных действий, и приравнение меня к военным агентам в нейтральных странах представляло в их глазах политическую бестактность.

Реагировали они на это совершенно для меня неожиданно. Среди утренней почты в Гран Кю Же мне принесли против обыкновения очередной номер «Journal Officiel»— «Французский правительственный вестник» — с подчеркнутым кем-то красным карандашом абзацем: «Согласно приказу главнокомандующего с объявлением по всем французским армиям, за выдающиеся заслуги русский военный агент полковник Игнатьев награждается командорским орденом Почетного Легиона».

Мне показалось особенно дорогим, что эту награду я получил не как дипломат, а в виде особого исключения как офицер на фронте. Тот же чисто военный характер Жоффр придал и самому порядку награждения, по форме, установленной для офицеров французской армии.

Под звуки рожков на скаковое поле в Шантильи вышел батальон стрелков с лихо сдвинутыми набок темносиними беретами и построился неподалеку от места, где проживал Жоффр. Мне было указано прибыть к тому же

месту четверть часа спустя — время, предусмотренное для сбора всех чинов главной квартиры.

Это уже меня глубоко растрогало. И Пелле и Дюпон уже наперед жали мне особенно дружески руку.

Как обычно, скривясь слегка на левый бок и поддерживая генеральский палаш, приближался Жоффр.

Раздалась команда:

— Garde à vous! Présentez armes! (Смирно! Слушай на караул!)

Войска берут на караул.

Я уже стою перед фронтом перед трехцветным знаменем, вытянувшись, как старый гвардеец, держа руку под козырек.

Главнокомандующий обнажает палаш и, подойдя ко мне, по традиции посвящения в рыцари, прикладывает его сперва к правому, потом к левому моему плечу, после чего при помощи адъютанта привязывает на мою шею поверх походного кителя большой белый крест с зелеными веночками на широкой красной ленте. Пожав мне руку, он дважды меня обнимает, в то время как по команде: «Ouvrez le ban!» (Играйте туш!) — оркестр играет сигнал военного салюта.

Церемония, однако, на этом не кончается: Жоффр приглашает меня стать рядом с ним на один шаг впереди, а войска перестраиваются для прохождения церемониальным маршем перед новым командором Почетного Легиона.

Всякому военному доводится переживать незабываемую минуту...

После обычного завтрака в нашей «Попот» 2-го бюро, отмеченного дружеским бокалом шампанского, я, согласно установленному в русской армии порядку, послал следующую телеграмму своему прямому начальнику, генерал-квартирмейстеру:

«Испрашиваю высочайшего разрешения государя императора принять и носить пожалованный мне сегодня орден командорского креста Почетного Легиона».

Впоследствии мне рассказывали, что в ставке это известие произвело должное впечатление, но отношения мои с Петроградом не исправило.

Даже в письмах родной матери проскальзывала критика моего «несчитания» с русскими правящими кругами. Один только Поливанов, мой бывший профессор по Пажескому корпусу, сменивший Сухомлинова на посту

военного министра, успокоил мою мать, сообщая, что «Игнатьев нам необходим в Париже».

Некоторую, правда только чисто нравственную, поддержку получил я в те дни от прибывшей в Париж депутации Государственной думы и Государственного совета. Эта заграничная поездка русских парламентариев имела целью доказать общественному мнению союзных стран, что германофильские течения, связанные с распутинскими группировками, еще не так сильны в России и что представители самых разнообразных политических партий полны готовности продолжать войну до победного конца, демонстрируя солидарность с западноевропейскими демократиями, борющимися против Германии.

По существу русская делегация представляла как бы ту «оппозицию его величества», которая была провозглашена кадетами еще в первой Государственной думе.

Попутно представители военной комиссии Государственного совета и думы должны были ознакомиться с деятельностью русских заготовительных органов за границей.

Естественно, что при моем отчуждении от русской действительности, при моем служебном одиночестве, вызванном разницей во взглядах с командированными из России моими сотрудниками, я ухватился за новых знакомых как за соломинку. Франция уже приучила меня проводить военные вопросы не через военных, а через штатских людей. Однако действительный интерес к своему делу я встретил только у посетивших мою скромную канцелярию, или, точнее, личную квартиру, заставленную канцелярскими столами, членов Государственной думы Милюкова и Шингарева. Их сопровождал, скорее для проформы, какой-то член Государственного совета из крайних правых, который своим величественным молчанием старался, повидимому, поддержать достоинство этого высшего учреждения Российской империи.

После пространного доклада, сделанного мною в присутствии всех старших моих сотрудников, я закончил его так:

— Вы видите, как растет с каждым днем номенклатура товаров, закупаемых через нас на французский кредит. Не говоря уже о перце, которого может хватить на многие годы, о тиглях, количество которых превосходит потребность чуть ли не всего земного шара, — многие

товары, как, например, медикаменты для гражданского населения, сера для виноградников, вызывают подозрение: не служат ли они, подобно магнето, предметом грязной спекуляции? Скажите, что еще можно найти в России? В чем я имею право отказать, не рискуя нанести ущерба фронту? Кого на законном основании могу послать к черту?

Шингарев потер лоб и без большой уверенности в голосе вымолвил:

— Есть еще конопля, так что пакли у вас запрашивать не имеют права.

— И на этом спасибо, — пришлось с глубокой горечью закончить беседу.

Больше всего поразила моих гостей малочисленность моего центрального аппарата и связанная с этим образцовая экономия.

— Это уж французская школа, — объяснял я Милюкову, с трудом примирявшемуся с пресловутыми российскими штатами, раздутыми по случаю войны выше предела.

— Как же это вы можете работать, не имея штата? — удивлялись соотечественники.

Шингарев, как я впоследствии узнал, представил даже по этому поводу специальный и крайне для меня лестный доклад в Государственную думу.

Итак, в силу обстоятельств я очутился и сам «в оппозиции к его величеству» и, в противоположность моим коллегам в посольстве, стал получать приглашения на все приемы, устраиваемые русским гостям французскими парламентскими и политическими организациями. Выступать с речами, хвала богу, не пришлось, но скрыть краску стыда за речи других удавалось с трудом.

Особенно торжественным, а потому и тягостным был громадный банкет, устроенный «Лигой прав человека» под председательством самого Анатоля Франса. Маститый писатель, старик высокого роста, особого впечатления на меня не произвел: он уже был очень стар и служил только символом традиций республиканской Франции с ее лозунгом «Свобода, равенство и братство».

Речи лились рекой, благо ни характер тем, ни время не были ограничены. Можно было вволю поболтать. Этим особенно злоупотребил член Государственного совета

Гурко, уцелевший деятель мошеннической аферы на поставках хлеба голодающим.

Уже одна его внешность — обросшее седеющей щетиной уродливое лицо со злобным взглядом нелюдима — указывала на малоудачный выбор представителя крайних правых.

— Господа, — начал свою речь Гурко, — приехал в Париж, как-то еще перед войной, владетельный царек одного из африканских племен. Его особенно очаровали прелестные ножки парижанок, и, уезжая, он возымел мысль обуть своих соотечественниц в такие же очаровательные туфельки, какими он любовался на парижских бульварах.

Присутствовавшие, ожидавшие либеральных, умных речей, в первые минуты были заинтригованы подобным оригинальным началом, и Анатоль Франс даже повернулся в сторону занятного оратора. Скоро, однако, пришлось разочароваться. Прошло еще добрых полчаса, а бывший царский министр продолжал скучно объяснять, как туфли, заказанные неграм в Париже, оказались слишком тесны, как в Африку поехал немецкий сапожник, снял там мерки с ног негритянок и сколь выгодную аферу он сумел на этом сделать. Никто ничего не понял. Сидевший направо от председателя Милюков побагровел от негодования, а я, уставившись в тарелку, старательно очищал одну грушу за другой.

Напрасно, впрочем, так негодовал Милюков: в уме ему, конечно, никто не мог отказать, но по бестактности он на следующий день даже превзошел Гурко.

На этот раз обед был интимный: собрались только французские и русские члены Международного парламентского союза. Все правые отсутствовали, председательство было предоставлено самому Милюкову. У каждого прибора было положено меню, украшенное пучком разноцветных флагов всех союзных государств. Русские гости только что вернулись с организованной мною для них поездки на фронт и, делясь свежими впечатлениями о французской армии, гадали о сроке неминуемой победы над врагом. В открытые настежь окна гостиницы «Крильон», расположенной в одном из двух дворцов, украшающих площадь Согласия, вливался ласкающий весенний воздух. И только не свойственная Парижу уличная тишина напоминала, что враг еще совсем близко, в ка-

ких-нибудь шестидесяти километрах от городских ворот. Но вот Милюков встает, берет в руки меню и, рассматривая его, произносит следующий короткий тост:

— Я пью, — сказал нам будущий министр иностранных дел, — за то, чтобы в следующую нашу встречу среди этих флагов красовались и отсутствовавшие ныне флаги!..

Мне, как единственному военному среди штатских, как русскому представителю при союзной армии, хотелось провалиться сквозь землю. Хотя намек, сделанный Милюковым на германский и австрийский флаги, был достаточно прозрачен, однако все присутствовавшие постарались или его не понять, или принять за веселую шутку.

— Неужели у нас помышляют о мире с немцами? — спросил я Энгельгардта, выходя с обеда и прогуливаясь по Елисейским полям.

Энгельгардт, мой бывший товарищ по Пажескому корпусу, вернулся из запаса и в форме полковника генерального штаба состоял членом военной комиссии Государственной думы.

— Нет, — ответил он. — Это Павел Николаевич Милюков хотел только сострить. Но отрицать германофильство в окружении царя, конечно, нельзя. Сам он, как ты знаешь, человек безвольный, но в вопросах войны стоит за верность союзническим обязательствам. Поверь, что, как и говорил Шингарев, все чинимые тебе неприятности исходят от распутинской и тесно связанной с нею сухомлиновской клики. Она бесспорно сильна, но мы с ней справимся.

— Но каким способом? — спросил я Энгельгардта.

— Да, пожалуй, придется революционным, — не особенно решительно ответил мой старый коллега. — Опасаемся только, как бы слева нас не захлестнуло.

Глава девятая

НАЧАЛО КОНЦА

Все темные предчувствия первых дней войны, вся тревога за родную армию в течение долгих зимних месяцев 1915 года — все нашло себе горькое подтверждение с наступлением первой военной весны.

К этому времени как раз вернулся из первой поездки в Россию майор Ланглуа, назначенный Жоффром для

непосредственной связи с русской ставкой. Никакое письмо не может заменить, в особенности на войне, живого слова, и французы благодаря Ланглуа знали о России гораздо больше, чем русские знали о Франции. Наши, впрочем, как мне писал «черный» Данилов, этим «нисколько не тяготились». Только последним соображением мог я объяснять упорное нежелание и ставки и генерального штаба назначить с нашей стороны офицера связи и притом постоянного, как Ланглуа, не открывающего в каждый свой приезд Америки.

Жоффр и на этот раз в выборе исполнителя не ошибся: крепыш, весельчак Ланглуа старался придать себе вид «рубахи-парня», чему немало помогало его отличное знание русского языка. Но под этой беззаботной внешностью скрывался тонкий наблюдатель и вдумчивый аналитик. По образованию — политехник, по роду службы — артиллерист, Ланглуа был достойным сыном своего отца, одного из создателей тогдашней тактики артиллерийской стрельбы.

Нашим дружеским отношениям мы с Ланглуа были обязаны в большой мере моей нормандской кобыле масти «обэр» (чалая, без черных волос), в которую влюбился Ланглуа при наших довоенных прогулках в Булонском лесу, а я после настоятельных его просьб уступил ему эту легкую кровную птичку. Любители лошадей никогда не забывают подобных услуг, и Ланглуа после каждого приезда из России подолгу засиживался в моем рабочем кабинете в Шантильи. Привезенные им сведения об окопной жизни русской армии воскрешали в памяти маньчжурское зимнее сидение. Та же растянутость фронта в одну сплошную линию, то же отсутствие стратегических резервов, та же скука от безделья в штабах, удаленных от фронта на десятки и сотни километров.

На французском фронте каждый генерал, даже командующий армией, считал своей обязанностью побывать ежедневно хоть на каком-нибудь из участков, а потому меня особенно поражало, что русские солдаты видят высокое начальство только на смотрах да на парадах. Кормят солдат хорошо, но зиму они провели в серых холодных шинелишках и дырявых сапогах.

В больших штабах царит благодушное самодовольство, а ставка тщится примирять между собою командующих фронтами; подобно Куропаткину, там пишут обстоятель-

ные мотивированные доклады и бесчисленные проекты. Мобилизовано свыше двенадцати миллионов, а солдат в ротах некомплект из-за недостатка в ружьях. Батареям разрешено выпускать не больше пяти выстрелов в сутки.

Рассказы Ланглуа о немецких зверствах казались чудовищными: в последних зимних боях в Августовских лесах немецкое командование в отместку за понесенные неудачи гнало русских пленных разутыми по тридцатиградусному морозу. Перед подобными фактами бледнел и нашумевший расстрел немцами бельгийской патриотки, сестры милосердия мисс Кавель, и все те расправы, которые они чинили в оккупированных французских городах.

На русском фронте после зимних кровопролитных сражений под Лодзью и Варшавой, по своему героизму воскрешавших «Илиаду» Гомера, появились уже грозные признаки разложения тыла, заполненного укрывшимися от фронта офицерами, непригодными генералами и присосавшимися к армии дельцами самых разнообразных профессий. Как ни сдержан бывал Ланглуа в выборе выражений и характеристиках «высоких особ», но все же у него изредка срывалось слово «criminel» (преступно), когда он касался работы тыла по снабжению. Мне всегда казалось, что, несмотря на внешнюю откровенность, Ланглуа рассказывает своему собственному начальству гораздо больше, в чем и пришлось убедиться спустя несколько дней.

Совершенно неожиданно меня пригласили отобедать в столовую оперативного бюро, куда никто, кроме «своих», доступа не имел. Я принял было это только за знак дружеского доверия, но, выйдя из-за стола, Гамелен предложил пройтись пешком и незаметно углубился со мной в темный лес.

— Здесь по крайней мере нас никто не слышит, — начал начальник оперативного бюро. — Скажите, неужели в России настолько сильны германофильские течения? Что, по-вашему, представляют собой Сухомлинов, Распутин, какой-то Андронников и, наконец, сама императрица?

Что мог я ответить Гамелену? В ту пору я не имел еще доказательств близости Сухомлинова с германскими шпионами, сомневался даже в справедливости приговора над Мясоедовым, будучи весьма невысокого мнения о работе нашей контрразведки. Про Распутина я слышал

перед войной только от Влади Орлова, ближайшего в то время царского наперсника. Он удалился навсегда от двора после того, как высказал лично Николаю II все, что думал про распутного мужика.

Рассказывать обо всех этих подробностях иностранцам я, конечно, не стал и выразил Гамелену лишь уверенность, что в России найдутся люди, которые сумеют вымести немецкую нечисть «из собственной избы». Но Гамелен был, видимо, глубоко встревожен рассказами Ланглуа.

— Не забывайте, милый полковник, — продолжал он, — что и мы имели когда-то короля, заплатившего своей головой за то, что жена его была немка.

Меня передернуло, я замолчал, а тонкий Гамелен, почуяв неловкость, перевел разговор на переброску германских дивизий с Западного на Восточный фронт. Этот вопрос к весне 1915 года стал не только серьезным, но и решающим для исхода войны в России.

К счастью, разведывательная служба в ставке к этому времени наладилась, и мы, наконец, договорились о переброшенных за зиму из Франции германских силах.

В начале войны на русском фронте находилось три активных корпуса (I, XVII и XX) и два с половиной резервных (I, Гвардейск. рез. и 5-я див. II корпуса).

До конца марта с Западного на Восточный фронт было переброшено: четыре активных корпуса (II, XI, XIII, XXI) — восемь дивизий и три резервных корпуса (III, XXIV и XXV) — шесть дивизий. Всего семь корпусов, что равно четырнадцати дивизиям, и направлено из Германии три вновь сформированных корпуса (XXXVIII, XXXIX и III), то есть еще шесть дивизий. Всего на русском фронте должно было находиться двадцать пять активных и резервных германских дивизий, не считая ландверных и ландштурмных бригад, и тридцать пять — сорок австро-венгерских дивизий.

Кроме того, конец марта характеризовался появлением целой серии новых германских дивизий, формировавшихся за счет полков, отведенных с фронта; за недостатком людских запасов немцы уже начали перетряхивать свои наличные силы. Положение на обоих фронтах становилось все более напряженным, а работа и моя и 2-го бюро все более ответственной.

Наконец, в эти же первые весенние дни произошло, как нам казалось, исключительное по важности событие: в первый раз с самого начала войны с французского фронта исчез германский гвардейский корпус! Это предвещало подготовку крупного наступления немцев на русском фронте.

Дюпон стал мрачен, Пелле — озабочен. По вечерам офицеры связи от армии и фронтов звонили и настойчиво требовали от войск срочной проверки сведений о находившихся против них неприятельских дивизиях.

Начальник секретной агентурной разведки, молчаливый до комизма майор Цопф, и тот заговорил, докладывая мне о принятых им срочных мерах по розыскам этой злосчастной гвардии.

Моя комната в доме госпожи Буланже превратилась в настоящий небольшой штаб: после шести месяцев войны и долгих настоятельных просьб я получил, наконец, в свое распоряжение настоящего помощника — капитана Пац-Помарнацкого. Шесть месяцев потребовалось для утверждения подобной «штатной единицы», но недаром же один мудрый старец говорил, что в «Российской империи всякая бумага свое течение имеет». Течет она, голубушка, быстро по самой середине реки, а глянь, и застоится в какой-нибудь тихой заводи.

Александр Фаддеевич был исправный, дисциплинированный генштабист, на которого можно было положиться, и казалось бы, что, окончив, хотя и разновременно, первыми учениками и Киевский кадетский корпус и академию, мы могли смотреть на свет одними и теми же глазами. На деле же, сколько мы вместе ни проработали, но понять друг друга до конца не смогли. Едем мы как-то, например, в открытой машине на удаленный от Парижа французский Восточный фронт. Чудная лунная ночь, живописная дорога вьется среди Вогезов, мысли отдыхают от повседневных забот и казенных бумаг. Душа переносится куда-то далеко, далеко, на родину...

— Какая ночь! — нарушаю я невольно молчание.

— Так точно, господин полковник! Погода благоприятствует! — возвращает меня к жизни Александр Фаддеевич.

— Эх, барыня! — сказал как-то в сердцах подвыпивший чертолинский конюх Федька чопорной старой деве Еропкиной, корившей его за полупьяную песню на козлах, — не душа в тебе, а один пар!

Без душевной глубины понять такую революцию, как наша — Октябрьская, было нелегко, и Пац, расставшись со мной, предпочел остаться за границей.

Я, впрочем, сохранил навсегда благодарную память о часах, проведенных с ним над составлением телеграфных сводок в тяжелые дни первой военной весны.

Усилия по розыскам германской гвардии увенчались успехом почти за месяц до появления ее на русском фронте.

Уже 6 апреля я доносил:

«В Эльзас переброшен, повидимому, весь гвардейский корпус, обе дивизии которого высаживались в ночь с 30 на 31 марта на линии Шлейнштадт — Кольмар».

А через две недели уточнял сведения так:

«Получено достоверное сведение, что гвардейский корпус после полного отдыха в течение 3-х недель в Эльзасе во вторник 20 апреля погружен на железную дорогу. Здесь, конечно, не знают, куда он направлен, но склонны думать, что он предназначен или в Трентин, или в Карпаты, во всяком случае на поддержку Австрии».

Да, мы не знали, мы гадали, но мне хотелось перелететь в русскую ставку (к сожалению, самолеты в ту пору через Германию еще перелетать не могли) и сказать только одно слово «Готовьтесь!» Мне представлялось, что решительный удар немцев на русском фронте неминуем. Но на каком участке?

Разрешить эту загадку мне помог, как ни странно, вновь назначенный помощник начальника штаба генерал Нюдан. Появление его в Гран Кю Же было особенно для меня приятно, напоминая о беспечной молодости, когда я, в чине капитана, галопировал на маневрах 4-й кавалерийской дивизии в Аргоннах, а Нюдан, сухой артиллерийский майор, с «запущенными книзу усами», хрипловатым баском, как после хорошей пьянки, лихо, на полном карьере, командовал конным артиллерийским дивизионом.

Теперь я заходил к нему обычно по окончании рабочего дня, когда огни в коридорах гостиницы «Гранд Кондэ» уже тушились, а в штабных бюро оставались только ночные смены дежурных офицеров. Нюдан сидел

за письменным столом спиной к стене, на которой была развешена громадная карта русского фронта.

О, эта карта! Никогда мне ее не забыть. «Смотри, — как будто говорила она мне, — сколь ты плохо работаешь: за восемь месяцев войны не удосужился добиться от своего генерального штаба присылки хотя бы десятиверстной карты России. Вместо карты Австро-Германского фронта тебе прислали карту Турецкого фронта, и французам пришлось в конце концов сфабриковать своими средствами какую-то импровизированную простыню. Безобразные зеленые пятна изображали на ней непроходимые, по мнению французов, леса, редкие черные линии подчеркивали лишний раз бедность железнодорожной сети, а перевранные названия городов доказывали смутное о них представление наших союзников.

В тот вечер на карте жирной угольной чертой была отмечена линия застывшего русского фронта от Балтийского моря до румынской границы с выступом в сторону противника у северного края Карпатского хребта. Никаких пометок о расположении русской армии на карте не было.

Разговор с Нюданом завязался само собой вокруг вопроса о гвардейском корпусе.

— Ну и побезобразничали же эти господа в Страсбурге! — рассказывал мне Нюдан. — Без пьянства и разврата немцы не могут воевать. Мы ведь помним их еще по тысяча восемьсот семидесятому году, ну, а теперь, нагулявшись всласть, они, очевидно, готовят какой-нибудь серьезный удар на вашем фронте.

Тщетно разглядывал я черную линию на карте, не желая дать Нюдану необоснованный ответ и вместе с тем не желая показать ему лишний раз свою полную неосведомленность о том, что творится в России.

Испытующе посмотрев на меня, он повернулся назад к карте и, ткнув пальцем в исходящий угол нашего фронта, который тянулся в этом месте вдоль какой-то небольшой голубенькой речушки, авторитетно заявил:

— Вот тут, вероятно, стык ваших фронтов — Западного и Юго-Западного. По-моему, тут и надо ожидать удара.

Я встал, чтобы поближе рассмотреть этот участок, и прочел название речки: *Дунаец*. Проход обозначен на карте не был.

— Дунаец! Дунаец! — повторял я себе, пробираясь в темноте через скаковое поле в свое логовище. Сообщать или промолчать о беседе с Нюданом — вот над чем долго совещались мы с Пацем, составляя в эту ночь очередную телеграмму в ставку. Соображения помощника начальника штаба не носили официального характера, не были подкреплены документами, а упоминание о них в служебном донесении могло ввести в заблуждение наше военное руководство. Кроме моих телеграмм, ставка должна была уже располагать более точными указаниями о подвозе германских резервов.

Лишь бы она не увлеклась лишний раз сведениями от нашего центра агентурной разведки, созданного военным агентом в Голландии полковником Мейером. Германский генеральный штаб давно его перехитрил, засылая в Гаагу собственных «надежных осведомителей», создавая через них ложную стратегическую обстановку. Многовещательные донесения Мейера занимали почетное место в сводках нашего генерального штаба, и перед ними, конечно, бледнели мои сухие телеграммы, кратко извещавшие об обнаруженных на фронте корпусах.

— Нет, — решили мы, наконец, — как сотрудники Гран Кю Же мы не имеем права передавать непроверенных сведений.

Они, впрочем, не помогли бы делу: 2 мая, то есть через три дня после беседы с Нюданом, немцы уже прорвали наш фронт как раз в том месте, где мы и предполагали, сидя в далеком Шантильи. На ураганный огонь германской артиллерии нам нечем было отвечать, и началось то длительное и тяжелое отступление всего русского фронта, которое предрешило исход войны для России.

Первым и трагическим последствием этого события явилось устранение Николая Николаевича и принятие на себя самим царем верховного командования.

Каким бы самодуром ни был Николай Николаевич, какими бы ничтожествами после потери им своего бесценного сотрудника Палицына он себя ни окружал, все же этот породистый великан был истинно военным человеком, имевшим большой авторитет в глазах офицерства, импонировавшим войскам уже одной своей выправкой и гордой осанкой.

До какого же безумия мог дойти царь, этот полковник с кругозором командира батальона, неспособный навести

порядок даже в собственной семье, чтобы возомнить себя полководцем, принять ответственность за ведение военных операций миллионных армий, внести в работу ставки зловредную атмосферу придворных интриг!

Для меня это являлось началом конца.

Если в мирное время военный союз без взаимного доверия представлялся для меня только излишним бременем, то во время войны личные отношения между союзными главнокомандующими являлись важным залогом успеха. Жоффр и его окружение с полным основанием считали Николая Николаевича другом Франции и французской армии, но царский двор оставался для них загадочным. Они, конечно, понимали, что вершителем всех вопросов явится не царь, а его начальник штаба, генерал Алексеев, но с ним они не были знакомы и могли судить о нем только по донесениям своих представителей в России. Неразговорчивый, не владеющий иностранными языками, мой бывший академический профессор не был, конечно, создан для укрепления отношений с союзниками в тех масштабах, которых требовала мировая война.

В тот самый трагический для России день 2 мая, по странной случайности, мне пришлось поставить от лица родины свою подпись на военной конвенции между союзниками и вступившей в войну на нашей стороне Италией.

Не только мне, но и всему французскому военному миру долго не удавалось усвоить ту простую истину, что за надежным прикрытием миллионов вооруженных людей в грязных серых шинелях сидят люди в смокингах и фраках, плетущие политические интриги и тоже «занимающиеся войной», имея, правда, о ней весьма смутное представление.

Французы долго не без основания считали свой собственный фронт решающим. Но в действительности, после стабилизации его в 1914 году, война приняла характер мировой, а мировым городом среди европейских столиц с давних пор был, конечно, не Париж и не Петербург, а Лондон.

— Это ведь не наш проект, а желание англичан! — оправдывался передо мной сам Мильеран, когда еще в начале 1915 года я раскритиковал дарданельскую

авантюру. Овладение проливами без обеспечения десантной операцией хотя бы одного из берегов я считал попыткой с негодными средствами. Предпринимая эту операцию, англичане не посоветовались даже с Жоффром, а Извольский лишний раз кипятился, негодуя, что я, сидя в Шантильи, не был в курсе этого злосчастного проекта.

Та же картина получилась и со вступлением в войну Италии. Вовлечение все новых и новых стран в войну объяснялось тем равновесием сил обеих сторон, выразителем которого явилась окопная война 1915 года.

«По мнению Делькассэ (этого типичного воинствующего французика-политика, получившего портфель министра иностранных дел), выступление Италии явится поворотным пунктом всего хода событий, — доносил Извольский 19 апреля, — тогда как вы (то есть Сазонов и Николай Николаевич) не возлагаете больших надежд на военную помощь итальянских войск».

Об организации итальянской армии мы, русские военные агенты, были осведомлены по секретным сборникам об иностранных армиях, но у меня в голове крепко засел, кроме того, французский анекдот, характеризовавший итальянские войска.

Незадолго до мировой войны Италия решила не отставать от Франции в покорении северного африканского побережья и, с разрешения держав, предприняла поход в Триполитанию. Победа казалась ей легкой, но когда туземцы не пожелали покоряться и стали стрелять, то итальянцы засели в окопы, отказываясь из них вылезать. Наконец, нашелся среди них один храбрый капитан. Он выскочил из окопа с саблей в руке и, подавая пример, воскликнул: «Аванти! Аванти!» В ответ на этот призыв к атаке солдаты только зааплодировали. «Браво, браво, капитано», — выражали они восторг своему начальнику, продолжая сидеть в окопах.

Бывают государства, которые выгодно не иметь союзниками, а использовать их нейтралитет для получения от них сырья и промышленной продукции. Италия представлялась мне как раз такой страной: на химических заводах Милана мне удалось разместить крупный заказ на порох, а заводы Фиат могли оказать нам впоследствии крупную поддержку в автомобилях и самолетах.

Решающим, однако, явилось слово Лондона: участие Италии в войне облегчало Англии контроль над бассей-

ном Средиземного моря, и не позже как через неделю после донесения Извольского Россия, Франция и Великобритания одобрили в Лондоне итальянский меморандум о присоединении этой страны к союзникам.

Главным положением этого документа являлось немедленное заключение с Италией военной и морской конвенции, причем Делькассэ, стремясь ускорить решение, неоднократно высказывал пожелание подписать эти конвенции в Париже, снабдив для этого соответствующими полномочиями с русской стороны военного и морского агентов.

«На совещаниях в Париже присутствовать нашим агентам разрешается, но без права голоса, — отвечал Сазонов Извольскому, — так как переговоры о совместных действиях итальянской и русской армий верховный главнокомандующий желает вести в ставке с итальянским военным атташе в России».

— Лишь бы поскорее втянуть их в войну, а о военных операциях поговорить еще успеем, — заявил со своей стороны Жоффр, напутствуя меня с Пелле на совещание в Париж.

Когда мы вошли в один из кабинетов генерального штаба на бульваре Сен Жермен, мы встретили обычную картину союзных конференций мировой войны: добрые две трети стола были заняты англичанами, рассевшимися в непринужденных позах уверенных и всегда довольных людей. Против них, по левую сторону председателя Мильерана, сели несколько скромных французиков с деловым видом и большими листами бумаги, на которых то и дело что-то записывали. Пелле присел бочком около Мильерана, а мы с моим морским коллегой, капитаном 1-го ранга Дмитриевым, расположились на почетных местах подле наших новых союзников, итальянцев.

Редко пришлось мне слышать более красивый и убедительный военный доклад, чем та речь, которую в течение двух часов произносил стройный красавец, полковник генерального штаба, делегат итальянской армии. Сама его фамилия — Монтанари — звучала так же музыкально, как его родной итальянский язык, созданный, подобно русскому, как будто нарочито для певцов. Не засекречивая никаких данных о своей армии, он на безупречном французском языке объяснял нам и план

мобилизации, и порядок развертывания, и даже предстоящие военные операции в Тирольских Альпах. Столица Австрии Вена, казалось, была уже у наших ног!

Что же это происходит? — невольно задавал себе вопрос каждый из присутствующих. Ведь еще вчера этот самый генштабист сидел, быть может, со своими бывшими союзниками в той же Вене или Берлине.

— Я чувствую, что схожу с ума, — потирая себе лоб, говорил Пелле, прогуливаясь со мной под руку в перерыве заседаний по длинному балкону второго этажа, выходившего на бульвар. — Чем вы все это объясняете, чего они могут ждать от нас? Неужели им неизвестно наше с вами невеселое положение?

За парадным завтраком Мильеран, произнося тост, предложил итальянскому делегату, сидевшему направо от него, и мне, сидевшему налево, выпить бокал вина за дружбу наших армий, как братьев по оружию...

Чем более парадно празднуется начало, тем горше оказывается конец предприятия, и союз с Италией вместо радости подлил немало яду в мою жизнь на войне. Как должник, избегал я встречи с моим очень любезным итальянским коллегой. Он всегда находил предлог поплакаться на переброску с нашего фронта какой-нибудь дивизии или бригады.

— Не обращайте на это внимания, — утешал меня, бывало, мой приятель Белль, — у них такое превосходство сил, что никакие переброски с вашего фронта не должны их смущать.

Бедный Белль! Он не мог предвидеть, что ему-то и придется драться и умереть во главе бригады, экстренно отправленной в Италию не столько для боевых операций против австрийцев, сколько для преграждения пути бежавшим в панике союзникам после поражения их под Капоретто!

Неумолимо вращается колесо фортуны, и мне, лишенному в 1919 году уже всех прерогатив, пришлось после разгрома немцев встретить в последний раз своего итальянского коллегу в воротах того же здания французского генерального штаба в Париже. Он выходил на бульвар во главе целой военной миссии, разодетой в парадные мундиры с шелковыми шарфами и разноцветными плюмажами. Все итальянцы, узнав меня, почтительно раскланялись.

— Ну, поздравляю, — сказал я, приветливо пожимая руки бывшим союзникам. — Наконец-то удалось разбить австрийцев!

Сопровождавшие меня французские генштабисты не могли удержаться от смеха.

Вступление Италии в войну вызвало необходимость для союзников сесть за один стол, о чем-то заранее договорившись. Однако только тяжелое положение на обоих фронтах, создавшееся к лету 1915 года, заставило их серьезно призадуматься над вопросом о согласовании действий союзных армий. Немецкое командование продолжало использовать отсутствие общего руководства у своего врага для сохранения инициативы ведения операций на Восточном и Западном фронтах.

Так, предпринятое Жоффром через неделю после прорыва на Дунайце наступление в Артуа явилось запоздалым и не облегчило положения на нашем фронте. Французская операция приняла, кроме того, такой затяжной характер, что телеграммы, составлявшиеся нами на основании данных Гран Кю Же, казались нам самыми невразумительными: при подвижности русского фронта ничтожное продвижение французских войск трудно было объяснить.

«К концу мая, — доносил я, — французы ввели в дело около 10-ти корпусов, но, несмотря на артиллерийский огонь, достигавший небывалого напряжения, им не удалось сломить упорства германской обороны».

— Поедем-ка сами на фронт, — решили мы с Пацем, — и обойдем постепенно весь участок, тянувшийся на сорок с лишним километров от Ланса до Арраса.

Это направление имело, кроме тактического, и важное стратегическое значение: союзников оно выводило на коммуникации всего неприятельского фронта, а немцам открывало путь к северным французским портам, через которые подвозились английские подкрепления.

Французы показали, что при систематической артиллерийской подготовке и при том одушевлении, с которым они вели пехотные атаки, они способны овладеть сильно укрепленными селениями и взломать германскую оборону, несмотря на подавляющее число пулеметов у немцев и применение ими бетонированных укреплений.

«Однако развитие успеха задерживается тяжелой германской артиллерией, — доносили мы, — она не прекращает своего действия и по настоящий день, развивая сильнейший огонь против завоеванных французами участков. Именно в этот последующий период боя французы и несут наибольшие потери, достигшие у Арраса 100 000 человек».

«Долгое стояние на месте дало обоим противникам возможность пристреляться с поразительной точностью, чему в значительной степени содействует авиация. Калибр новых 105-мм орудий признается недостаточно мощным, и французы энергично работают над созданием артиллерии более крупных калибров».

«Французская пехота, — заканчивал я одну из телеграмм после осмотра фронта, — никогда не была в таком блестящем положении: люди кормлены лучше, чем в мирное время, дух превосходный, даже в частях, понесших тяжелые потери, санитарная служба, наконец, налажена, одежда и снаряжение — все построено заново».

Подобные донесения доказывали, сколь большую работу провела французская армия за первый год войны, и диктовались горячим желанием, чтобы русская армия возможно шире использовала опыт войны на Западном фронте, несмотря на ее казавшуюся беспросветность.

Характерно, что для передачи в Россию более подробных соображений о положении на Западном фронте мне приходилось прибегать к форме личных писем новому генерал-квартирмейстеру Леонтьеву и пользоваться для этого не дипломатическими курьерами, а случайными надежными оказиями.

«Насколько французы откровенны и правдивы со мной в отношении сведений о неприятеле, настолько они продолжают быть сдержанными во всем, что касается собственной их армии, из опасения огласки не через меня, конечно, а через инстанции, через которые эти сведения могут пройти», — заканчивал я одно из писем, намекая на признаки недоверия союзников к некоторым русским военным и дипломатическим кругам.

Вот как, между прочим, представлялось мне тогда общее положение:

«Напряжение сил и средств Германии и Франции почти одинаково: при 70-миллионном населении немцы выставили от 75 до 90 корпусов, считая в том числе и ландверные войска, а французы при 39-миллионном на-

селении — от 45 до 50 корпусов. Потери немцев, считая оба фронта, более значительны, чем французские, а потому истощение в людском запасе должно наступить для них скорее, чем для французов.

При том числе потерь, которое французы несут в операциях за истекшие месяцы, они рассчитывают быть в состоянии поддерживать численный состав выставленных ими в настоящее время войсковых единиц примерно до марта будущего 1916 года, после чего им придется или расформировывать части, или понижать их численный состав, словом, идти на убыль. Они надеются, однако, сохранить при этом призывной класс 1917 года как последний резерв до весны 1916 года.

Французская главная квартира не может опасаться прорыва фронта. Опыт наступления в Шампани и Артуа показал, что тактический фронт благодаря артиллерии может быть прорван, но стратегический успех будет без труда парализован тем из противников, который будет иметь в распоряжении сильные резервы.

Те двадцать дивизий, что французам удастся сохранить в распоряжении главнокомандующего, способны парировать удары, но их недостаточно для развития первого успеха. По той же причине и контратаки немцев на участках, не имеющих даже стратегического значения, вызывают у французов удивление. «Зачем, — спрашивают они себя, — немцы, не располагая сами резервами, несут бесплодные потери?..»

Беспросветной представлялась, таким образом, обстановка после безрезультатного весеннего перехода французов в наступление в Артуа. Англичане все еще медлили, и Западный фронт оказался неспособным поддержать русские армии, терявшие с каждым днем результаты своих победоносных наступлений первых месяцев войны.

В военные вопросы вмешались дипломаты, и после долгих переговоров, по инициативе Делькассэ, было решено собрать 7 июля 1915 года в Шантильи первый военный совет главнокомандующих Франции, Англии, России, Италии, Бельгии и Сербии. В случае невозможности лично присутствовать главнокомандующим предлагалось прислать своих представителей.

Ставка, повидимому, не придавала значения этому союзническому начинанию, так как лишь только после повторных телеграмм, и моих и посла, я получил за два

часа до открытия первого заседания разрешение участвовать в совете «без права принимать какие-либо обязательства в отношении действий русской армии».

Никаких других директив я, разумеется, не получил и вошел в кабинет Жоффра, где происходило совещание, с пустыми руками. Председательствовал Мильеран, предоставивший первое слово французскому главнокомандующему.

— Необходимо установить принцип,— начал Жоффр,— что та из союзных армий, которая в данную минуту выдерживает главный натиск неприятельских сил, имеет право рассчитывать, что остальные союзные армии придут ей на помощь переходом в энергичное наступление на своих театрах войны. Подобно тому как в августе и сентябре 1914 года русская армия перешла в наступление в Восточной Пруссии и Галиции, чтобы облегчить положение французской и английской армий, отступавших под напором почти всей германской армии, нынешняя обстановка требует таких же действий со стороны союзников, так как русская армия выдерживает за последние два месяца главный натиск германцев и австрийцев и принуждена временно отступать.

Генерал Жоффр был поддержан фельдмаршалом Френчем в необходимости перехода в наступление в ближайшем времени французских и английских сил.

От имени верховного главнокомандующего я выразил благодарность за высказанные главнокомандующими возвышенные чувства и за их намерение предпринять наступление, дабы облегчить положение на русском фронте. Я надеялся было этими красивыми фразами отделаться от каких бы то ни было расспросов, но Мильеран, со свойственной ему настойчивостью, предложил мне высказаться хотя бы в общих чертах о положении русской армии. При полной своей неосведомленности, пришлось вспомнить уроки академического профессора генерала Золотарева, используя все ту же злополучную карту Нюдана. Она выглядела зловеще: отмечавшиеся на ней ежедневно линии русского фронта образовали громадную черную лавину, неудержимо двигающуюся в восточном направлении. Где она могла задержаться? Да, конечно, только на тех бесчисленных «лесисто-болотистых» и «речных» преградах, с которыми мы были так хорошо ознакомлены когда-то в академии. У меня выходило так, что,

чем дальше углубляются немцы в нашу страну, тем опаснее становится их положение. Я имел вид ученика, держащего трудный экзамен перед ареопагом строгих профессоров. Только добродушный толстяк Жоффр улыбкой и утвердительными кивками головы выражал как бы свое сочувствие. Не обнадеживая союзников возможностью скорой остановки наших отступавших армий, я указал, что развитие операций на Восточном фронте потребует значительного времени, которое союзники должны использовать для нанесения решительного удара на Западном фронте еще до наступления зимы.

Жоффр при этом нахмурился и счел нужным оттенить, что лучше было бы не употреблять слово «решительный», так как настоящая война приняла такие размеры, при которых самые блестящие успехи не всегда приводят к решительным результатам, и что усилие, которое предстоит сделать союзникам, будет зависеть от средств, предоставленных промышленностью в их распоряжение.

На вопрос Жоффра, будет ли русская армия в состоянии перейти в наступление в том случае, если немцы ослабят свои силы на Восточном фронте, я ответил, что не вправе дать определенных уверений по этому поводу и не знаю планов верховного главнокомандующего.

— А будет ли русская армия достаточно обеспечена материальной частью, чтобы быть в состоянии изменить настоящий ход военных событий? — спросил Мильеран.

Тут уже лекции Золотарева спасти меня не могли, и пришлось ограничиться красноречивыми, но туманными фразами о предпринятой в России мобилизации частной промышленности и о надеждах, которые мы возлагаем на материальную помощь союзников.

В результате было постановлено, что французские армии будут продолжать ряд «локализированных действий» и предпримут общую наступательную операцию после пополнения запасов орудий и снарядов и поддержки английской армией, ожидавшей подкрепления в размере шести дивизий. Итальянская же армия будет развивать начатое ею наступление, с которым должны согласовываться действия сербской армии.

Подчеркивание совещанием значения операций этих наиболее слабых союзных армий указывало, что на них-то

до поры до времени и возлагаются задачи по оказанию поддержки русскому фронту.

С тяжелым чувством докладывал я о результатах конференции Извольскому. Вечной страдалице за чужие грехи — русской пехоте — придется героическими штыковыми контратаками, не поддержанными артиллерией, прикрывать отступление русских армий чуть ли не до пределов возможного, по нашим тогдашним понятиям, театра войны. (Восточнее линии Двины и Днепра мы военной географии, говоря школьным языком, «не проходили».)

Минул июль, прошел август, бесконечно тянулись сентябрьские дни, а обещанное наступление союзных армий все откладывалось. Это было новым испытанием нашего терпения — этого важнейшего качества для всякого военного дипломата.

Раздражать французов бесполезными запросами, как того требовал Петроград, было, конечно, бестактно. Хотелось лишь верить, что серьезная подготовка наступления позволит на этот раз если не разгромить, то хотя бы серьезно расшатать казавшуюся неодолимой стену немецкой обороны.

Наконец, желанный день настал.

«Сегодня, 25 сентября, — телеграфировал я, — французская и английская армии перешли в общее наступление, подготовленное усиленным артиллерийским огнем в течение последних четырех дней. Огонь велся крайне систематично: полевые орудия произвели широкие проходы в проволочных заграждениях первой и второй линии противника. Короткие орудия в 120 и 155 мм разрушили укрепленные опорные пункты. Длинные — тех же калибров — боролись с открытыми авиацией неприятельскими батареями. Мортиры 270, 280 и 370 мм действовали против особенно важных опорных пунктов, и, наконец, длинные 14-, 16-сантиметровые и 274- и 305-мм произвели разрушение железнодорожных линий в тылу противника, прекратив сообщение вдоль фронта в районе Шампани. Наконец, сегодня с рассветом артиллерийская подготовка к атаке была закончена огнем траншейных мортир 58 и 240 мм. Англичане для своей атаки употребили облака удушливых газов. Французы предпочли снаряды с

удушливыми газами и зажигательные снаряды. Почти одновременно около 9 часов утра пехота союзных армий атаковала:

Первое — англичане в районе между Ла Бассэ и Лансом на фронте в 25 км силами в 13 дивизий и 900 орудий, из коих 300 — крупных калибров.

Второе — французы в районе Арраса на фронте в 20 км под начальством генерала Фоша силами в 17 пехотных дивизий, 700 полевых орудий, 380 тяжелых орудий и 7 кавалерийских дивизий, из коих 4 английских.

Третье — французы в районе Шампани на фронте в 30 км под начальством генерала Кастельно силами в 34 пехотных дивизии, 1 400 полевых орудий, 1 100 тяжелых орудий и 7 кавалерийских дивизий.

По последним полученным сведениям (21 час) союзные войска овладели первыми германскими линиями на многих пунктах и продвигаются вперед. Прекрасная до сих пор погода, способствовавшая артиллерийской подготовке, со вчерашнего дня, к сожалению, испортилась. Дождь идет на всем фронте».

Дождь. Неужели это такое необычайное явление природы, что о нем стоило упоминать в докладе, да к тому же телеграфном, о важной военной операции!

Неужели французы такие неженки, что не могут воевать под дождем?

Так, вероятно, рассуждали те мои начальники, от которых за всю войну не удалось добиться получения через башню Эйфеля хотя бы самых кратких, но регулярных метеорологических сводок. Зачем французам требуется для перехода в наступление в Шампани иметь сведения о погоде в Москве или Якутске? Какой назойливый этот Игнатьев, не дающий покоя своими телеграфными запросами!

Если десять лет назад в Маньчжурии сражение на Шахэ было приостановлено непроходимой грязью, стеснявшей передвижение артиллерийских батарей и переброску пехотных частей, то теперь во Франции непогода оказывала еще большее влияние на подготовку атаки, лишая возможности использовать для корректирования артиллерийской подготовки новый могущественный фактор — авиацию.

Первые и даже вторые линии германской обороны были прорваны на всех фронтах, но глубина ее потре-

бовала перемены позиций для коротких орудий, и в результате через десять дней повторных атак на отдельных участках наступление окончательно приостановилось. Цель — прорыв германского фронта — не была достигнута, «отчасти потому, — объяснил я, — что атаки велись против участков, уже ранее атакованных, а также потому, что длительная подготовка не могла возместить потери элемента внезапности».

Некоторым утешением для русской армии могло явиться только обнаружение на французском фронте германских гвардейского и X корпусов, вернувшихся из России в самом плачевном, обтрепанном виде.

Инициатива военных операций оставалась еще в руках немцев, но «моральное превосходство, по мнению французов, уже переходило на сторону союзных армий».

Нам с Пацем сентябрьская операция дала богатейший материал для изучения всех новых тактических приемов, выработанных на опыте французского фронта.

Мы все еще надеялись, что русское командование сумеет сделать выводы из тяжелой летней кампании и поймет необходимость не отставать от быстро развивавшихся современных методов войны.

Разве мыслима была еще совсем недавно подготовка атаки трехдневным методическим огнем 1285 полевых и 650 тяжелых орудий на фронте в тридцать два километра, с расходом 1 320 000 снарядов?!

Приходило ли в голову возвращение к тактике Петра Великого, создавшего полковую артиллерию: некоторым французским полкам были впервые приданы шестидесятипятимиллиметровые пушки — прародительницы современных ротных орудий?!

Могла ли авиация еще несколько недель тому назад помышлять о вооружении самолетов пушкой, снимавшей без труда излюбленные немцами привязные сигары и легко боровшейся с их самолетами!

Но больше всего поражал нас внешний вид пехоты в стальных касках, устранявших три четверти всех ранений в голову. Тщетно навязывал я этот вид снаряжения русскому командованию, предлагая использовать с этой целью налаженное во Франции изготовление касок. Николай II, которому были демонстрированы высланные мною образцы, нашел, что каска лишает русского солдата

воинственного вида. Потребовалась и тут острая телеграфная полемика с Петроградом, чтобы получить разрешение на срочный заказ через французское правительство одного миллиона касок.

Сентябрьская операция ознаменовала начало конца карьеры Жоффра. Безрезультатные повторные наступления, связанные с крупными потерями, дали богатую пищу для той закулисной работы, что велась против главнокомандующего и его окружения некоторыми влиятельными членами парламента. Первоначальной и одной из главных причин их недовольства был упорный отказ в выдаче парламентариям пропусков не только на фронт, но даже в зону армии.

Открытое выступление в палате депутатов в военное время было невозможно, и потому враги решили работать за кулисами. Они нашли для себя надежного сотрудника среди ближайшего окружения главнокомандующего в лице представителя прессы, депутата Андрэ Тардье. Жоффр не подозревал, что за его скромным обеденным столом сидит пригретый им предатель и что сентябрьское наступление 1915 года явится предлогом для нанесения ему первого, а верденская операция 1916 года — последнего удара, уже давно подготовленного соединенными усилиями Тардье и его закадычного друга Мажино.

В звании пехотного сержанта Мажино был серьезно ранен в ногу и, опираясь на палку, тяжело передвигался. Этим он заслужил законное право критиковать начальство и выдвинуться в председатели военной комиссии палаты депутатов. Под личиной горячего патриота, отдавшего себя без остатка военному делу, Мажино представлял собой тип испытанного с юных лет политического интригана, считавшего депутатский мандат, а тем более министерский портфель если не прямым источником крупного личного обогащения, то во всяком случае обеспечением привольной парижской жизни: двери богатых ресторанов и объятия красивых женщин должны были открываться перед ним сами собой. Одна уже послевоенная линия Мажино представляла верный способ наживы если не для самого ее создателя, то для всех его многочисленных подруг и друзей.

Мажино был моим старинным знакомым, и потому я нисколько не удивился, когда однажды после сентябрьской операции этот рыжий великан позвонил мне по телефону, предлагая позавтракать с ним запросто в ресторане Вуазен. Не смутили меня также его рассуждения за хорошим стаканом бордоского вина о бесплодности частичных переходов французской армии в наступление. До меня уже ранее доходили слухи по этому вопросу от тыловых стратегов. Но вдруг, неожиданно, после небольшой паузы, Мажино, как бы обдумывая заранее подготовленные слова, насупил, как обычно, свои густые брови и в упор меня спросил:

— А что бы вы, русские, сказали, если бы мы прогнали Жоффра?

Столь непочтительный отзыв о главнокомандующем, у которого я как раз в это утро был с докладом, меня покоробил.

— Да ничего не скажем, — резко ответил я, чем совершенно обезоружил зазнавшегося бывшего сержанта, которому, конечно, прекрасно были известны мои отношения с Жоффром.

— Это ваше внутреннее дело, — продолжал я, — и мы в него не вмешиваемся, тогда как у вас только и разговоров о Распутине, императрице и Сухомлинове. Это тоже наши внутренние дела.

— Но, дорогой полковник, — уже с заискивающей улыбкой попытался Мажино возобновить неудавшийся разговор. — Вы говорите со мной, как официальное лицо, а я просто хотел узнать ваше личное мнение.

— Что мне еще вам сказать! — начал я. — Единственный человек из ваших генералов, про которого слышали русские солдаты на фронте, это «папá Жоффр». Его популярность на всех союзнических фронтах громадна. А что касается вашей собственной армии, то, помяните мое слово, если, «прогоняя», как вы выражаетесь, Жоффра, вы разрушите тем самым его рабочий аппарат, столь вам нелюбезный Гран Кю Же, то не пройдет и шести месяцев, как вы окажетесь в самом тяжелом положении.

Я почти не ошибся: генерал Жоффр был смещен с должности главнокомандующего 2 декабря 1916 года, а предпринятое его преемником, генералом Нивелем, наступление весной 1917 года повлекло за собой столь

тяжелые потери, что французские армии оказались почти на краю гибели.

Медленно, но неумолимо закатывалась звезда Жоффра. Сентябрьское наступление оказалось концом и моей активной работы по осведомлению, так как с прибытием вскоре после этого представителя ставки, генерала Жилинского, изучение даже таких крупных и важных операций, как верденская, стало для нас с Пацем невозможным.

От поездок на фронт у меня остались как дорогое воспоминание два осколка немецкого снаряда, угодившие в крыло и в покрышку моего «ролс-ройса», заменившего в этой войне верного старого маньчжурского Ваську.

Неужели, думалось не раз, вся моя работа в Гран Кю Же окажется не только неоцененной, но и бесполезной для России?

Глава десятая

НАЧАЛЬНИКИ И ПОМОЩНИКИ

Долгие годы, проведенные за границей, хотя и не оторвали меня от моей матери-родины, но, несомненно, скрыли от меня многое из русской действительности.

В мирное время я поставил себе за правило всеми правдами и неправдами добиваться разрешения подышать русским воздухом по крайней мере раз в год: явиться и получить указания начальства на Дворцовой площади, отобедать и посидеть за стаканом вина в родном полку на Захарьевской, навестить семью в Чертолине и с крыльца отчего дома потолковать со смердинскими и карповскими крестьянами, заехать по дороге в Белокаменную, поклониться древнему Кремлю и, за ботвиньей в «Славянском базаре», наслушаться московских «дворянских сплетен».

Эта возможность отпала для меня с первого дня войны, и пришлось жить на тех запасах мыслей и чувств, что были накоплены с детства воспитанием и службой в русской армии.

Если после русско-японской войны можно было, поругивая за глаза высокое начальство, строить планы о необходимых реформах, то в мировую войну на мою долю выпало уже сгорать не раз от стыда не только за своих начальников, но и за некоторых ближайших помощников.

Трудно бывало внушать иностранцам старую военную мудрость «не судить о гарнизоне по первому встреченному плохо одетому барабанщику». Еще труднее бывало убедить соотечественников, что многое из того, с чем можно было мириться у себя дома, нельзя было выносить на суды и пересуды союзников.

Первым русским высоким гостем, посланцем самого царя во Францию, явился свиты его величества генерал-майор князь Юсупов граф Сумароков-Эльстон. Соединение в одном лице двух титулов и трех фамилий объяснялось очень просто: у последнего из рода князей Юсуповых, предку которого Пушкин посвятил стихотворение «Вельможа», была единственная дочь — наследница, между прочим, и великолепного подмосковного имения Архангельское. Она была не столь красива, сколь прелестна с седеющими с ранних лет волосами, обрамлявшими лицо, озаренное лучистыми серыми глазами, словом, она была такой, какой изображена на знаменитом портрете Серова.

В молодости княжна «выезжала в свет», то есть танцевала на всех петербургских балах высшего общества. Все ее товарки давно повыходили замуж, но красивой княжне никто не смел сделать предложения: богатыми невестами, конечно, не брезгали, но Юсупова была уже настолько богата, что гвардейцы, даже самые знатные, опасались предлагать ей руку из боязни запятнать себя браком по расчету. Каким-то друзьям удалось, наконец, убедить одного из кавалергардских офицеров, хоть и недалекого, но богатого и носившего уже двойную фамилию Сумароков-Эльстон, жениться на Юсуповой.

Неглупая и очаровательная супруга сделала карьеру этого заурядного гвардейца, но ума, конечно, ему придать не смогла.

На этот раз миссия, возложенная на Юсупова, была, правда, не очень сложна: он должен был вручить Жоффру за победу на Марне высшую русскую боевую награду — георгиевский крест 2-й степени («георгия» 1-й степени — ленту через плечо имели в мое время только два фельдмаршала: Гурко и великий князь Михаил Николаевич.)

Жоффр, узнав от меня об этой награде, был крайне польщен и решил придать встрече посланца царя возможно более интимный характер. Он знал, конечно, что деловых разговоров иметь с Юсуповым не придется, и потому просил привезти его из Парижа в Гран Кю Же прямо к завтраку, ровно в полдень. Этот священный для французов час соблюдался, между прочим, и на войне: от двенадцати до двух на фронте заключалось как бы негласное перемирие, и пушки с обеих сторон переставали стрелять.

Зная, насколько скромен стол главнокомандующего, я посоветовал майору Тузелье обратить особое внимание на меню завтрака и качество вин, до которых, как мне было известно, Юсупов был большой охотник.

Войдя в назначенный час с Юсуповым в кабинет Жоффра, я не счел себя вправе, как обычно, представлять соотечественника: больно уж он был знатным, и потому предоставил слово самому представителю царя. Но мой план не удался: Жоффр стоял посреди комнаты, ожидая, как это подобает военному, какого-то приветствия со стороны прибывшего младшего его в чине, а Юсупов тоже молчал, рассчитывая, что Жоффр обязан первым рассыпаться перед ним в любезностях. После неприятной заминки Юсупов что-то пробормотал и передал Жоффру коробку с орденом, а тот произнес заранее составленный комплимент по адресу русской армии, чем считал официальную часть законченной. Но не тут-то было. Юсупов захотел не только объяснить правила ношения ордена, но и лично воздеть на шею неуклюжего толстяка Жоффра белый крест на черно-желтой ленте. Это оказалось не так просто сделать. По французскому обычаю, шейные кресты в минуту их получения завязывались для ускорения поверх мундира, а Юсупов не хотел этого признавать и настаивал, чтобы главнокомандующий снял при нем мундир. Тот не соглашался предстать в подтяжках, вероятно не первой свежести, перед разодетым иностранным генералом и позвал на помощь дежурного ординардца. Юсупов, однако, не унимался и полез сам завязывать ленту под расстегнутым наполовину мундиром покрасневшего от конфуза старика. Я, вероятно, тоже покраснел, но укротить «его сиятельство» не мог.

Облегченно вздохнув, перешли мы, наконец, в соседнюю крохотную комнату — столовую, где был накрыт стол

на шесть кувертов. Начался завтрак, и полилась беседа, или, точнее, монолог Юсупова, не прекращавшийся в течение трех мучительных часов.

— Надо, чтобы вы знали, — начал Юсупов, — что такое георгиевский крест. Я, например, объезжаю госпиталя и прикалываю на грудь всех раненых без исключения или георгиевский крест, или медаль.

«Неважная награда», — мог подумать Жоффр, не зная различия между офицерским георгиевским крестом и солдатским «егорием», то есть «знаком отличия военного ордена».

Сидевший направо от меня Пелле снисходительно улыбнулся, а Жоффр, заправив за воротник салфетку, усерднее стал пожирать устрицы. Он всегда отличался хорошим аппетитом.

— Главным нашим несчастьем является немецкое засилие. Представьте, мой генерал, — продолжал тараторить Юсупов на петербургском, то есть полуграмотном, французском языке высшего общества, — в Москве, например, — уже это, кажется, русский город, — наш офицер не может себе купить бинокля. Хозяева магазинов — немцы — запрятали товары и не хотят их продавать!

Пелле перестал улыбаться, а Жоффр, обтерев салфеткой свои пышные седые усы, не удержался и сочувственно изрек: «Ce n'est pas possible!» (Не может быть!)

Когда после поездки во Францию Юсупов был назначен генерал-губернатором в Москву, то происшедшие погромы магазинов на Кузнецком мосту меня не удивили. Они уже в Шантильи представлялись мне неизбежными.

— А кроме того, большим несчастьем для нашей армии являются интенданты, — неизвестно почему избрал подобную новую тему уже слегка раскрасневшийся царский представитель; он уже который раз нарушал установленный обеденный ритуал и требовал от денщика Жоффра подливать себе в стакан только красного вина: другого он не признавал.

— Русские солдаты имеют вот какие ноги, — показал он широким жестом обеих рук, — а интендантство поставляет вот какие малюсенькие сапоги.

Жоффр сделал вид, что не слышал, Пелле тоже уставился в тарелку, но зато сидевший налево от меня злоязычный Тардье, давно толкавший мою ногу под столом,

на этот раз не выдержал и, нагнувшись, шепнул мне на ухо:

— «Правда исходит из уст младенцев», это ведь совсем не то, что вы нам рассказываете.

Юсупов, заметив, вероятно, что на военные темы французы не реагируют, перешел на духовные и поплел уже такую сложную белиберду про интриги не то ярославского, не то вологодского архиерея, что я сам разобраться в них не мог, мысленно заткнув уши и ожидая конца пытки.

Перед подачей кофе денщики, по общеустановленному обычаю, стали постепенно прибирать всю посуду со стола, но Юсупов категорически запротестовал.

— Оставьте мой стакан, оставьте, — повторял он, удерживая рукой очередной недопитый стакан красного вина. Тут уже сам Жоффр вступился и приказал не только не убирать, но продолжать подливать вина русскому гостю...

Короткий зимний день уже склонялся к вечеру, когда, выйдя из-за стола и распростившись с хозяином, я собрался увезти уже побагровевшего генерала в Париж. Но и это не удалось.

— Игнатьев, на фронт! Везите меня на фронт! Вы вот тут, тыловые, не знаете, что такое фронт! — и, перейдя на русский язык, он стал разговаривать со мной уже тем начальническим тоном, каким привык говорить с офицерами, не имеющими чести носить, как он сам, кавалергардский мундир. Французы могли только подозревать, что генерал чем-то крайне недоволен, и сочувственно пожимали нам руку, оформляя разрешение для поездки на выбранный по их совету ближайший боевой участок.

Для того чтобы только до него доехать, требовалось не менее двух-трех часов, и терять бесцельно драгоценное для меня время на полупьяного генерала казалось нестерпимым.

Как я и предупреждал, мы подъехали к тыловому ходу сообщений в полной темноте. Густой холодный туман спустился на Компьенский лес, участок был спокойный, но громкий разговор в передовых линиях был воспрещен. Для курения требовалось спускаться в убежище.

— Трусы! — негодовал Юсупов, не выпускавший изо рта папиросы. Его уже совсем развезло, и, останавливаясь через каждые сто шагов, он негодовал, что его не

доставили на машине ближе к переднему краю. Наконец, за одним из поворотов хода сообщений мы встретили бравого бородатого зуава в феске и широчайших красных шароварах. Это был хороший предлог остановиться и предложить зуаву папиросу из шикарного золотого портсигара с царским брильянтовым вензелем, но часовой любезно отказался.

Траншеи становились все глубже и темнее, а «его сиятельство» все ворчливее.

— Где же, наконец, стрелковые цепи? Где резервы? — мучил он меня вопросами. Объяснять, что в окопах выставляются только наблюдатели, не стоило, и я почувствовал истинное облегчение, спустившись, наконец, в ближайшую глубокую офицерскую землянку: тут уж князь мог накуриться всласть и вдоволь помучить рассказами о российских порядках совершенно растерявшегося французского капитана, проведшего жизнь между скучной казармой и жаркой африканской пустыней.

Посещение фронта было закончено, но почетного гостя довезти до Парижа мне все же не удалось: проезжая через какую-то деревушку и узнав, что желтый фонарик обозначает штаб кавалерийской дивизии, князь вышел из машины и заявил незнакомому генералу, что он сам кавалерист и желает на этом основании у него переночевать.

Я просто махнул рукой, к тому же меня в Париже ждали срочные и гораздо более важные дела.

Казалось бы, что практика мирного времени должна была меня приучить к сатрапьим повадкам Юсуповых и Романовых за границей, но непонимание ими истинного смысла войны еще более углубило пропасть между ними и тем скромным военным французским миром, с которым я сроднился, но который они никак понять не могли.

Война явилась переоценкой многих ценностей. Этой судьбы не избежала и франко-русская дружба:

Amis et alliés — друзья и союзники — решили, что наступил удобный момент использовать союзные отношения для личной денежной и служебной выгоды.

Начало этого нового рода деятельности было положено в Бордо, а инициатором был не кто другой, как Ознобишин. Чувствуя, что его проекты не встретят сочувствия с моей стороны, он нашел себе союзника в лице

жены посла — госпожи Извольской. Как всякая лютеранка, она, кроме пения по воскресным дням соответствующих псалмов, была обязана «делать добрые дела» и никому, например, не отказывать в рекомендации. Этим не замедлили воспользоваться не только укрывшиеся в тылу французские шалопаи, но и некоторые опасные авантюристы. Посол знал эту слабость своей супруги и предупредил меня:

— Если кто-нибудь явится к вам с рекомендательной карточкой моей жены, я заранее прошу вас, полковник, во всем ему отказать.

На Ознобишина Извольский уже давно махнул рукой, и мой помощник мог беспрепятственно воспитывать симпатичных ему французов в духе франко-русской дружбы, как он всегда ее понимал. Еще задолго до создания в России пресловутых «земгусаров» он облачил в военную форму сынков богатых родителей, владетелей роскошных лимузинов, и образовал из них две «русские санитарные автомобильные колонны», испросив для них, конечно за моей спиной, высокое покровительство самой императрицы. Наконец, для вящей важности во главе колонн были поставлены два русских штатских приятеля Ознобишина, хорошо говорившие по-французски и переодетые в какую-то фантастическую полувоенную форму с царскими коронами на золотых погонах.

Вот каким образом под русским флагом был создан очаг самого беззастенчивого укрывательства, дурная слава которого не замедлила докатиться до самого Гран Кю Же. Под благовидным предлогом пришлось это «доброе начинание» ликвидировать, а наиболее наглых из молодчиков познакомить с менее привольной жизнью во французских окопах.

Едва я успел потушить скандал в колоннах Ознобишина, как меня ожидал новый сюрприз, и на этот раз уже от моего ближайшего подчиненного, штаб-ротмистра Шегубатова, присланного в мое распоряжение еще в мирное время.

Звоню я как-то раз Ознобишину в Париж и прошу прислать мне срочно в Шантильи одну нужную бумагу. Он предлагает использовать для этого несложного дела

Шегубатова, я не возражаю, и через два часа этот мнящий себя красавцем улан, воздев на себя боевые ремни, саблю и револьвер, прилетает ко мне в Гран Кю Же.

Передав пакет, он просит разрешения на обратном пути заехать «на один только часочек» в знакомый замок, нанести визит молодой герцогине де Граммон. Запрещать что-либо без уверенности, что приказ будет исполнен, было не в моих правилах, а потому, не имея времени заниматься перевоспитанием незадачливого ловеласа, я согласился и тут же, признаться, про него забыл. Однако ненадолго: уже на следующее утро, направляясь в помещение штаба, я встретил мчавшийся по направлению к Парижу какой-то допотопный открытый автомобильчик; в нем восседал мой собственный помощник, а рядом с ним держал в руках уланскую саблю усатый французский жандарм. Сомнений не оставалось — Шегубатов был арестован.

В Гран Кю Же Дюпон, снисходительно улыбаясь, посвятил меня немедленно в дело, а отпущенный по моему ходатайству на свободу Шегубатов в тот же вечер с возмутительным спокойствием дополнил мне в парижской канцелярии всю картину происшедшего. Оказалось, что в Шантильи он мне соврал и визит к Граммонам выбрал только как предлог для проезда на передовые линии фронта. Ему хотелось просто похвастать подобным «подвигом» перед великосветскими героями парижского тыла.

По выезде из Шантильи он приказал тому самому шоферу, что вывозил его когда-то из Парижа в Бордо, ехать на этот раз не на запад, а в сторону немцев — на восток.

Карты, как всегда, у Шегубатова не было, а потому, сбиваясь постоянно с дороги, он лишь в полной темноте добрался до передовых линий. Никто по дороге не смел задерживать «помощника русского военного агента», как было указано на специальном пропуске в зону армий, полученном Шегубатовым для поездки в Гран Кю Же.

И вот он в окопах. По темному ходу сообщений его проводят в убежище ротного командира, который в первую минуту сражен и польщен визитом столь высокого гостя. Его надо угостить, и несколько офицеров, собравшихся к ужину в землянку, посылают срочно за шампанским, чтобы выпить за здоровье храброй русской армии. Они с любопытством рассматривают ее представителя и

засыпают его вопросами, но ответы Шегубатова наводят старшего за столом, капитана, на более чем странные размышления.

— Скажите, — спрашивает он Шегубатова, — сколько орудий в вашей полевой батарее?

— Восемь! — с апломбом отвечает «помощник русского военного агента», не подозревая, что всякому французскому офицеру известно о переформировании русских восьмиорудийных батарей в шестиорудийные.

— А сколько пулеметов приходится у вас на батальон?

— Хорошо не помню, — бормочет Шегубатов, — но достаточно.

«Не может быть, — думает про себя французский капитан, — чтобы русский офицер, да еще военный атташе, не знал организации собственной армии. Не самозванец ли этот лощеный молодой человек с заискивающим льстивым взглядом и напускной серьезностью? Проверить бы его документы!»

— Но как же вам удалось пробраться к нам? — неожиданно задает наивный вопрос французский капитан.

— А вот мое разрешение, — не смущаясь, отвечает Шегубатов, вынимая из внутреннего кармана походного кителя шикарный бумажник.

— Ах, какой красивый, позвольте полюбоваться, — и француз, не торопясь и продолжая беседу, начинает рассматривать содержимое бумажника.

— Говорят вот, что револьверы у вас хороши. Может, вы скажете, какой они системы?

В ответ Шегубатов, желая похвастаться своим оружием, вынимает наган из кобуры и передает его через стол хозяину землянки.

— К великому моему сожалению, — спокойно положив руку на револьвер, объявляет свой приговор француз, — я вынужден вас арестовать!

Напрасны были слезливые протесты потупившего глаза Шегубатова, — взамен объяснения капитан вынул из его бумажника и молча показал присутствующим фотоснимок, изображавший германского офицера в парадной форме, в каске и при всех орденах.

— Это, это портрет возлюбленного одной моей возлюбленной, мадемуазель Жэрмен д'Англемон, — бормочет Шегубатов. — Этот человек состоял перед войной

секретарем германского посольства в Париже и, уезжая, оставил на память эту карточку, а мадемуазель, опасаясь подозрений со стороны французской полиции, просила меня ее сберечь.

— Ну, простите, сударь, — возмутился капитан (за военного он Шегубатова уже не считал), — я не в силах поверить вашим объяснениям. Во всей французской армии не найдется офицера, который бы согласился принять на себя от женщины подобное унизительное поручение.

Он обезоружил плачущего, как баба, Шегубатова и пригласил его провести ночь на скамье, греясь у камина, под надзором часового, поставленного у входа в землянку. К утру донесение ротного командира успело уже пробежать по телефонным проводам по всей восходящей штабной лестнице до кабинета самого Дюпона.

Шегубатова я откомандировал в Россию, но аттестация с описанием его «подвигов» на французском фронте послужила только к его возвеличению в Петрограде: Ланглуа, как приятную для меня новость, сообщил, что Шегубатов катается по Невскому и состоит адъютантом при одном из великих князей.

И все же, несмотря на диссонанс, нараставший с каждым днем в моих отношениях с Петроградом и сильными мира сего, мне удавалось, не имея даже дисциплинарной власти, ликвидировать самолично все возникавшие с французами трения и недоразумения, опираясь на авторитет старшего военного представителя русской армии. Вот почему уже самое известие о прибытии во Францию полномочного представителя верховного главнокомандующего немало меня смутило. Как бы это не повело к самому опасному врагу всякой работы и всякой дисциплины — двоевластию.

Впрочем, эти соображения отходили на второй план. Самый выбор царем своего представителя вызывал недоумение. Трудно было найти для Франции менее подходящего генерала, чем Жилинский. Его, как главнокомандующего Варшавским фронтом, союзники не без основания считали главным виновником гибели армии Самсонова, а у Жоффра о нем сохранились, кроме того, неприятные воспоминания от последнего предвоенного совещания начальников генеральных штабов в Петербурге.

— Чего порядочного можно ждать от республиканского режима? — говорил мне в свою очередь не раз Жилинский. — Все, что есть хорошего во Франции, было создано при королях!

Таких недоступных сухарей, кичившихся своими чинами и положением, как Жилинский, среди наших генералов встречалось немного. Чем бы его ублажить, как встретить, а главное, как примирить с «монастырским уставом» Гран Кю Же?

— Выставьте на пристани в Булони почетный караул со знаменем, разучите русский гимн, высылайте при мне представителя Жоффра в чине не ниже генерала, реквизируйте не меньше не больше как замок самого Ротшильда, в двух километрах от Шантильи, подыщите лучшего повара в Париже, обеспечьте не таким столом, каким мы тут с вами довольствуемся, а самым изысканным, с лучшими винами, — учил я мало тароватых и не привыкших к русскому хлебосольству своих французских друзей. Все было выполнено ими как по нотам, но принято Жилинским только как должное, с подобающим, на его взгляд, величественным достоинством.

— А деньги для меня переведены? — был один из первых обращенных им ко мне вопросов.

— Прикажу своему счетному отделу немедленно выписать положенные вашему высокопревосходительству суточные, столовые и жалование. Когда и куда прикажете доставить?

— Нет, уж я вас попрошу лично доставлять мне деньги в гостиницу «Континенталь». Я занял там постоянный номер, так как сидеть безвыездно в Шантильи не собираюсь, — отдал мне приказ Жилинский, подчеркивая этим мое подчиненное положение. Оно, впрочем, было уже установлено телеграммой, извещавшей меня о его приезде.

«Во время пребывания генерала Жилинского при французской армии вы находитесь в подчинении его высокопревосходительства и должны сообразовать свои действия и донесения по всем вопросам, кроме заказов, с его указаниями».

— Виноват, ваше высокопревосходительство, с непривычки, — извинялся я, подбирая с пушистого ковра в раззолоченном салоне «Континенталя» серебряные и медные

французские сантимы. Они как бы нарочно выпали из привезенного мною конверта с деньгами.

Жилинский пересчитал, как хороший кассир, светло-лиловые стофранковые билеты, но, стараясь из вежливости прийти мне на помощь, прервал это занятие и тоже наклонился. Он понял.

— Можете прислать на следующий раз жалованье с одним из ваших французских офицериков, только знайте — из выправленных.

Не иначе как с бравым красавцем Тэсье, с его кирасирской каской и даже с палашом, — заранее решил я. Холодного оружия никто, между прочим, во время войны во Франции не носил, что тоже бесило Жилинского.

Церемонию передачи жалованья мне захотелось использовать для установления распорядка работы в Гран Кю Же, — вопроса, которого Жилинский всячески старался избежать. Сам он, разумеется, ничем заниматься не собирался и привез с собой только личного адъютанта, сынка своего старого полкового товарища Панчулидзева. Кто же будет поддерживать связь с французскими бюро? — спрашивали мы себя с Пацем и в конце концов решили рекомендовать Жилинскому задержать при себе командированного в Париж полковника Кривенко. Последний, как это часто бывает в подобных случаях, оказался по отношению ко мне, вероятно из зависти, большим врагом.

Одно лишь удалось уберечь от всей неразберихи, вызванной появлением в Гран Кю Же вместо одного — двух русских органов: ничто не могло помешать мне посылать в Россию ежедневные телеграммы со сведениями о противнике.

Основной причиной командирования Жилинского явилась вторая межсоюзническая конференция главнокомандующих, собравшихся в Шантильи 5 декабря 1915 года после длительных политических переговоров. Ставка на этот раз сама находила необходимым обсуждение между союзниками текущих вопросов, намечая для этой цели Лондон. Асквит предлагал даже учредить постоянную организацию, которой подлежали бы не только военные и дипломатические, но и политические вопросы. Бриан считал, что достаточно собирать периодические совещания. Наконец, все согласились, что после безрезультатного сентябрьского наступления на французском

фронте и стабилизации на долгий срок русского фронта надо было найти выход из получившегося безотрадного положения, используя, например, уже созданный к тому времени, хотя еще и очень слабый, Салоникский фронт.

После перехода на сторону немцев Болгарии и быстрого разгрома превосходящими германо-австро-болгарскими силами доблестной сербской армии Балканский театр приобрел особое значение. Союзникам хотелось привлечь на свою сторону во что бы то ни стало Румынию и через нее подать руку русской армии. Однако взгляды в этом вопросе резко расходились.

Французы, воспитанные на наполеоновской стратегии, считали, что война может быть выиграна только после разгрома главного противника и на кратчайшем стратегическом направлении.

— Все силы против Германии, а об австрийцах поговорим, когда вы будете в Берлине, — давал мне советы в начале войны Мессими.

К тому же французы ощущали присутствие немцев у самых ворот Парижа и, при столь мне известной узости политических горизонтов, долгое время не были склонны уделять свои силы на Салоникский фронт. Сентябрь их протрезвил, и Жоффр стал прислушиваться к мнению Алексеева, считавшего, что при борьбе с коалицией удар надо направлять против слабого противника, с тем чтобы отколоть его от более сильного. В конце концов и Россия и Франция были склонны к развитию операций на Салоникском фронте, не рассчитывая даже особенно на содействие Италии, хотя аппетиты ее на Балканском полуострове им были хорошо известны.

Не так смотрела на этот вопрос «владычица морей», привыкшая простирать свои интересы не на один какой-нибудь театр войны, не на один даже континент, а на весь земной глобус. Это лишний раз подтвердила последняя моя беседа с лордом Китченером, возвращавшимся осенью 1915 года из своей инспекционной поездки на Восток. Повидимому, наши лондонские споры об американском рынке не были им забыты, и, проездом через Париж, он неожиданно вызвал меня в английское посольство.

— Скажите, — с обычной прямотой спросил меня маршал, — зачем вам понадобился Салоникский фронт?

Я твердо решил отозвать наши войска с Балканского полуострова с тем, чтобы развить наступление из Египта против Турции.

— По примеру Моисея через Чермное море, — улыбнулся я. — Как бы мне ни хотелось быть вам приятным, милорд, но полагаю, что эти хождения по пустыням, не занятым противником, особого интереса для нас представить не могут.

— Опять станем спорить, — полушутливо замял разговор Китченер и стал расспрашивать, насколько я удовлетворен материальной помощью союзников России.

Подобные противоречия между союзниками во взглядах на Салоникский фронт не предвещали больших результатов от предстоявшей конференции, на которой должен был выступать Жилинский.

Он накануне запретил мне на ней появляться, но вместе с тем не отлучаться из Шантильи на случай, если ему понадобятся какие-либо справки. В последнюю минуту он, однако, позвонил мне по телефону и сухо заявил:

— Жоффр хочет, чтобы вы непременно присутствовали. Приходите немедленно.

В одном из кабинетов Гран Кю Же я снова застал знакомую картину конференции с той разницей, что она носила вполне военный характер: вместо Мильерана председательствовал Жоффр. Направо от него сидел маршал Френч со своими, как обычно, многочисленными сотрудниками, а налево — Жилинский, к которому я и подсел, раскланявшись на ходу со всеми собравшимися. Не успел Жоффр закончить свою довольно пространную речь, как Жилинский, наклонившись ко мне, на ухо прошептал:

— Скажите этому хаму, сидящему против меня, чтобы он сел прилично.

— Ваше высокопревосходительство, это же сам начальник штаба английской армии генерал-лейтенант Вильсон, я не имею права делать ему замечаний.

Между тем мой английский приятель, закинувший высоко ногу на ногу и подперевший рукой подбородок, не подозревал, конечно, что своей обычной позой может помешать почтенному русскому коллеге обсуждать вопросы государственной важности.

Телеграммы с отчетом об этой конференции Жилинский, как обычно, мне не показал, чем, быть может,

объясняется отсутствие какого-либо о ней следа как в моем отчете, так и в моей памяти.

Мне, впрочем, уже давно стало очевидным, что в моей работе пользу для России можно извлечь только из совещаний о материальном снабжении и распределении между союзниками запасов мирового сырья. Подобных случаев пропускать не следовало, и потому было очень досадно не получить приглашения и на следующую межсоюзническую конференцию в Париже 27 марта 1916 года.

В раззолоченных залах Кэ д'Орсэ собрались на этот раз такие люди, как председательствующий Бриан, Жоффр, Альбер Тома, Асквит, Грей, Ллойд-Джордж, Китченер, Саландра, Титони, Кадорна, Пашич. Представителями России были назначены только Извольский, Жилинский и, как технический работник, советник посольства Севастопуло.

Все, кроме русских, имели при себе, между прочим, заранее составленные программы и требования по снабжению.

Мартовская конференция оказалась самой грандиозной за все время войны. Правда, и момент был решающий: сама «Марна» поблекла под величием многонедельной и в конечном счете победоносной для французов борьбы за Верден. Их армия была обескровлена, но и немцы потеряли в этой авантюре большую часть своей боеспособности. Несмотря на мобилизацию промышленных ресурсов Франции и даже Англии, центральные европейские державы сохраняли еще свое превосходство в технике и особенно в тяжелой артиллерии.

Во Франции к тому времени зазвучал бархатистый бас ее любимого оратора, Аристида Бриана — того самого Бриана, которого Клемансо характеризовал, как «человека, ничего не знающего, но все понимающего». Новый председатель совета министров, высокий, слегка горбившийся брюнет, с гривой седеющих волос и пышными, опущенными вниз густыми усами, благодаря чисто французской тонкости ума и умению изящно выражать свою мысль был рожден дипломатом.

«Я знаю жизнь, меня ничем не удивить!» — говорили за него изборожденные глубокими складками красивые черты его лица. «L'enfer est pavé de meilleures intentions»

(Ад вымощен наилучшими намерениями), — говорят французы, и Бриан, равно как его английский единомышленник — пылкий Ллойд-Джордж, главные инициаторы мартовской конференции, верили, что можно еще добиться объединения высшего руководства военными операциями на различных фронтах мировой войны. Они давно уже осознали также, что в общем деле эгоизм — плохой советчик, что Англии и Франции необходимо поступиться собственными материальными ресурсами в пользу союзников, в первую очередь русской армии.

Я нередко задавал себе вопрос: с кем лучше иметь дело — с высокими начальниками, полными добрых намерений, или с исполнителями, искажающими в дебрях канцелярской волокиты полученные ими директивы? Во всяком случае, будучи отстранен от участия в конференции и зная ее программу не от начальников, а через своих французских друзей, я надеялся, что какие бы решения ни были приняты, их всегда удастся изменить при сохранении добрых отношений с чиновниками, двигающими громоздкую машину французского министерства вооружений.

В самый день конференции я, таким образом, спокойно сидел за разбором дневной почты в своей парижской канцелярии, но около полудня Тэсье взволнованно доложил, что меня просит к телефону не больше не меньше как сам председатель совета министров. Я сразу узнал бархатистый бас Аристида:

— Я прошу вас, полковник, простить нас за происшедшее недоразумение и сделать мне лично большое одолжение, согласившись приехать к нам на завтрак запросто, без церемоний, как вы есть!

Через десять минут я входил по парадной лестнице в министерство иностранных дел и не без удивления увидел на верхней площадке ожидавшего меня Бриана с вечной, незатухающей папиросой в зубах. Со свойственной ему экспансивностью он стал мне жать не одну, а обе руки.

— Кого вы нам прислали? В какое положение нас поставил ваш генерал перед лицом всей конференции? Он громогласно заявил, что ружья, которые итальянцы вам уступили, ни к черту не годны. Вы один можете уладить этот инцидент, и я приказал оставить вам место за завтраком между итальянским главнокомандующим Ка-

дорна и начальником их военного снабжения генералом Далолио.

И с этими словами Бриан ввел меня в давно мне знакомый salle de l'Horloge (зал с часами), где стал представлять тем высоким членам конференции, как, например, Асквиту и Пашичу, с которыми мне до того времени не приходилось встречаться.

Я поздоровался и с Извольским, но Жилинского в зале уже не было. Я стал его искать и нашел задумчиво шагающим в полном одиночестве по отдаленному залу биллиардной.

— А, здравствуйте, — как обычно, с высоты своего величия приветствовал он меня. — Вы знаете, между прочим, что вы избраны членом комиссии по снабжению. Ну и наложил же я им!

— Кому, ваше высокопревосходительство? — скрывая свою беседу с Брианом, спросил я.

— Да этим подлецам, итальянцам, — и он повторил уже мне известные подробности об уступке ружей.

Завтрак, как помнится, был столь же вкусен, как сладки были мои беседы с нашими новоиспеченными горе-союзниками, а последовавшее вслед за этим заседание с Ллойд-Джорджем и Альбером Тома носило, как всегда, хоть и деловой, но не лишенный юмора характер.

— Ну, знаете, — сказал, между прочим, Ллойд-Джордж, — всяких аргументов наслушался я от нашего русского коллеги, но его мотивировка об исключительной важности для России алюминия, как средства борьбы с бездорожьем и весенней распутицей, доказывает его изобретательность и наше невежество!

В действительности, стремясь выторговать несколько лишних тысяч тонн этого драгоценного в то время металла, я указал на необходимость ввиду бездорожья всячески облегчать снаряжение нашего пехотинца, заменяя, например, тяжелые медные котелки, принятые за границей, алюминиевыми.

— Отказывать Игнатьеву очень трудно, — добавил Ллойд-Джордж, — я только выражаю некоторое опасение, достаточно ли серьезно при обсуждении потребностей России он относится к священным обязанностям переводчика между мною и моим уважаемым коллегой Альбером Тома.

Умом Россию не понять.
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать, —
В Россию можно только верить.

Кому действительно из высоких участников парижской конференции могло прийти в голову, что именно та армия, которая больше других нуждалась в материальной поддержке, моральные силы которой должны были быть глубоко потрясены тяжелым отступлением 1915 года, она-то первая и перейдет в наступление и еще раз поддержит славу своих старых знамен. Что летняя кампания 1916 года на русском фронте не только заставит немцев окончательно отказаться от Вердена, но и вынудит их к переброске своих дивизий на поддержку деморализованных австрийских армий, а это в свою очередь облегчит французам прорыв германского фронта на Сомме.

Вот какое влияние на ход мировой войны имел тот переход в наступление войск нашего Юго-Западного фронта, о котором, как всегда, ранее получения служебных телеграмм, я прочел на страницах всех парижских газет от 6 июня 1916 года.

«Русские прорвали австрийский фронт в нескольких местах на протяжении 350 километров, они перешли границу, форсировали линию реки Серет, они двигаются на Львов, они взяли сто тысяч, триста тысяч, в конечном счете 420 000 пленных и 600 орудий», — следовали одна за другой до самой осени радостные вести с родины, поддерживая дух французского народа, уже истомленного длительной войной.

Как бы ни старались союзники быть объективными в оценке операций на русском фронте, они не могли учесть того значения, которое обнаружила впоследствии бесстрастная история. Русское наступление, казавшееся французам только блестящей операцией местного значения, не только внесло смятение в умы верховного немецкого командования, но и нарушило его планы дальнейшего натиска на Верден. К сожалению, не поддержанная остальными фронтами, эта блестящая наступательная операция не получила дальнейшего развития. Силой девяти дивизий, — из коих четыре (3-я рез. гвард., 215-я, 53-я и 7-я кав. дивизии) были переброшены с французского фронта и пять (92-я, 93-я, 202-я, 205-я и 224-я) вновь сформированы, — немецкому командованию

удалось восстановить положение в Галиции, остановить вечно бежавших перед русскими войсками австрияков.

Хуже обстояло дело в нашем тылу. Мобилизация русской промышленности еще сильнее подчеркнула несоответствие заводского оборудования и запасов сырья требованиям, предъявленным России длительной войной. Если в первые месяцы было невозможно добиться сведений о наших потребностях, то теперь русские органы снабжения за границей были завалены телеграммами, друг другу противоречащими, раздувавшими размеры заказов до астрономических цифр (при заказе тиглей наше начальство ошиблось на один нуль и вместо 10 000 упорно требовало высылки в Россию 100 000!) Чувствовалась междуведомственная неразбериха, беспомощность центрального аппарата регулировать поставки и распределение сырых материалов между частными собственниками заводов. Так ощупью на практической работе и усваивал военный дипломат, превращенный силою судеб в начальника управления по снабжению, принцип государственной монополии внешней торговли.

Неразбериха с заказами к лету 1916 года приняла столь угрожающие размеры, что потребовала командирования за границу специальной комиссии во главе с начальником генерального штаба Беляевым. Его правою рукой оказался мой бывший берлинский коллега, уважаемый Александр Александрович Михельсон. Тяжеловатый генерал, Михельсон привез с собой такие же тяжеловесные дела с широковещательными ведомостями наших потребностей и сводками об их удовлетворении заграничными заказами. «Три дня и три ночи» сидели мы над этими документами, но толку все же не добились.

Прибытие Беляева в Париж было почему-то скрыто от меня до последней минуты. Из России я об этом извещен не был, и только накануне мой лондонский коллега, генерал Ермолов, прислал мне лаконическую телеграмму с перечислением фамилий прибывших. Ермолов добавлял:

«Комиссию сопровождает английский военный агент в России полковник Нокс».

«При чем тут Нокс, — подумал я. — Неужели наш начальник генерального штаба для посещения Франции нуждается в английском советнике?»

На деле оказалось, что вся поездка Беляева была организована англичанами.

Когда на следующий день, известив о приезде комиссии французское правительство и Гран Кю Же, я прибыл для встречи высокого начальства на Северный вокзал, то перед подъездом нашел построенными в образцовом порядке новенькие английские военные машины, окрашенные в светлокоричневый защитный цвет. Мои разнотипные французские машины имели в сравнении с ними жалкий вид и болтались где-то позади. Поставив свой «ролсройс» первым у выхода с вокзала, я, конечно, приказал своим шоферам пристроиться к нему в ряд, впереди английских.

Беляев, мой старый коллега по штабу Куропаткина, при выходе из вагона по-русски меня обнял. Его примеру последовали остальные члены нашей комиссии, а последним вышел тот самый угрюмый полковник Нокс, что впоследствии играл первую роль при Колчаке.

— Oftly glad to meet you! (Очень счастлив вас встретить!) — обменялись мы приветствием и крепким рукопожатием с моим коллегой.

— Мы едем в отель «Риц»? — спросил Нокс, из чего я понял, что его правительство наняло даже помещение для нашей комиссии в Париже.

— Нет, — вежливо заявил я, — мы едем в отель «Крильон», где я уже заказал комнаты, — и спокойно предложил Беляеву сесть в мою машину. На красной и белой полосе, отличительном знаке Гран Кю Же, помещавшейся на дверцах машины, — красовалась надпись: «Attaché Militaire de Russie».

Вечером в Шантильи я уже испрашивал у Жоффра разрешения представить ему на следующий день нашу комиссию.

— Нокса я приму отдельно, — заявил старик, — его мне должен представить их английский агент Ярд-Буллер. Вы его предупредите.

Этикет был соблюден.

Нелегко было вызвать на откровенность Беляева — эту «мертвую голову», как мы его прозвали в Маньчжурии. Он все с той же осторожностью и большой опаской касался всех вопросов, налагающих какую-либо тень на начальство, а тем более на царя, которого он даже в частной беседе с благоговением и с каким-то особым придыханием титуловал «государем императором». Не думал я тогда и не гадал, что этот пугливый чиновник

окажется по протекции Распутина последним царским военным министром.

— Войдите в мое положение, — жалуюсь я, — как мне выполнить запрос нашего генерального штаба, полученный уже несколько недель тому назад, о том, какие меры принимаются во Франции по подготовке к демобилизации? Вы же видите, что война здесь в полном разгаре и подобные вопросы никому еще в голову не приходят.

— Да, вы правы, сделайте вид, что вы подобной бумаги не получали.

— А скажите, — почти шепотом спрашиваю я, — вот французы болтают, что у нас много дезертиров. Неужели это правда?

— А сколько у них самих? — старается отклонить вопрос мой высокий начальник.

— По моим сведениям, тоже немало: что-то около пятидесяти тысяч, считая в том числе и «уклонившихся», — привожу я цифры, полученные незадолго перед этим по секрету от Гамелена.

Беляев смущенно поправляет пенсне и еще более тихим, чем обычно, голосом произносит со вздохом:

— А у нас до миллиона двухсот тысяч!

— Неужели дисциплина уже так пала? Неужели война так непопулярна? Неужели даже победоносное русское наступление не подняло духа на фронте и в тылу? — забрасываю я вопросами Беляева.

Он молчит.

— В таком случае пора кончать, — так же глубоко вздохнув, заканчиваю я беседу, возвращаясь из Шантильи и подъезжая к парижскому предместью.

Глава одиннадцатая

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС

Само название «экспедиционный корпус» создает представление о каком-то крупном военном соединении, выполнившем в мировую войну самостоятельную задачу где-то за пределами России. Однако я сам, как ни странно, услышал про «русский экспедиционный корпус» только после войны, приехав из Парижа в Москву, где ознакомился с обширной литературой, посвященной этому

корпусу. Оказалось, что дело идет о тех четырех пехотных бригадах, которые разновременно были посланы во Францию и в Салоники под начальством генералов — Лохвицкого, Марушевского, Дидерихса и Леонтьева. Две из них находились на французском фронте, а другие две — на Салоникском. Они входили в состав французских армий и корпусов и никаким общим русским руководством объединены не были.

Бригады эти, численностью около семи тысяч человек каждая, ничем, за исключением 1-й, не отличались от обыкновенных русских бригад, хотя носили название «особых». Они, конечно, не могли повлиять на ход военных действий, но впоследствии сыграли известную роль в развитии революционного движения в самой Франции и во многом помешали восстановлению дипломатических отношений между этой страной и Советской Россией. По ним судили иностранцы о падении дисциплины в русской армии, а неизбежные революционные эксцессы предоставили на долгие годы хороший материал для антисоветской пропаганды.

Посылка наших войск во Францию оказалась, конечно, политической ошибкой, но совершена она была не французским и не русским командованием, а теми парижскими политиканами, которые, не продумывая достаточно вопросов, принимают упрощенные решения за гениальные.

Один из таких вопросов возник осенью 1915 года: военная промышленность из-за нехватки рабочей силы оказалась в столь тяжелом положении, что для работы на заводах пришлось возвращать солдат с фронта из поредевших уже рядов французской армии. Парижские мудрецы решили разрубить этот узел одним ударом топора, выписав людей из России, представлявшей, по их мнению, неиссякаемый источник пополнений.

Этот проект свалился на меня как снег на голову. Однажды, в начале ноября, я только что вернулся с утреннего доклада Жоффру и заканчивал дневную сводку о противнике, как неожиданно раздался телефонный звонок из Парижа, и сам Извольский, в этот необычный для него ранний час, попросил меня срочно приехать в город для обсуждения какого-то важного вопроса.

В кабинете посла я уже застал сенатора Поля Думера, будущего президента республики, а в то время

председателя военной комиссии сената. Думер был носителем доживавшей свой век французской либеральной буржуазной культуры, согласно которой республиканский режим казался непогрешимым, а Франция представлялась носительницей высших политических идеалов. В отличие от большинства деятелей Третьей республики Думер был примером безукоризненного семьянина, а потеря в первые же недели войны всех своих четырех горячо любимых сыновей создала ему ореол истинного патриота. Он бодро переносил свое горе, и только седина в бороде и черный траурный галстук напоминали о перенесенных им тяжелых испытаниях.

— Господин сенатор выезжает завтра в Россию, — объявил мне Извольский, — и я хотел узнать ваше мнение по тому вопросу, который является главной целью его путешествия.

— Вам, конечно, известна главная причина трудности нашего положения, — стал тут же объяснять приятным до вкрадчивости голосом Думер: — это большие потери в людях и недостаточность годных контингентов новобранцев, между тем как затяжной характер войны требует такого большого расхода в людях, что угрожает нашей обороноспособности, — и он начал развивать передо мной набившую оскомину теорию о неисчерпаемых русских людских ресурсах.

— У вас не хватает даже ружей, чтобы их использовать, тогда как мы, перевезя сюда сотни тысяч ваших солдат, можем пополнить ими редеющие с каждым месяцем ряды нашей пехоты.

— Пожалейте вашу прекрасную пехоту, — попробовал я разрушить одним махом проект Думера. — Вливая в нее хотя бы и самые отборные, но чуждые ей и по языку и по воспитанию элементы, вы только понизите ее боевые качества.

— Что вы! Что вы! — с апломбом возразил мой собеседник. — Мы же в нашей армии имеем аннамитов, ни слова не понимающих по-французски, но прекрасно воюющих под нашим начальством.

— Господин сенатор, — сдерживая возмущение и переходя на официальный тон, заявил я, — русские — не аннамиты, и я позволю себе вам посоветовать воздержаться от подобных сравнений.

Извольский, опасаясь обострений отношений с Думером, а вместе с тем косвенно поддерживая меня, перевел разговор на героизм, проявлявшийся нашими войсками в дни тяжелого летнего отступления.

Компаньоном Поля Думера для поездки в Россию те же мудрые штатские политики выбрали совсем не мудрого, но славного старика, генерала По, за то что он еще во франко-прусскую войну 1870 года потерял руку. Тяжелое увечье не помешало этому доблестному солдату продолжать ездить верхом, а в первые дни мировой войны даже командовать импровизированной группой территориальных дивизий, собранных для прикрытия чересчур поспешного отступления на юг английского генерала Френча. При поездке в Россию бедный старик должен был произвести своим увечьем подобающее впечатление на наши высшие военные сферы.

Вся эта антреприза показалась мне настолько несерьезной, что я не замедлил вернуться в Шантильи, где и нашел единомышленников среди офицеров Гран Кю Же. Оказалось, что и для Пелле проект Думера явился сюрпризом и что военный министр запросил главнокомандующего только об оформлении выработанного правительством проекта.

Пелле, конечно, понимал всю нелепость присылки из России маршевых батальонов, но, не желая предрешать лично вопроса о тех или иных русских войсковых соединениях, просил меня составить об этом записку не позже как к следующему утру.

Советников, кроме Паца, у меня не было, но от этого осторожного генштабиста нелегко бывало добиться его собственного мнения по вопросам, выходившим из строгих рамок официальной инструкции для военных агентов мирного времени.

С одной стороны, было необходимо предоставить русским войскам известную долю самостоятельности, но вместе с тем не возлагать на них чересчур большой ответственности. Дивизия, а тем более корпус казались нам соединением слишком крупным, состоящим из всех родов оружия, применение которых в специальных условиях Западного фронта, насыщенного всякого рода техникой, могло вызвать для наших генералов чересчур большие трудности.

С другой стороны, полк являлся единицей, которой французы могли бы помыкать, не считаясь с нашими русскими уставами и обычаями.

— Нет, — решили мы, — во главе русского соединения должен быть поставлен генерал, тем более что этот чин пользуется во Франции гораздо большим почетом, чем в России.

Вот как создался проект командирования во Францию наших подкреплений в форме отдельных бригад; эти войсковые соединения лучше всего отвечали требованиям военно-политической обстановки.

Предупреждая нашего военного министра о целях поездки Поля Думера в Россию, я в письме к генералу Беляеву назвал наивным план посылки во Францию неорганизованных двухсот — трехсот тысяч русских солдат.

«Проект этот, — писал я, — доказывает:

1) Полное незнание духа и чувств русского народа;

2) Пренебрежение религиозной, служебной и даже материальной стороной солдатской жизни...

Тем не менее появление наших солдат на Западном фронте имело бы большое моральное значение, поднимая дух союзников и являясь неприятным сюрпризом для немцев».

Я находил также, что главным затруднением для отправки целых войсковых соединений явится недостаток у нас офицеров.

Некомплект в среднем командном составе был вечным злом в русской армии.

Несоразмерно большие потери в офицерском составе в первые месяцы войны и запоздалые меры по подготовке прапорщиков создали подлинную угрозу боевой способности русской пехоты. Казармы ломились от запасных батальонов, а обучить и вести в бой этих солдат было некому.

Все это, как и многое другое, было мне известно от моего верного осведомителя Ланглуа, а потому, как обычно, под видом сведений о французской армии я использовал письмо Беляеву для полезных, как мне казалось, советов в отношении собственной армии.

«Во Франции, — писал я, — большинство чиновников, в том числе и министерства иностранных дел, мобилизованы, число адъютантов, ничтожное даже в мирное время, еще более сокращено, а генералы, не служащие на

фронте, их совсем не имеют. Раненым, больным и отпускным офицерам ведется строжайший учет (Ланглуа мне говорил, что Петербург и Москва ими переполнены), и пребывание в тылу строго ограничено. Между фронтом и тылом происходит постоянный обмен, причем тыловые должности заполняются преимущественно тяжело ранеными офицерами. Для штабной работы пользуются женским трудом (что в ту пору являлось большой новинкой)».

«Не в бровь, а в глаз попадаю», — думал я, излагая подобные соображения и зная наперед, сколь неповоротливо и трусливо наше высшее военное руководство.

«А как же быть со штатами?» — воскликнет, наверно, читая эти строки, наш добрый Беляев.

Как видно из этого письма, несмотря на какие-то предчувствия, я все же не высказывался категорически против посылки во Францию русских бригад. Кроме того, здравому мышлению моему сильно препятствовали в ту пору привитые мне с детства идеалистические понятия. В мою голову не укладывалась мысль, что французы попросту стремятся купить за свои снаряды русское пушечное мясо. Понять это мне помог, несколько дней после отправки письма Беляеву, сам Пуанкаре.

Во Францию в те дни прибыла, наконец, давно затребованная мною из России комиссия фронтовых офицеров для ознакомления с техническими достижениями французского фронта. Я надеялся, что компетентные представители нашей армии смогут подкрепить мои донесения о необходимости коренных изменений в методах ведения боя на русском фронте.

Как обычно, деятельность командированных началась с представления высшим чинам военного министерства, но для придачи комиссии исключительного значения я истребовал для нее аудиенции у самого президента республики. Офицеры наши были в восторге и заранее предвкушали удовольствие личной беседы с Пуанкаре.

Он принял нас без всяких церемоний в своем рабочем кабинете Елисейского дворца и после представления ему каждого из моих спутников любезно предложил рассесться вокруг своего письменного стола. Все ожидали, что глава государства станет расспрашивать о положении на фронте русской армии, но Пуанкаре, забыв про офицеров, начал излагать мне мотивы поездки в Россию Думера. С логикой, граничившей с цинизмом, скандируя

слова, этот бездушный адвокат объяснял, насколько справедливо компенсировать французскую материальную помощь России присылкой во Францию не только солдат, но даже рабочих.

Тщетно старался я направить мысли президента в другое русло, напоминая ему истинную цель моего визита, обращая внимание на присутствие русских офицеров, совершенно не посвященных в тайну командировки Думера.

— Какая мерзость, какая низость! — набросились на меня наши офицеры, выходя из ворот дворца президента. — Что же, мы станем платить за снаряды кровью наших солдат?

Первое невыгодное впечатление, полученное от союзной страны, было заглажено поездкой на следующий день в Гран Кю Же, где удалось для нашей комиссии организовать посещение наиболее интересных, а потому и более засекреченных участков фронта.

Сам я, подхваченный вихрем работы по срочным отправкам боевого снаряжения в Россию, и не замечал, как летели недели, а вопрос о присылке бригад ограничился визитом ко мне Поля Думера по возвращении его из России.

— Я заехал к вам, дорогой полковник, чтобы пожать вашу руку и искренне поблагодарить вас за предостережение, сделанное вами тогда в кабинете Извольского. Представьте себе, что даже сам царь, встретивший нас крайне любезно, противился посылке во Францию своих солдат, не говоря уже об упрямом генерале Алексееве. В конце концов мы добились, что все же будет послана, в виде опыта, одна бригада, но из опасения подводных лодок ее направили не обычным путем из Архангельска, а через Владивосток!

Подобного безумия я, конечно, предвидеть не мог, тем более что за все время войны ни один из посланных мной пароходов потоплен не был.

Началась подготовка достойного приема наших войск.

Французы, со своей стороны, всячески шли навстречу малейшим нашим пожеланиям. Лагерь Мальи, избранный для 1-й бригады, считаясь образцовым, был наиболее близким как к фронту, так и к большой дороге из Шалона в Париж, что облегчало сношения русского командования и с фронтовым и с тыловым французским командованием.

Хотя русские офицеры, окончившие Инженерную академию, были действительно на все руки мастера, однако полковник Антонов несколько смутился, когда я поручил ему руководить постройкой русской бани. Подобные постройки составителями академических учебников не были предусмотрены.

— C'est épatant! (Это потрясающе!) — изумлялись французы, поддавая пар русскими шайками.

К стыду своему, и мне пришлось впервые узнать, что гречневая каша в такой же моде в Бретани, как и у нас в России.

Самым серьезным представлялся мне вопрос о переводчиках, необходимых не только для усложнявшейся с каждым днем связи с артиллерией и авиацией, но и в войсковом быту. По всем французским армиям понеслись запросы о лицах, знакомых с русским языком, и после двукратного отсева в лагере Мальи их заставили пройти специальный курс подготовки. Кого только не пришлось там встречать: сын богатого московского хозяина фирмы Эйнем, скромный еврей-картузник из Парижа, сын французского парикмахера из Петербурга, — все штатские люди, которых война одела в военные мундиры.

Подготовка к приему нашей бригады послужила, наконец, предлогом для издания вновь вышедших французских боевых уставов на русском языке. Когда-то еще дойдут до русских полков все наши телеграммы, осведомлявшие о новых методах ведения боя! Да и чего они будут стоить, если довоенные уставы останутся в силе! Война может кончиться, прежде чем могут быть изданы в России новые уставы. Они ведь потребуют утверждения самого царя!

Надо рискнуть и, минуя начальство, дать нашим войскам вполне официальный документ в кратчайший срок.

Помогла нашему начинанию все та же французская бережливость. В архивах Национальной типографии сохранились в полной неприкосновенности русские шрифты времен Александра I. Ими набирались в 1814 году все русские правительственные распоряжения и военные приказы по оккупационному корпусу. Нашлись и русские наборщики и прекрасная бумага, что позволило в какие-нибудь две недели издать в прочном картонном пере-

плете боевой устав французской пехоты с придуманными нами выходными данными:

«Печатается по распоряжению военного агента во Франции».

Отрадно было узнать впоследствии, что высланный в Россию значительный тираж этого документа имел в русской армии большой успех.

Настал, наконец, давножданный день прибытия в Марсель первого эшелона нашей 1-й бригады. Трудно описать волнение последних часов, отделявших меня от желанного свидания. Ведь со времени последнего посещения господином Пуанкаре перед войной Красносельского лагеря я не видал родных солдатских лиц, а тут доведется не только на них полюбоваться, но и отвечать за их жизнь в чуждой им стране, гордиться ими перед французской армией.

Наконец, сама поездка для встречи их в Марсель представляла для меня, как всегда, праздник. Сколько раз благословлял я судьбу за возможность расстаться с зимним серым небом и холодной слякотью Парижа, с тем чтобы проснуться на следующий день под лазоревым небом на берегу лазурного моря, в солнечном до ослепительности Марселе.

Солнце и свет исцеляли все недуги, а толпы как будто всегда праздничных, никуда не спешивших людей, заполнявших бесчисленные кафе с открытыми настежь дверями и окнами, призывали смотреть веселее на собственную и на чужую жизнь. У марсельцев были, конечно, тоже свои заботы и неприятности, но эти южане были не похожи на парижан, вечно бегавших за заработком. Марсельцы довольствовались малым, любили свой город — этот райский уголок, а море и опять-таки солнце заменяли им красоты и развлечения других городов.

Марсельские анекдоты в большой моде во Франции, но всякая пикантная история рассказывается на таком неподражаемом марсельском жаргоне, что самые большие вольности становятся вполне приемлемыми.

Когда перечитываешь «Трех мушкетеров» Александра Дюма или «Тартарена из Тараскона» Альфонса Додэ, то герои этих романов переносят тебя мысленно в столицу юга Франции — приключенческий Марсель. Он сохранил

и до наших дней свой оригинальный фольклор в форме нигде не записанных рассказов о похождениях остроумного и уморительного Мариуса.

Марсельцы — охотники до всевозможных преувеличений и не без гордости говорят, что «если бы Париж располагал Каннебьерой, то он вправе был бы именоваться Марселем», а я бы только прибавил, что тот, кто не постиг прелести Марселя, тот не знал Франции.

Каннебьер — широкая городская артерия — упирается в сохранившийся со времен парусного флота старый порт. Теперь им пользовались только бедные рыбаки да богатые яхтсмены, в его узкий выход бесшумно проскальзывали в море то желтые, то красные паруса, а у бетонной низенькой дамбы, заменившей совсем еще недавно деревянные мостки, стояли на причале сотни разноцветных лодочек и яликов.

Здесь, в самом центре города, уже пахло морем. Бесчисленные корзины из ивняка были наполнены ракушками самых разнообразных местных названий. Их подавали на закуску тут же на берегу, в потемневших от времени крохотных ресторанчиках, где ели горячий «буябес» и прочие чудеса марсельской кухни, рекомендуемые любителям рыбы и чеснока.

Едва вы садились за столик на открытой круглый год террасочке, как перед вами на мостовой появлялись местные уличные артисты — скрипач и певица, развлекавшие вас провансальскими народными песнями.

Позади вас над городом высится гора с высоким собором святой Марии, покровительницы моряков. Перед вами, на южном возвышенном берегу порта, — старый квартал красочных базаров и совсем не таинственных публичных домов — этого позорища Франции, прибежища иностранных туристов и моряков. Религиозность и проституция уживаются друг с другом почему-то особенно хорошо во французских портовых городах.

Неумолимое время изменило, впрочем, многое в этом старинном городе, основанном финикиянами за шестьсот лет до нашей эры. В самом городе кипела лишь оптовая торговля этого первого по величине порта Франции — хлебная биржа. Сама же погрузка и разгрузка товаров давно уже была вынесена за городскую черту. Туда, к застланным пароходным дымом бесчисленным прича-

лам, должны были подойти и наши транспорты с первым эшелоном 1-й бригады.

Как только обрисовались на горизонте контуры двух громадных морских транспортов, я вышел на широкий мол и долго шагал в ожидании причала, отдавая последние распоряжения. Мне, между прочим, казалось крайне унизительным появление наших солдат безоружными из-за недостатка в России винтовок, а потому, невзирая на протесты французского интендантства, желавшего записывать фамилии солдат и номера выдаваемых им французских винтовок, я организовал заранее живую цепочку, которая должна была первая взбежать по трапу и, без всякого предварительного учета, вручать ружья не на берегу, а на самом борту парохода.

Вот стали собираться вокруг меня представители военных и гражданских властей.

Вот выстроились почетный караул и эскадрон гусар в светлоголубых ментиках.

Наступает торжественная минута.

Серо-зеленая пелена, покрывающая палубы обоих морских чудовищ, по мере приближения к берегу оказывается плотной массой наших солдат в защитных гимнастерках. Вот уже можно различать лица, вот у трапа золотятся офицерские погоны, а с берега французский оркестр, как всегда, затягивает и без того медлительный русский гимн. Слова «царствуй на страх врагам» уже давно не говорят ничего моему сердцу: передо мной встает жалкая фигура Николая II.

В ответ наш оркестр, гораздо более мощный, чем французский, исполняет «Марсельезу», и до моих ушей докатывается опьяняющее, неподражаемое русское «ура».

Французы кричать «ура» не умеют и, стоя позади меня, лишь исправно очень долго держат под козырек.

Первым сходит на берег командир бригады генерал-майор Лохвицкий. Довольно высокий блондин, элегантно одетый в походную форму, при боевых орденах, он держится с той развязной, почти небрежной манерой, которой многие гвардейские офицеры, даже по выходе из полка, стремились как будто показать свое превосходство над запуганными армейцами. Как все окончившие Академию генерального штаба не по первому, а по второму разряду, этот храбрый боевой генерал, несмотря на боевые отличия, вечно считает себя если не обиженным, то

недооцененным. Хоть и не будучи со мной знаком, он, в знак солидарности русских офицеров за границей, троекратно меня обнимает. Из его объятий я попадаю в руки старого товарища по академии, Ивана Ивановича Щолокова. Этому уже было действительно на что обижаться: из начальника оперативного отдела ставки он превратился в начальника штаба бригады.

Пока идут знакомства и представления, на берегу быстро и бесшумно строятся первые наши роты, раздаются русские команды, и по скалистым берегам Средиземного моря разливается русская песня:

Было дело под Полтавой,
Дело славное, друзья,
Мы дрались тогда со шведом
Под знаменами Петра!

Не дожидаясь построения батальонов, роты одна за другой шли в оборудованный для нас временный лагерь, а мы, старшие начальники, были приглашены на обед к командиру XVI военного округа.

Эшелон, в составе трех батальонов, должен был на следующее утро отправиться по железной дороге к месту постоянного расположения, в лагерь Мальи. Однако после обмена горячими приветственными речами за обедом у генерала растроганный мэр города, поддержанный префектом департамента, настойчиво стал просить отложить отъезд и дать возможность марсельцам взглянуть на русских солдат. 1-й полк, укомплектованный почти исключительно добровольцами разных полков, выглядел действительно гвардейским. Мы согласились на просьбу французов.

Выходя с обеда, я предложил было русскому начальству проехать взглянуть на лагерь, расположенный в пяти-шести километрах от города, но генерал и господа полковники устали с дороги. Это меня кольнуло, и я, не прощаясь, отправился в лагерь, где неожиданно для себя пришлось вступить чуть ли не в командование отрядом!

Все офицеры по приходе в лагерь сразу укатили в город, и французский план раздачи ужина одновременно из нескольких котлов провалился. Какой-то чересчур старательный подпрапорщик решил установить собственную очередь «подхода поротно» к одному котлу, и в результате в десять часов вечера люди еще продолжали стоять

голодными. Обидно было, что все мои старания о достойном приеме французами дорогих гостей оказались тщетными.

— Придется вам ночку не поспать, — сказал я на прощание своему импровизированному адъютанту, ротмистру Балбашевскому.

Людей мы, наконец, накормили и уложили, но меня беспокоило, как устроились на ночлег офицеры.

— Проверьте, последите за порядком и приходите ко мне в гостиницу к шести часам утра, — сказал я Балбашевскому.

— Гаспадин полковник, приказание исполнил, — докладывал мне с сильным кавказским акцентом разбудивший меня на следующее утро Балбашевский.

Это был очень худой красивый брюнет, кавалерийский офицер, давно вышедший в отставку и застрявший в Париже по каким-то любовным делам.

— Нашел командира Первого полка полковника Нечволодова с адъютантом и большой компанией офицеров в «старом квартале». Нашел по указанию растерявшихся французских ажанов. У них ведь свои порядки: безобразничай сколько хочешь, лишь бы все было шито-крыто, — горестно вздохнув и поднимая глаза к небу, докладывал Балбашевский. — А тут такой шум на весь квартал, что все жители повыскакивали на улицу. Я вхожу в один из кабаков и говорю: «Господин полковник, военный агент будет крайне недоволен». А он мне говорит: «Я — георгиевский кавалер и чхать хочу на вашего военного агента. Французы должны знать, как умеют гулять русские офицеры». А шампанское льется рекой и деньги летят, — снова с глубоким вздохом закончил Балбашевский, уже «испорченный» пресловутой французской страстью к экономии.

Ушам не верилось. Вот что значит оторваться надолго от своей среды, забыть про все безобразия офицерских пьяных скандалов, жить иллюзиями русских песен, мечтать о подвижничестве всех и вся в тяжелые годины войны. Там где-то фронт, а тут вот неприглядный тыл.

Когда я передал рассказ Балбашевского Лохвицкому, то он не смутился.

— Да, Нечволодов — человек не без оригинальности, но парень неплохой и любим солдатами. Вы же должны помнить его еще по Маньчжурии. Он был тогда

переводчиком при Куропаткине, а теперь, как видите, стал боевым командиром.

В ожидании прохождения войск мы прогуливались с Лохвицким перед городской ратушей, и нежный морской воздух солнечного утра быстро рассеял мысли о ночном кошмаре. Перед нами открывалась новая незабываемая картина: со стороны Старого порта на широкую Каннебьер вытягивалась яркая многоцветная лента. Это была наша пехота, покрытая цветами. Когда в романе Сенкевича описывались победные римские легионы, украшенные цветочными гирляндами, то это казалось фантазией художника, — тут же, с приближением головных рот, сказочное видение оказалось действительностью.

Впереди полка два солдата несли один грандиозный букет цветов, перед каждым батальоном, каждой ротой тоже несли букеты, на груди каждого офицера — букетики из гвоздики, в дуле каждой винтовки тоже по два, по три цветка.

Весь путь наших войск оглашался восторженными кликами экспансивных южан, страстных любителей всяких зрелищ. Темноглазые смуглые брюнетки не знали, как бы выразить лучше свои чувства белокурым великанам, прибывшим из далеких северных стран, чтобы спасти их дорогую Францию.

— Oh, ceux-là nous sauveront pour sûre! (О, эти, наверно, нас спасут!) — слышались громкие рассуждения в толпе, совсем как когда-то на больших маневрах в Монтобане.

Этот неожиданный военный праздник лишний раз заставил пережить то же, что еще совсем недавно я почувствовал на параде не нашей, а французской пехоты на фронте.

«Как хорошо быть русским!» — подумал я.

Занятия в лагере Мальи начались с подготовки к парадам и прохождению церемониальным маршем перед высшими французскими начальниками. Охладить тот пыл, с которым Лохвицкий и Нечволодов наслаждались маршировкой в сомкнутом строе, убивая драгоценное время на ранжир и безукоризненную внешнюю выправку, было, конечно, очень трудно. Они неизменно оправдывались желанием не ударить лицом в грязь перед союзни-

ками. Напрасно убеждал я Лохвицкого приняться как можно скорее за освоение новой пехотной тактики, созданной на Западном фронте под давлением небывалого роста техники. Все предлоги были хороши, чтобы отложить подобные занятия. Лохвицкий, между прочим, ссылался на невыносимые французские требования, как, например, обязательные прививки против тифа и столбняка; от этих прививок наши солдаты болели по нескольку дней.

Безрезультатным оказался и мой личный доклад, сделанный всему офицерскому составу бригады, по окончании которого наступило томительное молчание. Было ясно, что офицеров больше интересовали прелести Парижа, чем тонкости ведения окопной войны.

Вскоре стали открываться одна за другой неведомые мне дотоле картины разложения в русской армии накануне революции. Всего неприятнее было, когда донесения о наших порядках «восходили» до самого Гран Кю Же.

Французский полицейский сыск, хотя и подвергался самым ядовитым насмешкам, был все же хорошо поставлен, и этого-то Лохвицкий никак не мог понять.

— Нам стало известно, — сказал мне как-то полушутя тонкий дипломат Пелле, — что во время учения из сосновых рощиц, вокруг которых производятся занятия вашей бригады, доносятся непонятные крики. Как вы думаете, что бы это значило?

Ответить, конечно, я не смог, но догадаться было нетрудно. При первом же свидании с Лохвицким я спросил:

— Неужели, Николай Александрович, вы еще допускаете порку солдат?

— Ну, конечно, — не смущаясь, ответил мне генерал. — Вам просто неизвестен секретный приказ Николая Николаевича, предлагавший заменить во время войны строгий и усиленный аресты солдат телесным наказанием.

— Но поймите, — старался я убедить Лохвицкого, — что мне не под силу отделить наши войска от республиканской Франции китайской стеной, и вам необходимо с этим считаться. Кстати, вот еще один вопрос: когда же вы отправите обратно в Россию священника Второго полка?

— А кому он собственно мешает? — стал, как обычно, заступаться за своих подчиненных Лохвицкий. — Это все вам французы насплетничали.

— Но вы, кажется, не можете отрицать, что в первый же вечер по прибытии в Мальи этот поп с черной гривой пошел в пляс с офицерами в публичном доме. Правда, французы обиделись главным образом на то, что это произошло не в офицерском, а в солдатском публичном доме, куда вход для командного состава запрещен.

— А знаете, Алексей Алексеевич, я могу вас уверить, что в бою этот самый поп держит себя молодцом. У него ведь нагрудный крест на георгиевской ленте, и он более популярен среди солдат, чем эта тихоня священник из Первого полка, — сам рассмеявшись, заявил мне Лохвицкий, обещая избавиться в конце концов от своего чересчур оригинального подчиненного.

Разница во взглядах на войну между русским и французским командованием должна была, как мне тогда казалось, вызывать серьезное недовольство у наших солдат. Что может быть дороже, например, для всякого человека на фронте, чем отпуск? Во французской армии порядок увольнения в отпуск был единым от главнокомандующего до рядового и строго при этом соблюдался. Что же могли думать русские солдаты, запертые в лагере Мальи, глядя чуть ли не на ежедневные поездки в казенных французских машинах своих офицеров в Париж.

— Солдат ни под каким предлогом отпускать в город я не намерен! — заявлял Нечволодов. — Париж полон русских революционеров, и контакт с ними моих солдат недопустим.

В то же время, не стесняя себя французскими правилами, Нечволодов демонстративно восседал со своими офицерами в литерной ложе Фоли-Бержер, что, как ему казалось, вернее всего спасало офицеров Первого полка от зловредной парижской политической атмосферы.

Случилось однако, что Нечволодову не удалось уберечь одного из своих подчиненных от гораздо большей опасности — подлинного немецкого шпионажа.

По установленному порядку моей канцелярии, всех посетителей женского пола, как несерьезных, хотя подчас и очаровательных, должен был принимать толстяк Ознобишин, и потому я был немало удивлен, когда мой адъютант Тэсье стал упрашивать меня, в виде исключе-

ния, принять в конце дня какую-то даму. Она наотрез отказалась идти к Ознобишину и уже третий день сидела в приемной, настойчиво прося пропустить ее в мой кабинет. Фамилии своей она не назвала.

— Ну, впустите, — раздраженно ответил я, но через минуту, сознаюсь, смягчился, увидев перед собой элегантную, очень высокую, хорошо сложенную смуглую брюнетку, непринужденно и почти вызывающе расположившуюся на моем диване. Приглядевшись к грубоватым чертам лица и толстым чувственным губам, я несколько разочаровался. Особенно неприятен был какой-то горловой тембр голоса, а тяжеловатый фламандский акцент во французском языке выдавал ее иностранное происхождение, заставляя даже насторожиться.

— Я безумно влюблена, — без всяких церемоний заявила мне красавица-брюнетка, — и очень несчастна. Вы не можете себе представить, как мы друг друга полюбили, и только вы один можете рассеять мою бесконечную тревогу за моего любовника.

— Но кто же он такой? — спросил я в конце концов, терпеливо выслушав все подробности романа, происходившего в излюбленной всеми русскими гостинице «Гранд Отель», в самом центре Парижа.

Не без труда удалось добиться, что сидевшая передо мной героиня романа оказалась отмеченной уже шумной рекламой танцовщицей Мата-Хари, а героем — капитан нашего Первого полка, некий Маслов.

— Вот уже неделя, как я не имею о нем известий и прошу вас сказать мне, где находится его полк. В лагере или на передовых позициях?

Подобный вопрос был так плохо увязан с романом «Гранд Отеля», что невольно вызвал если не прямое подозрение, то во всяком случае какое-то сомнение в правдивости всего длинного рассказа посетительницы.

Я отговорился неосведомленностью, обещал позвонить в бригаду и просил зайти за ответом через два-три дня. Любопытство Мата-Хари меня, правда, меньше всего интересовало, но зато я был обеспокоен любовной связью скромного нашего офицера со столь шикарной женщиной. Маслова я отметил еще в Марселе как симпатичного молодцеватого блондина с Владимиром с мечами на груди. Лохвицкий и Нечволодов дали мне о нем наилучшую аттестацию и обещали предупредить об опасности.

Незначительный сам по себе факт моей встречи с Мата-Хари, которой я не преминул отказать в исполнении ее просьбы, представился вскоре в совершенно другом свете.

С приходом к власти грозного Клемансо Мата-Хари был вынесен, одной из первых, смертный приговор. Она была обвинена в шпионаже в пользу Германии, хотя осведомленные люди утверждали, что ее услугами пользовался одновременно дурной памяти капитан Ладу, возглавлявший в то время французскую контрразведку.

Маслов, которого она, по показаниям на судебном следствии, действительно любила, по окончании войны постригся в монахи.

Шел 1916 год. Русские войска обжились. Гуро приходил в восхищение от наших солдат, побивших все рекорды, поставленные французами по метанию ручных гранат. Для наших войск это было новинкой. Таким же нововведением явились стальные каски, которые пришлось специально заказать не с французским, а с русским гербом.

Четвертая армия Гуро вместе с нашей бригадой вошла в состав Центрального фронта, во главе которого был поставлен генерал Петен. Трудно было запомнить его внешность, в ней не было ни одной характерной черты, и я до сих пор не знаю, способен ли он улыбнуться или даже рассердиться. Это был большой истукан, главным качеством которого, быть может, являлось хладнокровие в тяжелые минуты сражений, но и это опровергается мемуарами Пуанкаре, развенчавшего славу Петена как спасителя Вердена.

Наслышавшись о строгости нового командующего фронтом, я решил предотвратить возможные недоразумения и лично поехать на смотр им нашей бригады.

Гуро уже стоял на фланге войск, построенных на плацу, до которого надо было пройти пешком через лагерь.

При выходе из машины я приветствовал Петена от лица русской армии и после сухого военного рукопожатия пошел сопровождать малоприветливого на вид генерала.

— Ну посмотрим, как ваши солдаты освоились с нашей винтовкой. Они ведь у вас сплошь безграмотные.

— Не совсем так, генерал, — ответил я, — а что касается винтовки, то ваш устарелый «лебель» много проще нашей трехлинейки.

В ответ Петен подозвал одного из встреченных нами солдат и предложил мне приказать ему зарядить и разрядить ружье. Из дальнейших вопросов стало ясно, что Петен принимал нас за дикарей, обнаруживая то, что сделало его впоследствии единомышленником нацизма.

Первая бригада после длительной подготовки заняла, наконец, небольшой участок на фронте, к северу от Шалона. Он был специально выбран по соглашению с Гамеленом как один из наиболее спокойных. Наши солдаты быстро освоились с жизнью во французских окопах и находили их много комфортабельнее наших. Особенно занимали их камуфлированные посты для наблюдений: пень, заменяемый в одну ночь точной копией из стали, бугорок, незаметно обращавшийся в современный дзот. Они даже привыкли к замене чая кофеем и водки — коньяком. Очутившись в первой линии, офицерство заметно подтянулось, и Лохвицкий не без гордости обращал мое внимание на порядок, царящий на его участке, продолжая жаловаться на французов за их невнимание к больным и раненым солдатам. Это создало для меня новую работу по организации тыла, и военный агент без всяких распоряжений из России превратился в начальника тыла на чужой земле, отвечая решительно за все, вплоть до уплаты хронически недополучаемого на фронте жалования. «Не на эти ли деньги катаются ваши офицеры в Париж?» — спросил я как-то Лохвицкого. Это была еще одна из темных страниц деятельности нашего русского командования. Французам это в голову прийти не могло.

Третья бригада под командованием моего старого коллеги по академии и Маньчжурской войне, Володи Марушевского, проходила переподготовку в лагере Мальи. Большой ловкач, этот малюсенький блондинчик применился к французским порядкам гораздо скорее, чем Лохвицкий, и беда Марушевского заключалась только в его супруге, красивой брюнетке, на две головы выше его ростом. Это обстоятельство как будто давало ей повод чувствовать свое превосходство, вмешиваться в его служебные дела, получать букеты цветов от офицеров, принимая

не только денщиков, но и вообще солдат за рабов, обязанных ее обслуживать. Охлаждение наших отношений с бывшим «зонтом» стало неизбежным.

Салоникские бригады прибывали уже по налаженному англичанами морскому пути от Мурманска до Бреста, где погружались на железную дорогу и снова перегружались на суда в Марселе.

Для встречи и передачи от меня приветствия каждому эшелону я командировал всегда того же Балбашевского, привыкшего разрешать самостоятельно бесчисленные мелкие затруднения и возникавшие с французами трения. Все, казалось, было налажено, как неожиданно, в ночь со 2 на 3 августа 1916 года у моей постели в Париже раздался телефонный звонок из Марселя.

— Гаспадин полковник, большое несчастье, — докладывал Балбашевский. — Солдаты убили командира эшелона четвертой особой бригады. В лагере настоящий бунт. Офицеров нет. Солдаты никого не слушаются. Сейчас лично арестовал при содействии французов третью пулеметную роту и вывез ее из лагеря на форт Сен-Никола. Я знаю, что вам невозможно отлучиться из Парижа, но я прошу вас принять какие-нибудь меры. Французы очень встревожены. Лагерь окружен разъездами гусар...

— Сам приеду. Встречайте меня послезавтра на вокзале и успокойте французов, — ответил я Балбашевскому и, вызвав тут же машину, полетел в Шантильи.

Мне надо было прежде всего доложить обо всем Жилинскому, являвшемуся высшим начальником над нашими бригадами. Он пользовался по отношению к ним дисциплинарными правами главнокомандующего фронта.

Но и в семь и в десять утра его высокопревосходительство еще, конечно, отдыхали, между тем как адъютант Жоффра уже звонил по телефону Пацу, вызывая меня к главнокомандующему. Жоффр был уже в курсе марсельского происшествия и принял меня немедленно.

— Нам уже известно, — сказал он, — что эти войска еще при посадке в Бресте произвели менее благоприятное впечатление, чем прежние ваши эшелоны, но бунта мы на своей территории допустить не можем. Нам, конечно, нетрудно навести порядок в кратчайший срок, у нас для этого войска в Марселе достаточно, однако судите сами, какая это будет пища для немецкой

пропаганды: французы расстреливают собственных союзников! Необходимо, чтобы вы сами привели ваши войска в порядок. Поезжайте в Марсель; я предоставляю в ваше распоряжение на всякий случай все воинские части пятнадцатого и шестнадцатого военных округов (Марсель и Ницца).

— Очень вам благодарен за доверие, генерал, — ответил я, — но надеюсь, что ваши войска не понадобятся. Я обязан только доложить об этом генералу Жилинскому, который вам и сообщит свое решение.

— А так ли это необходимо? Впрочем, делайте все, как найдете нужным, — отпустил меня с этими словами старик; он был не в духе.

В роскошной столовой виллы Ротшильда свита Жилинского благодушно распивала утренний кофе, ни о чем, конечно, не подозревая. Представитель верховного принял меня в своей спальне и, выслушав мой доклад, раздраженно заявил:

— Вот они (из презрения к французам он всегда употреблял по отношению к ним это местоимение) хотели получить себе наши войска, пусть и управляются с ними, как хотят. Нам с вами до этого дела нет, и я во всяком случае никого из «своих» посылать в Марсель не стану.

Напрасны были мои горячие доводы о чести русского имени, о престиже России, напрасны были соображения о немецкой пропаганде.

Серовато-желтое лицо Жилинского оставалось неподвижным, а безразличное отношение ко всему происходящему объяснялось его искренней ненавистью ко всему, что имело малейший запах демократизма, — будь то русский солдат или французский республиканский генерал.

— Что же вы сами можете предложить? — процедил, наконец, сквозь свои чересчур длинные и скошенные зубы Жилинский.

— Самому поехать в Марсель, — почтительно, но твердо, по-военному, ответил я и заметил с удивлением, что генерал способен оживиться.

— Вот это прекрасно. Я передаю вам мои полномочия, все права главнокомандующего, действуйте от имени государя императора, — и мы стали уже в более приятном тоне обсуждать вопрос о командировании в мое распоряжение одного батальонного и четырех ротных командиров из состава 1-й бригады. По моим предположениям,

прежде всего надо было заменить командный состав марсельского эшелона. «Рыба с головы воняет», — говорил Михаил Иванович Драгомиров.

От Шалона до Парижа в хорошей машине можно было доехать за три часа, но так уже создан был старый русский мир, что для выполнения столь простого распоряжения Жилинского потребовалось не один, а целых два дня; офицеры запоздали, и мне пришлось выехать с вечерним поездом в Марсель в полном одиночестве.

На этот раз город-весельчак не смог отогнать тяжелых мыслей. Дело ведь шло о жизни и смерти людей, о репутации русской армии за границей. В первую минуту хотелось помчаться с вокзала Марселя в знакомый уже мне лагерь, но, рассудив, я решил подготовить предварительно свое появление перед взбунтовавшимся отрядом, выработать заранее план действий.

Вспомнился и завет отца, который как будто предчувствовал, что сын может оказаться в положении еще более трудном, чем он сам, принимая командование курляндскими уланами, не ответившими на приветствие своего командира. «Старайся говорить с восставшей толпой, — советовал отец, — только утром, когда нервы еще успокоены ночным отдыхом. Как ни странно, но после полудня люди и хуже работают и не столь здраво рассуждают».

Из допроса, учиненного встревоженному Балбашевскому и встретившему меня еще на вокзале временному начальнику отряда, полковнику Крылову, выяснилось, что убитый полковник Краузе оказался в роковой вечер единственным офицером, кроме дежурного прапорщика, не уехавшим из лагеря в город. Солдаты были взволнованы недополучкой жалования и запрещением выхода из пределов лагеря.

Темнело, когда Краузе пошел их увещевать, но беседа приняла, повидимому, столь угрожающий для него характер, что он вынужден был резко ее прервать, а затем, под улюлюкание толпы, направиться к выходу, сперва спокойно, а потом, испугавшись, почти бегом. Это и решило его судьбу.

Несколько человек из толпы бросились за ним и, повалив, зверски истязали до смерти. Находившийся в десяти шагах от места происшествия караул не принял никаких мер, а дежурный офицер совсем скрылся. Един-

ственным защитником полковника оказался лагерный сторож, старый французский унтер-офицер, которого солдаты только оттеснили, но выместили свою злобу на пытавшемся их уговорить собственном фельдфебеле из вольноопределяющихся, еврее по национальности, Лисицком. Ему пробили череп.

Офицеры, вызванные срочно из города французскими переводчиками, прибыли, когда уже все кончилось и люди разошлись по баракам. Виновных не оказалось, а дознание дрожащий от страха Крылов боялся начать.

Дело, впрочем, было уголовное и требовало производства немедленного судебного следствия. К счастью, на рейде стоял случайно наш крейсер «Аскольд», и, связавшись по телефону с командиром, мне удалось получить в свое распоряжение морского следователя, очень спокойного и культурного судейского подполковника. Это дало возможность избегнуть вмешательства французских судебных властей, а тем временем заняться выяснением самой личности покойного.

Удалось лишь узнать, что Краузе был кадровым офицером, исправным, подтянутым служакой, всегда одетым с иголочки, в лакированных сапогах и узких рейтузах не пехотного, а кавалерийского образца. Дослужившись до штаб-офицерского чина и получив в командование батальон, он стал подтягивать не только офицерскую молодежь, но и самих ротных командиров, придираясь, по словам Крылова, даже к мелочам. Что считал Крылов «мелочами», добиться от него было невозможно, но по его одутловатому и плохо выбритому лицу, да и по кителю не первой свежести можно было догадаться, что на внешнюю дисциплинированность старик уже бросил обращать внимание.

При подготовке эшелона в России солдаты привыкли уже к строгости своего молодцеватого батальонного командира, но офицеры простить ему начальнический тон не желали и, как только погрузились в Архангельске на морской транспорт, стали взваливать на своего командира все неприятности, связанные с морской перевозкой. С первых же дней пути стали ходить нелепые слухи о неизбежном потоплении парохода германскими подводными лодками, которые якобы будут действовать по указанию Краузе, благо он носил немецкую фамилию.

По прибытии в Марсель задержки в выдаче ротными командирами жалования солдатам также объяснялись нераспорядительностью Краузе как временно заведывающего хозяйством отряда.

— Благоволите, — напутствовал я Крылова, — построить отряд завтра в шесть часов утра и подойти ко мне с рапортом (это меня несколько смущало, так как престарелый Крылов, очевидно, был старше меня по производству в полковники), а при обходе мною отряда называть мне попутно номера рот, так как «братцами» я завтра называть ваших солдат не собираюсь.

— А как прикажете, господин полковник, выводить войска при оружии или без оружия? — вполголоса таинственно спросил меня Крылов.

«Неужели офицеры настолько боятся собственных солдат?» — мелькнуло у меня в голове.

— Не только при оружии, а и при боевых патронах, словом с полной боевой выкладкой, — резко отчеканил я, торопясь еще успеть нанести визиты высшему французскому местному командованию. Я просил его снять, как излишнее, оцепление лагеря французской кавалерией.

На следующее утро, точно в назначенный час, я в сопровождении Балбашевского, считавшего себя моим «телохранителем», вошел через ворота той самой каменной ограды, окружавшей лагерь, через которую еще, казалось, так недавно проходили покрытые цветами первые роты наших солдат.

Мне впервые пришлось оказаться в роли строевого командира пехотного отряда, и потому не без волнения услышал я команду: «Смирно! Слушай на караул!», увидел почтенного полковника Крылова, пересекавшего луг с поднятой подвысь шашкой для отдачи мне рапорта.

— Здорово, третья! Здорово, одиннадцатая! — здоровался я с людьми, проходя неторопливо по фронту, вглядываясь в солдатские лица.

Состав был смешанный: рядом с безусыми новобранцами и бравыми кадровыми унтерами попадалось много бородачей, напоминавших старых маньчжурских соратников. Все «ели глазами начальство», и трудно было поверить, что перед тобой стоят бунтовщики, убившие собственного начальника. Но, чу!

— Здорово, восьмая! (Роты были разных батальонов и стояли не в порядке номеров.)

В ответ вместо обычного «Здра-а-вия желаем!..» — только несколько неуверенных голосов. Останавливаюсь, а Крылов, неправильно подсказавший номер роты, шепчет мне на ухо: «Пятнадцатая».

— Виноват, — говорю, — я ошибся. Здорово, пятнадцатая!

И сразу слышится не только дружный, но почти радостный ответ.

Окончив обход, направляюсь в самый угол каменной ограды, откуда отступать, подобно Краузе, мне некуда. Солдаты окружили меня плотным кольцом, и я начал речь. Я ее не готовил и не записывал, а только обдумал, на какие чувства моих слушателей я могу рассчитывать. Речь — это не доклад; доклад требует строгой продуманности, основанной на документации и логике, тогда как речь призвана пробуждать мысли и доходить до сердца. Вот почему восстановить все, что я говорил в течение доброго получаса, невозможно.

— Подумайте о позоре, которым вы себя покрыли, об огорчении, которое принесли своим близким на дорогой нам всем родине, о чести русского солдата, оскорбленной перед иностранцами. Я не в силах признать вас всех виновными, но смыть с себя позор вы можете только выдачей убийц. Военный закон вам известен. Он неумолим, и я не хочу, чтобы перед ним отвечали неповинные. Я даю вам шесть часов на размышление.

Никогда мне не забыть того низенького бородача, левофлангового рядового, что отбивал шаг по густой траве в последней шеренге отряда, пропущенного мною в заключение церемониальным маршем, как не изгладятся из памяти и все те, подобные ему, простые русские люди, что били лбом землю на панихиде перед гробом Краузе.

«И вы, ваше высокоблагородие, и ты, господи боже, — читалось в глазах этих наивных русских крестьян, одетых в военные шинели, — видите, какие мы усердные служаки, как бы мы хотели заслужить прощение, не брать греха на душу!»

А едва смолкли звуки «Вечная память», как зазвенели в ушах медные рожки альпийских стрелков, загремели барабаны невиданных чернокожих солдат африканских дивизий и засверкали серебряными позументами светло-голубые ментики гусар на непокорных тонконогих арабчонках. Это были представители марсельского гарнизона,

прибывшие для отдания воинских почестей умершему полковнику союзной армии. Было с чего русским людям голову потерять.

К четырнадцати часам были уже арестованы, если не ошибаюсь, четыре или пять унтер-офицеров, уличенных в убийстве, а в шестнадцать часов весь отряд в образцовом порядке погрузился в поезда для отправки в лагерь Мальи. Вновь прибывшие офицеры вступили в командование, а негодные откомандированы в Россию для предания суду.

Моя миссия была закончена. Марсельский отряд поступал под непосредственное начальство Жилинского, который решил строго придерживаться закона и приговора полевого суда.

Героями умерли на французской земле семь унтер-офицеров и солдат, приговоренных к расстрелу, героями сражались и умирали на далеких Балканах в последние недели перед революцией их товарищи 4-й особой бригады!

Покидая Марсель с чувством исполненного тяжелого долга, садился я в тот же вечер на парижский экспресс... Мне удалось устранить французов от вмешательства в наши дела, предотвратить неизбежно суровую и, как всегда, чересчур поспешную французскую расправу с нашими солдатами. Я не мог забыть русских волонтеров Иностранного легиона, которых мне не удалось спасти от расстрела французами в первые месяцы войны.

Когда поезд тронулся и, выйдя из темного длинного марсельского туннеля, начал плавно рассекать безлюдные тихие равнины Прованса, стало очень грустно на душе. При последних лучах солнца, заходящего где-то там, далеко на западе, расставался я с теми представлениями о русской армии, которые уже сильно были поколеблены в русско-японскую войну.

В памяти вставала вся марсельская трагедия.

Кроме той полуграмотной массы, что молилась на панихиде, появились солдаты, каких я до сих пор не видал. Озлобленные, готовые на все, смотрели они на меня, когда, закончив дела в лагере, посетил я еще и арестованную Балбашевским пулеметную роту. Я впервые почувствовал, что на таких людей можно иметь воздействие, только показывая им собственное бесстрашие, и выстроил их нарочно на узенькой площадке между крепостным фортом и обрывом неприступной скалы. Малей-

ший толчок одного из стоявших передо мной солдат свергал меня в море. Быть может, спокойный тон, которым я старался с ними говорить, примирил их с моими полковничьими погонами, но я уже чувствовал, что ненадолго. Это были пулеметчики, окончившие Ораниенбаумскую школу, о революционной репутации которой мне довелось как-то мельком услышать.

Так вот они, те русские люди, которых называют революционерами, те левые, которые, по выражению Энгельгардта, грозили «захлестнуть русских либералов». Кто и как сможет с ними справиться?..

Государственная власть стала, видимо, уже так слаба, что и военное командование пытается избегать чересчур близкого общения с собственными подчиненными. В этом убедили меня офицеры, с которыми я три часа подряд говорил еще сегодня днем в лагерной канцелярии. Разве подобные начальники способны поддержать честь и достоинство нашей армии? Участвуя в той или иной форме в провоцировании солдат на выступление против чересчур строгого начальника, они, после его убийства, не решались сами опросить своих подчиненных, увиливая всеми способами от объяснения мне своего поведения.

Так этот день, проведенный в Марселе, создал для меня одну из отправных точек для суждения о грядущей революции. Я почувствовал с ужасом, что с разлагающимся офицерством мне будет не по дороге. Чем дороже тебе человек, тем тяжелее бывает разочарование в нем. А русская армия была для меня дорога.

Сколь великим и трудно досягаемым счастьем казалось для меня когда-то производство в офицеры, сколько священным казался и серебряный погон и белоснежный мундир родного кавалергардского полка! Как живые запечатлелись в памяти скромные герои-офицеры сибирских стрелковых полков на далеких маньчжурских сопках, и как будто еще вчера я слышал рассказ о наших гвардейцах, ходивших во весь рост в атаку в великой галицийской битве, о кавалергардских офицерах, подававших рапорты о переводе в пехоту для замены своих товарищей, павших смертью храбрых.

Горько будет со всем этим расстаться.

Солнце закатилось, а экспресс продолжал нестись сквозь ночную мглу на север, в Париж, где ожидала меня снова работа и работа без конца.

Глава двенадцатая

ОДНА НОЧЬ

В ночь с 7/20 на 8/21 марта 1917 года я в Гран Кю Же не поехал и после рабочего дня вернулся на отдаленный от городского шума остров святого Людовика, где мы уже второй год жили с Натальей Владимировной на ее старой квартире, в доме № 19 по Бурбонской набережной.

Злая судьба разлучила нас в течение первых месяцев войны. Они показались нам особенно долгими, и, по возвращении Натальи Владимировны в Париж, мы вспоминали о предвоенной весне, как о потерянном рае.

Вот камин и кресло, на котором еще совсем недавно напевали мы старинные любовные дуэты:

Давно все это было
И с вешним льдом уплыло...

Наташа так любила мою гитару. Теперь было не до песен, а к камину пришлось пристроить из-за недостатка угля для центрального отопления чугунку, нарушавшую гармонию обстановки кабинета эпохи и стиля «ампир».

Вот наружная лестничка в садик с древними ясенями и двухсотлетним деревом сирени. То ли от войны, то ли от старости оно раскололось на две части и погибло. Площадка лестницы с черными чугунными перилами без украшавших ее когда-то цветов. Теперь тоже не до них.

Не доносятся из гостиной звуки рояля, на котором так любил играть наш друг, композитор Дюкас, не садятся за большой круглый обеденный стол под хрустальной венецианской люстрой элегантный Анри Барбюс и экспансивный Жемье. Их заменяют мои скромные ближайшие друзья и сослуживцы с Элизе Реклю. Пожелтевший от работы Ильинский не перестает жаловаться на тех наших «врагов внутренних», что по недоумию сами «подтачивают сук, на котором сидят».

Когда они уходят, Наташа мне постоянно повторяет: «Не горюй, все будет по-хорошему и по-нашему!» Что означают слова «по-нашему» — мне еще неясно. Неужели же наступит час, когда все эти сознательные и

бессознательные немецкие пособники, саботирующие нашу работу во Франции, получат заслуженное возмездие? И как это может произойти?

Что творится в России?

Единственным источником осведомления за последние десять дней являлись для нас французские газеты. В коротких телеграммах якобы от собственных корреспондентов из России они сообщают о каких-то уличных беспорядках в Петрограде, вызванных очередями за хлебом. Эта причина мне кажется мало правдоподобной: неужели в России нет хлеба?! Впрочем, кому же как не мне было знать, чего стоят французские газеты в военное время!

Приходилось, как обычно, жить догадками. А ну как действительно хлеба не хватило? При строгом режиме в питании, введенном во Франции с первого же дня войны, меня поражали письма Наталии Владимировны из России о «калачиках» и «расстегаях» в Москве, а позже разговоры с Ланглуа заставляли серьезно призадуматься: по его словам, наша армия с первых дней войны получала чуть ли не двойной против мирного времени хлебный и мясной рацион. Не в пример Франции, мясо в России всегда считалось роскошью, и чертолинские крестьяне позволяли себе есть солонину только по праздникам, а хлеба им хватало лишь до весны.

Если, по словам Шингарева, мы теперь нуждаемся «решительно во всем», то, пожалуй, при подобной государственной бесхозяйственности миллионы мобилизованных людей могли поесть и мясо и хлеб со всей страны.

Уличные беспорядки сами по себе не означали еще революции: за все царствование Николая II мы уже к ним привыкли, но вот причина их — недостаток хлеба — напомнила по аналогии о ближайшем поводе к французской революции. Мысль эта, впрочем, только промелькнула: я был так поглощен войной, что инстинктивно устранял с пути всякую помеху ее конечному успеху. Вести же одновременно и войну и революцию России, как мне казалось, будет не под силу. Революция 1905 года мне достаточно ясно это показала.

«Нет, — думал я не раз за последние два года, — надо терпеть и надеяться, что без большой ломки, одной заменой главных руководителей мы сможем добиться разгрома вильгельмовской Германии. Заменен же был

Сухомлинов либеральным Поливановым и честным Шуваевым, а Сергей, хотя и великий князь, — таким славным русским человеком, как Маниковский».

Истекшая зима сильно, впрочем, поколебала во мне уверенность в возможности поворота внутренней политики. Я никак не мог себе представить во главе правительства того самого Штюрмера, который, по-моему, только и был способен заведовать церемониальной частью министерства иностранных дел и в раздушенном шталмейстерском мундире указывать дорогу иностранным послам через залы Зимнего дворца.

Еще большей загадкой явился для меня приход к власти Протопопова. Он ведь только что побывал в Париже во главе нашей парламентской делегации. Болезненный, нервный, неуравновешенный либерал, он, по словам всегда хорошо осведомленного в этих делах Севастопуло, превратился неожиданно в ярого реакционера.

Оба они — Штюрмер и Протопопов — были такими ничтожествами, что по сравнению с ними не только Витте и Столыпин, но даже Коковцев представлялись великими государственными людьми. Приезжавшие из России офицеры глухо и осторожно объясняли, что высшие посты предоставляются по указаниям Распутина. Но мысль, что на государственные дела может иметь хотя бы даже отдаленное влияние какой-то развратный полупьяный мужик, не укладывалась в моей голове. Многое, что говорилось о Распутине, хотелось в то время приписывать сплетням, и только его таинственное убийство уже оказалось былью. К чему только князю Юсупову и великому князю Дмитрию Павловичу марать руки о подобную нечисть! Вероятно, иначе они с ним покончить не могли.

Серьезно призадуматься над «беспорядками» в столице заставили промелькнувшие намеки на участие в них солдат Волынского полка. Варшавская гвардия! Как могла она попасть в Петербург? Это может быть, наверное, только запасный батальон этого полка, решил я, надо же быть беляевыми и хабаловыми, чтобы додуматься для обеспечения порядка в столице набить ее запасными войсками, поддающимися легче всего разложению! Французские правители поступали хитрее, отводя на отдых в окрестности Парижа только самые надежные и наиболее дисциплинированные части — кавалерию. Они

настоятельно доказывали, что армия остается «вне политики», но по существу считали ее, конечно, опорой республиканского режима. Они, правда, не жалели денег на хорошую полицию, не упоминали в своих воинских уставах, в противоположность нашим, о «врагах внутренних», но все же рассчитывали на армию как на последний полицейский резерв.

Да прощено будет много грехов старой русской армии, обращенной после революции 1905 года в «городового». Только наивные российские политики могли не постигать, что с начала XX века царский режим держался на миллионе двухстах тысячах солдат, числившихся в армии по штатам мирного времени. Пошатнулась армия — и развалилась «как карточный домик», по выражению тех же наивных политиков, Российская империя.

Не раз приходилось вздыхать о роли полицейского, навязанной русской армии, но когда в парижских газетах появилось известие о выдаче войсковых пулеметов столичной полиции, о переодевании в нашу военную форму городовых и жандармов, — искони презираемых русской армией, — меня охватило глубокое возмущение. Впервые, быть может, я почувствовал себя на стороне восставших.

По-своему негодовал на последних царских правителей и всегда такой невозмутимый Матвей Маркович Севастопуло. Мы сблизились с ним за последнее время еще и потому, что с появлением в Париже Жилинского посол редко делился со мной мыслями. С моим мнением он мог уже не считаться. Сменивший Жилинского Федор Федорович Палицын, все тот же «Федя», при известии о начавшихся в Петрограде серьезных волнениях, поступил, как всегда, «мудро»: он окопался в Гран Кю Жэ, переехавшем к тому же из Шантильи в отдаленный от Парижа Бовэ.

13/26 марта под вечер Севастопуло позвонил мне на службу и просил срочно заехать в посольство. Говорить по телефону в Париже во время войны бывало не безопасно из-за строго установленного полицейского контроля.

— Царь отрекся, этого, конечно, надо было ожидать, — объявил мне Севастопуло.

Его спокойный тон меня сразу от него отшатнул. Неужели он не понимает всего значения этих слов? Я просто верить не хотел, как это может русский царь добровольно уйти с престола! Как может Россия существовать без царя? И, сильно взволнованный, я вместо канцелярии прямо поехал на Кэ Бурбон, чтобы привести в порядок свои мысли.

Наташа, однако, тоже понять меня сразу не смогла: для нее царь представлялся только тем «Колькой-Миколькой», каким уже давно прозывали его в Москве, а о политике она рассуждала по рецептам, преподанным французской революцией. Пострадают ведь одни только аристократы.

На следующее утро во всех французских газетах большими буквами уже было напечатано:

«Император Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила Александровича».

С этим недоучкой мне уже приходилось встречаться.

При входе в свой служебный кабинет первым, что бросилось мне в глаза, был овальный, очень плохо выполненный портрет Николая II в преображенской форме. По странной случайности он был поднесен мне моими подчиненными только недавно, к новому году. Когда и кто возымел эту злосчастную мысль, так и не удалось установить, но удовольствия подобный подарок мне не доставил: я никогда не украшал даже своего рабочего кабинета портретами царей.

— Снимите портрет и замените его тем же зеркалом, которое всегда тут висело, — приказал я Тэсье и продолжал обычную работу.

Позднее этот простой жест был истолкован эмиграцией как нечто чудовищное: Игнатьев-де, мол, сорвал портрет царя со стены и публично топтал его ногами.

К полудню ко мне вошел Лохвицкий и требовал точных указаний, что и как ему объявлять войскам. Солдаты уже были в курсе происходившего в России и могли обвинить офицеров в сокрытии от них совершившегося переворота. От своего прямого начальника, Палицына, Лохвицкий по телефону толку добиться не мог, но и я, к сожалению, никаким официальным документом не располагал. Мне тоже надо было подумать о непосредственно мне подчиненных русских комендантах, о боль-

ных и раненых солдатах, разбросанных по всей территории Франции.

«От великого до смешного — один шаг», — и к вечеру того же дня Извольский вызвал меня для решения вопроса о форме ектении на всенощной в посольской церкви: была суббота, и почтенный отец Смирнов требовал указаний, поминать ли великого князя Михаила Александровича как царя, или нет и как же совершать «большой выход» на литургии? Вся ведь церковная служба была переполнена молениями о царе и августейшей семье, что уже с давних пор мне было не по душе.

— Граф Игнатьев знает церковную службу не хуже вас, — заявил с усмешкой Извольский отцу Смирнову, — пусть он и решает вопрос.

Каждый час, проведенный без официальной телеграммы из России, казался вечностью, но мое начальство, повидимому, оставалось верным себе и попросту позабыло о своих заграничных представителях.

Прошел день, прошло два дня, и первым получившим телеграмму о сформировании какого-то правительства, назвавшего себя «временным», оказался наш морской агент, капитан 1-го ранга Дмитриев, «борода», как прозвали его не очень с ним считавшиеся мои сослуживцы. В Петрограде среди работников морского штаба уцелело еще несколько офицеров «младотурок», рожденных Цусимой. Они приветствовали революцию, особенно подчеркивая, что она произошла «без малейшего пролития крови».

Этот оптимизм как нельзя более соответствовал настроению и моих ближайших сотрудников с Элизе Реклю. Близко принимая к сердцу всю мою борьбу за сохранение тех устоев, от которых зависел наш военный кредит во Франции, они надеялись, что революция, да к тому же «бескровная», сможет оздоровить «деловую атмосферу», выкинуть за борт темных дельцов и взяточников.

В артиллерийской комиссии, где продолжалось благодушное безделье, революция дала возможность использовать служебные часы на бесконечные пересуды, а в авиационной — старик-прапорщик Дорошевский, оказавшийся ярым монархистом, громил интеллигенцию, обвиняя попутно в «крушении России» евреев всего мира.

Вынимая из бумажника русские кредитные билеты и тыча пальцем на изображенную на них эмблему

России, подвыпивший Дорошевский твердил: «Вот смотрите, за эту женщину в кокошнике погибаю!»

Французские знакомые сочувственно пожимали мне руку, как бы считая, что после падения царского режима для меня в России места не найдется.

Военные французские друзья предлагали мне без замедления перейти в ряды французской армии. Пройдя школу усовершенствования для высшего командного состава в Шалоне, я, по их мнению, мог получить командование бригадой и быстро продвинуться по службе.

Некоторые «рыцари промышленности», как Ситроен и в особенности главный директор Шнейдера — Фурнье, не замедлили открыть передо мной широкие горизонты для работы в военной промышленности на почетной, не чересчур обременительной, а главное очень доходной должности в conseils d'administration (правлениях). Их интересовало сохранить через меня связи с Россией, развить дела с Англией и Америкой.

Альбер Тома уже несколько дней избегал встречи со мной. Он, как и большинство политических деятелей, занял по отношению ко мне выжидательную позицию.

Отречение Михаила Александровича внесло еще большее смятение в обе наши бригады, и Лохвицкий продолжал звонить мне по телефону из лагеря Мальи и просил указаний: кому же присягать? Посольство, однако, не получило даже манифеста об отречении царя на русском языке, а солдаты требовали документа. Таков уж русский человек — словам не верит, требует показать не только документ, но даже подпись.

В конце концов я понял, что для разрешения всех недоразумений нужен какой-то приказ. Посол отдавать его не может, Палицын не хочет, значит, для всех будет служить документом приказ по «управлению военного агента», как я вынужден был с некоторых пор окрестить мою когда-то скромную парижскую канцелярию.

Кстати, утром 7 марта пришла, наконец, давно жданная телеграмма за подписью Занкевича. Я догадался, что это тот Занкевич, который был только на два года старше меня по выпуску из академии, из чего я понял, что в генеральном штабе произошли перемены. Власть захватила молодежь.

Кратко сообщая об отречении Николая II и обращение к народу Михаила Александровича, новый генерал-

квартирмейстер не говорил прямо о принятии на себя Временным правительством верховной власти, а только указывал:

«Все главные управления военного министерства продолжают без изменения функционировать под руководством Временного правительства».

Слово «руководство», как не совсем военное, мне особенно не понравилось.

Вся революция ограничивалась тем, что название «нижний чин» заменялось словом «солдат» и что:

«Солдатам приказано (кем приказано, не указывалось) говорить «вы», а они титулуют начальствующих лиц «господин генерал или полковник» и т. д.

«Отменены ограничения (слово тоже маловразумительное), установленные статьями 29, 100, 101, 102 и 103 Устава внутренней службы».

Никакой революционной решительности и твердости в этом документе не чувствовалось, но все же он давал какой-то материал для установления нового порядка вещей.

«Объявляю по вверенному мне управлению следующую телеграмму генерал-квартирмейстера», — перечитываю я теперь копию своего приказа от 8 марта 1917 года за № 15, сохранившуюся на пожелтевших от времени листках французской бумаги.

Изложив манифест отрекшегося царя и отказавшегося от «невыгодного наследства» его брата, я заканчивал свой приказ так:

«На основании вышеизложенных документов предписываю:

1) Сохраняя впредь до могущих быть изменений все военные законы и уставы, за исключением вышеупомянутых параграфов Устава внутренней службы, считать высшей властью в России Временное правительство.

2) Начальникам отделов, старшим и младшим комендантам объяснить, с особым вниманием, офицерам и солдатам смысл совершившегося в России государственного переворота и необходимость соблюсти более чем когда-либо все требования закона и воинской дисциплины.

Обращаю внимание всех подведомственных мне лиц и учреждений во Франции на необходимость делом и примером поддержать в настоящую минуту честь русского

имени офицера и солдата в глазах наших союзников. В настоящий момент главной целью нашей жизни является победа над внешним врагом, и потому прежде всего все мы должны проникнуться сознанием воинского долга перед бесконечно дорогим всем нам Отечеством.

Подлинный подписал: полковник граф *Игнатьев.*
С подлинным верно: капитан *Пардигон».*

Последний пункт был вызван, повидимому, брожением умов в солдатской массе и распущенностью в офицерской среде.

Перед окончанием служебного дня приказ уже лежал предо мной, перепечатанный на машинке. Оставалось его подписать. Он показался мне вполне обоснованным, однако моя собственная формулировка: «Считать высшей властью в России Временное правительство» в последнюю минуту еще лишний раз меня смутила. Этими словами я принимал на себя какую-то самостоятельную политическую ответственность.

— Тут вот две опечатки нашлось, — сказал я своему секретарю, — они недопустимы в таком документе. Велите перепечатать, я завтра подпишу, — и, положив черновик в карман походного кителя, вернулся на Кэ Бурбон.

Большим для меня подспорьем в жизни являлось привитое смолоду уважение к подписи. Сколько горя хлебнули целые русские семьи из-за необдуманного подписания мужьями или сыновьями денежных обязательств и как много было скомпрометировано французских политических деятелей их страстью к писанию писем по всякому поводу, к выдаче совсем на первый взгляд невинных рекомендаций. Подписав за время войны одних только казенных чеков больше чем на два миллиарда франков, я привык еще осторожнее давать свою подпись. Это очень мне пригодилось во всей моей последующей службе России, а в советское время создало репутацию надежного хранителя наших торговых интересов за границей.

— Передайте эти векселя на подпись Алексею Алексеевичу, — сказал как-то один из наших работников по Внешторгу, — он зря не подпишет.

Понятно, какое значение придавал я и подписанию своего приказа о Февральской революции.

Стремясь соблюсти необходимый декорум, Временное правительство присылало многочисленные указания, которыми вводились новые правила, касающиеся наших войск на французском фронте.

Однако я тщетно искал в этом потоке распоряжений что-либо коренным образом меняющее в отношении русского солдата.

Днем 24 марта (1917 г.) из посольства мне переслали телеграмму Милюкова с многозначительной пометкой: «Сообщить консулам».

Витиеватым старорежимным стилем департаментских чиновников Милюков писал:

«Предлагаю безотлагательно устранить во всех случаях наименования заграничных установлений прилагательный «императорский», гербовые щиты заменить плакатами с исправленным наименованием установления, печати сделать временные без герба с наименованием установлений, флаги заготовить национальные без герба».

Распоряжение это было выполнено, царские гербы уничтожены, однако чаяния, которые зрели в душах русских солдат, находящихся вдалеке от своей страны, так и оставались без ответа.

Казалось бы, что за дни и часы, прошедшие после отречения царя, было время определить свое личное отношение к событиям в России. Однако так уж мы созданы, что и радость и горе ощущаются не сразу. Время их только усугубляет. Влюбиться можно подчас с первого взгляда, а глубоко полюбить случается, лишь пройдя вместе через тяжелые испытания.

Обрадовались мы революции, но что она за собой принесет?

Для меня, усталого не от работы, а от борьбы, жаждавшего коренных перемен в управлении России, революция в первую минуту казалась великим счастьем. Но как Россия сможет жить без царя? Что скажет наш многомиллионный народ? Как отнесется к революции наша великая армия?

Мысли и чувства перепутались, противоречия душили...

Их надо было во что бы то ни стало разрешить, и притом раз и навсегда. Я еще неясно сознавал, но предчувствовал, что, подписывая приказ, я определяю этим всю мою дальнейшую судьбу.

Тихо было в эту памятную для меня ночь в нашем кабинете на Кэ Бурбон. Наташа легла спать, а я, положив перед собой чистый лист бумаги, стал писать. Еще в академии у меня была привычка думать с карандашом в руках: для военного человека не бесполезно уточнять и закреплять на бумаге свои соображения. Но беда моя была в том, что мыслить приходилось не о войсках, не о снарядах, а о чем-то отвлеченном, что я долго опасался именовать «политикой». Офицерам подобным делом заниматься не полагалось.

Сперва мысли продолжали лезть друг на друга, а когда я, потерев лоб, стал искать причину этой неразберихи, то с ужасом убедился в своей почти абсолютной «политической безграмотности».

Поступая в академию, я основательно изучил французскую буржуазную революцию.

В первую русскую революцию узнал о существовании «эсеров», вооруженных браунингами, и «эсдеков», невооруженных, но более опасных для существовавшего режима, опиравшихся не на разрозненное крестьянство, а на организованные рабочие массы. Читал я как-то в Париже о Плеханове, но о других вождях левых партий даже не слыхал.

В разнице между кадетами и октябристами разбирался плохо, так как не мог понять, чем отличается бородач-гастроном Миша Стахович — видный кадет — от моего корпусного товарища Энгельгардта — октябриста.

С Пуришкевичем знаком не был, и речи его представлялись мне только не лишенной таланта болтовней. А Марков 2-й казался просто грубым хамом.

Заграничная служба, в особенности во Франции, вынудила меня ощупью разобраться в темном лабиринте политических партий, от которых зависела обороноспособность нашей союзницы. Читал газету Жореса и наслышался о забастовках как о крайнем средстве борьбы рабочих с предпринимателями.

В конце концов я был больше знаком с политической физиономией Франции, чем со всем происходившим за последние годы в России.

«Как жаль, — думалось мне, — что нет у меня ни одного русского, с кем бы я мог посоветоваться. Извольский растерялся, Севастопуло мыслит о России как ино-

странец, а мои сотрудники, даже полковник, уже ничего в политике не смыслят».

Одиночество заставило вспомнить об ушедших уже в могилу дорогих и близких мне людях. Как бы они думали и поступали, очутившись в моем положении?

Помню, как в раззолоченном мундире камер-пажа приглашался я по воскресеньям, после обедни у бабушки, на завтрак к дяде Николаю Павловичу и, пользуясь его особым расположением, проходил прямо в рабочий кабинет этого бывшего государственного деятеля. Он сидел у письменного стола, вечно заваленного, вероятно по привычке, какими-то бумагами, а я, ожидая, когда он кончит писать, смотрел в окно, выходившее на Мойку, насупротив красного здания придворных конюшен.

— Смотрите, дядя, — не удержался я от возгласа, — казаки идут! Едучи к вам, я слыхал от извозчика, что на Казанской площади студенты бунтуют. Неужели казаки будут их рубить?

— Какое там рубить! Все это, братец, пустяки. Вот когда с «топориками» народ пойдет, тогда ты обо мне вспомни, — сказал старик и продолжал писать.

Но пошел ли уже народ с «топориками» — вот вопрос.

Революция в России долгое время представлялась мне великим народным бунтом, направленным не только против помещиков и властей, но и против всех интеллигентов, которые не имели прочных корней в родной земле.

Мой единственный жизненный друг — отец Алексей Павлович — не смог бы тоже дать мне совет. О революции он избегал говорить и только учил меня с детства, что «единственным справедливым актом во французской революции явилось лишение политических эмигрантов их имущества во Франции». Как бы отнесся Алексей Павлович к эмиграции, мне догадаться было трудно, но я хорошо помнил, что переводы некоторыми русскими богачами даже денег за границу он считал тяжким нарушением интересов России.

Для обоих этих русских людей понятия о России и о царе являлись неотделимыми. «Основные законы Российской империи» были для них священными, и вот почему даже «манифест 17 октября» так сильно их смутил.

Взирая на каску, завещанную деду Николаем I и хранившуюся под стеклянным колпаком в кабинете на Гагаринской, Игнатьевы должны были помнить, как понимал этот самодержец служение отечеству.

«Я — первый слуга России, — будто бы говорил он, — вам, генералам, надлежит быть вторыми, в противном случае — в Сибирь!»

Как же должен был страдать после этого Алексей Павлович, убедившись в ничтожестве Николая II! Недаром он помышлял в свое время о дворцовом перевороте, но все же представить себе Россию без царя не мог.

Как из потустороннего мира, воскресли в эту ночь передо мной все эти понятия о русском самодержавии, и, несмотря на все возмущение против самой личности Николая II, я понимал, что с его уходом изменится коренным образом лицо моей родины.

Те, кто ею управляли, никогда не вернутся к власти.

«Держи вожжи тройки, которая тебя понесла, столько, сколько можешь. Никогда не перебирай вожжей. Лошади почувствуют твою слабость, и другой кучер, быть может много слабее тебя, лучше с ними справится», — вот на каком примере мой отец объяснял мне один из главных принципов управления людьми.

«Не течет речка обратно», — вспомнились мне также мудрые слова песни донских казаков.

Я уже не отделял Россию от революции, но смогу ли я, однако, служить моей родине так, как служил при царе? Чьи приказы я должен буду исполнять? Кому подчиняться?

Нейтральным я оставаться не могу: я всегда презирал нейтралов.

Революционером, «подтачивающим государственные устои», тоже не был.

При таких условиях не лучше ли отойти в сторонку, приказа не подписывать, сделать Францию своей новой родиной и в рядах ее армии продолжать выполнять свой воинский долг?

Однако от одной мысли, что я могу перестать быть русским, сердце сжалось до слез. Как могла такая нелепость в голову прийти?!

«Надо взять себя в руки, — решил я, — и хладнокровно произвести анализ своих мыслей и чувств, точь-в-

точь как когда-то в юности на уроках Житецкого анализировали мы героев тургеневских романов.

Ведь все, что я решу сегодня ночью, должно остаться незыблемым до конца моих дней».

Вот копия того листа, что сохранил я навсегда как «отходную» для старой жизни, как «путевку» в новый мир:

ДОВОДЫ

За то, чтобы остаться *русским* и перейти на сторону революции:	За то, чтобы отказаться от революционной России и остаться во *Франции:*
Естественная и потому необъяснимая привязанность к матери-отчизне;	Семейные традиции верности престолу, не дающие права служить революции;
Чувство бесконечной благодарности России и русскому народу за всю прожитую жизнь, за все успехи, что я имел за границей как русский и как представитель русской армии во Франции;	Неохота стать участником тех насилий, которые неизбежны при всякой революции;
Глубокое, до боли, возмущение против павшего царского режима за преступное ведение им войны;	Возможность продолжать дело освобождения и России и Франции от германского нашествия в рядах французской армии, с которой я так сроднился;
Слепая вера в творческий гений русского народа. Он всегда сумеет определить свою дальнейшую судьбу;	Уважение и доверие к французам, вытекающее из совместной с ними работы в военное время;
Чувство удовлетворения от победы демократических начал в России, ценность которых, как крупного фактора в обороне страны, я осознал во Франции;	Неуверенность в возможности использовать для России весь тот опыт, который был приобретен с затратой стольких сил и энергии в течение трех лет войны;

Сознание служебного долга перед Россией за сохранение кредита, необходимого ей для продолжения войны, и нравственной ответственности перед Францией, оказавшей мне формой этого кредита личное доверие.	Возможность устроить свою судьбу вдали от революционных потрясений.

Нет! Какие бы личные выгоды и покой ни сулила мне Франция, не в силах я буду лишиться права ходить по родной земле, дышать русским воздухом, любоваться белыми стволами берез (они во Франции не растут), слышать русскую песню или даже просто русский говор!

Что ж еще меня удерживает от подписания приказа, знаменующего мое вступление в ряды тех, кто сверг царя с престола?

И в эту минуту какой-то внутренний голос, который я не в силах был заглушить, помог разгадать загадку:

А *«присяга»?..*

Офицерская присяга?.. Ты забыл про нее? Про кавалергардский штандарт, перед которым ты ее приносил, поклявшись защищать «царя и отечество» «до последней капли крови». Отдавая приказ, ты не только ее сам нарушишь, но потребуешь нарушить ее и от своих подчиненных.

Стало страшно, хотелось порвать все написанное...

Но сам-то царь, кто он теперь для меня? Мне предстоит отказаться только от него, а он ведь отказался от России. Он нарушил клятву, данную в моем присутствии под древними сводами Успенского собора при короновании.

Витиеватые слова манифеста, оправдывающие отречение от престола, для меня не убедительны. Русский царь «отрекаться» не может.

Уж на что жалкой фигурой казался мне всегда Павел I, но и тот нашел в себе мужество сказать в последнюю минуту своим убийцам — гвардейским офицерам, предлагавшим ему подписать акт об отречении: «Вы можете меня убить, но я умру вашим императором», — и он был задушен, а его преемник, Александр I, только

благодаря этому и смог, пожалуй, беспрепятственно вступить на престол.

Николай II своим отречением сам освобождает меня от данной ему присяги, и какой скверный пример подает он всем нам, военным! Как бы мы судили солдата, покинувшего строй, да еще в бою? И что же мы можем думать о «первом солдате» Российской империи, главнокомандующем всеми сухопутными и морскими силами, покидающем в разгар войны свой пост, не помышляя даже о том, что станется с его армией?

Когда-то мой бравый молодой гвардейский улан N. 3-го эскадрона отказался покинуть пост часового у дровяного склада до прихода разводящего.

Я тоже был воспитан в *строю* и, как старый гвардеец, останусь часовым при вверенном мне многомиллионном денежном ящике «до прихода разводящего»!..

Светает. Мое решение принято, и оно бесповоротно.

Царский режим пал, но Россия жива и будет жить.

Я подписываю приказ.

Как бы мне ни хотелось, подобно многим, рассматривать вчерашнее событие только как великий праздник, для меня, знающего историю, — это начало длинного пути, полного трудностей и тяжелых испытаний.

Да прольет революция хоть немного света на мою темную родину.

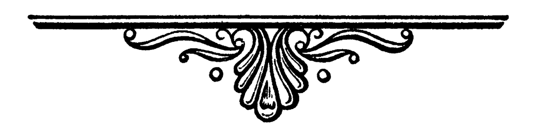
Я буду служить ей столь же самоотверженно, как служил и до сих пор.

Я обязан всем, решительно всем, русскому народу.

Пусть он отныне и будет моим единственным повелителем!



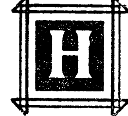
КНИГА
ПЯТАЯ





Глава первая

НОВОБРАНЕЦ



Непоколебимое решение мое после «одной ночи» сомнений остаться на стороне революционной России на деле оказалось нелегко выполнимым.

Как новобранец истово верил в повторяемые им слова военной присяги, так и я, присягая Временному правительству, убежденно рассчитывал стать если не генералом, то верным солдатом революции.

Как новобранец, оставляя родной дом и семью, являлся в казарму лишь с небольшим крепко сбитым сундучком, так и я, оставляя позади и двадцать лет службы в офицерских чинах, и многие, казавшиеся священными, семейные традиции, вступал на службу революции со скудным запасом понятий о ее существе и о законе ее развития. Несмотря на грозные раскаты грома 1905 года, мои познания о революции не шли дальше французской революции 1789 года, как мы ее изучали по литературе.

Едет, бывало, новобранец на коне по ровно укатанному манежу и не предполагает, какие барьеры вскоре придется ему в этом манеже одолевать. Так и мне в голову не приходила мысль о тех испытаниях, через которые неизбежно придется пройти на дальнем пути от царского полковника до того, кем я теперь стал, — советского генерала.

Сегодня новобранец слышит окрик: «держи дистанцию!» — и, только расседлав коня, узнает, что означает

это мудреное для него слово «дистанция», а завтра ему на том же занятии делают замечания за несоблюдение какого-то «интервала». Новые слова, новые понятия, новые и неведомые для него взаимоотношения!

Так и мне нелегко было постичь разницу между такими понятиями, как «дисциплина», на которой я с детства был воспитан, и какой-то новой, трудно постигаемой тогда мною «революционной дисциплиной».

Попытка создать эту революционную дисциплину, о которой я писал в своем приказе о присяге Временному правительству, никого не удовлетворила. Все сознавали, что реформы Временного правительства в отношении дисциплины тоже временные.

Чтобы построить новое здание, необходимо ведь было сломать до основания старое, а этого-то буржуазное Временное правительство исполнить было не в состоянии, так как это противоречило бы самой природе буржуазного строя.

Это-то положение и представлялось мне безвыходным. Что мог я ответить пробравшемуся секретно ко мне на частную квартиру солдату запасного батальона, унтер-офицеру Большакову?

— Простите, господин полковник, — споткнувшись на этих словах, заменивших «ваше сиятельство», заявил мне этот бравый, уже немолодой георгиевский кавалер. — Простите, что пришел беспокоить вас. Как обходили вы год назад наш фронт с французским генералом, так и опознал я в вас того самого капитана на белой лошадке, что водил нашу колонну на Далинском перевале в русско-японскую войну. Теперь вот вы полковник, и у нас сказывают, что вам больше нашего, больше, чем нашему начальству, все известно. Приказ ваш слушали и к присяге пошли, но господам офицерам он не по вкусу пришелся. Всего лишь пять человек, правда с нашим генералом Лохвицким и начальником штаба Щелоковым, и пошли присягать. Батюшка тоже приказа ослушаться не посмел, но остальные офицеры, да и некоторые из наших в стороночке стояли. Все, видно, на Михаила да на старый режим рассчитывают. Вот и захотелось у вас проверить — кого и как нам слушать?

— Приказ мой в силе, — ответил я старому маньчжурцу, зная, правда только понаслышке, о готовящемся давно наступлении на Западном фронте.

— Господин полковник, а долго ли еще воевать придется? Французам тоже ведь война отошнела, а нам так уж совсем обидно за них кровь проливать. Такая, видно, злосчастная судьба у нас, сибиряков, — то в Маньчжурии с японцами невесть за что драться, то во Франции, а все не на родной земле воевать. Солдаты поговаривают, что вы можете помочь нас поскорее по домам отправить.

Последнее, признаться, мне в голову еще тогда не приходило. Материальные условия во Франции для наших солдат были неизмеримо выше условий, существовавших в то время в России, а до тех пор, пока меня не устранили от активной работы при французской главной квартире, я всегда имел возможность выбирать для каждой из наших двух бригад участки «потише».

— Переговорю при случае с представителем ставки, генералом Палицыным, пока его не отозвали, — сказал я на прощание Большакову, впервые серьезно задумавшись над вопросом о причинах нежелания русских солдат воевать. Взаимные обязательства союзников казались мне еще нерушимыми.

В ту пору я просто не понимал, что эта тяга на родину, усилившаяся с первого же дня Февральской революции, и представляла начало того будущего советского патриотизма, при котором понятия родины и революции стали неотделимыми.

Тогдашнее настроение наших солдат тем более меня смутило, что, сидя в канцелярии за работой над разросшимися до небывалых размеров вопросами снабжения нашей русской армии, мне трудно было уяснить, какое влияние на нее оказала наша революция. Ведь в течение уже почти двух лет представители царской ставки всеми способами оттесняли меня от прямого соприкосновения с армией и ее командованием.

Усталость от войны не только нашей армии, но и французской вызвала тревогу и в Америке, чем я и объяснил неожиданный ко мне визит представителя не известного мне в те дни журнала «Америка-латина».

Ни лица, ни голоса этого посетителя я не припомню, но твердо знаю, что напечатанный в журнале и сохранившийся у меня автографический текст был написан тут же при интервью на моем служебном блокноте:

«Самым большим преступлением Германии является ее убеждение, что сила оружия дает ей право диктовать другим нациям условия их существования. Двадцатый век должен доказать народам возможность жить между собой на иных, новых основаниях.

Полковник гр. *А. Игнатьев*
17 апреля 1917 г. Париж»

— Ах, вот кто у вас был! — дружески, с улыбкой бросил мне вошедший вслед за американцем старый наш друг, писатель Анри Барбюс. — Я-то этого американца-пролазу знаю. Он ведь все для своих хозяев, наживших на войне, старается. Боится небось, как бы через вашу революцию мы бы на мир с немцами не пошли. Мы, само собой, тоже от войны устали.

Я даже не сразу признал в этом скромно, но со вкусом одетом, очень высоком, худом штатском того, промокшего до костей, рядового солдата 231-го пехотного полка, каким в последний раз видел Барбюса холодной зимой 1915 года.

Война определила лицо Барбюса и перековала достойного бойца военного фронта в идейного борца, борющегося за счастье человечества.

— Скажите, полковник, — перебил мои мысли Барбюс, — как вы объясняете столь быстрые успехи революции в вашей, казалось бы самой отсталой и автократической, стране и, видимо, серьезное разложение в самой царской армии?

— Эти успехи не удивительны, — ответил я, — еще после позора русско-японской войны я понял, что опору царского режима представляет только армия. Но армия примкнула теперь к народу, который больше не хочет терпеть своего угнетения. И царский режим рухнул, как карточный домик. Глубокая социальная революция в России была неизбежна.

— Так, так, — продолжал Барбюс, — но ведь революцию создает война и не только в России. Война-то и породила в нас идею о революции, а мысль эта, по мере того как она становилась более сознательной и более позитивной, вызвала в нас идею о восстании! Война выучила меня, представьте, подходу к человечеству не просто в качестве художника или мечтателя, мистика или

фабриканта прописей, нет! а как человека к человеку, борющемуся за свое освобождение. Это ли не урок?

— Ваша страна, — согласился я, — страна революций, и не удивительны те невидимые нити, которые нас с вами связывают! Мне ведь памятны французские рабочие, откликнувшиеся на призыв русских товарищей и вышедшие на улицы Парижа в тысяча девятьсот шестом году!

— Ну, теперь дело, может быть, у нас и посерьезнее, — прощаясь, заключил Барбюс. — Будем держать друг друга в курсе, а теперь пора... Вы, я вижу, тоже очень заняты.

Да, Февральская революция, о которой в первые дни мы узнавали только по скудным и еще не вполне точным газетным сведениям, не должна была, по тогдашним моим понятиям, нарушить мою многообразную деятельность.

Разгром германской военной машины все еще продолжал представлять для меня, и в 1917 году, цель жизни. Все, казалось мне, будет зависеть от того, насколько мне удастся доставить русской армии из Франции необходимые снаряды и в особенности самолеты.

Однако не раз меня смущали воспоминания о последних днях маньчжурской войны. Многие ведь тогда считали, что, собрав после мукденского поражения не одну, а целых три армии, численностью до шестисот тысяч штыков, мы смогли бы разгромить японцев. Но, объезжая сипингайские позиции и чуя настроение солдат, мне казалось преступным продолжать войну, давно осточертевшую всем, кроме высокопоставленных генералов и карьеристов.

Каково бы ни было превосходство в технике и материальных средствах, — это еще не может решить исхода войны. Одним из важнейших условий победы является дух армии. Никакие ведь гитлеровские танки даже в первые дни Великой Отечественной войны не смогли сломить моральной силы нашей Красной Армии и героизма советского народа.

Вспомнить о словах Барбюса мне пришлось уже через несколько дней, когда, после обычного делового разговора, известный автомобильный промышленник Луи Рено обратился ко мне с совершенно неожиданной

просьбой, от которой мне, впрочем, сразу стало как-то не по себе.

— У меня к вам большая просьба, — тоном как будто уже потерявшим обычную самоуверенность сказал Рено. — В субботу у нас состоится открытие «столовой для рабочих», на котором обещал быть и сам министр снабжения Альбер Тома. Мы просим вас сделать нам честь тоже присутствовать на торжестве и сказать несколько слов.

От своего помощника, полковника Шевалье, я узнал, что Рено устройством столовой, по примеру Ситроена, стремился умиротворить рабочих, грозивших после целого ряда революционных выступлений общей забастовкой. Газетным статьям о наступившем якобы в Питере «успокоении» рабочие уже давно перестали верить.

Отказаться от приглашения на этот банкет было невозможно, так как на заводах Рено в Бийянкуре была сосредоточена значительная часть наших заказов.

По окончании парадного завтрака, поданного в новой «рабочей столовой», все направились в громадный заводской цех, где я впервые, и, признаюсь, не без волнения, должен был обратиться с речью к рабочим. Они ведь представлялись мне революционерами, которых, по моим понятиям, мог уже раздражать один вид моего военного мундира и бросавшийся в глаза фронтовой белый орден Почетного Легиона. Но отступать было поздно, и я быстро взбежал по крутой металлической лестничке на площадку берегового орудия, служившего гордостью и украшением завода. На меня устремились взоры многочисленных мужчин в кепках и женщин с синими повязками на головах. Ничего нового и особенного я, конечно, сказать им не мог, но я был искренен, заверяя их, что сердца русских рабочих, свергнувших старый режим, не могут не биться в унисон с сердцами их французских товарищей. Гром долго не смолкавших аплодисментов покрыл эти слова.

— Да здравствует русская революция! Да здравствует свобода! — кричали люди, мгновенно окружившие меня на площадке. Они подняли меня на руки, пронесли через весь завод до моей машины, и какое-то чувство гордости от сближения с этой массой подняло, опьянило и навсегда оставило след в душе.

Я почувствовал себя не полковником, а просто русским человеком, вступавшим вместе со своим народом на революционный путь. Замысел Рено отвлечь своих рабочих от этого пути сорвался.

С новым притоком энергии и верой в близкое крушение германского империализма взялся я за дело снабжения, пользуясь тем, что от меня отпали обязанности офицера связи между ставкой и французской главной квартирой.

Один лишь вопрос удалось спасти от представителей ставки и наезжавших из России налетчиков, мнивших себя стратегами, но не понимавших, что ведение мировой войны — это не красносельский маневр и даже не бой на отдельном участке. Постоянство и систематичность — вот главные условия работы по разведке, и потому, оставляя за представителями ставки ответственность за согласование оперативных вопросов, я сохранял за своим бюро при французской главной квартире отправку ежедневных сводок о противнике и переброске между Восточным и Западным фронтами войсковых германских соединений.

Этим занимался в отдаленном от Парижа Бовэ, куда переехал Гран Кю Жэ, мой помощник, полковник генерального штаба Пац-Помарнацкий, только информируя о своей работе представителя ставки, невозмутимого Федора Федоровича Палицына.

— Вот, Алеша, полюбуйтесь, как я «поднял» карту, — хвастал он в те редкие набеги, что я совершал в Гран Кю Жэ. — Все дело в дорогах, — объяснял старик, не будучи в силах забыть о нашем бездорожье. — Я вот вчера был у Нивеля и давал ему по этому поводу советы...

С генералом Нивелем, этим незадачливым преемником Жоффра, ставленником парижских стратегов, мне встречаться почти не пришлось. С его приходом к власти когда-то столь мне близкий Гран Кю Жэ совершенно изменил свой облик, подготовка апрельского перехода в наступление осталась для меня тайной.

Эта операция, получившая название сражения при Chemin des Dames, являлась неудачной попыткой сломать закаменевший за три года войны германский фронт и имела большие политические последствия.

Подобно тому как события в России 1905 года нашли свое отражение во Франции в том, что солдаты на французских маневрах 1906 года пели «Интернационал», так и теперь волна революционного движения стихийно докатилась до французских окопов.

Бесплодные потери, объяснявшиеся бесталанностью высшего военного руководства, оказались решающим толчком, повлекшим за собой революционные выступления в целом ряде французских пехотных и артиллерийских полков, однако ни во французском генеральном штабе, где при каждом моем посещении я встречал все меньше откровенности, ни из прессы никаких сведений об этих революционных выступлениях узнавать не удавалось. О них только говорили шепотком депутаты парламента.

Хваленая немецкая разведка лишний раз показала свою полную несостоятельность: Людендорф не знал о происходившем на французском фронте и упустил единственный за всю войну случай использовать падение дисциплины в рядах французской армии.

Нивеля убрали, а беспорядки были подавлены жестоким расстрелом французских солдат. На этом сделал свою карьеру новый главнокомандующий — генерал Петен, этот будущий «горе-маршал» 1940 года.

В апрельском наступлении, в первый и последний раз, приняли участие и обе наши бригады: 1-я — в северо-восточном секторе Реймса, а 3-я — к северо-западу от Шалона (2-я и 4-я бригады воевали на Салоникском фронте). Дружно, как один человек, превозмогли они самый тяжелый для пехоты момент — выход из окопов. Волны русских атакующих быстро обгоняли французские. Честь русской армии была сохранена, но старая дисциплина уже держалась на волоске.

Доверие к командованию у солдат было окончательно подорвано. Многие начальники не появились лично в тяжелые минуты на угрожаемых участках и не сумели поддержать связь между атаковавшими батальонами.

Разделив участь соседних французских дивизий, не добившихся стратегического прорыва германского фронта, наши бригады утеряли то, что является первым и необходимым условием успеха, — веру в победу.

После апрельской катастрофы в скромную по размерам, но стройную организацию по обслуживанию тыла наших бригад стали со всех сторон вторгаться сперва с вопросами, потом с советами, а под конец и с угрозами посторонние штатские люди на том основании, что они являлись врагами павшего царского режима. Это были эсеры и меньшевики, с пеной у рта кричавшие о том, что они-то и есть подлинные представители революционной России.

С этих дней я и почувствовал те первые настоящие трудности, которые я только чутьем предвидел в ту ночь, когда определил свое отношение к революции.

Такого водопада жалоб и требований, какой излился на головы начальства в первые недели после Февральской революции, мир не знавал.

И если жалобы офицеров, «спасавшихся» в Париже от революции, часто мною оставлялись без ответа, то справедливые претензии солдат на начальников, не выдававших им во-время жалование, не только вызывали негодование, но и требовали от меня для разрешения подобных вопросов действительного превышения моей военно-агентской власти. Пришлось вспомнить, что во времена командования эскадроном я, никому не доверяя, считал своим долгом лично раздавать ежемесячное жалование — дорогие солдату старой армии копейки и рубли.

Особенно страдали от полного безденежья раненые, разбросанные французами, несмотря на все мои протесты, по всей территории страны, а снабженные мною деньгами для объездов госпиталей военные коменданты нередко подавали мне рапорты, настойчиво требовавшие решения мною многочисленных непредвиденных вопросов, накладывать «кровавые резолюции», как их в шутку называли мои сотрудники за то, что они всегда писались красными чернилами.

Все хотелось понять, во все вникнуть, но с особенной болью в сердце я уже сознавал, что революция не только не сблизила, как я, старый маньчжурец, искренне надеялся в первые дни, солдат с офицерами, а, наоборот, с каждым днем, с каждым часом все более лишала их доверия солдат. Уповать на то, что для меня будет сделано исключение, я, увы, не мог, и это чувство отчужденности, которым мне поделиться было не с кем, бесконечно меня угнетало.

Постичь эту, кажущуюся теперь простой, истину было нелегко. Оторванность от своей страны, угнетавшая меня на протяжении всей войны, оказалась трагической после революции. Приходилось жить на багаже прошлого, и я не забывал тех революционных солдат, что предлагали мне, тогда еще капитану, слезть с коня и идти с ними пешком при мукденском отступлении. Из моей памяти не изгладились те, убившие своего полковника, русские пулеметчики, с которыми пришлось говорить еще задолго до революции в Марселе. Вот почему особенно ценным оказалось получение мною на старости лет книги одного из бывших солдат 3-й особой бригады во Франции с таким посвящением:

«Человеку, что помог мне в решительную минуту быть или не быть. Н. Степной» (Афиногенов-отец)

Уважаемый советский писатель успел незадолго до смерти напомнить мне о том, как, будучи избран делегатом на 1-й Съезд рабочих и солдатских депутатов, он с другим товарищем, Чашиным, явился ко мне, в мою парижскую канцелярию, в апреле 1917 года.

На груди Афиногенова и Чашина красовались георгиевские кресты.

— За какое дело? — спросил я Чашина, который стоял ко мне поближе.

— За работу под Верденом! — ответил он, молодцевато вытягиваясь около стола, и после небольшой паузы добавил: — Я, ваше сиятельство, патриот. Воюю из охоты, — показать немцу, как на нас нападать, на русских!

Это было сказано с такой подкупающей непосредственностью, что Афиногенов и я невольно улыбнулись.

— А вам за что? — обратился я к Афиногенову, чувствуя, как постепенно тает ледок официальности и возникает тот внутренний контакт, который располагает к откровенной беседе.

— За атаку у Курси.

— Ходили?

— Да! — просто ответил он.

— О, я знаю, там была слаба артиллерийская подготовка и много зря нашей пехоты полегло, — сказал я, — но дело свое они сделали! И сделали неплохо...

Я попросил Афиногенова и Чашина сесть, и постепенно между нами завязался разговор, в котором каждый из нас подводил итоги пережитому за многие годы. Но вскоре мы перешли к существу дела, приведшего их ко мне, в канцелярию.

— Так, ребята, что вам от меня нужно?

— Мы выбранные от русских войск в первый Совет солдатских и рабочих депутатов, нам нужно добраться до Петрограда, — сказали мои гости.

— В Россию? — переспросил я. — Вот это хорошо! Завидую вам! Но как же быть? Одиночная отправка нижних чинов на родину запрещена.

Я призадумался. Мне предстояло найти такой путь, который позволил бы действовать в обход инструкции.

— Да, да... вот как сделаем, — придумал я, наконец, выход.

На мой звонок явился казначей.

— Высчитайте-ка, сколько им по закону, как чиновникам, едущим в Россию, полагается денег. Как делегатам им надо обмундироваться во все частное — и пальто, и чемоданы, и шляпы, — чтобы все это они смогли купить на причитывающиеся деньги...

Казначей ушел, а я вызвал адъютанта.

— Вот представители бригады! Это делегаты — едут в Россию, как выбранные от нашего корпуса в первый Совет солдатских и рабочих депутатов, — им предстоит переодеться во все частное, так вы им помогите, сведите их в магазины. Потом надо оформить им паспорта, визы и билеты на поезд.

Через полчаса я подписал чеки, по которым каждый из делегатов имел право получить четыре тысячи франков.

— Доедем ли мы? — спросили они меня, пожимая на прощание руку.

— Доедете, я в этом не сомневаюсь, — твердо сказал я. — Но когда приедете, напишите обо всем, что происходит в Петрограде. Мы тут в полном неведении. Какая новая власть сорганизовалась? По каким путям пойдет в дальнейшем наша революция? Вам теперь это более понятно, чем мне, потому что вы идете от солдатской массы.

— Там ведь тоже о нас ничего не знают! — робко возразил Афиногенов. — Разве можем мы больше терпеть

такое начальство, как Марушевского, да еще с генеральшей, во все полковые дела лезущей? Офицеры все небось в Париж укатили, а нашему брату даже пропуска из лагеря не дают. Французы, и те таким отношением нашего начальства возмущаются...

— Вас ведь от нас отставили, господин полковник, — перебил его Чашин. — Ну и выходит, что жаловаться-то нам некому. Мы же не сами от себя едем, а делегатами от отрядного комитета!

Зная про настроения наших солдат, я всячески уговаривал почтенного, но упрямого старика Палицына воздержаться от поездки в лагерь Мальи. Офицеры уже потеряли в наших бригадах всякий авторитет, и появление представителя бывшей царской ставки могло, естественно, вызвать у солдат возмущение.

Полное непонимание Палицыным политической обстановки привело к тому, что он оказался в самом смешном и жалком положении.

Желая избегнуть ораторской трибуны, он сел на лошадь и въехал в солдатскую толпу.

— Духовной пищи давайте! — крикнул ему один из вольноопределяющихся, выслушав несвязное объяснение генерала по бытовым вопросам.

— Знаю, знаю! — ответил старик. — У вас батюшек мало... Я немедленно командирую к вам лишнего священника.

— Ах, Алеша, — жаловался вернувшийся в тот же вечер в Париж убитый горем старый служака, — все я им готов простить, но за что, за что они в конце концов меня «старой калошей» обозвали.

От смешного до трагического один шаг, и если суждения и поступки Палицына казались мне продиктованными людьми, уже впавшими в полный маразм, то деятельность во Франции представителей Временного правительства подвергла тяжелому испытанию все те надежды, которые связывались у меня теперь с Февральской революцией.

Первого своего представителя Временному правительству посылать из России не пришлось. Он нашелся тут же, в Париже, этом большом городе, где люди могли прожить всю жизнь, ни разу не встретив друг друга.

В отличие от большинства царских эмигрантов, ютившихся на левом берегу Сены, наш новоявленный представитель имел свой адвокатский кабинет в самом центре Парижа, по странной случайности напротив мавзолея последнего короля Франции Людовика XVI, считал себя революционером и потому, разумеется, в царское время избегал знакомства со мной. Теперь же встретиться пришлось уже на служебной почве.

— Позвольте представиться — комиссар Временного правительства! — заявил густым приятным баском появившийся у меня в канцелярии интеллигент высокого роста с седеющей бородкой.

И странным кажется теперь, что при слове «комиссар» мне стало тогда как-то не по себе. Комиссары еще представлялись мне теми эмиссарами, о которых я читал в истории французской революции, — людьми, по первому знаку которых виновных, а иногда и безвинных, отправляли на эшафот. Впрочем, Евгений Иванович Рапп, перенявший от французов лишь вежливую и в то же время напыщенную манеру обращения с новыми знакомыми, терял всю свою внешнюю важность, как только переходил в разговоре с французского языка на родной. Грозный комиссар писал какие-то поучительные «приказы», но по существу оказался самым благодушным интеллигентом и подбадривал себя лишь никому неведомым своим революционным прошлым и происхождением из военной семьи.

— Не забывайте, Алексей Алексеевич, — напоминал он мне не раз, — отец мой тоже ведь был полковник!

— А генералы-то ваши здешние — все настоящие проститутки! — пожаловался он мне, после того как я заслужил у него доверие своей от них отчужденностью.

Столь нелестную оценку нашим старшим войсковым начальникам Рапп вынес в результате всех своих бесплодных попыток примирить наших солдат с обворовывавшими их офицерами, еще меньше меня постигая пропасть, отделявшую солдат от офицеров.

Повидимому, Временное правительство не вполне было удовлетворено деятельностью Евгения Ивановича, так как из России был прислан на подмогу некий Сватиков. Корректный в обращении Рапп почти не вмешивался

в мои служебные дела, тогда как Сватиков, в первый же день своего приезда, устроил мне, правда хоть и телефонный, но все же грозный разнос. Оказалось, что, заранее против меня настроенный, он по приезде в Париж прямехонько с вокзала направился в мою канцелярию на Элизе Реклю. Была суббота, занятия кончились, все разошлись, и дежурный по управлению офицер, один из тех гвардейцев, которых Временное правительство «спасало», командируя без всякого повода в мое распоряжение, наотрез отказался пропустить в мой служебный кабинет не известного ему толстенького штатского господинчика, несмотря на то, что тот назвал свою фамилию.

— Как же вы смеете не знать, кто такой Сватиков? Это не канцелярия, а монархическое контрреволюционное гнездо! — свирепо разносил незнакомец дежурного.

— Завтра воскресенье, — заявил мне после неприятного объяснения именовавший себя комиссаром Временного правительства незнакомец, — благоволите дать распоряжение вместо обедни всем собраться на митинг, на котором я произнесу речь.

Извольский к тому времени уже покинул свой пост посла, и поверенный в делах Севастопуло подтвердил необходимость выполнять все распоряжения Сватикова. О его приезде посольство уже получило специальную телеграмму из Петрограда.

Публичные выступления явно не удавались Сватикову.

— Чего его слушать? — неожиданно раздался возглас из солдатской толпы, когда этот оратор, с большим красным бантом в петлице, изливал свою душу перед солдатами. — Гони с трибуны этого «палихмахтера»!

— Какой он тебе палихмахтер? Это же комиссар! — вступились за Сватикова другие солдаты.

— Врет он! Клянусь богом, врет! Еще намедни он мне в Париже волосы стриг! — не унимался сватиковский оппонент.

Зато в закулисных интригах Сватиков показал себя мастером, и я не без удивления прочел в опубликованном им же донесении Временному правительству о том, что, по словам, якобы слышанным им от моего родного брата, я-то и являлся «главой монархического заговора в Париже».

Оба мои «комиссара» закончили свою карьеру вместе с Временным правительством: Рапп остался парижанином, а Сватиков сделался таковым, оценив, вероятно, хорошую кухню парижских ресторанов.

Становилось ясно, что солдаты не могут получить ответы на волнующие их вопросы от приезжавших к ним ораторов. Войска с нетерпением ждали замены Палицына представителем Временного правительства, но назначенный на эту должность генерал-майор Занкевич по неведомым причинам задерживался в Лондоне.

Не хотелось верить ходившим за моей спиной слухам: по одним — Занкевич поджидал в Лондоне какого-то таинственного моего заместителя по делам снабжения, по другим — ему навстречу выехал состоявший при Палицыне полковник Кривенко, уже просто рассчитывавший заменить меня на посту военного агента во Франции.

Возникали те интриги, которые во все прежние времена приносили столько вреда на Руси. Правда, в старом мире, везде, где только люди совместно работали, могло развиться чувство зависти к тем, кто занимал более высокое служебное положение или хотя бы получал более высокий оклад жалования. Но в то время, когда иностранцы подкапывались один под другого с определенной целью просто добиться собственной выгоды, — в царской России многие делали то же самое без всякого личного интереса, как бы по унаследованной от предков бюрократической привычке.

Под звуки «Марсельезы», заменившей старый русский гимн, утративший с отречением царя всякий смысл, вступал на французскую землю уже третий по счету представитель ставки, являвшийся почти во всех отношениях моим непосредственным начальником. Украшавший его грудь яркокрасный бант должен был сказать мне без слов, что мой бывший коллега, военный агент в Румынии и Австро-Венгрии, Михаил Ипполитович Занкевич — «настоящий революционер». Впрочем, военный представитель Временного правительства счел своим долгом подтвердить мне это, заявив, что прежде всего он хочет

познакомить меня с революционными методами управления. Когда слова превратились в дела, то новые методы оказались крайне просты.

— Ваше бюро при главной квартире упраздняется, — заявил мне в поезде из Булони в Париж Занкевич. — Мне самому, как представителю ставки, там тоже делать нечего, но я назначу своего уполномоченного, очень дельного офицера — Кривенко. Все вопросы, касающиеся наших бригад, тоже полностью переходят в мое ведение, и я уже добился в Петрограде новых штатов (это слово всегда все разрешало) тылового управления, с полковником генерального штаба во главе. Политическая обстановка в Париже мне вполне ясна: необходимо привлечь к нашему делу русскую общественность.

Все эти дискредитирующие мое служебное положение мероприятия излагались в столь слащавом тоне, что оспаривать их не приходилось. Передо мной сидел характерный «момент» — генштабист, апломб которого зачастую подменял скудость его мышления. До революции Занкевич, между прочим, считал, что расхлябанность в манерах — признак аристократизма и хорошего тона, а для представителя революционного правительства является признаком истинного «демократизма».

— Вы не умеете с ними (то есть с французами) говорить, Алексей Алексеевич, — упрекал меня не раз впоследствии Занкевич, — вот я вчера был у Клемансо и положил его на обе лопатки.

Видя такое самомнение, хотелось только улыбнуться. Не таким петушкам, как Занкевич, сворачивал шею «тигр» (так прозвали французы Клемансо).

С приездом Занкевича рухнула с таким трудом налаженная организация нашего тыла, порвались все мои последние связи с нашими бригадами.

Что может быть тяжелее, чем чувство незаслуженного к тебе недоверия! И вот этого-то рода испытаний я и не предвидел в ту ночь, когда решал свою судьбу в первые дни революции. Тогда я еще не понимал, что занкевичи, маклаковы и им подобные лишь прикрывались революционной фразеологией, а на самом деле были ярыми врагами народа и оказаться для них чужаком не значило быть в стороне от той революции, которая уже подготавливалась на родине большевистской партией.

Занкевич сделал все от него зависевшее, чтобы дать мне понять, насколько я не пригоден для служения новой России, а я никак не мог с этим примириться, или, как говаривала моя матушка, «смириться».

На моих руках осталось в конце концов одно лишь дело снабжения, но и тут меня ожидали разочарования.

Альбер Тома, министр снабжения, поначалу представлялся мне противником «рыцарей промышленности».

В ту пору из памяти моей не могло изгладиться воспоминание о восторге, с каким я встретил в первый же год войны низвержение во Франции устоев военного бюрократизма, осуществление мобилизации промышленности, организованной «взятым со стороны» новоявленным министром — тогдашним лидером социалистов, Альбером Тома. С ним я заключил первое соглашение по «приравнению во всех отношениях русских военных заказов к французским», от него же получал неизменную поддержку в проведении всех наших военных заказов.

Отчужденность от меня Альбера Тома в первые дни революции я объяснял себе его недоверием ко мне, как к представителю прежней царской армии, да к тому же и графу. Однако причина такого отчуждения заключалась не в этом. Умчавшись, например, в Россию, он тщательно скрыл истинные цели своего отъезда. Состоявший при мне французский полковник Шевалье сообщил по секрету, что хотя Альбер Тома официально поехал в Россию для поднятия «патриотического духа солдат и рабочих», но, конечно, за этим «господин министр скрывает нечто такое, о чем нам ведать не надлежит».

— Его сопровождают, — добавил Шевалье, — наши крупнейшие французские поставщики-промышленники.

Мне стало не по себе. Неужели они его купили? Неужели этот социалист так подло предает интересы рабочих и солдат?

И я не верил в измену до того дня, когда, по возвращении из России, он, против обыкновения, заставил меня довольно долго ждать в небольшой приемной рядом с его служебным кабинетом. Из-за дверей стали доноситься громкие и все более и более угрожающие голоса. Альбера Тома уже не было слышно, и охватившее меня недоумение рассеялось лишь в тот момент, когда

двери кабинета распахнулись и мимо меня с возбужденными, негодующими жестами пробежали штатские люди, среди которых я узнал и Лонге — внука Карла Маркса.

Так вот как они разделали Альбера Тома за то, что его поездка в интересах крупных капиталистов по неосторожности стала известна французским рабочим и вызвала их возмущение. Социалисты, учитывая общественное мнение, вынуждены были публично осудить своего скомпрометированного коллегу.

С этого момента любое слово Альбера Тома утратило для меня навсегда прежнюю силу, а спекулятивные сделки, заключенные под его высокой протекцией в России, вопреки ее государственным интересам, лишь подхлестнули меня для борьбы со всеми продавцами за золото человеческой крови и страданий.

Не смогли изменить моего отрицательного отношения к порядкам Временного правительства и «оковы», выкованные петербургскими бюрократами со специальной целью моего «смирения». Они возвели меня в высокий ранг «председателя заготовительного комитета», с повышенным окладом и с убившими немало живых дел в России пресловутыми штатами.

Мои скромные помощники первых месяцев войны получили звания начальников отделов, столоначальников, помощников столоначальников, а в кандидатах на заполнение свободных вакансий недостатка не было: что ни день, то из России прибывали, «спасаясь» от новой грозной волны июльских дней, поступая в мое распоряжение, и камергеры, и камер-юнкеры, и молодые гвардейцы, и представители новой для меня категории офицеров — безусые элегантные прапорщики.

Наши заказы продолжали выполняться французскими заводами, приемка производилась французскими приемщиками, отправка — французской же транспортной фирмой, но представитель нашего артиллерийского управления в Париже, полковник Свидерский, находил совершенно естественным, чтобы один прапорщик ходил вокруг заказа пятидесяти сорокадвухлинейных орудий, другой — двенадцати мортир, третий занимался гильзами, четвертый трубками и т. д. Росло число бездельников, но — увы! — росли и склады неотправленного в Россию воен-

ного имущества: англичане с каждым месяцем сокращали размер предоставляемого нам морского тоннажа. Это было негласным нажимом союзников на Временное правительство. Хотелось верить, что эти первые признаки пренебрежения к интересам России тоже временные, объясняемые возраставшей с каждым днем потребностью союзников в морском тоннаже.

Несмотря на все это, мне не приходило в голову затормозить сложную машину нашего снабжения: списки запросов из России не переставали расти. Не успеешь отправить сегодня, как драгоценную новинку, два зенитных орудия, а завтра уже требуются болты для строительства Мурманской железной дороги...

Третий год войны разрушил все мои о ней представления. Она обратилась в какое-то мировое предприятие, в котором тыл открывал с каждым днем все новые возможности легкой наживы и спекуляции.

Мне, воспитанному на скромных началах, французская бережливость и экономия казенных средств в первые месяцы войны приходились особенно по вкусу. Теперь же, когда и промышленники и банкиры, наживавшиеся на казенных заказах, влезли в роскошные служебные кабинеты, а французские министерства по их примеру реквизировали для себя целые особняки и отели,— бороться с организованной в государственных масштабах спекуляцией становилось все труднее. Франция уже изменяла свое лицо.

Положение о заготовительном комитете, между прочим, предусматривало наем «приличного» помещения, и сотрудники мои не преминули этим воспользоваться, настояв на перемещении нашей канцелярии в пустовавшую по случаю войны гостиницу, неподалеку от министерства вооружений.

Сколько тревожных и как мало отрадных воспоминаний сохранилось у меня об этом доме на улице Кристоф Коломб! В нем хлебнул я немало грязи, в нем впервые познал предательство и клевету казавшихся мне близкими сотрудников и друзей.

Ничего не подозревая, продолжал я работать, когда спустя несколько дней после приезда Занкевича стал получать шифрованные телеграммы на имя какого-то неизвестного мне Гибера. При первом же случае я спросил

Занкевича, не знакома ли ему эта фамилия, и он без тени сомнения заявил, что впервые ее слышит.

Запрашивать в Петрограде разъяснений о незнакомце мне, впрочем, не пришлось, так как чуть ли не в тот же день я увидел вошедшего ко мне в кабинет маленького штатского человека, отрекомендовавшего себя генерал-лейтенантом Гибером фон Грейфенфельсом.

Он оставался у дверей, держа по-военному в левой руке давно уже вышедший из моды черный котелок, а с правой снял коричневую перчатку, чего иностранцы никогда не делали.

Я, конечно, вскочил со своего кресла и как младший в чине бросился представляться вошедшему, предлагая ему присесть.

— Господин генерал (титулование «превосходительство» было уже отменено), — начал я, — на ваше имя поступило уже несколько телеграмм по делам заказов. Разрешите вам их представить. Я ведь не был уведомлен о вашем приезде.

— А генерал Занкевич разве вас не предупредил? Я же с этой целью задержался в Лондоне, — удивился мой скромного вида собеседник. — В таком случае разрешите вам все «доложить». Вы знаете, господин полковник, как вас ценят в России, как беспокоятся о том, что вы очень перегружены работой и это может отразиться на вашем здоровье. Вы ведь, наверно, очень устали. (Мотивы о моей «усталости» я уже слышал от Занкевича как предлог для сокращения моей служебной деятельности.) Вот я и прислан сюда вас разгрузить! — И при этих словах он вынул из внутреннего кармана незапечатанный конверт с вложенным в него письмом на прекрасной бумаге министерского размера.

Знакомый мне бланк «Военный министр» внушил заранее уважение к тексту письма. Оно было кратким.

«Ввиду вашей перегрузки в работе предлагаю вам передать обязанности по всем вопросам снабжения предъявителю сего, генерал-лейтенанту Гиберу».

Подпись «Гучков» была хоть и разборчива, но до крайности скромна по размеру.

Ни скрепы, ни номера на бумаге не значилось.

— Как прикажете, господин генерал? — тщательно скрывая охватившее меня волнение, спросил я своего со-

беседника. — Желаете ли вы принять должность немедленно, или предварительно ознакомиться с делом? В последнем случае разрешите не прерывать работу и принимать при вас все доклады.

И, получив одобрение своего преемника, я принялся составлять телеграмму в Петроград о его прибытии и выполнении мною предписания военного министра.

Гибер между тем занялся изучением моей конвенции с французским правительством, изложенной на небольшом листе бумаги.

«Ну, — подумал я, — если уж на эти несколько строк тебе требуется чуть ли не целый час, то что же ты будешь делать с той кипой писем и бумаг, которые появляются каждое утро на моем письменном столе?»

К концу дня Гибер посвятил меня, наконец, в свои планы.

— Ввиду того, что кредит в Банк де Франс открыт был на ваше имя, в Петрограде предполагали, что вы будете продолжать подписывать чеки, а я буду распоряжаться полученными через вас деньгами.

Убеждать Гибера в том, что это-то как раз противоречит смыслу нашей конвенции с французским правительством, не стоило. Посольство, со своей стороны, затребовало разъяснений о миссии Гибера, и оставалось только ждать ответа из России.

Тем временем в доме на улице Кристоф Коломб произошел настоящий бунт: за исключением немногих, все быстро распоясались.

— Хабара! Хабара! — долетали до меня из коридора не знакомые мне слова. Я узнал голос Панчулидзева, бывшего адъютанта Жилинского, бывшего пажа и гвардейского офицера. — Справимся, наконец, мы с тобой, Игнатьев. Не станешь больше совать нос в каждый счет да в каждый чек!

— Вы знаете, — с чувством соболезнования старался объяснить мне мой новый секретарь Караулов, — про вас говорят, что вы уже отложили на черный день в Швейцарии восемьдесят миллионов франков!

— Почему не сто? — шучу я сквозь слезы.

Впервые в жизни я начал избегать людей.

Объяснить себе письмо Гучкова я мог только интригами все тех же «друзей» из главного артиллерийского

управления, про которых мне когда-то писал Маниковский.

Но, как часто бывает и в бою и в жизни, победа приходит тогда, когда все кажется потерянным.

Влетает ко мне в кабинет еще до прихода на службу Гибера мой верный шифровальщик Корнеев и сияет, мигая от радости своими подслеповатыми глазами. Текст телеграммы необычайный:

«Во имя революции, во имя родины просим вас оставаться на вашем посту. Продолжать работу по снабжению. Генералу Гиберу оставаться в вашем распоряжении.

Керенский, Маниковский, Романовский».

А через несколько дней новая телеграмма:

«Поздравляем вас производством за отличие в генерал-майоры».

Плох, конечно, тот офицер, который не мечтает стать когда-нибудь генералом. Одни уж красные лампасы и красная подкладка пальто казались таким достижением по службе, что, получая во время войны сведения о производстве в генералы всех моих товарищей по академии, приходилось поневоле чувствовать себя обойденным.

«Не место красит человека, а человек место», — утешал я себя, да и чин полковника казался мне почему-то всегда особенно симпатичным.

Теперь, когда я ощущал, как постепенно вырывались вожжи из рук, мое производство в генералы доставило мне мало удовлетворения. Французы, знавшие меня в расцвете моей работы во время войны, так навсегда и сохранили за мной звание colonel — полковника.

Мои подчиненные и сотрудники, приносившие мне «верноподданнические» поздравления, заставили вспомнить бессмертные сцены из «Ревизора», а Гибер, получив все полагавшиеся ему «суточные», «столовые» и прочие деньги, даже благодарил за внимательное к себе отношение. Для того чтобы не прослыть за немца, он сократил свою фамилию и во французском правописании сходил не за Гибера, а за Жибера.

С приходом к власти Временного правительства штаты Лондонского комитета по снабжению также разрослись, и мне не стоило больших трудов устроить Гибера к его товарищу по службе в артиллерии Гермо-

нусу, на должность начальника отдела по веревкам: они, как оказалось, закупались не в нашем родном Ржеве, а в Англии. Новые «штаты» и это предвидели. Временное правительство в расходах не стеснялось.

Французский кредит открывал для наших новых правителей широкое «поле деятельности».

За те задачи, разрешение которых оказывалось не под силу генералам и министрам, взялась та широкая «общественность», под которой, к великому моему изумлению, Временное правительство подразумевало не только «земгусаров», но и таких поистине замечательных охотников до тощего русского кошелька, как братья Рябушинские и все иже с ними.

Метод обращения со мной после отъезда столь для них удобного посредника, как Гибер, был выработан простой: скрывая фирму и поставщика, предписывать мне переводить из Банк де Франс на частные банки, преимущественно на Crédit Lyonnais, крупные и круглые суммы под несуществовавшие заказы.

Я предчувствовал, что столь грубое нарушение моей конвенции с министерством вооружения может со дня на день отразиться на деле снабжения нашей армии.

С конца сентября невыполнение мною под теми или другими благовидными предлогами приказов кредитной канцелярии стало хроническим, и было даже трудно предвидеть, чем может окончиться эта финансовая вакханалия. Если в царское время государственная власть смотрела сквозь пальцы на мошеннические проделки дельцов типа пресловутого Митьки Рубинштейна, то теперь она в лице буржуазного Временного правительства попросту покорно исполняла приказы русских частных банков.

Душа кипела от негодования. Подобные спекуляции за счет военных заказов рушили, одну за другой, надежды, возлагавшиеся мною на Февральскую революцию.

С особым вниманием, нередко принимавшимся моими сотрудниками за придирчивость, относился я всегда к проверке работы всего своего рабочего аппарата, но оставался врагом фискальства и анонимок. Анонимные письма, по совету отца, я всегда бросал нечитанными в корзинку.

Но и на последней оставленной за мною работе по снабжению представитель Временного правительства, Занкевич, нашел возможным учинить надо мной негласный и компрометирующий меня в глазах французского правительства контроль.

Вызывает, например, меня французский адмирал, командир порта Брест, и спрашивает, должен ли он допустить к осмотру военных складов прибывшую из Парижа комиссию, о которой, между прочим, мне ничего не было известно.

Через несколько дней результаты работы комиссии были мне объявлены в еще неведомой и, как мне показалось, унизительной для моего звания форме.

Вызванный в служебный кабинет Занкевича, я увидел сидящих вдоль стен этой небольшой комнаты двух-трех унтер-офицеров, ефрейтора, рядового, а у края стола, за которым сидел Занкевич, расположился полковник с серебряными погонами и малиновыми просветами — форме чинов военно-судебного ведомства царского времени. В первую минуту не хотелось верить глазам: это был именно тот самый фатоватый военный прокурор с золотым пенсне на носу, что был прислан еще в царское время, по требованию генерала Жилинского, для суда по «марсельскому делу».

На отдельном столике были аккуратно разложены: кусок заплесневелой подкладки от солдатской каски, несколько заржавелых гвоздей, какая-то грязная тряпка и кусок просаленной бумаги из ящика с орудийными гильзами.

«Вот они, вещественные доказательства совершенного мною преступления!» — подумал я.

При моем появлении никто не поднялся, а Занкевич с обычно слащавой улыбкой предложил мне присесть, но я предпочел отвечать стоя.

— «По предложению военного представителя Временного правительства и согласно решению комитета русских военнослужащих города Парижа, комиссия в составе таких-то и таких-то такого-то числа, месяца и года произвела осмотр складов военного имущества в городе Бресте, состоящих в ведении военного агента во Франции...», — начал чтение протокола полковник с серебряными погонами.

— Виноват, — прервал я, — прежде всего я нахожу недопустимым узнавать о распоряжениях нашего правительства через французского адмирала, а во-вторых, считаю долгом доложить, что склады эти находятся в ведении не военного, а морского агента, так как территория морского порта принадлежит не военному, а морскому французскому ведомству.

— Нам этого не объяснили, — вмешался ефрейтор, злобно взглянув на прокурора.

— Тогда и читать дальше не стоит, — авторитетно заявил взводный с тремя лычками на погоне.

— Нет, почему же? — ответил я, пощупав заржавленные гвозди. — Из-за недостатка в тоннаже склады растут ведь не по дням, а по часам, и строить для них сараи в военное время, в безлесной стране, конечно, затруднительно. Впрочем, если господин генерал разрешит, то я просил бы, как обычно, передать мне весь этот объемистый протокол на заключение, и я сочту долгом дать по каждому пункту обоснованный ответ. Прошу только, во избежание недоразумений, всех членов комиссии предварительно его подписать.

— Вот это дело, — решил ефрейтор, подняв голову и смело, открыто взглянув мне в глаза.

— Правильно! — одобрили остальные.

Занкевич растерянно поддакнул, полковник почтительно улыбнулся, а я попросил разрешения считать себя свободным.

В течение нескольких дней после этого инцидента я, при разборе утренней почты, каждый раз справлялся у своего секретаря Караулова о «неприятном», как он его называл, протоколе. Но последний не появлялся.

— Солдаты отказались подписать, — заявил мне, наконец, не на шутку перепуганный революцией Караулов, один из тех людей, которые ничего общего со своим народом не имели, но гордились окончанием Александровского лицея, давно растерявшего славные пушкинские традиции.

— А что вы находите в этом странного? — грубовато вмешался в разговор сидевший случайно в эту минуту в моем кабинете уже поседевший на службе военный врач, статский советник Александр Исидорович Булатников, один из обломков упраздненного Занкевичем моего тылового управления. — Просто солдаты врать не захотели, они ведь знали, что ржавые гвозди на дворе подобрали,

а подмоченную каску из разбитого при разгрузке ящика утащили. К тому же генеральских с собою заигрываний а ля Занкевич не терпят, — как обычно, с долей пафоса, присущей старым студентам, декларировал Булатников.

— Ах, да все эти дела такие пустяки, — отмахнулся я, — по сравнению с той борьбой, что происходит у нас на родине между Временным правительством и Советом рабочих и солдатских депутатов. Только что потопленные в крови июльские революционные выступления достаточно ясно об этом сказали. Чего, впрочем, можно было ожидать от занявших ныне высокие посты и давно отрекшихся от наших маньчжурских размышлений моих бывших боевых товарищей — «зонтов» типа Половцова, с его полногрудым женским батальоном? Временное правительство широко открыло двери для подобных карьеристов, нарядившихся в форму «дикой» дивизии — в казачьи черкески и папахи набекрень.

— Но о здешнем двоевластии разрешите доложить вам конфиденциально, — понизив голос и обернувшись на выходившего и, видимо, не совсем довольного нашей беседой Караулова, заявил любивший таинственность Булатников. — Вот что происходит в наших бригадах. Вы знаете, граф, что, по просьбе Занкевича, обе бригады, сведенные в одну дивизию, отправлены французами в прекрасный по своему расположению и оборудованию, далекий от фронта лагерь ла Куртин. К умиротворению солдатской массы эта мера не повела. И если председатель отрядного комитета, унтер-офицер Балтайтис, продолжает прислушиваться к словам Занкевича и Раппа, то его помощник, рядовой Глоба, завоевал гораздо большее доверие и занял явно враждебную офицерам позицию.

Слова Булатникова подтвердили мне, что борьба Временного правительства с нараставшей пролетарской революцией как в зеркале отражалась в нашем закинутом на чужбину отряде.

Занкевич и Рапп тщетно убеждали солдат продолжать войну и вернуться на фронт. Но представители Временного правительства с каждым днем теряли авторитет, тогда как большинство беспрекословно выполняло приказы Глобы, требовавшего прекращения борьбы и возвращения солдат по домам.

В начале сентября совершенно неожиданно, после длительного перерыва, Занкевич и Рапп, вернувшись из

лагеря в Париж, пригласили меня на совещание о наших войсках и предложили мне сопровождать их в ла Куртин для предъявления солдатам «последнего», как они выразились, «ультиматума».

В чем заключалась эта странная, заимствованная из дипломатического словаря форма обращения к солдатам, они так мне и не объяснили, но настаивали, что едут на этот раз «по соглашению с французским правительством».

Из этого я заключил, что, привлекая меня к этому делу, они пытаются придать своему «ультиматуму» возможно более законную форму. На военного агента, как на дипломатического представителя, было бы, кроме того, удобно свалить любое недоразумение с местными французскими властями.

— Я уже неоднократно заявлял, — ответил я, — что не могу допускать вмешательства французов в наши внутренние дела. По вашему настоянию я был совершенно устранен от жизни наших бригад, но для спасения русской военной чести, омраченной дошедшими до моего слуха раздорами в нашей дивизии, я готов отправиться лично в лагерь и переговорить с солдатским комитетом. Ехать же при вас и повторять лишний раз все уже давно сказанные солдатам слова — отказываюсь.

Это свидание с Занкевичем и Раппом оказалось последним. Не прошло и недели со времени их отъезда в ла Куртин, как тот же Булатников под секретом сообщил мне трагическую развязку тоже последней встречи представителя Временного правительства с нашими солдатами.

Оказалось, что, предлагая мне сопровождать его в ла Куртин, Занкевич применил ту предательскую политику, которую он, как, увы, и многие тогдашние деятели, считал верхом политической дипломатии. Он умолчал о главном, не проронив ни слова о том, что пресловутое «соглашение с французским правительством» означало предоставление ему французским командованием пушек для расстрела русских солдат...

Умывши руки в содеянном ими преступлении и передавши без зазрения совести командование русскими войсками французам, Занкевич и Рапп возложили этим на меня нелегкую задачу: смягчить, насколько было воз-

можно, переговорами с французским правительством последствия известного куртинского дела. По распоряжению французского правительства из главной массы солдат были сформированы рабочие батальоны; отказавшиеся от этого отправлены в Африку на каторжные работы, а зачинщики посажены во французскую военную крепость.

Куртинское дело явилось для меня школой политической борьбы. Я ясно увидел, что мир разделен на два враждебных лагеря. С одной стороны — Занкевич и «господа офицеры», а с другой — просто «некоторые офицеры», русские солдаты и те французские солдаты, что отказались, как я впоследствии узнал, стрелять в русских солдат.

Эти два мира я ощущал с детства, но они претворились для меня в жизнь лишь после отрыва солдатской массы от Февральской революции, предопределив мое личное место в неизбежной социальной борьбе.

Народ оставался моим единственным повелителем.

Глава вторая

В ДАЛЬНЕМ РАЗЪЕЗДЕ

Сколь сужено, а подчас и ошибочно бывало представление о таких сражениях, как Мукденское или Марнское, у их участников — не только солдат, но даже и больших начальников. А уж для начальника «дальнего разъезда», решавшего самостоятельные задачи, происходившее на переднем крае не всегда могло быть известно. Он узнавал про исход сражения нередко после того, как смолкал далекий для него гром канонады, когда, вернувшись в родную полковую семью, он мог разделить с нею и горечь неудачи и радость победы.

Вот таким-то начальником дальнего разъезда и чувствовал я себя в те исторические минуты, когда прогремели на весь мир на родной для меня Неве выстрелы с «Авроры».

Двадцать седьмого октября секретарь Караулов вошел в мой служебный кабинет и уже совершенно упавшим от тревоги голосом доложил, что у меня просит личного приема «самый страшный революционер», председатель «ко-

митета военнослужащих и русских граждан Парижа» ротмистр Лавриновский.

Председатель этого на вид демократического комитета оказался, как ни странно, офицером самого черносотенного полка — кирасир «его величества». Сохраняя гвардейский лоск, этот красивый юноша, повидимому, освоился со своим новым положением и хотя почтительно, но довольно авторитетно изложил просьбу комитета прибыть вечером на организованный им митинг, на котором выступит прибывший сегодня из России посол Временного правительства Маклаков, скажет свое слово и генерал Занкевич. Однако все настолько потрясены появившимися во французских газетах сведениями об аресте министров Временного правительства, что комитет считает необходимым ознакомиться с мнением по этому вопросу военного агента.

— Удивительно, почему я только сегодня вам понадобился, и чего вы можете от меня ожидать?

Мой вопрос сильно смутил председателя, и он, потупив глаза, стал что-то объяснять о преследованиях, которым могут подвергнуться русские граждане со стороны французского правительства.

— Генерал Фош, — сказал он, — уж давно смотрит косо на наш комитет, а теперь, с падением Временного правительства, может круто с нами поступить.

— Хорошо, — ответил я Лавриновскому, — я буду. Прошу вас только при входе моем в зал объявить об этом собравшимся и предложить присутствующим, из уважения к моему генеральскому званию и занимаемому служебному положению, встретить меня по-военному, то есть — встать!

Подобное напоминание о военной дисциплине отражало, в моих глазах, французскую военную мудрость: «Mettre de l'ordre dans le désordre» — ввести порядок в беспорядок.

Мне уже приходилось слышать о происходивших в этом зале шумных собраниях, отличавшихся, по мнению приезжавших из России зоилов, от петроградских порядков только тем, что в Париже семечки заменялись апельсинами, корки которых устилали пол небезопасной для прогулок оранжевой пеленой.

После ухода Лавриновского рабочий день продолжался: сменялись посетители, подписывались бумаги, но

газетная заметка о свержении Временного правительства не выходила из головы. Штурм Зимнего дворца представлялся мне почему-то уже точно таким, каким я впоследствии увидал его изображенным во французском журнале «Иллюстрасион». Это уже давало хотя бы внешнее представление о революционных гвардейцах и матросах с бескозырками. И вот, казалось мне, все они, кто с винтовкой, кто с пулеметом, врываются бурным потоком через столь хорошо мне знакомую арку генерального штаба, заливают Дворцовую площадь и сносят единым махом баррикады, построенные у так хорошо мне знакомых подъездов Зимнего дворца. Народ, видимо, уже по-настоящему «взялся за топорики», как характеризовал мой дядя Николай Павлович грядущую революцию. Эти люди решили покарать тех правителей, о которых я составил себе представление за истекшие летние месяцы. Народ наш уже не ищет, а требует правды на земле, но над тем, где и как он ее обретет, я старался не задумываться. Чуял только, что настанет конец грабежу русской казны, конец моей борьбе со всеми искателями легкой наживы, находившими покровительство у арестованных народом министров. Получат, наконец, возмездие все те, кто наживался на страданиях народа.

Дома пришлось болтать с приглашенными о каких-то совершенно посторонних вещах, избегая, как подобает дипломату, затрагивать вопросы внутренней политики своей страны.

За чашкой кофе я просто извинился и через несколько минут вошел в первый и, как оказалось, в последний раз в дом тылового управления русских войск во Франции.

Там и помещался комитет.

Все, что происходило в этот вечер, представляется теперь как бы в тумане, быть может отчасти из-за того табачного дыма, которым было наполнено все помещение. Какие-то «преданные прапорщики» не допускали меня до дверей, сквозь которые доносился несмолкаемый гул голосов.

— Возбуждение достигло предела! — взволнованно, наперерыв объясняли мне они. — Ни генералу Занкевичу, ни Маклакову не удалось внести успокоение, а если уж вы появитесь, то скандал неминуем!

— Я приказываю открыть мне двери!

Довольно обширный зал был переполнен. Где-то вдали, на противоположном конце среднего прохода, виднелся покрытый красным кумачом стол президиума.

Лавриновский сдержал свое слово, и по его громкому приглашению все поднялись с мест, что дало мне возможность спокойно подняться на трибуну.

— Пожалуйста, садитесь!

И, в знак разрешения продолжать курить, сам вынул папиросу. В зале воцарилась мертвая тишина. Я пододвинул к рампе стул и сел, чтобы не стоять перед сидевшими в первом ряду унтерами и рядовыми. Они все же, в ту пору, представлялись мне еще «нижними чинами», как именовались тогда солдаты и младший командный состав.

Среди солдатской массы мне бросились в глаза офицеры и даже генералы: Свидерский, Николаев (он же Цеге фон Мантейфель), грозный прокурор,— все они смутили меня гораздо больше, чем та масса неведомых мне «штатских» мужчин и женщин, что устремляли на меня испытующие взоры.

— Я исполнил просьбу вашего комитета, — сказал я, — но все же удивляюсь, чем я могу быть вам интересным. У нас дома, в России, свершилась новая революция, но я уверен, что вы все — столь замечательные русские патриоты, что для вас воля народа превыше всего. Говорят, что французы изменят свои к нам отношения. Но что же они смогут с нами сделать? Выслать нас в Россию? От этого, думаю, никто из нас не откажется. Посадить нас в тюрьму? Так неужели же страшно посидеть за решеткой, сознавая, что сидишь только за то, что ты — русский?

Первые, недружные, аплодисменты, вызванные этими словами, сильно меня подбодрили. Я уже встал со стула.

— Неужели, — продолжал я, — что-либо устрашит сынов такой страны, что имела таких царей, как Петр I (аплодисменты справа), таких поборников народной правды, как декабристы (аплодисменты слева), таких полководцев, как Суворов (аплодисменты в центре), таких мыслителей, как Герцен, Белинский и Чернышевский, таких писателей, как Пушкин, Гоголь, Лев Толстой (общие бурные аплодисменты), — перебирал я таким образом всех тех предков, которыми гордилась Россия.

Услыхав дорогие для каждого русского имена, слушатели сразу воспряли духом. До них уже могли даже дойти слова Суворова: «Помилуй бог, — мы русские!», — встреченные громом аплодисментов.

Оставалось только дать мудрые и ни к чему, правда, не обязывающие советы: сидеть спокойно, делать порученное дело и ждать распоряжений.

Сознаюсь, что я все же предпочел не засиживаться, выйти из зала под аплодисменты и вернуться в отдаленную от городского шума и политических страстей нашу тихую обитель на острове святого Людовика.

Но в «тихой обители» я покоя не обрел и, как в ту ночь, когда я решал свою судьбу после падения российской монархии, теперь пришлось задуматься над самим будущим своего народа.

Перед «начальником дальнего разъезда» неожиданно для него взорвался мост, по которому он мечтал хоть и не вполне спокойно, но все же перебраться на тот берег из огня мировой войны в пламя революции. Взрыв этот был такой силы, что в нем разлетелись не только все дела и планы Временного правительства, но и многие казавшиеся незыблемыми основы российского государства.

Неожиданно, один за другим, долетали до Парижа не только по проволоке, но уже и по эфиру декреты неведомых ни мне, ни моему окружению людей, образовавших Совет Народных Комиссаров. От лица России говорили люди, которых, с непонятным тогда для меня ужасом, называли «большевиками», хотя можно было биться об заклад, что мало кому из нас, далеких от революционного движения, было в точности известно происхождение этого слова!

Вскоре «ужас» этот объяснился для спасавшихся в Париже белоэмигрантов декретом о национализации удельных, монастырских и помещичьих земель, разрушившим по существу «священное» старому миру право собственности, а для французов, бесчисленных держателей «русских займов», — декретом о непризнании советской властью царских долгов.

Мне тоже, признаюсь, трудно было примириться с мыслью, что революция потребует от меня вымести не только весь старорежимный мусор, который уже мне са-

мому представлялся вредным, но и, пожалуй, сдать в архив то, что казалось самым ценным достижением: неограниченный кредит, открытый через меня для России во Французском государственном банке.

Первым и унизительным для моего служебного достоинства эпизодом явился неоплаченный чек на полтора миллиона франков, выписанный мною на Банк де Франс за два дня до Октябрьской революции для оплаты текущих поставок нам алюминия и нитратов из Норвегии.

— Банк де Франс отказался оплатить этот чек, — доложил мне утром растерявшийся начальник финансового отдела Ильинский. Он объяснил, что французское правительство распорядилось закрыть наш текущий счет в этом банке.

«Надо прежде всего, — решил я, — во что бы то ни стало восстановить свой счет».

Для каждого человека важнее всего не подорвать к себе доверия, а для государства, как мне тогда казалось, сохранить кредит — и это моя основная задача, перед которой все остальные дела должны казаться мелочами.

Тем не менее, чтобы постичь истинное значение государственного кредита, потребовалось для меня, как это ни странно, много, много лет. У меня даже с трудом укладывалась в голове непосредственная связь между французским капитализмом и русской армией, проливавшей кровь за чуждые ей интересы. А ныне уже слепой видит, что хваленая «американская помощь» — не что иное, как тяжелое ярмо, надетое на страны Западной Европы планом Маршалла.

Тогда же, рассматривая восстановление моего государственного счета в Банк де Франс как вопрос не только военный и финансовый, но и дипломатический, я, в расчете согласовать свои действия с посольством, поехал после обычного разбора утренней почты на Рю де Гренелль. Там, в столь знакомом и запущенном за время «междуцарствия» кабинете Извольского, сидел посол Временного правительства Маклаков, только накануне прибывший из Петрограда в Париж.

По проявленной в первые минуты знакомства нерешительности Маклаков уже представился мне достойным Временного правительства послом.

— Как посол, я бы сказал вам: «Да»; как адвокат, я сказал бы: «Нет»; как человек и ваш личный благожела-

тель, — пожалуй, подумал бы, прежде чем дать вам ответ, — объяснял мне этот прожженный делец.

Он составил себе в свое время в России репутацию либерала, приняв под свою защиту бедного киевского еврея Бейлиса, и в то же время — блестящего и ловкого адвоката, выиграв скандальный процесс в пользу нефтяного короля Тагиева. Вот уж к кому подошли бы острые, как лезвие ножа, слова Ленина о таком же адвокате — Пуанкаре: «Блестящий» адвокат-депутат — политический пройдоха, это — *синонимы* в «цивилизованных» странах» [1].

Первый же мой деловой разговор с Маклаковым о закрытии счета в Банк де Франс подтвердил лишь диаметральную противоположность наших взглядов на государственные интересы.

— Вообъгазите, — мягко картавя, дополнил мой доклад Маклаков, — «мы» — посольство — тоже получили сюгъпгиз: нам пгъедложено пгъедставить в министегъство иностгъанных дел спъгавку о казенных суммах, находящихся в наличии и на наших банковских счетах.

— В какой же форме вы рассчитываете это выполнить? — спросил я. — Сделаем ли мы общую сводку, или каждый даст свою отдельную справку?

— Ну, конечно, отдельную, хотя мне известно, что почти все наши суммы пъгоходили чеъгез вас. Тут уж дело совести каждого. Можно показать, а может быть, лучше не показывать, — и при последних словах мой собеседник загадочно улыбнулся.

Я смолчал, хотя заранее решил сохранить с французским правительством те отношения, которые прочнее всего обеспечивали наш государственный кредит: Банк де Франс сверял каждую субботу баланс русского счета с бухгалтерией моего «заготовительного комитета».

Вернувшись из посольства, я немедленно приказал Ильинскому дать мне выписку нашего счета в Банк де Франс и пересчитать те несколько тысяч франков, что хранились в сейфе нашего финансового отдела для мелких текущих расходов. Оказалось, что на текущем счету на этот день находилась, как обычно, самая небольшая сумма, — около одного миллиона франков, — но не учтенных в банке «бонов» французского казначейства, кото-

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 457.

рыми я был вправе располагать, имелось свыше двенадцати миллионов. Стремясь сокращать до минимума нарастание процентов на военный долг, я превращал в наличные деньги эти «боны» по мере надобности, в зависимости от текущих платежей по заказам.

— Эх, — укорял меня Ильинский, — надо было выбрать из банка, как я неоднократно вам советовал, хотя бы эти двенадцать миллионов. Предлогов у нас было хоть отбавляй. Вы вот не послушались, а теперь что же мы станем делать, когда первого декабря нам придется выплачивать жалование?

Жалование мы, правда, уплатили, но Ильинский даже на смертном одре проклял меня, не простив мне, что я не захватил казенные миллионы.

Как раз в минуту пререканий мне доложили, что меня желает видеть французский контролер, присланный военным министром. Ильинский хотел уйти, но я его задержал и представил вошедшему французу, крайне корректного вида, с красной ленточкой Почетного Легиона в петлице черной визитки. Под штатской одеждой этот чиновник выказывал какую-то чисто военную дисциплинированность слова и мышления.

Мне это понравилось, но я лишь впоследствии выяснил, что мой посетитель являлся представителем не знакомого мне дотоле института — контролеров армии. Французы большие консерваторы, и уже само это давно позабытое название напоминало об эпохе французских революционных армий.

Оказалось, что действительно, несмотря на смену стольких государственных режимов, во Франции сохранились установленные революцией 1789 года эти государственные контролеры, подчиненные государственному совету, разбирающему междуведомственные спорные вопросы. Чиновники этого высокого учреждения являлись как бы негласными контролерами при всех министерствах и даже при самом президенте республики. В свое время они, очевидно, играли роль политических комиссаров, но постепенно их функции свелись к контролированию казенных денег. Из последующей совместной с ними работы я смог заключить, что эти лица представляли во Франции редкие образцы неподкупности: в противоположность чиновникам, они, вероятно, хорошо оплачивались.

Явившийся ко мне контролер после сверки наших книг с выпиской из Банк де Франс, что заняло всего несколько минут, рассыпался в лестных для моего счетного отдела комплиментах и обещал через несколько дней восстановить мой текущий счет в этом банке. Однако перед уходом, несколько смущенный, он заговорил о крупных подотчетных суммах казенных денег, выданных через меня морскому агенту Дмитриеву на морские перевозки и капитану Быстрицкому на оплату авиационных заказов. У каждого из них числилось несколько миллионов франков, и я обещал лично выяснить положение этих сумм.

«Время все налаживает», — говорит французская поговорка, и время сослужило немаловажную службу для превращения этих казенных денег моими сотрудниками в личную собственность. Не отрицая получения от меня денег, они сперва признали их «авансами», в которых можно отчитаться только по их израсходовании. Месяцев через шесть эти деньги, по их словам, принадлежали уже не им самим, а Временному правительству, «незаконно арестованному большевиками», а через год — законными преемниками этого правительства оказались последовательно и Колчак, и Деникин, и Юденич, и Врангель, а под конец и они сами — непризнанные борцы за «свободу совести и слова».

Так, впрочем, поступали все русские военные и дипломатические представители за границей. Исключение, как впоследствии удалось узнать, составил лишь один из командиров бригад на Салоникском фронте, скромный генерал-майор Тарановский, честно возвративший казначею неизрасходованные им суммы из денежного ящика.

Где-то там, далеко, на родной земле, разрушались вековые устои старой России, а здесь, в Париже, с первых же дней после Великой Октябрьской революции из выброшенных социалистической революцией обломков старого мира строилась неприглядная «зарубежная Россия».

Первыми, как грибы, стали вырастать эмигрантские ресторанчики. В одном из них, окруженный бывшими морскими офицерами, переодетыми в белые смокинги лакеев, сиживал в углу, на правах хозяина и благодетеля, мой бывший коллега, российский морской агент Дмитриев. Невозвращенный им мне «аванс» пригодился.

В этой «зарубежной» России люди расценивались прежде всего по имевшимся в их распоряжении деньгам. Не все ли было равно, откуда эти деньги происходили?!

За разъяснение этого непостижимого для меня принципа взялся сам Маклаков.

Через несколько дней после Великой Октябрьской революции мне пришлось обратиться к нему с просьбой составить официальную доверенность посольства, которое французское правительство продолжало считать представляющим Россию, с тем чтобы наложить арест на внесенные мною в филиалы русских банков в Париже суммы, остававшиеся беспредметными.

— Да разве вам неизвестно, что интересы русских банков защищает ваш же бывший комиссар Рапп. Как же вы пойдете против него? — заявил мне Маклаков. — На мою поддержку тоже не рассчитывайте, так как интересы наших частных банков, поймите, Алексей Алексеевич, дороже мне ваших государственных.

Отказ Маклакова выдать мне доверенность не помешал, впрочем, французскому суду принять к рассмотрению мое прошение признать внесенные мною суммы — свыше пятидесяти миллионов франков — принадлежащими русскому государству и наложить на них арест.

Безуспешны были и попытки разорвать через Маклакова ту паутину закулисных интриг, которая опутывала меня в последние недели существования Временного правительства. С трудом удалось узнать, что они исходили главным образом из салона некоей русской, госпожи Сталь, уже немолодой, но считавшейся интересной женщины, проявившей, между прочим, особое покровительство Занкевичу. Муж ее, парижский адвокат Сталь, о котором до революции я и не слыхивал, оказался видным «революционным» деятелем и получил при Временном правительстве должность чуть ли не прокурора правительствующего сената — когда-то высшей судебной инстанции в России. Туда-то он и свез доклад о моих «преступлениях» гражданского и уголовного порядка.

— Да, я хорошо знаю Сталя. Это мой лучший друг, — заявил мне Маклаков. — Но он известный подлец, а потому не стоит обращать на него внимание. Добиться правды все равно не удастся.

Моя вера в возмездие всем подобным сеятелям лжи и клеветы не представляла, конечно, никакого интереса

для таких по-ихнему здравомыслящих людей, как Маклаков. Они долго не могли поверить, что я-то твердо уповаю найти, наконец, справедливость на путях новой революции, и, вероятно, смотрели на меня просто как на упрямого, несговорчивого служаку.

Знакомство с Маклаковым, представителем буржуазной русской интеллигенции, открыло для меня еще один секрет ее слабости: оторванность от народа, основанную на глубоком ее убеждении своего над ним превосходства. Ни традиционная «перхоть» на воротнике пиджака, ни ласкающая ухо изысканность русской речи не отличали — увы! — маклаковых от тех губернаторов, что белыми штанами камергера и властным тоном своих, простоватых по содержанию, речей наивно доказывали свое превосходство над не носившими мундира русскими подданными.

Не менее занятным собеседником, более скромным, но еще менее серьезным, чем Маклаков, являлся прибывший с ним в одном поезде, назначенный Временным правительством послом в Испанию М. А. Стахович. До войны я не раз встречался с этим «вольнодумным», каким его в Петербурге считали, орловским помещиком. Знакомство с семьей Стаховичей велось с самого детства, и потому разница лет и поколений продолжала предписывать мне в отношении Михаила Александровича какое-то почтение.

Маклаков был кумиром московских, а Стахович — петербургских великосветских дам, считавших себя «передовыми». Государственная дума возвысила друзей до положения «государственных людей», вершителей судеб Российской империи.

Великая Октябрьская революция помешала Стаховичу добраться до Мадрида, и Маклаков предоставил ему несомненно подходящую роль — осведомителя и агента связи с французским парламентским миром. Чудная рыжевато-серая борода Стаховича не оставляла сомнений в его чисто русском происхождении. Принадлежность к кадетской партии опять же свидетельствовала о его «либеральном» мышлении, а неоспоримая эрудиция во французских винах облегчала сближение с подобными ему

тоже «вольнодумными» сенаторами и красноречивыми депутатами.

В программу сближения с французским парламентским миром входили и посещения Стаховичем заседаний палаты депутатов, открывавшихся лишь в два часа дня, то есть после соблазнительных для Михаила Александровича парижских завтраков. На одном из таких заседаний, не особенно, вероятно, веселых, Стахович, сидя на хорах, отведенных для публики, сладко задремал, склонив свою чудную бороду на рампу. При этом он не заметил, как в зал заседаний, на голову представителей, полетели лежавшие перед ним его прекрасные золотые часы. По счастью, зал не был в этот день переполнен, и часы при падении разлили только чернила на одно из тех любовных писем, что депутаты обычно сочиняли, используя для них великолепную бумагу с напечатанным на ней бланком: «Chambre des Députés» [1].

Бедный Стахович был сильно огорчен происшедшим, но виновник происшествия, скучный оратор, не прервал своей речи. Палата и не такие виды видывала и не такие шумы слыхивала.

Добряк по натуре, Стахович принадлежал к типу тех русских миротворцев, которых обычно выбирали старшинами клубов, как способных улаживать любые недоразумения, возникавшие между увлекшимися карточными игроками. В Париже он наслышался о связях, налаженных военным агентом с французскими политическими деятелями, и его потянуло примирить этого непокорного генерала с собственными думскими друзьями и с прибывавшими, один за другим, членами павшего Временного правительства.

— Уверяю вас, Алексей Алексеевич, — говорил он, — Керенский совсем не плохой и даже интересный человек! Вам необходимо с ним познакомиться.

— Бросьте, Михаил Александрович! Россия ведь уже дала свою оценку Керенскому, да и французы его в грош не ставят. Вы разве не слыхали про прием, оказанный ему Клемансо?

Видавшего виды старика Клемансо нисколько не смутил демагогический тон прискакавшего во Францию бывшего русского премьера, и на вопрос Керенского:

---

[1] Палата депутатов.

«Собираются ли французы его поддержать?» — глава французского правительства ответил:

— Да я только этим и занимался, пока вы были у себя в России!

Стахович, однако, не оставил своей мысли свести меня с Керенским, как с наиболее «левым», в его представлении, русским деятелем, и спустя некоторое время использовал для этого мое согласие позавтракать у него в номере гостиницы и дружески, без свидетелей, поговорить о положении в России. После подавления ряда контрреволюционных восстаний в России было над чем задуматься таким политикам, как Стахович. Он как-то быстро осунулся, постарел, и я скорее из сострадания, чем из любознательности, поехал на этот завтрак, совершенно позабыв о Керенском. Пролетело время богатых ресторанов, и приглашение позавтракать в гостинице второго сорта уже доказывало, что щедрые «подъемные» и «прогонные» деньги давно уже прожиты.

Когда я вошел, посередине гостиничного номера был накрыт небольшой квадратный стол на четыре прибора. За одним из них сидел Стахович, за другим — какой-то незнакомец, третье, как я предполагал, предназначалось мне, но четвертое так и оставалось пустым. Стахович объяснил, что он поджидает Маклакова. Но Маклаков так и не пришел. Повидимому, со свойственной ему осторожностью или что то же — «политическим тактом» предпочел не присутствовать при моей встрече с Керенским.

Представляя себе эту встречу, я заранее уже приготовился к отпору нападений на ту позицию, которую я занял по отношению к Октябрьской революции. Но ничего страшного не произошло.

Беседа с Керенским, или что то же — переливание из пустого в порожнее, сводилась к пересудам парижских толков и сплетен, которым Керенский придавал значение чуть ли не государственной важности. Потом он попробовал коснуться вопроса о судьбе наших бригад. Мне пришлось вкратце повторить ему полный драматизма удел наших солдат: куртинское восстание, расстрел наших солдат Занкевичем и подчинение вследствие его хлопот наших бригад французскому командованию.

— Мне, устраненному Занкевичем от наших войск, осталось выступать лишь в качестве их защитника перед французским правительством и отстаивать участь приго-

воренных солдат, часть которых удалось освободить из тюрьмы, — закончил я.

— Я знаю, сколь трудно говорить с нашими солдатами, — как бы вспоминая о собственных неудачах, изрек своим глухим басом наш угрюмый собеседник Керенский. — Да что, впрочем, «они» собой представляют? Что такое наш народ? Разве «он» способен меня понять?

Меня взорвало.

— Да, признаться, и я вас не понял, — с улыбкой и сдерживая себя, заметил я.

— Вы — злой, генерал, — в свою очередь улыбнулся Керенский, посмотрев, наконец, в первый раз мне в глаза.

— Какой же «злой»? Я только скромный. Раз уж народ вас не понял, так где же мне было вас понять!

— Господа! Господа! — вмешался Стахович. — Не будем говорить о политике!

А мне-то о политике и хотелось говорить, но я понял, что с этими людьми общего языка мне не найти. Совершавшиеся события далеко выходили за пределы их мышления, и я, не задерживаясь, под предлогом неотложного свидания, поспешил раскланяться, и на этот раз навсегда.

Если бы тогда, в ноябре 1917 года, мне сказали, что ровно через год война не только кончится, но и будет выиграна союзниками, — я бы в этом усумнился.

В России немцы в эти дни снимали часть своих дивизий для переброски на французский фронт, рвались в то же время к Петрограду, грабили цветущую Украину и, что самое страшное, находили себе сообщников среди некоторых русских генералов, скоропадских и красновых, хорошо мне когда-то знакомых авантюристов, приверженцев старого режима и злейших врагов Октябрьской революции.

Во Франции дела тоже не радовали тогдашних союзников. Если, при полном напряжении русского фронта, французам и англичанам не удалось в течение трех лет ни разу проломить застывший германский фронт, то какая же сила могла теперь положить конец опостылевшей всем позиционной войне?

Ведь со времен революционных потрясений и наполеоновских войн Франция не знала того напряжения, которого потребовала от нее первая мировая война.

Ослепленный полувековой идеей реванша за позор поражения 1870 года, оглушенный воинственными речами своего президента Пуанкаре, под барабанный бой и звуки фанфар, французский народ был брошен на войну, под уже заранее выработанный пацифистами лозунг: «Да будет эта война последней!»

С этим он выиграл Марну, подтянул кушак, закрыл рестораны и театры, потушил городские огни и уничтожил всякую роскошь и красу жизни. Но от трехлетнего сидения в окопах армия устала, народ прозрел, и те же звуки фанфар уже не возбуждали, а раздражали его.

Большое недовольство в народе вызывали несправедливости в заработной плате, служившие одной из причин забастовок. Так забастовка сорока тысяч рабочих на заводах Рено и Сальмсон, разросшаяся к вечеру до ста двадцати тысяч, а через двадцать четыре часа до двухсот пятидесяти тысяч парижских рабочих, работавших на оборону, явилась угрозой самому французскому буржуазному политическому режиму.

Важнейшее преимущество Франции как над Германией, так и над царской Россией, заключавшееся в тесной связи фронта и близко к нему расположенного тыла, перестало существовать. Некоронованные и даже не всегда гласные властители французского капитала — пресловутые представители так называемых «двухсот семейств» — продолжали наживаться на военных заказах.

Растущим недовольством и усталостью народа от войны поспешили воспользоваться не только биржевые игроки «на понижение», но и крупные политические магнаты, искавшие возвращения к власти. Закулисные интриги росли, а их лучшие союзники — политические шпионы — час от часу наглели. «Des canons! Des munitions!» [1] — Трудно было поверить, чтобы под этим заголовком в газете «Le Journal» сенатора Шарля Эмбера помещались зашифрованные объявления германских шпионов...

Благородный призыв советского правительства заключить перемирие, этот первый шаг на пути к миру во всем мире, и тот был использован внутренними врагами Франции для того, чтобы попытаться поставить ее на колени перед вильгельмовскими вандалами. Реакционеры, с одной

[1] Пушек! Снарядов!

стороны, объявили большевиков «союзниками» немцев, с другой — запугивали французскую буржуазию опасностью пролетарской революции.

При такой обстановке вступление в войну США, страны, не имевшей в ту пору постоянной армии, представлялось скорее политическим жестом, чем серьезной военной поддержкой. Но французы ухватились за американцев, как утопающий за соломинку.

Россия вышла из войны, а Америка приступила к покорению Западной Европы.

Глава третья

РАЗРЫВ СВЯЗИ

Моя связь с родиной все больше уменьшалась и, наконец, оборвалась совсем. Французское правительство стремилось изолировать французский народ от влияния Октябрьской революции и прекратило телеграфную и почтовую связь с Советской Россией.

Малейшая оплошность могла свалить меня в пропасть, и потому мне пришлось всячески искать выхода из казавшегося подчас безвыходным положения.

В самом деле, мог ли я тогда мечтать заслужить доверие у созданной впервые в мире истинно народной власти, вступить, вопреки всем препятствиям, на объятую пламенем освободительной борьбы родную русскую землю?

Заслужить это доверие я и поставил себе целью. Но как и чем? Какую пользу я смогу принести вступившей в новую жизнь моей революционной родине и чем смогу оправдать свое место если не в наступлении, то по крайней мере в обороне, при которой, даже без оружия, постараюсь сохранить вверенное мне, и оставшееся после революции во Франции, русское государственное имущество.

Прежде всего предстояло спасти от разрушения и хищений налаженное с таким трудом дело снабжения. Я считал его своим детищем, рожденным в те тяжелые дни начала первой мировой войны, когда русская армия, лишенная даже артиллерийских снарядов, обратилась к союзникам за материальной помощью. Тогда же мне

удалось заключить с французами конвенцию, согласно которой французское правительство обязывалось:

«Соблюдать интересы русского правительства, как свои собственные, обеспечивая выполнение всех заказов, как сырья, так и готовых изделий, в кратчайшие сроки и при наиболее выгодных условиях», а русское правительство, получая при этом необходимый денежный кредит, обязывалось проводить все заказы не иначе как через своего военного агента во Франции. За три года войны удалось таким образом доставить из Франции в Россию через Мурманск и Архангельск на ста тридцати до отказа нагруженных пароходах свыше одного миллиона снарядов русского калибра, до двух тысяч самолетов и другое имущество.

Не мне самому пришлось принимать на себя инициативу по ликвидации нашего дела. Сигналом для этого явилось письмо новоиспеченного французского министра снабжения и злостного афериста Лушера. В связи с фактическим выходом России из войны он извещал меня о необходимости перевести на французское производство заводы и цехи, выполнявшие до тех пор наши заказы.

Министр просил сообщить мои соображения о направлении уже готовой продукции и рассмотреть вопрос о расторжении контрактов, заключенных мною непосредственно с заводами. Однако остановить работавшую на полном ходу машину оказалось не так просто. Долго еще катились застрявшие на промежуточных станциях вагоны с ненужными уже русскими снарядами, тиглями и порохом, а в отведенном в наше распоряжение морском порту — Брест — росли с каждым днем пирамиды ящиков с казенным русским добром.

Надо было принимать решения, но с этой минуты и на долгие, как оказалось, годы уже вполне самостоятельно. Сколько раз, бывало, приходилось жаловаться на распоряжения, получавшиеся во время войны от петроградского начальства! Казалось даже, что без его вмешательства дела шли бы лучше, а вот теперь его не стало, и я почувствовал, что принимать на себя ответственность стало во много раз тяжелее.

— Гъаз пгъавительства у вас нет, надо опигъаться на общественное мнение, — советовал мне Маклаков.

Под «общественным мнением» он разумел остатки царской эмиграции в Париже, пополнявшейся с каждым

днем теми соотечественниками, что «спасались от большевиков» и превращали русское посольство в притон политических, военных и финансовых авантюристов.

— Гнила эта стенка — ваша парижская «общественность», — возражал я Маклакову, — да если б она и была сильна, я бы ею не воспользовался. Уж лучше буду ходить без опоры, на собственных ногах.

Полученный мною в наследство от Временного правительства грузный «заготовительный комитет» опоры тоже для меня не представлял. Лишившись своих «ведомств» в России, их представители в Париже — начальники различных отделов по снабжению — потеряли всякий интерес к порученным им делам и только под сильнейшим моим нажимом приступили к составлению «отчетов» по каждому из тысяч прошедших через их руки заказов.

Неустанно собирал я совещания, на которых проверялось выполнение согласованных уже заранее с французским правительством решений: возвратить французской армии все неотправленное в Россию автомобильное и авиационное имущество, которое она могла бы для себя использовать, вычитая его стоимость из нашего долга, ликвидировать по мере возможности все остальное, за исключением товаров, имеющих не военное, а общегосударственное значение, как то: медикаменты, бинокли, термометры и другие точные приборы.

Как бы предугадывая все наши стремления сохранить для России эти материалы, управление «Главзагран», которое, еще при Временном правительстве, занималось заграничными заказами, неожиданно прислало мне из Петрограда телеграмму, подтверждавшую уже принятое нами решение. «Кто бы только мог быть тем Сиверсом, который подписал телеграмму? Неужели это тот самый генерал, который в чине полковника состоял при Куропаткине в маньчжурскую войну?— раздумывал я. — Если это он, — то, значит, некоторые офицеры остались на своих местах и не все же генералы перебежали к белогвардейцам!»

К сожалению, эта единственная нить, соединившая на мгновение с родиной, тут же и надолго порвалась. Французская военная цензура телеграмм из России больше не пропускала. Вокруг Советской России были поставлены «проволочные заграждения».

«Часовой у денежного ящика», ставший на пост в день падения русской монархии, остался стоять на этом посту один, без связи даже с собственным караулом и как раз в тот момент, когда к охраняемым им денежным суммам стали сперва приглядываться, а затем и претендовать на них прежде всего те, кто был знаком с содержанием этих ящиков.

Обстановка осложнялась тем, что с первого же дня Октябрьской революции старшие русские начальники подали пагубный пример младшим, вмешивая французов в наши дела.

— Представьте, Владимир Александрович, или, скажем, Николай Александрович, или такой-то... какой ужас, — говорил я в своем служебном кабинете каждому из наших генералов, глядя прямо в глаза, — помощник начальника генерального штаба, генерал Видалон, жалуясь на поведение нашего офицерства, рассказал мне, что пять из находившихся в Париже русских генералов написали французам доносы друг на друга.

А всего ведь нас, генералов, как будто было шесть человек! Русский правящий класс лишний раз наглядно показал всю глубину своего разложения.

— Да, это действительно ужасно! — вздыхая, отвечал мне каждый из моих собеседников.

А я после этих бесед поставил себе целью ликвидировать мой комитет, состоявший уже из трехсот непрерывно грызущихся друг с другом бездельников, да так, чтобы не вызвать с их стороны ни одной жалобы французам.

Французского контролера удалось убедить, что для инвентаризации всех грузов и «отчетов» по заказам мне необходимо сохранить весь русский персонал до 1 января 1918 года, после чего выдать всем трехмесячное жалование по русским окладам, превосходившим французские более чем в шесть раз. Примера ради — от собственного недополученного жалования пришлось отказаться.

После этого для окончательной ликвидации и составления «отчетов» — оперативного, финансового, по русским войскам и по морским перевозкам — я временно оставил при себе лишь трех-четырех ближайших сотрудников, с которыми я когда-то начал дело, и пять писарей для составления общего документального «отчета о деятельности военного агента во Франции с 1912 по

1918 год». Мы работали над этими документами, стремясь выполнить наш долг до конца.

С моего тонувшего корабля бежали, как крысы, многие напуганные революцией и в панике потерявшие вместе с золотым погоном честь офицеры. Писаря же, скромные переписчики моего «отчета», — Волков, Найченко и другие, — сами не сознавали, какую великую нравственную поддержку они мне оказывали своим добросовестным отношением к служебным обязанностям. Когда, при окончании ликвидации, им стали предлагать перейти на работу в посольство, превращавшееся постепенно в белогвардейское представительство, они не соблазнились ни положением, ни более высоким окладом и все как один человек ответили:

— Мы с нашим генералом во Францию приехали, — только с ним и вернемся на родину!

Тяжко мне было не иметь возможности объяснить этим простым хорошим русским людям то, что в действительности происходило в России. Трудно даже теперь верится, что я впервые увидел портрет самого Ленина и прочитал о нем статью лишь 22 декабря 1917 года в сохраненном мною и по сей день номере журнала «Иллюстрасион». Как пришлись по сердцу моим скромным сотрудникам приведенные тогда слова Владимира Ильича о возможности пролетариату, по собственной инициативе, ликвидировать несправедливую войну превращением ее в гражданскую.

Между тем, осенью 1917 года, французские газеты печатали страшные вести о России. Они старались убедить, что большевики стремятся отстранить «народ» от управления страной. Власть, по их словам, будто бы захватила «небольшая группа политических утопистов», представлявшихся «Горой» времен французской революции.

Никому из русских, прибывших в Париж, не приходило в голову опровергать подобные нелепости, получавшиеся прямехонько от французской военной миссии в России. Возможностей для протеста, правда, ни у кого из нас не было: французская военная цензура становилась с каждым днем все более грозной:

— «Taisez vous! Méfiez vous! Les oreilles ennemies vous écoutent!»

«Молчите! Опасайтесь! Вражеские уши вас подслушивают!» — читалось и в вагонах метро и на стенках кафе.

От этого лозунга укрыться было некуда, и русская военная миссия, возглавлявшаяся военным агентом, могла лишь стремиться все более отмежевываться от всех остальных русских организаций в Париже.

Это, однако, и представило наибольшую трудность.

— Самым важным для вас, русских, — это держаться друг за друга, — советовали мне французские офицеры Гран Кю Жэ.

— Я, пгъавда, не вмешиваюсь в ваши дела, — твердил мне в другое ухо Маклаков, — но все же вы, как военный агент, не можете отказаться от солидагъности с посольством.

Приходилось отмалчиваться, страшиться каждого телефонного звонка, дабы избежать объяснений с хитроумным адвокатом-послом.

Добровольная и все более глубокая моя отчужденность от прежних посольских сослуживцев, негодовавших на Октябрьскую революцию, все же меня смущала.

— Правильно ли я поступаю, действуя на свой личный страх и ответственность? — спросил я при встрече прибывшего из России графа Коковцева, с которым приходилось нередко видеться в Петербурге.

Равнодушно меня выслушав, бывший царский премьер, считавшийся в петроградской кунсткамере хоть и не самым талантливым, но мудрым государственным мужем, глубокомысленно изрек:

— На вашем месте, граф, я взял бы отпуск!

Это было уже незамаскированное стремление совершенно устранить меня от работы.

Сам Коковцев использовал «предоставленный» ему Октябрьской революцией «отпуск», чтобы занять кресло в парижском филиале «Русского для внешних сношений банка», который был одним из каналов, питавших подготовку будущей иностранной интервенции в России.

Первым серьезным экзаменом для независимости положения, занятого русской военной миссией, явился Брест-Литовский мир.

Вместо обычного телефонного звонка посольство выслало на этот раз повестку, с приглашением принять участие в митинге, организуемом «всей русской колонией»

для публичного выражения протеста против «большевистского» мира.

Из этого для меня стало ясно, что пресловутый митинг, организованный самим Маклаковым и прочими прихлебателями французского министерства иностранных дел, являлся лишь предлогом антисоветской пропаганды. Решение я принял бесповоротное: русские военные на этот митинг не должны идти.

На этот раз они меня не подвели: ни один из моих подчиненных на митинг не пришел.

Однако это событие не помешало каждому из нас переживать его и подыскивать в душе если не оправдание, то объяснение этого неслыханно тяжкого мирного договора. Для меня пример наших бригад показал нежелание русских солдат воевать.

Из прошлого вспомнился и солдат с двумя вздетыми на штык караваями, со спокойной совестью решивший после Мукдена отправиться по шпалам к себе домой, в Тамбовскую губернию, и еще так недавно изложенные мне последним царским военным министром Беляевым данные о числе дезертиров в русской армии.

Ведь сам же я тогда ему ответил: «Если так — то пора кончать!»

В Париже в эти дни трудно было даже думать о мире с немцами. По ночам все чаще и громче завывали на весь город «сирены», и глухие разрывы бомб тонули в оглушительных залпах французских полевых орудий. Первые зенитные орудия охраняли еще только фронт, а первые образцы со специально обученной русской командой мне едва удалось отправить в Россию перед самой Октябрьской революцией. Команда эта была собрана, независимо от наших бригад, из направлявшихся ко мне французским командованием пленных, бежавших из германского плена. Это были настоящие смельчаки, которым особенно было дорого возвращение на родину.

Звучат и по сей день в ушах радостные звуки колокольного звона парижских церквей, знаменовавшего отбой после воздушной тревоги. То там, то сям в ночной мгле виднелись в подобные минуты зарева догоравших пожаров, а по утрам старик-консьерж м-сье Жюйльяр

подметал, бывало, на нашем дворе осколки французских шрапнелей.

Париж содрогался и, снова почуяв близкую опасность, принял к концу 1917 года вид той суровой решимости, которая поражала иностранцев с первых же дней войны.

Строгий военный режим был облегчен лишь разрешением, при условии полной маскировки, вечерних спектаклей; и в то же время, когда правительственные театры попрежнему продолжали бездействовать, частным предпринимателям удалось подыскать кое-где небольшие подвальные помещения для районных театриков.

— «Мы их одолеем, когда только захотим», — распевал под дружные аплодисменты какой-то эстрадный певец.

— «Ах, Гота, ах, Гота, пусть летят сколько хотят», — пели хором и артисты и зрители, подбадриваемые доносившимися в подвал звуками разрывов вражеских бомб.

— «Вставайте, мертвецы! Вперед, живые!» — как бы откликался в этой песенке девиз, брошенный французскому народу восьмидесятилетним Жоржем Клемансо.

Впервые за долгие годы французские правящие круги обуял страх, — страх перед властью одного человека, не только крепкого на слово, но и способного превратить его в дело.

Первыми «перестроились» французские военные корреспонденты. Вместо сообщений с фронта они занялись репортажем с сенсационных судебных процессов, возбуждавшихся против всех, и больших и малых, шпионов и соглашателей с Германией.

Больше всех дрожали перед своим председателем сами министры. Рассказывали, что престарелый министр иностранных дел Пишон так волновался перед каждым докладом Клемансо, что подолгу простаивал перед дверью его кабинета, — то брался за ручку двери, то отходил от нее.

Там, за дверьми, ведь сидел «тигр», как метко прозвали Клемансо французские солдаты. Этот «зверь» не рычит, он долго и молча подстерегает свою жертву, чтобы броситься на нее и уничтожить, и французский народ почувствовал, что нет более беспощадного врага для всех соглашателей с немцами, чем Клемансо. Но «тигр» не предвидел, что сломать себе зубы ему придется не на

французской, а на русской земле и не на немцах, а на столь ему ненавистных наших героях Одессы и Севастополя.

Излюбленным развлечением Клемансо было ставить собеседника одним своим острым словом в смехотворное положение. Анекдотам об этих выходках не было конца.

Приходит к нему, например, как-то на прием почтенная сестра милосердия, настоятельница того госпиталя, в котором лежал «тигр» после нанесенного ему, в самом центре Парижа, револьверного ранения.

— Ах! Это сестра Мария! Как же, как же! Я ведь так вам благодарен за уход! — встретил старуху Клемансо.

— А вы, господин президент, такой замечательный человек, — восторженно начала женщина в белом монашеском чепце, окаймленном широчайшими полями. — Одного вам только и не хватает, чтобы попасть в рай: святого причастия.

— Это тоже замечательно! Я как раз сегодня ночью видел об этом сон. Представьте, поднимаюсь я по лестнице, а на верхней площадке стоит сам Петр, с ключами от рая. «Кто этот старикашка? — спрашивает он. — А! Клемансо? Однако впустить вас не могу: вы ведь не говели!» — «Да если только за этим дело стало, — говорю я, — так я готов тотчас отговеть». Тут приводят меня в комнату, запирают и идут искать кюре (священника). Сижу я час, сижу два, начинаю, наконец, шуметь, прошу меня выпустить, а мне объясняют: «Весь, мол, рай обегали и ни одного кюре не нашли!»

Один только человек из ближайшего окружения грозного председателя совета министров проникал к нему в любые часы дня и ночи, без малейшего стеснения. Худощавый брюнет, красивые черты которого портил только несоразмерно длинный нос, Жорж Мандель, — он же Ротшильд, — своим сладким голосом и вкрадчивыми манерами напоминал скорее члена таинственного ордена иезуитов, чем члена шумливой палаты депутатов. Его бессменный безупречный черный костюм и черный галстук дополняли его личность, преисполненную самой корректной и доведенной до тонкости наглости.

— Плевать я хочу на мнение начальника генерального штаба! — мягко, не поднимая голоса, заявил мне Мандель, принимавший меня как-то по делу облегчения участи наших солдат.

Добиться приема у этого личного секретаря Клемансо, пожалуй, было так же трудно, как и у его шефа.

Моим осведомителем обо всем происходившем за стенами военного министерства, обращенного Манделем в какой-то средневековый замок, стал один из личных ординарцев Клемансо, прежний мой знакомый из 2-го бюро Гран Кю Жэ майор Франсуа Марсаль. В этом, дышащем здоровьем, дисциплинированном офицере я в те дни никак не мог подозревать крупного банковского дельца, дошедшего до поста министра финансов и закончившего свою карьеру, после скандальных спекуляций, за тюремной решеткой. А мало ли таких ловкачей продолжали гулять на свободе и попирать народные интересы, прикрываясь в военное время военным мундиром, а в мирное время деловыми связями и парламентской неприкосновенностью?

— Хуже всего, что вас не взлюбил сам Мандель, — объяснял он мне как-то трудность создавшегося для нас положения. — Вот, взгляните, что он на днях донес нашему шефу.

И Франсуа Марсаль вынул из папки лист бумаги, разлинованной на три графы: в первой — стояли фамилии и должности провинившихся, во второй — свершенные ими проступки, а третья графа оставалась для резолюции главы правительства.

«Буржуа Леон, — председатель сената,— обедал вчера в отдельном кабинете в компании не одной, а целых двух девиц».

Резолюция Клемансо: «Известная свинья!»

«Игнатьев Алексей, генерал, — частенько проводит ночи и выходит рано утром из дома № 26, на улице Пасси (адрес великой княгини Анастасии Михайловны).

Резолюция Клемансо: «Монархист и подозрительный германофил».

— Великой княгине уже за шестьдесят лет. Она, правда, пользовалась успехом у мужчин, и потому подобные намеки могли бы быть даже лестными, — засмеялся я. — Дочь ее замужем действительно за германским кронпринцем, но чем же я виноват, что встречал ее, вероятно, лет двадцать тому назад. Непостижимо, как могут полицейские бредни, достойные бульварной памфлетной газетенки, восходить до самого председателя совета министров! Неужели они могут ему импонировать?

— Вот, представьте, — вздохнул Франсуа Марсаль, — на этих бумажках-доносах и основана сила Манделя. Возвращается старик с фронта — усталый, разбитый, — а после ужина Мандель и подносит ему подобную записочку, даже без комментарий. Ему известно, что для бывшего журналиста и политического полемиста это — сущий клад и во всяком случае — забавное развлечение.

Мог ли я тогда предполагать, что тот самый Жорж Мандель, от которого столько пришлось претерпеть, — погибнет от руки тех, кого считал когда-то своими друзьями. Ослепленный ненавистью к нашей социалистической революции, Мандель не сумел предвидеть, на какое предательство Франции окажутся способными враги Советского Союза во вторую мировую войну.

С немалым трудом удалось мне быть принятым Клемансо в столь знакомом мне кабинете военного министерства на Рю Сен Доминик.

Из-под нависших суровых бровей глядел на меня откуда-то из глубины глазных орбит коренастый широкоплечий старик, в черной ермолке на совершенно лысой голове. На руках у него были надеты серые нитяные перчатки, скрывавшие, как мне объясняли, многолетнюю нервную экзему.

Я еще был одет в походную генеральскую форму, с орденом Владимира с мечами и бантом за маньчжурскую войну.

— Очень рад с вами познакомиться. Я привык относиться с уважением к генеральскому званию, — изрек старик, как бы намекая на потерю моего бывшего положения военного дипломата.

— Господин президент, — начал я, — ввиду непризнания нашим революционным правительством царских долгов я предлагаю вам, сохраняя необходимый для ликвидации мой текущий счет в Банк де Франс, принять от меня все военные материалы, ценностью до девятисот миллионов франков, оставшиеся от заказов военного времени. Они с избытком могли бы покрыть суммы, потребные вашему государственному банку для оплаты очередных купонов по русским займам.

«Уничтожу, — думалось мне, — сохраняя свой кредит, одним ударом самое сильное средство враждебной

нам пропаганды. Какой даже скромный француз не ходил два раза в год в свой банк отрезать очередной купон от русского займа!»

— Да, я уже в курсе этого дела и спешу поблагодарить вас, генерал, за ваш красивый жест, но государственные интересы заставляют меня отказаться от вашего предложения.

«Заберу я у тебя, — думал, вероятно, «тигр», — военные складики, а твои правители и скажут: «Ты, старик, сам развязываешь нам руки, не соблюдая конвенции по военному долгу. Лучше уж подожду, а зато потом сдеру все сполна, по всем долгам сразу».

— Вхожу в ваше положение, — продолжал Клемансо, — и потому ввиду непризнания нами правительства вашей страны я решил назначить, под вашим председательством, «ликвидационную комиссию» из представителей всех заинтересованных в русских делах наших министерств.

«Хорошо задумано, — мелькнуло у меня в голове. — Французы будут выносить решения, а я, как почетный председатель, — в них расписываться!»

— Благодарю вас со своей стороны, господин президент, — сказал я, — за высокую честь, но позвольте уж мне самому защищать интересы России, а «ликвидационной комиссии» — интересы Франции. Я убежден, что мы сумеем согласовать нашу работу по ликвидации.

— Положим-ка все это на бумагу, — отговорился старый политикан, не желая слишком быстро поступаться предложенным им самим решением.

После длительного обмена обстоятельно составленными письмами я в конце концов специальным декретом, разосланным всем французским ведомствам, был признан «единственным представителем русских государственных интересов во Франции».

Соглашение с Клемансо легло в основу всей моей последующей деятельности во Франции, и на мой текущий счет в Банк де Франс «должны были поступать все русские ценности, где бы и в какой бы форме они ни находились».

Кроме того, при всех переговорах и соглашениях я настаивал, чтобы Россия признавалась в границах 1914 года.

— Не может же один только русский народ отвечать за военный долг, сделанный всей страной во время мировой войны, — доказывал я французским чиновникам — составителям соглашения.

Это, между прочим, давало мне возможность вставлять палки в колеса тем политическим деятелям, которые, после признания независимой Польши, безо всякого стеснения стремились оторвать от России, одну за другой, исконные русские губернии, лишая наш народ плодов тех вековых трудов, что были им положены для выхода к берегам Балтики.

Соглашение с Клемансо особенно пригодилось в последующую эпоху интервенции, так как Франция перестала быть надежным убежищем для похищенных русских государственных ценностей. Немало ведь тогда находилось так называемых «спасителей России», «спасавших» от большевиков все, что только возможно было вывезти из нашей страны.

«В Марсельском порту выгружен морской кабель, на который претендует один из наших банков, — сообщила мне в период врангелевской авантюры французская «ликвидационная комиссия», — но морской префект выражает сомнение в происхождении этого ценного морского имущества».

«Морской кабель изготовляется только на нашем казенном заводе в Николаеве и потому частной собственностью стать не мог. Продать и вырученную сумму внести на мой текущий счет в Банк де Франс за № 5694», — положил я на этой бумаге свою резолюцию.

Так Клемансо, заклятый враг Октябрьской революции, не подозревая последствий, сам предоставил мне возможность бороться с происками пособников будущей вооруженной интервенции против Советской России. Доступ к русскому пороху и к русским снарядам, хранившимся на наших складах во Франции, был для них крепко закрыт.

С выходом России из войны еще более усложнилось положение, в котором находились русские военнослужащие во Франции после Октябрьской революции.

С французской главной квартирой, связь с которой, после передачи мне генералом Занкевичем своих полно-

мочий, поддерживалась только одним из офицеров нашего генерального штаба, расстаться было нетрудно.

— Спасибо вам за радушие и гостеприимство, — сказал я на прощание французским товарищам.

Несравненно тяжелее было расписаться в получении от генерала Лохвицкого служебного документа, передавшего мне все права по руководству русскими бригадами, врученные ему в свою очередь генералом Занкевичем. Пришлось стать каким-то козлом отпущения за все грехи, содеянные нашими генералами и комиссарами Временного правительства, а сама передача чисто фиктивных полномочий по войскам теми, кто всячески дискредитировал меня в глазах солдат, звучала попросту злой насмешкой. Да и о каких правах можно было говорить, когда французское правительство, изверившись в русском командовании, создало уже к тому времени специальную организацию для наших войск с одним из собственных престарелых генералов во главе.

Путем личных переговоров с Клемансо мне удалось добиться освобождения из крепости части приговоренных на каторгу солдат, зачинщиков куртинского восстания, и выхлопотать смягчение участи наших солдат, отправленных в Африку. Отказавшись и воевать и работать на французском фронте, они уже строили дороги под палящим зноем пустыни. Они страдали за то, что не хотели отказаться от охватившего их страстного желания вернуться на родину и принять участие в революции. Но где бы нашелся в ту пору тот иностранный капитан корабля, который дерзнул хотя бы бросить якорь у советских берегов?

Тотальная подводная война, объявленная Германией союзникам, служила достаточно серьезным мотивом для отклонения всех моих ходатайств о предоставлении тоннажа, необходимого для отправки в Россию наших бригад.

Русские дела уже отходили на второй план. Сперва о них боялись даже думать, потом стали приглядываться и откладывать в тот долгий ящик, в котором оказывались во Франции все дела, способные нарушить мирное житье политических дельцов.

Начавшееся после апрельского наступления 1917 года затишье на Западном фронте, в связи с переброской с нашего фронта германских дивизий, предвещало бурю,

которая для всех, подобно мне не посвященных в обстановку на фронте, налетела неожиданно.

Дело началось в ночь с 23 на 24 марта 1918 года, отмеченную не одним обычным, а тремя повторными воздушными налетами на Париж. Грохот канонады сменялся звоном церковных колоколов до самого рассвета.

В семь часов утра я, по обычаю, встал и пошел взять ванну, но едва занес в воду ногу, как услышал сильнейший, как мне показалось, разрыв бомбы, потрясший окна нашей квартиры на Кэ Бурбон. Сирены, однако, молчали, и мы еще более были удивлены, когда, ровно в семь часов пятнадцать минут раздался такой же удар, а в семь часов тридцать минут — третий, несколько более отдаленный.

«Неспроста это дело, — подумал я, — немцы всегда верны себе, и подобное психическое воздействие принято ими как подготовка к чему-нибудь серьезному на фронте».

Выйдя с женой на набережную, мы убедились, что не только автомобилей, но даже пешеходов не было видно, хотя воздушной тревоги так и не было объявлено. В это солнечное утро Париж замер от продолжавшихся и никому не понятных сильных разрывов каких-то неведомых бомб.

К полудню разрывы стали реже, город принял свой обычный вид, но, отправляясь на завтрак, парижане еще долго всматривались в ясное, безоблачное небо, стремясь разглядеть в нем неведомого врага.

В моей канцелярии тоже шли суды и пересуды, и все набрасывались на наших артиллеристов, неспособных объяснить новый вид бомбардировки города. Мы побежали во французское военное министерство, но там только к вечеру удалось удостовериться, что найденные в различных районах Парижа осколки принадлежат какому-то неведомому артиллерийскому «сверхснаряду», прилетевшему с расстояния ста двадцати километров. Так мы познакомились с «Большой Бертой».

С этой минуты парижские жители разделились на тех, кто не боялся грома войны, и на других — спасавшихся от него. У вокзала д'Орсэ, откуда направлялись поезда на Бордо, с утра виднелись длинные очереди людей зажиточных, давно забывших из-за отсутствия горючего про свои машины. Они скромно стояли часами у тачек

с чемоданами, ожидая очереди на подземную платформу вокзала. Собиравшиеся там представители «Tout Paris»— «всего Парижа», еще до посадки чувствовали себя уже почти в безопасности.

— У меня, знаете, неотложные дела в деревне,— старался объяснить один из них свой отъезд.

— А у меня тетушка опасно заболела.

— А мне необходимо выступить на судебном процессе в Перпиньяне!

— Ну, а вы, Саша, куда едете? — обратился кто-то к стоявшему в сторонке молодому красивому мужчине в пальто с поднятым воротником и с глубоко надвинутой на голову мягкой шляпой.

— Что касается меня, — ответил этот популярный актер — Саша Гитри, — то я не отрицаю: мне просто страшно! Мало ли что люди от страха совершают!

И когда, много лет спустя, я услышал имя этого актера среди прислужников Петена, или, что то же, — Гитлера, — я не удивился: от трусости до предательства — один шаг.

Тяжелее всего мне было привыкнуть к своей оторванности от фронта, жить в неизвестности о происходивших на нем переменах, довольствуясь все более и более скудными и часто подтасованными газетными сводками. Как старый работник Гран Кю Жэ, слухам я никакого значения не придавал.

Из двух-трех бесед с тем же Франсуа Марсалем, который ввел меня к Клемансо, можно было заключить, что французам в марте, апреле и мае пришлось пережить тяжелые дни: германские силы после переброски дивизий с русского фронта исчислялись в 195 дивизий против 162 дивизий союзников (97 — французских, 47 — английских, 12 — бельгийских, 2 — португальских и вначале только 4 — американских). Мои предположения в первый день обстрела Парижа о существовании «Большой Берты» меня не обманули.

После первого немецкого удара 23 марта 1918 года на Амьен и захвата ими Мондидье, ровно через месяц, последовал второй удар в направлении морского порта Кале с захватом Армантьера. Затем, после этих двух ударов против англичан, в конце мая был прорван француз-

ский фронт между Суассоном и Реймсом и перерезана железная дорога между Парижем и Нанси.

Немцы не жалели ни людей, ни материала и впервые на фронте в восемьдесят километров, между Шато-Тьери и Реймсом, сосредоточили для удара сорок четыре дивизии. Такой плотности в атаке Западный фронт еще не знавал, и большая глубина прорыва невольно могла смутить непосвященных, подобно мне, в тайны командования военных наблюдателей.

Конец, однако, венчает дело. Переход нового главнокомандующего французскими армиями генерала Фоша в наступление во фланги зарвавшемуся неприятелю положил начало немецкой катастрофе: 17 августа состоялся общий переход в наступление всех союзных армий от моря до Вогезов протяжением в восемьсот километров.

Утро достопамятного дня 11 ноября 1918 года выпало серое, сырое, неприветливое. Мы уже знали из газет, что ровно в одиннадцать часов утра наступит торжественная минута: на фронтах всех армий прозвучит долгожданный сигнал «Отбой!» сигнал, знаменующий конец испытаний и страданий четырех лет войны.

И все же больно еще было чувствовать, что для меня, как представителя той армии, которая принесла столько жертв для разгрома вильгельмовской Германии, — нет места на этом торжестве.

Лучшим средством для борьбы с черными мыслями является физический труд, и потому, вооружившись киркой и лопатой, я с утра с остервенением выкорчевывал твердые, как железо, корни старых кленов на нашем огороде.

За тоненькой и наполовину завалившейся железной решеткой, отделявшей нас от соседнего огорода, перекапывал землю мой сосед — отставной майор. Под ветхим костюмом чернорабочего, в тяжелых sabots (деревянных башмаках) трудно было распознать в этом высохшем необщительном старике еще недавно блестящего офицера, наездника «Cadres Noirs» Сомюрской кавалерийской школы. Всю свою жизнь он имел больше дело не с людьми, а с лошадьми, и теперь, уволенный по предельному возрасту в отставку, он по привычке пытался «дрессировать», как он выражался, забитую уже им

болезненную жену, трех непокорных дочерей и добродушного породистого сеттера.

За выкрашенными заново стенами двухэтажного дома майора, выходившего фасадом на наш огород, разыгрывалась уже не «собачья», а «человеческая» драма, отзвуки которой доносились до нас лишь под вечер, когда в час ужина обычно неразговорчивый, но любезный до приторности майор разражался диким ревом на запуганную им семью. Он мог существовать на пенсию и ренту с капитала жены, не зная, казалось бы, нужды, но богатство Франции основано на скупости ее граждан, и скупой майор остался верен своему скопидомству даже в те дни, когда от денег зависела жизнь его любимой дочери.

— Я, к сожалению, — говорил он, — не имею средств послать ее в горы, как этого требуют врачи, признавшие ее туберкулезной!..

Так последовательно, на моей памяти, майор похоронил и жену и двух дочерей.

Однако в это утро 11 ноября в его обросшем шерстью сердце возникло сожаление о бесцельно прожитой жизни. Опершись на лопату и смахнув навертывавшуюся слезу, старик сказал:

— Да, mon général (мой генерал), за что мы с вами так долго служили? Какую награду получили? Этот торжественный час победы мы проводим с вами здесь, вдали от ликующих наших товарищей, ковыряясь на наших огородах...

Я ничего не ответил этому жалкому и не приятному для меня человеку. Да, мне было тяжело и одиноко. Но я глубоко верил, что жизнь моя не кончена. Я смотрел вперед. Я знал: труден и тернист будет мой путь на родину. Но без нее я не представлял своей жизни. Тот час, когда нога моя ступит на родную землю и я вдохну запах родных русских полей и лесов, будет для меня высшей наградой, о которой могу я мечтать сейчас.

Но меня все же тянуло в Париж. Хотелось хоть украдкой, со стороны взглянуть, что там происходит, и еще засветло мы с Наташей вышли из поезда на вокзале Сен-Лазар. Метро не действовало, такси и автобусы не ходили, и мы пешком двинулись на свою квартиру на Кэ Бурбон.

Широкая улица Обэр, выводившая нас на площадь де л'Опера̀, успела уже принять праздничный вид. Со всех балконов свешивались флаги союзных наций: приятные в своей простоте сине-бело-красные — французские, пестрые бело-красные — английские и более редко встречавшиеся — американские, и то тут, то там — флаги всех других союзных государств. Тщетно глаз искал свой родной — русский: старый трехцветный флаг отжил свой век, а наш красный символизировал самую страшную для всего капиталистического мира опасность — пролетарскую революцию!

Нас обгоняли люди всех возрастов и сословий, спешившие к Большим бульварам, откуда доносились звуки музыки, прерываемые отдаленными криками толпы.

Как оказалось, площадь де л'Опера̀ представляла центр ликования народа, освободившегося от бремени войны. Люди опьянели от свалившегося на них счастья.

По казавшимся когда-то широким, а теперь уже тесным для автомобильного движения бульварам двигалась бесконечная колонна открытых грузовиков, набитых до отказа солдатами. Серо-голубые шинели французских солдат тонули в необъятной массе френчей цвета хаки союзников. Все уже успели хорошо подвыпить, и даже невозмутимые англичане, прозванные «томми», оживились.

— «Хип, хип, ура!» — дружно, в один голос, кричали они в ответ на восторженные крики: «Браво, англичане!» экспансивных парижанок, махавших платочками.

Главную же массу проезжавших солдат составляли новые «спасители Франции», прибывшие к шапочному разбору американцы. Понять, что такое они кричат, было столь же трудно, как и различить, что же собственно это за люди, столь отличные и по наружности и по жестам от европейцев.

Между тем за плотной стеной бульварных зевак, любовавшихся проезжавшими солдатами, на асфальтированной площадке перед зданием театра Гранд Опера̀ продолжался непрерывный бал.

Схватившись за руки и захватывая на ходу прохожих, молодежь образовала непрерывную цепочку и вместо хороводов бегала в такт оркестра, меняя направление и следуя за головными. Этот древний танец «фарандола»

как нельзя лучше отражал тот единый порыв радости, что спаял в этот день ликующих парижан.

Мы примостились в сторонке, на углу площади у газетного киоска. Вид у меня был непраздничный — прямо с огорода, в мягкой фетровой шляпе, подержанном осеннем пальто, с большим закинутым через плечо теплым вязаным шарфом...

Заглядевшись по старой военно-агентской привычке на грузовики с солдатами, я и не заметил, как «цепочка» фарандолы стала приближаться к киоску, незаметно расширяя круг, образовавшийся около нас. И вдруг, неожиданно, как по знаку невидимого дирижера, вся эта кружившаяся возле нас толпа молодежи воскликнула:

— Vive la Russie! — Да здравствует Россия!

Сердце мое, казалось, разорвется от радости, гордости и счастья. Сигнал был подан, и возгласы: «Да здравствует Россия!» неслись уже со всех сторон, заглушая оркестр и приветствия другим союзникам.

Я снял шляпу, кричал: «Vive la France!» — Да здравствует Франция! — а к жене, стоявшей за моим плечом, подбежал незнакомый солдат в берете альпийского стрелка и сказал на ухо: «On a fêté comme en a pu!» — Отпраздновали как могли!

Стало ясно, что меня кто-то узнал, и надо было уходить. Но толпа окружила нас и провожала по широкому авеню де л'Опера̀ до самой реки Сены.

Приказ грозного Клемансо не в силах был подавить благодарных чувств французского народа к России, и никакие парады, на которые меня уже не приглашали, не могли сравниться с тем праздником, что представляла для меня эта демонстрация вспомнивших о заслугах родной русской армии парижан в самый счастливый для них день — день перемирия!

Глава четвертая

В ОКРУЖЕНИИ

Война окончилась, но мир не наступил.

О нем, правда, напоминали мраморные кони при въезде на Елисейские поля: как и все другие памятники, их спешно освобождали от мешков с песком, но тут же,

неподалеку, поднимали к нему свои жерла желто-зеленые немецкие пушки, — жалкие трофеи победителей. Германская армия с ружьями и пулеметами, не признавая себя побежденной, возвращалась в свою страну.

— Вот увидите, они еще покажут!.. — с опаской, не желая раскрывать передо мной свои монархические идеалы, нашептывали наши российские германофилы, о существовании которых я, за время своего пребывания во Франции, признаться, позабыл. Что могли «показать» немцы, — для меня оставалось непонятным, и подобные злостные разговоры только меня раздражали, еще больше увеличивая брешь между мной и белогвардейской «зарубежной Россией».

Однако пришлось призадуматься, узнав из газет о сформировании Скоропадским, при поддержке немцев, «украинского правительства». Ушам не верилось: Скоропадский, бывший адъютант нашего кавалергардского полка, в роли гетмана!

Кто-то на смех всем старшим офицерам выдвинул его на считавшуюся в то время самой почетной должность адъютанта гвардейского полка. Гордясь своим украинским, или, как тогда говорилось, «малороссийским», происхождением, Скоропадский, как это ни странно, нашел покровителей в лице командира полка генерала фон Грюнвальда, командира эскадрона барона Гойнинген-Гюне и иже с ними. Словом, как писал Мятлев:

Средь немцев тайных, немцев явных
и он нашел себе трамплин.

Вторая мировая война открыла глаза на многое пережитое, но тогда еще не продуманное из старого мира.

Скоропадский кичился своими предками — тоже гетманами, а немцы давно зарились на житницу Европы — Украину.

Я оказался изолированным от ликований опьяненного победой буржуазного Парижа. Но нашелся, однако, человек, который вспомнил обо мне как о бывшем союзнике, и пожелал, чтобы я принял участие в банкете, данном в его честь в межсоюзническом военном клубе. Отказать в этом маршалу Фошу я не мог, потому что, помимо военной этики, я, по соглашению с французским

правительством, сохранял звание военного агента и председателя «русского заготовительного комитета». Держался я на волоске, и ссориться с Фошем в интересах русского дела не следовало.

Зная недружелюбное ко мне отношение представителей союзных армий после заключения Брест-Литовского мира, я, избегая уколов с их стороны, постарался смешаться с толпой гостей, ожидавших приезд героя дня — главнокомандующего.

Сухощавый, бодрый маршал, при входе в зал, приостановился, окинул всех взглядом и, сложив руки, как бы собираясь броситься в воду, смело врезался в толпу, расчищая себе путь в моем направлении.

— Я жму вашу руку, генерал, в знак того глубокого уважения и нашей вечной признательности, которые мы храним к доблестной русской армии! — сказал он громко, явно рассчитывая на уши присутствующих корреспондентов.

В те далекие дни я настолько был выключен из официальной жизни и не осведомлен о закулисной политике французского правительства, что и не подозревал об уже готовившейся в великом секрете интервенции против Советской России при участии в этом самого Фоша.

Не все присутствовавшие на банкете, быть может, поняли жест маршала по отношению ко мне, но за чашкой кофе после обеда уже стали постепенно возобновлять прерванное со мною знакомство.

Среди подошедших военных меня поразил своей неказистой внешностью генерал с пятью серебряными звездочками на рукаве — отличием, соответствовавшим положению командующего армией.

— Манжен, — глухо и резко сказал этот маленький человечек, пожимая мне руку. — Вы, конечно, меня не узнаете, а я вот до сих пор остался вам признателен за посещение моей бригады в Артуа, в тысяча девятьсот пятнадцатом году. Я был тогда еще полковником, мне необходимо было поднять дух своих солдат, взглянуть на представителя союзной армии, почувствовать, что мы не одни. Помните, как при обходе траншей мы добрались до передового секрета, под кладбищем, где подслушивали немецкую речь. Всего ведь в шести шагах от «бошей»... — И он по примеру маршала сочувственно еще раз пожал мне руку.

Манжен — этот скромный по происхождению и невзрачный с виду генерал, по странной случайности, ушел на тот свет при более чем загадочных обстоятельствах.

Внешняя мирная жизнь как будто быстро вступала в свои права. С какой поспешностью бежали мы в первую попавшуюся булочную, в которой стали продаваться довоенные хрустящие батоны и горячие рогалики, с какой неподдельной радостью прошлись по разбуженным от четырехлетнего сна бульварам и площадям. Они местами были уже залиты новым отраженным электрическим светом, открывавшим контуры закоптевших от времени парижских дворцов, которые казались под этим волшебным освещением помолодевшими. Но стоило только проникнуть в один из них, как сразу можно было понять, что люди, пережившие все ужасы войны, душой не обновились, к перестройке мира на новых, лучших началах не стремились, а попросту цеплялись за войну как за источник собственного благополучия.

Захлебываясь от восторга, рассказывал какой-то член фешенебельного Жокей-клуба, не успевший скинуть офицерского мундира, о вторжении французской армии в Рейнскую область, о широких перспективах, открывавшихся для французской промышленности после захвата Рурской области. А там, в углу, строились проекты о вывозе через Одессу дешевого украинского хлеба и о неисчерпаемых нефтяных богатствах Баку. Империализм впервые становился для меня конкретным понятием.

Вокруг меня собиралась молодежь — несколько членов клуба, только что демобилизованных сержантов и рядовых, сыновей парижской знати. Они старались уяснить себе социальный характер нашей революции.

— Неужели и у нас возможна подобная революция? — спрашивали они.

— Да вот взгляните хотя бы на мраморную мемориальную доску в нашем вестибюле: на ней выгравированы имена наших коллег — членов Жокей-клуба, павших на поле чести. Но на той же, а не на другой доске выгравированы имена и погибших на войне наших лакеев и поваров. Ведь, пожалуй, благодаря этому мы еще можем рассчитывать получить здесь чашку чаю, — пытался

я в наиболее доходчивой для них форме объяснить существо происшедших демократических перемен.

— Да, вы правы, — соглашалась молодежь. — Война нас многому научила.

Однако это были лишь слова, — война ничему не научила французскую буржуазию, которая погрязла в продажности.

Старые члены клуба все чаще старались избегать встреч со мной. Многие из них — представители родовитой французской аристократии, — забросив свои поместья и военную службу, находили постепенно применение своим громким фамилиям в выраставших, как грибы, банках, трестах и концернах. За «зеленым» столом в клубе играли «по-крупному».

В этом замкнутом кругу когда-то люди отгораживались от бури политических страстей. Теперь же победа настолько их ослепила, что они возомнили себя финансовыми и политическими деятелями, носителями чуть ли не тех традиций, которые их предки безвозвратно утратили уже более ста лет тому назад. Они только понимали, что единственной теперь для них опорой являются деньги. Крушение трех империй открывало широкие горизонты для новых дельцов, заполонивших Париж. Не могли же они смотреть без зависти на такого выскочку, как Лушер, который, получив хорошие деньги за проведение монополии во Франции бразильского кофе, сумел купить себе, правда, хоть и не титул, но во всяком случае настоящий герцогский замок.

«Деньги не пахнут», — а местом, где не только деньги, но даже крупнейшие промышленные предприятия теряют свое лицо, приобретая и утрачивая свою ценность в зависимости от комбинаций искателей наживы, является, как известно, — биржа. Окружавшие это величественное, построенное архитектором Броньяром в 1808 году здание грязненькие кафе бывали в довоенное время набиты мелкими комиссионерами, агентами, журналистами. Но времена переменились, и, к немалому моему удивлению, как раз в подобном кафе один из моих когда-то шикарных коллег по Жокей-клубу назначил мне свидание.

— Извините, — но я ведь тут работаю и слежу через своих агентов за движением акций, — как бы оправды-

ваясь, объяснял мне мой приятель. — Что вы, между прочим, думаете о русских бумагах? Понижение их ведь только временное. Колчак почему-то отступил, но все поговаривают, что к новому году большевики, наверно, падут.

В это время через открытые двери кафе с широкой площадки перед зданием биржи доносился рев человеческих голосов, — именно, не крики, а рев, среди которого кое-когда можно было улавливать и русские имена: «Манташев!»... «Мальцев!»... «Лианозов!»...

Шла обычная котировка акций, цены на которые записывались мелом на досках с тем, чтобы тут же по выкрикам агентов их можно было изменить.

— Что вы думаете о нашей бирже? — спросили в 1923 году приглашенного в Париж председателя нашей Нижегородской ярмарки Малышева.

— Частенько мне приходилось бывать на кладбищах, — ответил он, — но никогда я не слышал, чтобы покойники могли так громко кричать!

Аппетиты на наши русские богатства росли с приездом их прежних владельцев, один за другим пробиравшихся в Париж для пропаганды новой войны на смену провалившегося «священного похода против большевиков».

— Раз русское посольство и русское консульство существуют, — рассуждали они, — так и Россия существует. Требуется лишь засвидетельствовать свои священные права на собственность, а в этом можно кое-кого и заинтересовать в одном из официальных учреждений, а тогда и продать за несколько миллионов свои акции: один раз, скажем, — голландцам, другой раз — англичанам...

Застывшая в конце войны деятельность Маклакова оживлялась с прибытием каждого нового русского эмигранта, особливо если он был при деньгах.

— Мы огъганизуемся,— объяснял мне Маклаков,— и подумайте, в нашем «политическом совещании» я добился того, что Савинков — отъявленный политический преступник — теперь здесь, в Париже, первый салонный оратор, согласился заседать рядом с Сазоновым! Это ли не успех? Наш пгъедседатель, князь Львов, просит вас,

Алексей Алексеевич, непременно к нему зайти по крайне важному и касающемуся вас государственному делу.

Бывший председатель Временного правительства оказался сухоньким старичком с небольшой козлиной бородкой — одним из тех серeньких людей, про которых просто говорят, что они «очень любезны».

— Хотя, по вине большевиков, Россия и не допущена к переговорам о заключении союзниками мирного договора с Германией...

— Виноват, — прервал я с первых слов старичка, — какие же могут быть переговоры о мире без участия России?

— Вот именно из этих-то соображений мы и поставили себе задачей защищать интересы России всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, — объяснил Львов. Этот защитник России, выкинутый народом за борт истории, пытался изображать из себя государственного деятеля, заботящегося об ее интересах, а не о собственной шкуре. — Мы, между прочим, предполагаем подать господину Клемансо обстоятельный «меморандум», для составления которого привлекаем наших лучших специалистов, в том числе и военных. Вы, конечно, не вправе отрицать компетентности такого военного эксперта, как генерал Палицын, с которым мы вас и просим установить будущую желательную для России государственную границу.

«Вовлекают они меня под благовидным предлогом в свою политическую игру, — подумалось мне. — Неужели придется опять работать с Палицыным? Положим, эта хитрая служивая лиса на авантюру не пойдет! Придется, пожалуй, согласиться. Разобраться-то я сумею, а при том невежестве, которое всегда проявляло французское министерство иностранных дел в отношении всего, что касалось России, вопрос о восточных границах Польши, для нас столь важный, мог, как я опасался, получить на Парижской мирной конференции самое нелепое разрешение».

Трудно припомнить, кто были членами военной комиссии Палицына, настолько они уже были далеки от меня. Я просто предложил Палицыну взять работу на дом и, вспомнив лекции по военной географии нашего академического профессора Золотарева, прочертил границу на

основании принятого тогда этнографического принципа. Как оказалось впоследствии, эта граница почти совпадала с той, что была установлена с Польшей перед второй мировой войной.

Больше ни со Львовым, ни с Палицыным мне не довелось встречаться, и потому я немало был удивлен появлением через некоторое время в своем служебном кабинете молодого человека, рекомендовавшего себя секретарем «политического совещания». Он подал мне довольно толстый денежный пакет и просил расписаться в получении «гонорара» за работу, произведенную по выработке условий мирного договора. В ту пору всякий, даже самый невинный, документ приобретал особенное значение, свидетельствуя о принадлежности подписавшего его к той или другой политической организации.

«К сожалению, принять денег не могу, — написал я на возвращаемом обратно конверте, — так как не знаю, из каких сумм и на каком основании они мне направлены».

Так безболезненно удалось разрушить хитроумный план Маклакова втянуть меня в число представителей «зарубежной России». Впрочем, некоторые из них еще долго не отказывались от мысли завлечь меня в свой лагерь.

Тягостным и неопределенным, однако, оставалось положение с Маклаковым, продолжавшим все еще со мной считаться. Он водил за нос всех остальных членов «политического совещания» и, конечно, сознавая силу денег, не упускал из виду тех миллионов, что собирались после ликвидации на моем текущем счету в Банк де Франс. Ярый враг советского народа, Маклаков не терял надежды на то, что контрреволюция в России победит.

— Вот не слушались меня, потегъяли Игнатьева, — говаривал он впоследствии, — а у него ведь и деньги и снагъяды. Вот с «интервенцией» ничего и не выходит!

Не могли также воинствующие члены «политического совещания» отказаться и от использования в своих целях нескольких сот русских офицеров и двадцати примерно тысяч солдат, остававшихся во Франции.

«Вместо генерала, — решили они, — возьмем русского же адмирала, — благо они сейчас в моде и у нас, и у французов, да и сношения с французами будут этим

облегчены. Зачислится русский адмирал на французскую службу, оденется во французский мундир, и тогда ни один русский офицер или солдат ослушаться его не осмелится».

Так рассуждали, по всей вероятности, «мудрецы с Рю де Гренелль» (улица, на которой размещалось посольство), направляя ко мне для переговоров бывшего русского морского агента во Франции адмирала Погуляева.

— У него «большие заслуги», он специалист по вождению министерских и придворных катеров, — презрительно отзывался когда-то об этом офицере мой морской коллега по службе в Швеции Петров, не покинувший Россию и перешедший в Красный флот.

С чувством своего превосходства, переодевшийся во французскую форму, адмирал Погуляев с первых же слов предложил мне передать ему если не все дела, то хотя бы те, что касались русских войск во Франции.

Коротким и внушительным было наше с ним объяснение. Он говорил по-русски, а я отвечал ему по-французски, подчеркивая этим, что не признаю в нем больше русского человека.

— Удивляюсь, что вы позволяете себе не выполнять моей просьбы. Я бы на вашем месте давно покинул бы свой пост, — заявил мне «французский» адмирал.

— Pardon, amiral, permettez au général russe, que je suis, de connaître mieux que vous ses devoirs. J'ai l'honneur... (Простите, адмирал, но позвольте мне, русскому генералу, лучше вашего знать свои обязанности. Честь имею...)

Недолго держался у власти Погуляев. Его постепенно заменили военные представители Колчака, северного правительства, Юденича и Деникина, с которыми «политическое совещание» налаживало непосредственную связь. Засылать их ко мне больше никто не пытался.

Во Франции ведущую роль в политике «интервенции» взяло на себя морское министерство. Недаром ведь французский флот всегда отличался реакционностью офицерских кадров и вольным революционным духом своих команд.

Им-то, французским морякам, и выпало на долю первыми во Франции поднять красный флаг на своих воен-

ных кораблях и не словами, а делом напомнить Клемансо и Фошу о принципах пролетарской революционной солидарности и нарушить с первых же шагов планы черноморской «интервенции».

Французская эскадра, прибывшая уже в конце 1918 года на одесский рейд и посланная затем для захвата Севастополя, вписала революционными восстаниями на судах первую страницу новой книги франко-русских отношений, не морских, не военных, а уже революционных. Примеру команды миноносца «Протэ», поднявшей восстание, последовали, одна за другой, команды линкоров «Франс», «Жан Бар», «Вальдек Руссо» и многие другие, воскрешая традиции своей когда-то самой революционной страны в Европе.

В историю международного революционного движения ярким эпизодом вошло братание русских рабочих с высадившимися на берег морскими патрулями и переброшенными через румынскую границу частями 58-го и 176-го пехотных полков.

Эта демонстрация пролетарской солидарности лучших сынов Франции с русской революцией вызвала бешенство в правительственных кругах. Французские моряки и солдаты, осмелившиеся по-братски пожать руку русским рабочим, были строго наказаны.

Так первая же попытка буржуазного мира поддержать вооруженными силами еще не стертые с лица нашей земли белогвардейские банды, отряды, а впоследствии и целые армии — возымела для этого мира обратные результаты: зажженный Октябрьской революцией факел свободы передавался, как по эстафете, с границ нашей Советской страны до портовых верфей Франции, до фабричных ворот, до заводских цехов и парижских «бистро», освещая французам путь в общий для нас с ними новый мир.

Временно затихшая черноморская интервенция ожила с появлением Деникина. Он заинтересовал и французов и русских горе-политиков с Рю де Гренелль. С ним можно было «делать дела», но его требовалось финансировать, однако по мере отступления Колчака за Урал это становилось все труднее.

Одним из главных денежных источников для белогвардейских организаций являлся Русско-Азиатский банк, но до меня дошли сведения, что приехавший в Париж председатель этого банка Путилов ведет двойную игру.

Это меня живо заинтересовало, и я принял предложение позавтракать с Путиловым с глазу на глаз в одном из самых фешенебельных ресторанов.

— Я ведь из мужичков, ваше сиятельство, — представился мне этот небольшого роста, еще вполне бодрый старичок, напоминавший своей внешностью не то дьячка, не то церковного старосту. — Не посетуйте, напрямки буду говорить. Мы вот в Константинополе два пароходика для Деникина грузим, а я вот подумываю (оглядевшись по сторонам), — не опасно ли? Груз-то ценный. Много тысяч в него вложено. А ведь заплатят «деникинскими». Вот я и решил вас побеспокоить, не обман ли тут какой кроется. А?

— Но вы-то сами все еще продолжаете ведь верить в «единую и неделимую»? Позвольте вам по этому поводу рассказать про доклад, который нам делал еще в прошлом году посланец от Колчака. Он убеждал нас, между прочим, в скором падении советской власти, а на это мой писарь Мамонтов взял да одним словом его и убил: «Непонятно, как это выходит, господин капитан. Уж если вам приходится отступать, так, значит, Красная Армия не так уж слаба!» А что меня касается, то я вам скажу, что в этот день Колчак для меня был кончен.

— А как же иностранцы все-таки нас поддерживают?

— А уверены ли вы в них? Вот я вчера на перекрестке банкира, барона Жака Гинзбурга, встретил. Он же ваш французский вице-председатель в Русско-Азиатском банке, а мой давнишний знакомый. «Иду, говорит, на заседание по деникинским делам». А как раз мимо нас автомобиль пролетает. Я и хватаю старика за рукав: «Prenez garde! — Берегитесь!» — шепнул я ему. Если бы вы видели, как он побледнел! «Да успокойтесь, — сказал я ему, — я ведь только боялся, чтобы автомобиль вас не задавил!»

— Шутить изволите, а все же не могу я поверить, чтобы иностранцы дураками оказались,— вздохнул Путилов.

— Не берусь судить, простаки они или мудрецы, только я не перестаю повторять французским генералам, что все они, пойдя на Россию, в воду будут сброшены. Морей-то вокруг нас для этого хватит.

— Не может быть, не может быть! — повторял мой собеседник.

От волнения он даже встал из-за стола и, забывая про присутствовавших, стал нервно шагать по ресторану. Меня же охватило неудержимое желание вырвать у ведшего темную игру Маклакова одно из важных средств финансирования интервенции. Подобному дельцу, как Путилов, ничего дороже денег быть ведь не могло.

— Ну, решено! Товар-то на воде придется перепродать. — И Путилов тут же заказал бутылку наилучшего шампанского.

— Ваше здоровье, ваше сиятельство!

Намаявшись в переговорах о деньгах с финансистами, подобными Путилову, Маклаков решил произвести последнюю, но решительную атаку против «непокорного», упорно отстаивавшего свою независимость военного агента и, попросив меня заехать по «неотложному делу», вместо обычных любезных недоговоренностей сразу поставил вопрос ребром:

— Мне стало известно, что вы в настоящий момент ведете пегъеговогъы с фигъмой Ггъаммон о ликвидации договогъа на пушечные гильзы.

— Вам сообщил это генерал Свидерский? (Начальник артиллерийского отдела в моем комитете, согласившийся за моей спиной сотрудничать одновременно и с «политическим совещанием».) Я уже предложил ему сдать дела, — ответил я Маклакову.

— Ну, хотя бы и он, — отмахиваясь как от назойливой мухи от подобного вопроса, ответил Маклаков. — Я только хочу вам сказать, что эти гильзы «нам» необходимы.

— Гильзы? Да что же вы с ними делать будете? Ведь ни снарядов, ни пороха к ним не имеется, — попробовал я отделаться шуткой.

— Это вас не касается. Нам нужны гильзы Ггъаммона.

— Бросьте, Василий Алексеевич, вам не гильзы, а те полтора миллиона франков, которые я требую за них с фирмы, — вот что вас интересует.

И, подняв глаза на своего собеседника, я нашел его сидящим уже не в кресле, а на одной из полок открытой библиотеки, уставленной когда-то книгами покойного Извольского. Лицо Маклакова было искажено такой злобой, какой я за ним и не подозревал.

— А если это пгъиказ самого Деникина, — сказал он, — вы тоже не намегъены его выполнить?

— Деникина я встречал полковником генерального штаба в русско-японскую войну. Но почему же я должен теперь исполнять его приказ? Не понимаю.

— Алексей Алексеевич,— задыхаясь и слезая с полки, заявил Маклаков, — довольно над нами издеваться! Нам с вами говогъить больше не о чем.

— А мне уж и подавно, — ответил я.

И вдруг, как бы досадуя на самого себя, Маклаков, вздохнув, добавил:

— Вы вот когда-нибудь узнаете, кто был вам истинный дгъуг!

Не под силу оказалось моим недругам сбить меня с последней позиции защитника уже не военных, а финансовых интересов нашей страны, и потому Маклаков применил одно из самых сильных средств борьбы для уничтожения политического значения человека: полное его игнорирование при решении каких бы то ни было вопросов.

«Le général Ignatieff n'existe plus!» — «Генерал Игнатьев больше не существует!» — вот что, с легкой руки Кэ д'Орсэ (министерство иностранных дел), облетело французские министерства, задело, хотя, правда, и не пошатнуло «ликвидационную комиссию», но закрыло двери во многих, как когда-то казалось дружеских, домах.

Тяжелее всего в жизни чувствовать себя «лишним», и потому, больше для очистки совести, чем для дела, заходил я в знакомое для всех военных агентов пристанище — 2-е бюро генерального штаба.

«Министры меняются, — канцелярии остаются!» — говорит французская чиновничья мудрость, и швейцар воен-

ного министерства, почтительно меня встречая и не спрашивая даже пропуска, с улыбкой замечал:

— Это уж десятый!

Французы тем и милы, что умеют сами над собой посмеяться.

«Ходит вот к нам все тот же русский генерал, — думал, вероятно, про себя швейцар, — и, должно быть, ему смешно, что мы за это время уже десятого министра у себя сменяем».

Приветливо, как старого сослуживца, принял меня, при последнем моем посещении, помощник начальника генерального штаба Видалон. Поговорили мы оба об участи наших русских бригад, об отсутствии информаций из России, но когда я попытался восстановить прежние, полные доверия отношения с французским генеральным штабом, мой приятель изрек:

— Что поделаешь, генерал, колесо фортуны вращается!

— Я понял, вы хотите сказать, что я окончательно скатился вниз!

И мы оба рассмеялись.

Начальник генерального штаба, сухой седой старик, генерал Альби, тот самый, с которым находил лишним считаться Мандель, только что покинул свой пост. Встретив меня как-то на улице, он снял допотопный котелок и, пожав мне руку, сказал:

— Не сетуйте на меня, генерал, за все то зло, которое я был вынужден вам причинить и, поверьте, совершенно против моей воли.

Такое же полное уважения отношение встретил я и у прежнего моего сослуживца по Гран Кю Жэ, начальника так называемого «славянского бюро» майора Фурнье. Этого майора не следовало смешивать с его начальником, полковником Фурнье. Оба однофамильца прекрасно говорили по-русски, но полковник смотрел на Россию глазами тех русских офицеров, с которыми он провел несколько месяцев до войны, отбывая стажировку в Виленском военном округе, а майор Фурнье в России никогда не был, но много про нее читал.

— Никто ведь нам с вами, генерал, не хочет здесь верить, что, располагая такими кадрами, как прежние унтер-офицеры царской армии, Советы способны отстоять революцию. Как будто мы сами, французы, в свое время

из «санкюлотов» армии не создали, — не без волнения в голосе говорил мне этот пылкий южанин.

Неважно, вероятно, чувствовал он себя в этот день на утреннем докладе своему однофамильцу: авангарды Деникина подходили к Орлу. Впрочем, хотя где-то в глубине души скребли кошки, точь-в-точь как в бою после оставления ценного рубежа, но ни майор, ни я бровью не повели. Школа «молчальника» Жоффра не забывалась.

Никакие трудности на фронте не должны нарушать планомерной работы в тылу, и временные успехи белогвардейцев не изменили в Фурнье его отношения к деникинской авантюре.

— А вот полюбуйтесь, мой генерал, во что это все нам обходится. — И он вынул из стола объемистые таблицы, составленные на английском языке. — Доверили вот наши морячки союзникам все операции на Черном море, а от них уже поступают счета на уступленное Деникину обмундирование. Полную стоимость, да еще в фунтах стерлингов, требуют за старое послевоенное барахло.

— Русскому народу это еще дороже обходится, — сказал я, прощаясь и расставаясь навсегда с этим симпатичным генштабистом.

Трудно ведь теперь себе представить, что, живя в Париже — центре тогдашней европейской жизни, мне, когда-то опытному военному агенту, так мало было известно про военные действия белогвардейщины, тщательно скрывавшей свои поражения и ничего не говорившей о геройских делах Красной Армии.

Уже давно я не имел писем от матери и только в конце 1919 года узнал случайно, что ее уже довезли до Новороссийска и что она собирается ко мне в Париж.

Ждать пришлось недолго, и вскоре я уже обнял на Лионском вокзале не ту полную здоровой энергии женщину, какой с детства привык видеть Софью Сергеевну, а маленькую исхудавшую старушку.

От прибывшей семьи страстно хотелось узнать о том, что делается на нашей истекавшей кровью родине. Но обстановка в эпоху революционной борьбы столь быстро

меняется, что даже наиболее объективные люди, проведшие хотя бы несколько недель в белом окружении, не могли при всем желании нарисовать мне беспристрастную картину происходившего в Советской России. У моих родных озлобления против большевиков, в первые дни после приезда, еще не замечалось. Разговорившись со своей младшей сестрой, я даже почувствовал какую-то новую близость к ней, возможность говорить на одном языке. Но, увы, «парижская общественность» быстро всех перековала в подлинных «эмигрантов». Рассказывая о белогвардейских порядках, они лишь с поразительной наивностью и добродушием подтверждали слухи о спекуляции, дошедшей уже до предела наглости.

— Неужели вот все эти тысячи привезенных с нами рублей здесь ничего не стоят? — вздыхали мои родственники. — Ведь по совету самых верных людей мы разменяли на них, по очень выгодному курсу, полученные от тебя когда-то французские франки!

«Спекульнули», «спекульнуть», — какие отвратительные слова произносили в те тяжелые дни самые когда-то чистые женские уста...

«Там торгуют рублями да домами в розницу, а здесь, в Париже, продают Россию уже оптом, — думалось мне. — Пусть уж сами русские люди на родине для создания чего-то нового, не вполне еще для меня ясного, разрушают старые, когда-то дорогие сердцу ценности». Все представлялось мне лучше, чем допустить к власти людей, уже продающих иностранцам свои имения и дома, идущих на все сделки с капиталом, вплоть до обращения России в колонию.

— А мы завтра уже будем в Петербурге! — ошеломил меня 19 октября 1919 года давно меня покинувший Караулов.

— Кто это — «мы»? — оборвал я этого сияющего счастьем нарядного господина, одетого в длиннополый фрак последней моды.

— Да что вы, граф, неужели не слышали о взятии Юденичем Красного Села? Вам же должно быть хорошо знакомо это Красное Село, Пулковские высоты и все эти места! — с оттенком злобной иронии, к которой я уже стал привыкать, продолжал Караулов.

Вокруг нас собралась толпа столь же элегантных мужчин, спустившихся в антракте в большой, отделанный мрамором вестибюль театра «Шан-з-Элизэ».

«Юденич у ворот Петрограда!..» — прочел я в переданном мне каким-то незнакомым господином последнем «вечернем выпуске» газеты «Intransigeant».

И представилась мне знакомая арка Нарвских ворот, через которые столько раз проезжал я и верхом и на тройке, убогие деревянные домики и напоминавшая тюремную стена Путиловского завода. По обеим сторонам вечно грязного шоссе сейчас, наверно, вырыты окопы, из телег и столов воздвигнуты баррикады, а высыпавшие из завода путиловцы разят из пулеметов наемников своих бывших хозяев...

— Да, вы, быть может, дошли до Красного Села. Вы, быть может, спустились и до Нарвской заставы, но в Питере вам не бывать! — громко, чувствуя внутреннюю уверенность, объявил я присутствующим, ошеломленным моей, как они, вероятно, думали, осведомленностью.

Эмигранты нашептывали, что у меня налажена «непосредственная телефонная связь с Кремлем».

А утром, на следующий день, эта публика прочла в газетах, что «Юденич поспешно отступил».

Глава пятая

В ПОИСКАХ ВЫХОДА

Отгремели пушки на фронтах гражданской войны, и отошли в область истории потерпевшие полный крах планы сокрушения советской власти открытой вооруженной силой.

Разгром Врангеля создал для французского правительства новую заботу — ликвидировать это бесславное для него предприятие и прежде всего разрешить вопрос о белоэмигрантах, вывезенных из Крыма в невероятно тяжелых условиях. С бортов кораблей, столпившихся на Босфоре, раздавались проклятия по адресу союзников и в первую голову — французов. Ведь это они, французы, оказались упорнее англичан, «разочаровавшихся» в дениkиных и колчаках после полного их разгрома Красной Армией и отказавшихся поставить ставку на неприкры-

того уже никаким демократизмом представителя царской гвардии.

Этим щекотливым вопросом было поручено заняться генеральному секретарю французского министерства иностранных дел, потомку знаменитого химика и убежденному носителю отживавших традиций и взглядов «либеральной» французской буржуазии. Бертело хорошо знал меня еще с войны, когда приходилось улаживать немало недоразумений между союзниками, но после нашей революции он, как и все люди его класса, решил внять советам русских эмигрантов и порвать отношения со свернувшим «на плохую дорогу» военным агентом.

Теперь «ce général bolchevique» — «этот генерал-большевик» — пригодился, и Бертело пригласил меня в министерство, чтобы посоветоваться, куда направить белоэмигрантов, где их высадить, как прокормить?

Экономика центральной Европы еще не была восстановлена, и это дало мне возможность возражать против высадки врангелевцев на европейском берегу. «К чему, — думалось мне, — создавать в Европе ядро для новых белогвардейских формирований?»

— На азиатском берегу, — убеждал я Бертело, — они скорее найдут пропитание. Турция меньше других государств пострадала от войны. Азия просторнее старушки Европы, а там, смотришь, покаявшиеся возвращенцы и до кавказских границ пробраться сумеют.

В обращении ко мне Бертело очень уж хотелось усмотреть перемену во взглядах французского правительства на русский вопрос, но надежды мои на этот раз не оправдались. Дружеские связи французов с белогвардейцами не нарушились, и разговор мой с Бертело в тот же день стал известен военному представителю Врангеля генералу Миллеру. Состоявшаяся затем, после долгих колебаний, высадка врангелевцев на пустынном салоникском берегу повлекла за собой сплочение их в крепкий и, как известно, непримиримый к нам «Союз галлиполийцев».

Крушение белого движения заставило белогвардейских представителей изыскивать новые способы для закрепления своего положения в Париже. Для этого, как ни странно, требовалось прежде всего возложить венок на могилу «неизвестного солдата» под Триумфальной аркой, после чего можно уже было начинать разговоры с французским правительством — кому о «займе», кому о

ссуде или хотя бы о вспомоществовании. Подвалы Банк де Франс в ту счастливую для французов пору ломились от золота, что особенно привлекало к себе тех, кто когда-то его имел, но лишился.

— Капитал ведь барин важный, его надо уметь обслужить, — «просвещал» меня подбиравшийся к моим казенным миллионам инженер Алексей Павлович Мещерский.

Он бежал за границу из Советской России, где до 1921 года работал по металлургии, и поэтому больше других меня интересовал. Княжеского титула он не имел, но, как директор Коломенского и член правления Сормовского и других металлургических заводов, мог бы купить не одно княжеское имение.

— Как же вы, Алексей Павлович, могли, как вы говорите, зарабатывать до шестисот тысяч рублей в год? — спросила его как-то в Париже изумленная русская дама.

— Как директор-распорядитель Общества Коломенских заводов я получал сто двадцать тысяч рублей, как член правления Сормовского — восемьдесят тысяч...

— Ну, а остальные?

— А остальные? Головой! — улыбнувшись своими широкими челюстями, готовыми разгрызть горло любому, стоявшему ему поперек дороги человеку, изрек этот широкоплечий коренастый мужчина, сохранивший до седых волос военную выправку бывшего псковского кадета.

— Не пойму я вас, — говаривал мне Мещерский, — в Константинополе русские считают, что «Игнатьев в Париже — сам себе хозяин», а на деле вижу, что распорядиться капиталом, до указки из Москвы, вы не смеете. Миллиончики в банке у вас накапливаются, а пользы никому не приносят. Мне вот известно, что вы предлагали французам закупить на эти деньги хлеба для голодающих в России. Дело, конечно, доброе, но позвольте вам сообщить, что на волжских затонах лед вокруг барок начинают отбивать в феврале да в марте. Тогда и о хлебе можно было говорить. Французы вас не послушали, а теперь уже поздно — май месяц стоит. Пока хлеб до Волги дойдет — навигация уже будет кончаться, а Волга ведь «становой хребет» России. Запомните это навсегда. Не поверю, впрочем, что, сберегая деньги, вы не имели бы какой-нибудь затаенной цели.

— Я цель имею и ее не скрываю, — пробовал я объяснить Мещерскому все усилия, которые я затрачивал на

сохранение в порядке своего государственного счета в Банк де Франс. — Я облегчу этим получение кредита, столь необходимого для восстановления промышленной экономики России.

— Да, но ведь без нашего брата, умеющего распорядиться миллиончиками, все равно промышленности в России не восстановить, — не унимался Мещерский.

— Ах, Алексей Павлович, неужели вы не постигли, что только государственная власть, владеющая всем капиталом страны, может возродить русскую экономику, разрушенную мировой и гражданской войной. А Франция может быть для нас интересна, — продолжал я, — не как промышленник, а как финансист. Она хорошо умеет деньги считать, но продолжать обирать и русский и свой же французский народ для выгоды своих банкиров, как это делалось до Октября, — правительству французской республики уже не удастся. Отказ большевиков признать царские долги — акт справедливый — заставит по-новому взглянуть на использование «моих», как вы их называете, миллионов.

— Нет, уж простите, Алексей Алексеевич, — не выдержал моих речей Мещерский, — нам с вами, видно, не по дороге.

В подобные беседы, которые мои близкие шутливо называли «спасением России», я вкладывал свои сокровенные помыслы, стремясь принести хоть какую-нибудь пользу разрушенной гражданской войной и интервенцией родине.

Однако представить себе ясно, где кончалось в подобных проектах «спасения России» благожелательное отношение к Советскому государству и где начиналась личная заинтересованность собеседников, подобных Мещерскому, бывало трудно. Какой-то внутренний голос неизменно подсказывал, что участвовать в постройке даже невинных на первый взгляд «воздушных замков», не имея родной земли под ногами, не безопасно. Надо во что бы то ни стало хотя бы послушать людей с «того берега», но они не откликались.

Один только раз, в самый разгар интервенции, мне сообщили, что московское радио, объявляя поименно «вне закона» всех русских военных агентов за границей, —

мою фамилию не упомянуло. «Значит, в Москве что-то обо мне знают!» — подумал я про себя.

— Просто про Париж забыли! — объясняли этот ободривший меня пропуск белогвардейцы.

Их с каждым днем становилось все больше, и получение визы в Париж перестало уже быть доходным делом для прежних русских консульств и посольств. Визу заменили эмигрантские паспорта, носившие почему-то имя исследователя северных стран — Нансена. Обладатели паспорта его имени, как «узаконенные» европейцы, подняли голову, открыли газеты, одни чуть-чуть поправее, другие полевее, но все крайне непримиримые к совершившимся в России революционным событиям. В этих газетах время от времени помещались статейки, полные клеветнических нападок на меня.

— Надо же вам, граф, сказать, наконец, свое слово, опровергнуть клеветнические толки, — горячился сохранивший ко мне неизменную дружбу добрейший доктор Александр Исидорович Булатников.

— Не только толки, но даже газетные пасквили опровергать не собираюсь. Вот на днях один из моих французских приятелей-адвокатов убеждал меня привлечь к суду Бориса Суворина за его клеветническую обо мне статью. «За вас ведь не откажется выступить свидетелем и сам маршал Жоффр», — продолжал настаивать адвокат, а мой ответ врагам был один и тот же: «Много чести оправдываться перед этими отщепенцами».

В числе отрекавшихся от меня один за другим соотечественников были эмигранты еще царского времени и в числе их даже наши личные друзья — Гольштейны. Кому из старой русской эмиграции в Париже не была знакома эта скромная квартира в «Пассях», где долгие годы проживала уже давно утратившая молодость, но сохранившая запас живительной энергии Александра Васильевна! Соблюдая русские традиции, она за самоваром принимала бесчисленных друзей и поклонников своего мужа, мрачного на вид, но полного человечности доктора Владимира Августовича Гольштейна.

— Твоя поклонница Александра Васильевна! — не раз приходилось мне слышать от своих близких после Февральской революции.

— И давно ли, — говаривала жена моя, Наташа, — эта женщина возмущалась моим знакомством с тобой, царским полковником с серебряными аксельбантами, а теперь она же поражена, как ты мог отречься от прежней России.

Опершись на мою руку, шла Александра Васильевна за гробом своего мужа, несколько дней лишь не дожившего до Октябрьской революции, а три года спустя написала мне следующее письмо:

«Члены «Торгово-промышленного союза», прибывшие из Германии, говорят, что германский министр иностранных дел Мальцан лично сообщил, что в Париже есть представители большевиков, и назвал три имени: Скобелев, Михайлов, граф Игнатьев.

Такого рода обвинение ставит друзей ваших, и в частности меня, в тяжелое нравственное положение. Я хотела бы знать от *вас,* в чем тут дело. Я очень советую вам раз и навсегда пресечь эти разговоры печатным опровержением в русской, а еще лучше в иностранной прессе...»

Желая соблюсти правила вежливости и вместе с тем не стать жертвой провокации со стороны новоявленных друзей Александры Васильевны — москвичей Третьяковых, мечтавших всеми способами компрометировать меня перед французским правительством, — я ответил коротко:

«Если быть большевиком означает быть русским, — то я большевик».

Александры Васильевны я после этого не встречал.

— Подумать только, ведь если бы не революция, я бы уже сенатором мог быть, — говорил вполне серьезно бывший, не очень, правда, резвый на ум, губернатор.

Место одного из экспертов по русским делам при французском правительстве занял со времени «одесского конфуза», как он сам выражался, некий Рехтзаммер, левый эсер, определенный мною в начале войны во французскую армию. Вернулся он в Париж уже в чине капитана, украшенный боевыми орденами, привлекая к себе симпатии своей громоздкой добродушной фигурой и приятным обращением, столь необходимым для всякого крупного дельца.

Промелькнув как метеор в дни Временного правительства, Рехтзаммер скрылся с моего горизонта, и я немало

был удивлен его появлению в первых числах марта 1921 года на хорошо ему когда-то знакомой нашей квартире на Кэ Бурбон.

— Ну, Алексей Алексеевич, ваша взяла! Советы восторжествовали. Ничего не поделаешь. Только вместо московских утопистов теперь образовалось настоящее правительство матросов и рабочих в Кронштадте. Вот текст их декларации по радио. И этому правительству вы вполне можете доверить ваши миллионы (они, конечно, представляли для Рехтзаммера главный интерес). Машина ждет у подъезда, садимся и прямо на Кэ д'Орсэ, в министерство иностранных дел. Там только и ждут вашей подписи о признании вами этого правительства.

— Семен Николаевич! Вы что же? Куда это я поеду? Неужели и Одесса вас не вразумила?

— Je regrette, mon général, — переходя, как обычно, в неприятных делах на французский язык и подтягивая свой почтенный животик, отрапортовал по-военному Рехтзаммер, надолго со мной расставаясь.

В калейдоскопе событий мы зачастую не задумываемся над логической их связью, злоупотребляя нередко словом «случайность». Такой вот случайности приписал я визит, нанесенный мне через несколько дней после разговора о кронштадтском мятеже старым нашим приятелем Раймондом Эсколье — личным секретарем Аристида Бриана.

— Премьер-министр очень желал бы вас повидать! — сказал мне этот любезный молодой человек, один из тех редких французов, которые сохранили с нами отношения. Но только так, частным образом, — продолжал он, — министр желает потолковать с вами о русских делах у себя на авеню Клебер. Премьер-министр недоумевает, что же творится у вас в России, и очень бы желал вас повидать. Кронштадт совершенно сбил нас с толку.

Бриан, как и почти все французские политические деятели — либеральные и не либеральные, — начал свою карьеру социалистом, якобы защитником рабочего класса, что не помешало ему, постепенно «правея», уже за много лет до первой мировой войны, добившись поста «премьера», учинить кровавые расправы над бастовавшими рабочими. Он стал гибким политиканом, столь цен-

ным для лавирования среди бесчисленных и надводных и подводных шхер беспринципной буржуазной республики. Писал он мало, говорил много, побеждая даже врагов даром своего красноречия.

Столь же гибким был Бриан и во внешней политике, чем только я и мог объяснить проявленный им интерес ко мне, отчужденному в те дни уже от всех французских так называемых «друзей».

Частные адреса таких политических деятелей, как Бриан, должны были быть всегда знакомы известному кругу людей, и я, лишенный всякого общения с политическим миром, не без чувства внутреннего удовлетворения поднимался уже на следующее утро к человеку, который, по мнению Клемансо, «никогда ничего не знал, но все понимал».

Скромная банальная обстановка малоуютного парижского салончика, в котором меня принял мой старый знакомый «Аристид», равно как и отсутствие в комнате письменного стола — опасного свидетеля деловых разговоров, — все предрасполагало к интимной беседе.

— Я позволил себе побеспокоить вас, генерал, после вчерашнего моего свидания с Керенским. Ведь «левее» его у вас политических деятелей в Париже не имеется?

— Да, он считался левым, — ответил я.

— Так вот, желая как-нибудь изменить нашу политику в отношении России, а политика эта, между нами говоря, что-то мне не нравится, я и обратился к Керенскому и спросил его мнения по этому вопросу. А он, представьте, не разделяет моей оценки положения и остается на враждебной позиции к советскому правительству. Поймите же, однако, мое удивление, когда я узнаю, что вы, испытанный друг Франции, человек, проделавший с нами всю войну, офицер, которого мы привыкли уважать, — оказываетесь, по словам моего секретаря, чуть ли не настоящим «большевиком». Вы даже отказались признать кронштадтское правительство. Не могу же я сам, так вот, ни с того ни с сего, изменить нашу линию поведения в отношении вашей страны... Вы должны нам помочь, вы должны нам помочь, — то и дело повторял Бриан, и в этот момент мне казалось, что он говорил это искренне.

Мой доклад о преступности иностранных интервенций, о выгодах, ввиду приближавшейся опасности экономиче-

ского кризиса, скорейшего установления хотя бы торгово-промышленных отношений с Советской Россией премьер внезапно прервал вопросом:

— Есть ли у вас ваша фотография в штатском?

— Есть, — удивленно ответил я.

— Это хорошо. Я попрошу вас принять сегодня вечером одного маленького человечка, которому вы можете доверять.

Рано утром 25 марта 1921 года в Париже разорвалась одна из тех газетных бомб, происхождение которых читателям бывает трудно определить: в самой правоверной и политически невинной газете «Эксцельсиор», на том месте, где обычно помещались описания светских балов и дипломатических приемов, появился мой портрет и мое интервью, изложенное известным журналистом Марселем Пэи, о большевиках.

— Ну, а теперь уж Игнатьев попался! — облегченно вздохнули белоэмигранты, бережно пряча этот номер газеты во внутренний карман пиджака. — Вместо пушек посылать в Россию тракторы! И какова же дерзость этого предателя «веры, царя и отечества»! — вопили они. — Французов хочет убедить в бесплодности интервенции на примерах разгрома Колчака, Деникина и «других врангелей», а не Врангеля! Ну, уж это мы ему припомним!

Пусть Марсель Пэи нарочито и допустил много неточностей, все же цель, поставленная Брианом, — создать брешь в общественном мнении — была достигнута: номер «Эксцельсиора» много дней переиздавался, дойдя до небывалого тиража в миллион пятьсот тысяч экземпляров. Не мог я тогда предполагать, что старая лиса «Аристид», поставленный мною лицом к лицу с новой Россией, останется верным себе и найдет другие средства борьбы с советской властью — за локарнским столом.

Для меня же это был первый экзамен моей политической зрелости, и, увы, я почувствовал себя на нем, как когда-то в корпусе на экзамене по военной истории.

«Если бы знания камер-пажа Игнатьева соответствовали его красноречию, то он, несомненно, заслужил бы сегодня высшую оценку, в которой я, на этот раз, принужден ему отказать», — вынес мне тогда приговор грозный преподаватель полковник Хабалов.

Теперь, на чужбине, я стремился всеми имеющимися в моем распоряжении средствами защитить свою родину от всяких попыток повернуть вспять ее историю. Я достаточно убедительно доказывал все выгоды для французов завязать с нами для начала хотя бы торговые отношения, но сам еще не постигал всей глубины и величия совершавшихся в России событий.

Воюя против всех иностранцев, пытавшихся рассматривать Россию чуть ли не как будущую колонию, я в то же время не мог отрешиться от поставленной самому себе задачи во что бы то ни стало восстановить для России временно потерянный ею кредит во Франции, не сознавая, что заграничный капитал главной своей целью ставит закабаление всех, кто от него зависит.

Я был окружен людьми, мыслившими по-старому. Помню, что и раздобытая книга Карла Маркса «Капитал» показалась мне странной и не отвечавшей на мучивший меня вопрос о рождении на месте старой России новой и не понятной еще для меня страны. Я не сумел в ней разобраться. Исчезновение слова «Россия» в названии моей родины тоже несказанно меня огорчало.

Вот чем объяснялось непреодолимое желание встретиться как можно скорее с людьми родного берега, перебраться и вступить на который я, к сожалению, мог только мечтать. Действительно, как же можно без вызова и приказа бросить защиту своей страны за границей? Не подтверждал ли я многократно, даже в письменной форме, французскому правительству, что не покину своего поста до признания Францией советской власти?

Но Москве, вероятно, не до меня. Там, очевидно, даже забыли о моем существовании, а я не желаю о себе напоминать через французов, через де Монзи и Эррио, которые, приняв на себя роль «Христофоров Колумбов», совершили в 1922 году путешествие в казавшуюся им «небезопасной» Советскую Россию.

— Они имеют право прогуливаться по родной мне земле, а я вот и ступить на нее не могу!

И обидным также казалось, что французы, хорошо знавшие линию моего поведения, тщательно и преднамеренно скрывали от меня свое общение с советской властью.

Ничто, однако, не помешало мне добраться до Лиона, где в начале 1923 года СССР, по приглашению Эррио, впервые участвовал на Международной ярмарке. Там надеялся я встретить советских представителей, узнать что-нибудь о России, подать, наконец, через них голос в Москву.

Долго и страстно лелеял я эту мечту, но, когда над входом в пушной отдел я увидел два скрещенных алых флага и прочел не встречавшиеся мне дотоле ни в книгах, ни в газетах буквы «URSS», мной овладело сильное волнение. Это были флаги моей родины. Я всегда придавал большое значение символике, и красный цвет отделял для меня в ту пору Страну Советов от всего остального мира стеной непроницаемой.

Вступая на территорию нашего стенда, я не подготовил себя и к встрече с соотечественниками: обратиться к ним, подобно посетителям, на французском языке я был не в силах, а заговорив по-русски, я рисковал, что меня примут за белоэмигранта. Так молча и довольно долго рассматривал я больше людей, чем товар, завезенный явно для оптовой продажи, интересный только для крупных покупателей, но не для публики. Это ставило меня в еще более затруднительное положение, лишая темы для завязки знакомства.

— Позвольте представиться, — решил я, наконец, прямо назвать себя тому из товарищей, который показался мне постарше.

Осматривая после этой первой встречи разбросанные то тут, то там наши скромные стенды с еще более скромным ассортиментом товаров, не думал я, что на мою долю выпадет вскоре счастье самому организовать на том же месте советские выставки, поражая уже мир невиданным ростом всех отраслей нашего советского народного хозяйства.

Но и тогда мне, даже и как постороннему зрителю, каждый выставленный предмет казался бесконечно дорогим. Хотелось не только рассмотреть, но и пощупать и кавказский «наплыв» дерева, выгруженный так просто у дороги, и гранитную глыбу, такую же красно-бурую, как гранитные набережные красавицы Невы...

В небольшом наскоро сколоченном бараке, где-то позади главного здания выставки, не без труда нашел я и новые образцы с фарфорового завода «имени Ломоно-

сова», бывшего «императорского» завода в Ленинграде. Тут я встретил, в лице стендистки, и первую признавшую меня советскую гражданку.

— Я вдова погибшего на войне вашего товарища по академии и привыкла видеть на его письменном столе ваш портрет кавалергардом. Помните вы теперь?..

И эта милая, уже немолодая незнакомка глубоко вздохнула: под старость нас ведь больше всего огорчает встречать постаревшими знакомых людей. Да, верно, уж и фетровая моя шляпа, заменившая военную фуражку, немало ее огорчила.

Но я в ту пору так стремился начать жить настоящим и забыть о прошлом, что весь ушел в созерцание чудного фарфора, влюбившись в блиставшую белизной и золотыми колосьями тарелку с красной звездой.

— Это — «красноармейская»! У нас каждая тарелка — уникум и носит свое название, — объяснила мне стендистка.

— Так вот эта тарелка как раз для меня, — пошутил я.

Но радость моя была кратковременной: какую бы экономию я ни соблюдал, познакомившись для приезда в Лион даже с малоуютными вагонами третьего класса, денег на покупку чудной тарелки все же у меня не хватило...

Зато в той крошечной гостинице, где я с утра оставил свой чемоданчик, меня ожидал настоящий сюрприз: узнав по заполненному листу для приезжавших мою фамилию и национальность, портье, не без гордости, сообщил, что в этой же гостинице остановились и les Soviets — Советы.

— Судьба! — скажут одни. — Счастье, — возразят другие и будут, пожалуй, правы: хоть и непризнанный, я все же был тепло принят советскими людьми, опознан ими и, со свойственным мне оптимизмом, рассчитывал чуть ли не с завтрашнего дня включиться в ту работу по строительству своей обновленной родины, о которой с таким воодушевлением рассказывали мне далеко за полночь устроители советского павильона.

Выслушав меня, они нашли, что мне необходимо съездить в Берлин, где уже существовали наши дипломатическое и торговое представительства и где, конечно, заинтересуются моим планом создания для нас иностранного кредита. Они произносили при этом слово «Берлин»

так же просто, как назвали бы Лондон, Москву, Париж, не постигая, что для жителей Франции, и особливо для проживавших в ней иностранцев, поездка в Берлин представляла еще рискованное предприятие, связанное прежде всего с невероятными формальностями. Пять лет, прошедших со времени окончания войны, не изгладили воспоминаний о вызванных ею громких шпионских процессах. В Берлин можно было поехать, но можно было и не вернуться, не получив из Парижа обратной визы.

Для меня вопрос отъезда затруднялся тем, что я был «беспаспортным»; да на документе, начинавшемся словами: «Мы, божьей милостью...» — ставить визы было неудобно, а идти, подобно русским белоэмигрантам, к Маклакову за получением «нансеновского» паспорта было бы равносильно политическому самоубийству.

Но какие-то благожелатели из министерства иностранных дел сообщили мне, что им удалось убрать мое личное «дело» — толстенное, полное белогвардейских доносов, что позволило им добиться для меня небывалого для иностранца документа: французского «командировочного листа» для поездки в Германию, под предлогом лечения на курорте.

«Не привезет ли этот наш должник, — подумывали, вероятно, французы, — какие-нибудь приятные для нас вести».

Времена наступали для них невеселые. В ответ на суровые репрессивные меры Пуанкаре немцы продолжали оказывать сопротивление в оккупированных французами районах, а les Soviets — Советы и разговаривать с Пуанкаре не собирались. Приемная на Кэ д'Орсэ опустела, и желанным посетителем ее, соглашавшимся покорно ожидать приема, оставался один только ясновельможный пан — польский посол.

Прожив столько лет во Франции, я привык везде чувствовать себя как дома, а в особенности в поездах, где знакомство так же легко заводится, как и забывается.

А вот почему-то в переполненном купе второго класса, в котором я провел целый день в пути от Парижа до германской границы, мне было не по себе. Казалось, что я просто потерял с французами общий язык. Особенно чуждыми представились мне офицеры, которые за пять

разъединявших нас лет совсем стали иными. Раньше они, бывало, терялись в толпе, а теперь их стало так много — все носили военную форму, — что пассажирский поезд можно было принять за воинский. Заменив отличия военного времени из красного гаруса золотыми галунами и переняв у немцев высокомерный тон победителей, прежние скромные лейтенанты и капитаны выглядели полковниками, полковники — генералами, а уж последние казались неприступными маршалами. Как далеки все они стали от тех непритязательных их товарищей в синих шинелях и красных штанах, всех тех, кто с такой скромностью выполнял свой офицерский долг в памятные для меня дни Марны.

С переездом границы Эльзаса, в ту пору только что освобожденной, но вполне онемеченной французской провинции, атмосфера в купе стала еще тяжелее.

По случаю воскресного дня в вагон то и дело впархивали разодетые в местные национальные костюмы девицы. Они, «завоеванные», на ломаном французском языке заискивали у самодовольных раззолоченных завоевателей, а те, не стесняясь, оказывали им покровительственные знаки внимания.

В Висбадене, куда, останавливаясь все чаще на станциях, мы добрались лишь к вечеру, предстояла пересадка на поезд местного назначения, который и должен был доставить меня во Франкфурт. Нестерпимая дневная духота сменилась дождем, барабанившим в окна вагона, навевая гнетущую тоску. Прижавшись в угол деревянного дивана вагона третьего класса и глядя на догоревшую фонарную свечу, я еще сильнее ощутил падение прежнего немецкого блеска. Сколько же пришлось услышать в свое время рассказов о «красивой» жизни в этих оторванных от Франции провинциях, куда ежегодно приезжал для лечения в Висбадене сам кайзер. Туда съезжалась «вся Европа».

Поезд то и дело останавливался, за окном слышались названия станций, аккуратно провозглашавшиеся «херром обером»; немногочисленные мои спутники, один за другим, покидали вагон, и вскоре я оказался последним и единственным пассажиром этого «буммельцуга». Наконец, далеко за полночь, он окончательно остановился и «херр обер» заявил, что по случаю позднего времени

железнодорожное сообщение с Франкфуртом прекращено, а потому он предлагает покинуть вагон.

При тусклом свете фонаря можно было различить небольшое здание станции, где я и надеялся укрыться от безнадежного проливного дождя и дождаться утра.

— Ваши бумаги! — окликнул меня через несколько шагов человек, в котором я немедленно признал начальника станции. — Это головная станция французской оккупации, — пояснил он мне с таким, как у нас говаривали, «нижегородским акцентом», что мне стало не по себе.

Неужели французы не могли найти никого более подходящего для заведования этой ответственной станцией, кроме русского белогвардейца.

— Ах, вот вы кто такой! Вокзал заперт, и я пустить вас в него не могу, — резко уже по-русски отрезал мне представитель французских властей, возвращая мне мой пропуск.

В полном одиночестве я стал тогда всматриваться в темноту и не сразу поверил глазам, заметив из-за громадного черного дерева сперва протянутую руку, а потом и силуэт человека, которому я сделал знак подойти ко мне.

Незнакомец, пригнувшись, с быстротой кошки бросился ко мне и вскинул себе на спину мой тяжелый чемодан. Я пригляделся к человеку. Он оказался щупленьким, заморенным подростком. Совестно как-то было обременять его таким тяжелым чемоданом, но подросток, отведя меня на несколько шагов от вокзала, так убежденно обещал провести меня во Франкфурт, что, доверив ему свои вещи, я покорно за ним зашагал.

— Вы не смотрите, что я маленький, мне уже шестнадцатый год, — вполголоса, настороженно отвечал на мои вопросы подросток. («Дитя войны!» — подумал я.) Отец и старший брат убиты на войне, мать не вынесла горя и нужды и умерла в прошлом году, оставив на моем попечении шестилетнюю сестренку. Ей молока надо, но французские офицеры все молоко отбирают. Заводы и мастерские стоят, работы не найдешь, а уехать из-за сестренки не могу. А негры-то какие страшные! Да вот вы их сейчас увидите. Если меня задержат, заступитесь, пожалуйста!

Мелькавший уже давно из темноты огонек оказался фонариком в руках громадного негра — французского часового, охранявшего шлагбаум, закрывавший шоссе.

«Вероятно, это граница французской оккупации», —

подумал я не без чувства удовлетворения, которое испытывали в ту пору многие обладатели французских виз. И я уже приготовился пройти через всегда длительный пограничный осмотр.

Сколько же сил, времени и энергии затрачено было, чтобы получить этот драгоценный пропуск, а тут в темноте негр-часовой окинул его беглым взглядом, приоткрыл шлагбаум и промолвил лишь одно, но самое важное для меня в эту минуту слово:

— Проходите!

Проходите, или, что то же, выходите из-под французской опеки, идите куда глаза глядят навстречу новым людям, навстречу чему-то новому и, как я предчувствовал, обратному тому, о чем я наслышался за столько лет своей жизни в стране победителей. Я не преминул напомнить ей о себе, послав в ту же ночь из Франкфурта открытку предоставившему мне пропуск Аристиду Бриану: «Через пять лет после окончания войны путешествую по Европе пешком. Игнатьев».

Бриан в ту пору еще представлялся мне тем политическим деятелем Франции, который стоял за возможность мирного сожительства народов и был потому отличным от Пуанкаре — сторонника продолжения войны в форме интервенции в России и военной оккупации Германии.

В тогдашнем моем представлении Германия и германский народ должны были возместить и России и Франции нанесенные им, этим странам, разрушения.

Оккупация же, направленная к унижению побежденного народа, уже сама по себе, как мне казалось, разжигала чувство озлобленной враждебности, а разрушение экономической жизни в столь цветущей стране, как тогдашняя Германия, являлось просто тупым вандализмом. В душе ведь горела еще искорка надежды, сохраненная с полей Марны, что «эта война будет последней».

Я, впрочем, уже сознавал, что для этого потребуются какие-то большие перемены. Во Франции режим Пуанкаре даже не пытался прикрывать своей воинственности какой-нибудь фразеологией, а первые же часы, проведенные с немцами, заставили призадуматься, надолго ли и надежно ли захоронили они свои прежние захватнические стремления с лозунгом «Deutschland über Alles!» [1]

---

[1] Германия превыше всего!

Травой заросли железнодорожные пути, провалились местами застекленные крыши вокзалов, но тут же сохранился в полной неприкосновенности и тот первоклассный отель в Франкфурте-на-Майне, в котором я провел первую ночь.

На курорте Вильдунген — старом моем знакомом по мирному времени — тоже особых перемен не произошло. Довоенный персонал гостиницы остался на месте и встретил меня как желанного гостя. Только жена хозяина, с оттенком симпатии, спросила, на каком фронте я провел войну?

— Ах, на французском! — разочарованно вздохнула она. — Значит, вы не друг Германии.

Докатились, вероятно, до этой барыньки сведения о немецком окружении царского трона, о тех предателях России, на которых нередко намекали мои французские друзья.

Всех приветливее встретил меня обслуживавший нас до войны коридорный.

— Вы живы? И я жив! — так ведь просто встречают друг друга уцелевшие после войны знакомые.

Он был возведен уже в высокое звание «Бадемейстера», и я пригласил его распить вечерком кружку пива. Этот национальный напиток был уже для него не по карману.

— Ах, дали бы нам таких офицеров, каких имела французская пехота! — вздыхал этот унтер-офицер, потерявший глаз под Верденом. — Не проиграли бы мы тогда войны. Французские офицеры со своими солдатами в окопах не расставались, а мы наших «фендриков» и тех только на смотрах встречали. Кайзер тоже парады только за сто километров от фронта проводил!

Все это уже не было похоже на старые германские «порядки». «Война, — думалось мне, — видно здесь, как и во Франции, многих заставила призадуматься: одним, как моему коридорному, позволила голову повыше поднять, а другим, как тем чинам рейхсвера в серо-зеленых мундирах, что обедали накануне у нас в столовой, предложила держать себя поскромнее. Куда девалась былая наглость блиставших синими мундирами с высоченными воротниками офицеров императорской армии, баламутивших в прежнее время даже такую тихую заводь, как Вильдунген. Они приезжали сюда повеселиться

и, за отсутствием высокого начальства, считали себя вправе не стесняться.

Да и военного оркестра, игравшего по вечерам перед нашим «Бадэ-Отелем», больше не слышно, и маршировавшей под барабанный бой молодежи по воскресным дням тоже не видно.

Поблекла, притихла Германия, но сможет ли она примириться с новым для нее положением побежденной и разоренной страны, уже не «великой державы»?

Вчера, меняя франки, я получил в банке в десять раз больше марок, чем неделю тому назад. Плачу за бутылку рейнвейна пять тысяч марок и уже к этим баснословным ценам начинаю привыкать. Куда же идет эта страна? Я все еще оставался при старом понятии о деньгах, и почитал народ с обесцененной валютой столь же несчастным, как и просящего милостыню нищего.

Да и местные жители вокруг меня изрядно обносились, выглядывают еще менее общительными, чем в старое время. Не угадаешь, что у них на уме.

С такими мыслями ехал я из Вильдунгена по окончании лечения в Берлин, напутствуемый добрыми пожеланиями всего обслуживающего персонала.

Берлин встретил меня, как обычно, своими аляповатыми черно-бело-красными вывесками, вымытыми улицами, фасадами безвкусных домов и заметно обнищавшей толпой.

Не без волнения подошел я и позвонил у того подъезда русского посольства на Унтер-ден-Линден, с которым были связаны воспоминания о моей службе военным атташе в скандинавских государствах; мне в ту пору частенько приходилось по разным делам бывать в Берлине. Стены этого старомодного здания слышали в свое время сладкие речи самого кайзера, приезжавшего то пить чай к жене нашего посла, очаровательной графине Шуваловой, то завтракать у преемника Шувалова, престарелого российского посла графа Остен-Сакена. А всего несколько лет тому назад эти стены явились свидетелями тех враждебных воплей разъяренной берлинской толпы, что раздавались в день объявления Германией войны России.

Теперь это здание стало «опасным», — ведь в нем располагалось посольство Страны Советов, — и в этом я убедился по тому фотоснимку, на котором я был изображен нажимающим кнопку входного звонка двери посольства. Это ли не было доказательством сношений бывшего русского военного агента с советской властью? Мне показали впоследствии этот документ мои парижские друзья из министерства иностранных дел.

Когда входные двери за мной закрылись, я, как бывший дипломат, хорошо усвоивший закон экстерриториальности, почувствовал себя уже одной ногой в России. Только уж, видно, многое в ней изменилось. В Париже рассказывали, что в России нет никакой дисциплины, между тем как первые встреченные мною на посольской лестнице молодые товарищи поднимались уже не шажком вразвалку, как прежние не то разочарованные, не то усталые от жизни дипломаты, а резвым бегом. «Вот это хорошо!» — подумалось мне.

А в приемной, где мне пришлось ожидать, паркеты блистали, дверные ручки горели, да и мебель как будто казалась подмененной. Грязненько ведь бывало в «императорском российском посольстве».

Полпред, как тогда именовался советский посол, находился в отпуске, и меня принял поверенный в делах, проявивший крайнюю осторожность, так часто свойственную временно исполняющим должность. Выслушав мою просьбу о советском паспорте, о возвращении на родину, он обещал запросить об этом руководство. Он также обещал выяснить, насколько интересует советское правительство вопрос о сохраненных мною миллионах в Банк де Франс и связанном с ними моем финансовом плане.

И невесело было на душе, когда я шагал на обратном пути по людной в эту минуту Унтер-ден-Линден: довольно долго проработал я на дипломатической службе, чтобы знать, чего стоят обещания — «запросить начальство»! Для этого любезного представителя моей родины я как будто совсем чужой!

К чему было столько хлопотать о поездке в Германию, тратить последние и нелегко зарабатываемые гроши! Что скажу я дома в свое оправдание...

Однако эти навеянные минутным настроением размышления вскоре приняли совсем другое направление...

Я ждал, долго ждал. Надо ждать еще. Ведь совсем не случайно московское радио «забыло» объявить бывшего военного агента в Париже вне закона. Значит, обо мне в Москве знают, помнят... Пусть «запросят начальство». Ответ придет, обязательно придет!

Я возвращался в Париж с ощущением исполненного долга.

Теперь надо — ждать, ждать... Ждать, как бы это ни было трудно.

Глава шестая

ПРИХОД «РАЗВОДЯЩЕГО»

Поездка в Берлин, как я и ожидал, не оказалась бесполезной. Один из товарищей, встреченных мною в нашем берлинском посольстве, пролетевший как метеор через Париж, передал мне на словах приказ товарища Чичерина: «Держаться и ждать указаний».

Хотя никаких средств, чтобы «держаться» этот патруль «часовому» не передал, но все же тот понял, что караульный начальник про него не позабыл.

Этот пусть и негромкий оклик Москвы оказался особенно ценным: наступавший 1924-й год был тем «последним часом», который пришлось отстоять «часовому» после семилетнего пребывания его на посту. Этот час, как последняя верста для ямщика, всегда ведь представляется особенно тяжелым.

Поначалу, впрочем, казалось, что путь к сближению Франции с Советской Россией расчищается. Враги складывали оружие. Однако через несколько дней я получил от секретаря французской «ликвидационной комиссии» небольшую служебную бумажку, уведомлявшую, что, по распоряжению председателя совета министров господина Пуанкаре, всякие деловые отношения со мной порываются и текущий счет мой в Банк де Франс закрывается.

— Вот и не удержался! — сказал я своей жене.

— Ничего, еще поборемся! — как всегда уверенно заявила она. — «С волками жить — по-волчьи выть»: Пуанкаре любит «досье», и без него не выходит на трибуну, вот и мы соберем этакое «досье», — благо у тебя больше и канцелярии нет, — из сохранившихся у тебя

лично архивов и документов, да такое, что любой адвокат согласится принять на себя твою защиту. Важно только попасть на какого-нибудь настоящего политического врага Пуанкаре.

И после долгого раздумья выбор наш пал на сенатора де Монзи. К этому парламентарию, состоявшему юрисконсультом крупнейших банков и промышленных предприятий, я относился более чем настороженно, познакомившись с ним на работе по заказам во время войны. Больно уж этот хромой от рождения, но живой, как ртуть, человек мог обмануть, и не просто, а так, как обманывали, вероятно, его предки, тонкие умом какие-нибудь итальянские иезуиты.

— Я и не скрываю, — шутливо говаривал он сам впоследствии, я обманываю и всех готов обмануть, кроме двух любящих меня одновременно женщин и генерала Игнатьева.

Познакомившись поближе, я уразумел, что противоречивые до крайности оценки личности Анатоля де Монзи объяснялись тем, что сам-то он представлял собой воплощение противоречий. Он наслаждался ими, они давали пищу его воспитанному на римском праве тонкому уму, они заполняли его жизнь: она ведь тем более бывает интересна, чем больше в ней скрыто противоречий. Разве при беспринципности буржуазного общества не оказываются нередко циники нежными поэтами, а пуритане — тайными сластолюбцами. Трудно было угадать, из каких побуждений де Монзи ломал копья, чтобы добиться восстановления дипломатических отношений с Ватиканом, и еще более загадочной могла показаться после этого его поездка в Москву, «к моим друзьям большевикам», как он говорил в 1921 году.

Мое обращение к нему с протестом на решение Пуанкаре по русским финансовым делам пришлось де Монзи особенно на руку, укрепляя ту позицию, которую он занял, оказавшись первым политическим деятелем, «скомпрометировавшим» себя отношениями с Москвой.

Ранним февральским утром шагал я, как помнится, вдоль мутной Сены, разыскивая дом № 7 на набережной Вольтера. Все здания в этом квартале сами будто говорили о прежних обитателях, о друзьях и врагах королей, о первой парижской квартире скромного капитана Бонапарта, об академиках, ценивших эти дома за близость

к храму науки — Сорбонне, а в настоящее время просто о тех немногих парижанах, которым удавалось, не удаляясь от центра, найти вместе с тем в этих домах покой от городского шума.

В одном из них, в низких антресолях, в кабинете с пылающим камином, за большим письменным столом, отделанным бронзой в стиле Людовика XVI, сидел в удобной пижаме из мягкого бархата с шелковыми отворотами и в черной шапочке, прикрывавшей голову, лишенную всякой растительности, сам «патрон» (хозяин), как с благоговением прозывали де Монзи встречавшие меня его многочисленные сотрудники — тоже адвокаты, но не составившие еще столь необходимого для судебных дел громкого имени.

— Вот это «досье»! В нем я могу все понять, во всем разобраться! Вот как работают люди и без канцелярии и без адвоката! — восклицал с увлечением де Монзи, созвавший по этому поводу своих помощников.

— Это перлы, истинные перлы! — то и дело вскрикивал он, просматривая мою переписку с «ликвидационной комиссией» и отпуская поминутно непечатные уличные эпитеты по адресу французских чиновников.

— Сами же расписываются в своей глупости, признаваясь в потакательстве врагам Советского Союза, испрашивая вашего разрешения засчитать нам возвращенные вами аэропланы и автомобили по цене старого лома. Да, да, — старого лома! Это прелестно, — веселился де Монзи. — А теперь что ж? они решили просто-напросто и вас сдать в старый лом! Но постойте же! Мадлен! Мадлен! — закричал он вбежавшей в кабинет стенографистке и стал тут же диктовать от моего имени текст заказного письма Пуанкаре с такой точной передачей фактов, как будто все мои бумаги были уже давно ему знакомы.

— Если он нам не ответит, — через неделю пошлем второе письмо, а еще через неделю — в суд! — закончил свидание этот не похожий ни на кого молодящийся, но уже много повидавший на своем веку политический brasseur d'affaires — воротила.

Как мы и ожидали, письма, без предварительной отправки которых нельзя было обратиться в суд, остались без ответа, и в конце апреля я получил вызов в Palais de

Justice (Дворец правосудия) для слушания иска, предъявленного от моего имени самому председателю французского совета министров — Пуанкаре.

Любят французы посудиться, и судебные тяжбы, как большие, так и малые, еще с королевских времен вошли в быт жителей этой страны не только при их жизни, но и после смерти. Родиться можно законным и незаконным ребенком, — поди доказывай! Основать торговое общество, даже фиктивное, можно законно и незаконно, — поди оправдывайся! А уж при продажах и покупках всегда можно или рисковать попасть под суд, или быть вынужденным к нему обратиться. Дела по наследству тянутся тоже столь долго, что не всем наследникам выпадает счастье дожить до их окончания.

Я тогда еще не знал, что, переступая порог Дворца правосудия, люди теряли право не только защищать, но даже выражать свои мнения: за них думали и говорили те мужчины, а — как я нередко замечал — и весьма миловидные женщины, напоминавшие в своих черных мантиях с широкими рукавами летучих мышей, которые проносились то и дело по грандиозным коридорам и залам. Среди них можно было встретить и бывших и будущих министров, и почтенных неудачников старичков-говорунов, и худосочных юнцов с задумчивым взглядом, не потерявших еще студенческих повадок. Дворец правосудия открывал им путь от скамьи адвоката к парламентской трибуне.

Мой адвокат тоже преобразился: надев черную мантию и круглую шапочку, он перестал быть важным «господином сенатором», а сделался только скромным «мэтром де Монзи».

Подхватив меня под руку, прихрамывая и, как все французы, куда-то торопясь, он привел меня в небольшой зал, где я встретил еще двух адвокатов: в одном из них, до неприступности важном господине, я признал юрисконсульта французской «ликвидационной комиссии» по русским делам, а в другом, таком прилично седеньком, — представителя Банк де Франс.

По приглашению председателя, старца с большой красной розеткой ордена Почетного Легиона в петлице, говорившего без слов о высоком служебном положении

его обладателя, оба адвоката противной стороны сели по правую сторону стола, де Монзи — по левую, а мне было предложено занять удобное кресло насупротив большого стола.

— Скажите, господин Игнатьев, — опуская как бы невзначай сохранившееся за мною во Франции военное звание, спросил председатель, — вы всегда аккуратно платили налоги?

В первую минуту я еще не оценил всей важности поставленного мне вопроса, но твердо знал, что попасть в категорию даже неаккуратных плательщиков, а тем более неплательщиков налогов, очень опасно. Врать, однако, не стал и твердо заявил, что никогда за двенадцать лет моего пребывания во Франции я о налогах и понятия не имел. Сказал и почувствовал по едва заметной улыбке на тонких губах де Монзи, что попал в цель и уже наполовину выиграл дело: если французское правительство не требовало уплаты налогов, то этим самым признавало за мной так называемую «дипломатическую неприкосновенность», или, что то же, мои права на официальную защиту интересов России.

— Позвольте в свою очередь и мне задать один предварительный вопрос моему уважаемому коллеге, — вкрадчиво и с деловым видом обратился де Монзи к председателю. — Среди документов моего доверителя я нахожу чековую книжку, один из корешков которой доказывает получение моим почтенным коллегой, не далее как два месяца тому назад, приличного гонорара за ведение процесса по возвращению одной крупной фирмой аванса, внесенного ей генералом Игнатьевым во время войны в счет военного заказа. Мой почтенный коллега не станет этого отрицать?

Выступать и оспаривать после этого мое право распоряжаться казенными капиталами «почтенному коллеге», конечно, становилось неудобно, он что-то мурлыкал, а не менее смущенный председатель заявил, что дело им недостаточно изучено.

— A la huitaine, à la huitaine! — На неделю, на неделю! — предложил он отложить заседание.

— Как это прискорбно, — заявил де Монзи, а покидая зал заседаний и снова подхватив меня под руку, шепнул:

— Какой идиот! Нам ведь только и надо было задержать выполнение оспариваемого нами приказа Пуанкаре до лучших дней. А ждать-то осталось недолго, — ошарашил меня мой адвокат.

Ожидал, впрочем, не я один: от выборов 12 мая 1923 года многие ждали коренных перемен и во внутренней и во внешней политике Франции. Страна устала чувствовать себя на полувоенном положении, которое позволяло правительству оправдывать возраставшие с каждым годом налоги.

Результаты выборов становились, как обычно, известны в Париже в тот же вечер, но никогда они не вызывали того оживления, которое царило на Бульварах в этот памятный и для меня вечер — вечер 12 мая.

Уже не за бокалом шампанского в шикарных ресторанах у «Пайяра» или у «Ларю», как бывало когда-то, с друзьями, а в полном одиночестве, среди бульварных зевак, за кружкой пива, следил я за исходом выборов, от которых зависела и моя судьба. Шли часы, а я все еще не в силах был оторваться от созерцания выставленного на крыше дома большого транспаранта, на котором газета «Матэн» указывала, одно за другим, имена кандидатов, избиравшихся различными политическими партиями в каждом из восьмидесяти департаментов страны. Одновременно громкоговоритель объявлял число полученных ими голосов, сопровождая имена получивших большинство словами:

— Elu! — Выбран!

Раскаты аплодисментов толпы, запрудившей и Бульвары и прилегавшие к ним улицы, сопровождали все чаще долетавшие до слуха слова: «Elu! Elu!» при каждой победе кандидатов левых партий.

К двум часам ночи все выяснилось: Пуанкаре не стало, и можно было, наконец, свободно вздохнуть.

— Едем, едем завтра же к нашему другу Клемантелю, — торжествовал на следующее утро де Монзи. — Вы же должны его знать?

— А он что же? Все состоит депутатом от Клермон-Феррана, защищая интересы завода Бергуньян? — в свою очередь поинтересовался я.

— Ныне он уже сенатор, но с ним можно «договориться». Он легок, как пух, — рекомендовал де Монзи нового министра финансов кабинета Эррио.

— Да мы еще десять лет тому назад с Клементелем, тогда докладчиком военного бюджета, по всем вопросам «договорились», — не без иронии заметил я.

Ждать приема у вновьиспеченного министра не пришлось: таким друзьям, как де Монзи, новые министры старались ни в чем не отказывать.

— Вы не можете быть с нами в ссоре, выступать в судебном процессе. Это все наделал Пуанкаре, но мы же, «левые», — ваши друзья! Вы же знаете, что все сто человек депутатов-социалистов всегда стояли за вас, а не за эмигрантов. Этот вопрос надо немедленно уладить, — заявил авторитетно Клементель при первом же нашем свидании и попросил переговорить с его юрисконсультом, сидевшим в соседнем с ним кабинете. Сразу стало понятно, что без этого юриста министр ни на что решиться не может.

Этот молодой человек говорил с апломбом, достойным народного трибуна, каковыми, в отличие от правых, стремились казаться некоторые представители пришедших к власти социалистов.

— Вы нам должны двадцать семь миллиардов, — начал он, определяя общую задолженность царской России Франции.

— Очень для меня лестно быть таким должником, — улыбнулся я.

— Но вам необходимо, mon général, — деловито продолжал советник Клементеля, — ознакомиться с нашей принципиальной установкой: мы забираем все русские ценности и деньги, где бы мы их ни находили.

Хорошо мне были знакомы подобные речи. Не так ли мыслили почти все белогвардейцы, покушавшиеся на мои казенные миллионы, и не столь же ли близоруко смотрел на них и Пуанкаре.

Но возмущение — плохой советник в делах, и, чтобы скрыть его, я спокойно вынул еще в то время уцелевшие золотые часы с какой-то особенно ценной цепочкой из красного и зеленого золота, положил их на стол и сказал:

— В таком случае я предлагаю вам, в уплату русского долга, забрать вот и эту последнюю сохранившуюся у меня драгоценность.

Вид моих часов и, вероятнее всего, их цепочка соблазнили моего собеседника и, заинтересовавшись, он протянул к ним руку.

— Вот уж теперь позвольте позвать полицейского, остановить вора, — нагнулся я к открытому настежь окну. — Вы можете, конечно, считать себя вправе забирать, подобно миллионам в Банк де Франс, и мои кровные часы, но предварительно обязаны выдать мне расписку в том, что вот де, мол, «в уплату русского долга» получены от генерала Игнатьева его собственные золотые часы стоимостью... Цифру прописью проставьте, — шутил я.

— Вы, генерал, рассуждаете по-военному, и мне кажется, что военным долгом следовало бы заниматься не нам, а нашему военному министру, мы ему и передадим этот вопрос.

•

Военный министр, хорошо мне знакомый еще до войны артиллерийский генерал Нолле, числился в списке «демократов», но от свидания со мной все же уклонился.

Со времени вмешательства в мое дело де Монзи многое стало для меня таинственным. Тайной остался для меня навсегда визит, нанесенный мне представителем Нолле, не то профессором, не то миллионером, отрекомендовавшимся хранителем вновь созданного, а потому мне не известного военного музея в Венсене, на окраине Парижа.

— Наши предложения, — начал господин Блок, — отвечают прежде всего нашим собственным пожеланиям — сохранить в целости ваш служебный архив. Мы располагаем для этого не только помещением, но и нужными средствами: одни из них государственные, а другие — частные, — и он при этом загадочно улыбнулся. — Вот мы и предлагаем вам, генерал, передать в наш музей ваши документы и при этом, конечно, за приличное вознаграждение... (С этого момента мой собеседник стал заикаться.) В форме ли пожизненной ренты или единовременного взноса в двести тысяч... в триста тысяч... быть может — четыреста тысяч золотых франков? — скрепя сердце повышал цифру господин Блок, объясняя, вероятно, мое молчание недостаточно высокой оценкой моих документов.

— Прошу вас, господин Блок, поблагодарить военного министра за столь любезное его внимание к моим служебным документам, но товаром этим мне торговать не приходилось. Как бы не просчитаться или, чего еще боже упаси, вас не обмануть!

Проводив до дверей нашей когда-то столь нарядной, а ныне уже обветшавшей после увольнения прислуги квартиры, я подумал: «За кого принимают меня наши новоявленные друзья?» Удивляться, впрочем, нечего, — люди судят о других чаще всего по самим себе. Находятся французы, которые считают меня способным из-за моей личной бедности на самое страшное преступление — торговлю казенными документами, а парижские белоэмигранты и по сей день считают меня продажным предателем своей родины, или, что то же, предателем интересов крупных промышленников, банкиров и приверженцев монархии.

И те и другие не знают, что, вопреки французским судебным проволочкам и враждебным нам политическим маневрам, мне все же удалось вырвать из французского судебного «секвестра» в полной сохранности весь «служебный архив» за время моей военно-агентской деятельности, с 1912 по 1919 год, а в 1937 году доставить его в Москву.

Чем ближе был день ожидавшегося мною с таким нетерпением установления Францией дипломатических отношений с Советской Россией, тем яростнее становились статьи какого-нибудь Бориса Суворина против «советского графа», как прозвали меня эти господа, пытаясь скомпрометировать меня и в глазах советских людей и в глазах «благомыслящих», по их мнению, французов.

23 ноября 1924 года суворинская газета «Вечернее время» поместила провокационную статейку под названием «На улице Гренелль».

Для того чтобы придать ей характер редакционного выступления и тем еще сильнее ввести своих читателей в заблуждение, она не была подписана.

Пользуясь старым испытанным методом клеветников: «Клевещи, клевещи, что-нибудь да останется», Суворин не останавливался перед самой низкопробной ложью,

стремясь повлиять на умы французов и колеблющейся части русской эмиграции, помешать установлению добрососедских отношений между Францией и СССР.

«В здании бывшего Российского посольства заметно все более усиливающееся оживление, — желчно писал белогвардейский суворинский листок. — Висящая на воротах надпись чрезвычайно характерна: посольство и консульство закрыты до приезда «товарища посла». Этого «товарища посла» ждут прибывшие и поселившиеся в здании с большим нетерпением, для того чтобы как можно скорее водрузить приготовленный уже красный флаг с советскими эмблемами, пока хранящийся в вестибюле здания».

Далее Суворин переходит к прямым «разоблачениям», не упуская случая пройтись и по моему адресу:

«...Главным руководителем этой шайки является граф Игнатьев, бывший до войны русским военным агентом во Франции.

Полковник генерального штаба б. императорской армии, гр. Игнатьев на службу к большевикам перешел сразу же после переворота и сделал уже блестящую советскую карьеру.

В настоящее время он назначен советским военным представителем во Франции, прибыл в Париж и теперь до приезда дипломатического представителя «командует» всей этой дипломатической компанией, участвуя во всех оргиях и безобразиях в здании посольства.

Так началась новая эра в жизни парижских советских представительств».

Решив не оставлять безнаказанными распоясавшихся белоэмигрантских вралей, я через несколько дней послал администратору газеты «Вечернее время» протест, в котором выразил свое возмущение против клеветнических выходок и во всеуслышание заявил, что А. А. Игнатьев «не состоит на службе какого бы то ни было правительства, но он остался на службе своего Отечества и ни под каким предлогом не согласится служить оружию, направляемому против своей страны».

Это мое заявление газета была вынуждена поместить на своих страницах, на том же месте, согласно французскому закону, статье 13-й от 1881 года, но суворинские борзописцы полезли из кожи вон, чтобы доказать мою бесчестность.

Суворин не упустил случая, чтобы послать в мою сторону несколько ядовитых стрел. В передовой статье, напечатанной рядом с моим письмом, он прокомментировал мое заявление: «В сущности говоря, «генерал гр. Игнатьев», как он везде себя называет, только подтверждает те сведения, которые мы о нем имеем. Для нас переход на сторону большевиков «генерал-графа» и является изменой русскому делу...» Как видим, защиту отечества, любовь к нему белоэмигранты считали предательством. Это и понятно. Бурцевы и суворины находились на службе тех империалистических кругов, которые вынашивали идею вооруженной интервенции против СССР. Поэтому видеть проявление любви к родине для них было невыносимо.

Ныне, когда Советский Союз превратился в могучую мировую державу, многие представители белоэмиграции, так и не осознавшие, что время работает против них, не понявшие, что историю нельзя повернуть вспять, открыто выступают на стороне поджигателей новой мировой войны.

Понятно, что с этими людьми мне и тогда было не по дороге. Они стремились всеми средствами уничтожить меня. Рушились старые связи, казалось бы сложившиеся отношения. Вокруг меня создавалась «зона пустоты».

Однако, вступая на путь борьбы, я твердо знал, с кем имею дело, твердо знал, что мои противники не побрезгают любыми провокационными методами, лишь бы достигнуть своей цели.

Впрочем, вражда наша шла издалека, с тех лет тяжелой борьбы, которую я вел еще при царской власти во время войны против всех любителей легкой наживы на казенном рубле. Они превратились ныне в горячих защитников частной собственности, нажитой многими из них не правдой, а кривдой. Не думал я, однако, что, кроме газетной шумихи, они подготовляют для меня и последний, довольно неприятный сюрприз.

— Полиция! Полиция! — этим криком разбудила меня однажды приходившая к нам по утрам мадам Мелани, француженка-уборщица.

Подозревая неладное, я, накинув халат, немедленно вышел навстречу поджидавшим меня в передней трем штатским.

— Вы пришли меня арестовать?

— Нет! Совсем нет, — ответил мне нестарый, прилично одетый господин с ленточками Почетного Легиона и Военного креста в петлице. Эти отличия определяли для меня его служебное положение — ныне полицейского комиссара и в прошлом — бывшего офицера, участника мировой войны. Он просил меня принять его отдельно, чтобы в двух словах объяснить цель своего прихода.

— Удивительно, сколько хлопот доставляю я Французской республике! — заметил я шутя комиссару, вводя его в свой кабинет, — то за телефонными разговорами следить, то за ночными похождениями у престарелой великой княгини наблюдать...

— Но на этот раз, генерал, мы получили более ответственное поручение: вас охранять!

— Этого еще не хватало! Что же случилось?

— Министерство внутренних дел имеет в своих руках неопровержимое доказательство о заговоре, подготовленном против вас вашими же соотечественниками-эмигрантами, и потому, во избежание террористического акта, мы просим вас помочь нам выполнить возложенное на нас поручение. Вот эти два агента будут являться к вам с утра в назначенный вами час, всюду вас сопровождать и... — злоупотребляя моим терпением, комиссар стал подробно описывать всю технику охраны личности в этом шумном и подвижном городе, совершенно не созданном для подобного рода служебных «экзерциций».

Из полученных мною впоследствии разъяснений от оставшегося со мной в добрых отношениях одного из офицеров бывших наших бригад, Соколова, собиравшегося уже в Москву, мне стало известно, что так называемый «Общевоинский союз» и свысока на него смотревший злейший наш враг, кутеповский «Союз галлиполийцев», оказались в этом вопросе соучастниками.

Хорошо и долго охраняли бывшие союзники дорого им обошедшегося заложника по русскому долгу. Но сам-то он и не подозревал о всей той закулисной работе, которая проводилась французскими дипломатическими маклерами, подготовлявшими переговоры о царских долгах.

И вот, покуда я томился в тревоге и неведении, я узнал стороной о приезде в Париж товарища Красина и тотчас же письменно попросил у него приема.

«Примет или не примет? — задавал я себе вопрос, позвонив у ворот столь мне знакомого дома на Рю де Гренелль. — У меня ведь ни паспорта советского, ни рекомендаций нет».

«Все равно, — отвечал мне внутренний голос, — ты должен исполнить свой долг».

В этом настроении проходил я через двор, посыпанный, как и прежде, мелкой промытой галькой, а взглянув на развевавшийся уже над зданием красный флаг, приободрился: я ведь одной ногой уже был на родной земле.

Новые жильцы еще не обжились, и приемная была временно устроена на площадке парадной лестницы. Тут же, за большим столом, сидел рослый блондин, который при моем появлении встал и, невнятно, как часто бывает, назвав свою фамилию, заявил:

— Леонид Борисович уже предупрежден о вашем приходе и просит вас обождать.

Сидя на заново отделанном посольском золоченом диване, обитом красным шелковым штофом, и любуясь, как все здесь стало чисто и прибрано, я подумал, как хорошо тоже, что этот вот молодой советский служащий назвал своего начальника так просто: «Леонид Борисович». Сразу запахло той Россией, где полное почтения обращение друг к другу по имени и отчеству, не существующее, между прочим, ни в одной стране, с успехом заменило титулования и отжившую свой век петровскую «табель о рангах».

Да и можно ли ошибиться, что сам этот молодой человек — настоящий русак. Чуб-то один его чего стоит! Закинет он его одним кивком головы назад, — и вид у человека получается лихой и приветливый, а спустится чуб да застынет колечком на лбу, — и тот же человек выглядит и задумчивым, и угрюмым, и грозным для врагов.

Доступ в кабинет полпреда был, однако, обставлен большим церемониалом, чем в прежнее время у посла. Открыв передо мной дверь и придерживая ее, секретарь внятно и чуть ли не с торжеством объявил:

— Товарищ Игнатьев!

Не гражданин какой-нибудь, а «товарищ»!

И это звание, как тогда в первую минуту, так и навсегда, преисполнило меня гордыней.

После этого впечатление от встречи с товарищем Красиным меня озадачило: за ним, даже у наших врагов, установилась твердая репутация обаятельного собеседника, между тем как мне он показался человеком переутомленным и привыкшим держать посетителей на почтительном расстоянии.

— Я много слышал о вас. Я в курсе ваших отношений с французами, но как жаль, что в годы революции вы были не с нами, — начал полпред. И от этих слов впервые что-то сжалось внутри меня так сильно, что я не смог ничего возразить.

— Вы были во Франции, а не в России, — объяснил уже мягче свою мысль Красин. — Не правда ли?

— Так точно, но с контрреволюцией боролся и революцию защищал, — уже оправившись, твердо ответил я.

— Но успокойтесь, — неожиданно, даже улыбаясь, продолжал Леонид Борисович. — Мы тоже знаем, что будь на вашем месте другой человек, возможно от казенных денег следа бы не осталось. Любители использовать их во враждебных Советскому Союзу целях всегда бы нашлись, а вот здесь таких граждан, которые их бы не тронули и не дали бы тронуть, пожалуй, встретить трудно.

И в знак установления со мной нормальных отношений Красин крепко пожал мне руку.

— А теперь поговорим, как нам оформить передачу вами советскому правительству ста двадцати пяти миллионов, хранящихся в Банк де Франс, пятидесяти миллионов, хранящихся в других парижских банках, и пятидесяти миллионов, оставшихся на руках промышленников.

И согласившись на предложенный мною обмен письмами, Красин тут же набросал проект своего ко мне обращения.

— Переведем оба письма на французский язык и препроводим их французскому правительству, — закончил полпред наше первое с ним свидание.

«(Бумага с государственным гербом СССР)
г. Париж 15 января 1925 года.

№ 248

Бывшему Военному Агенту во Франции
А. А. Игнатьеву

В предвидении предстоящих переговоров с французским правительством по урегулированию финансовых вопросов, я считаю необходимым предложить Вам поставить меня в курс тех русских денежных интересов, кои Вы охраняли здесь по должности Военного Агента до дня признания Францией Правительства СССР.

Полномочный Представитель
СССР во Франции
Л. Красин»

«(Бумага на бланке Русского Военного Агента во Франции) на № 248

Полномочному Представителю СССР во Франции
Л. Б. Красину

г. Париж 17-го января 1925 года.

Я счел долгом принять Ваше обращение ко мне от 15-го января за приказ, так как с минуты признания Францией Правительства СССР оно является для меня представителем интересов моей Родины, кои я всегда защищал и готов защищать.

А. Игнатьев»

Так и сдал «часовой» свой пост «разводящему» — представителю своей обновленной родины.

Глава седьмая
В ЗАПАСЕ

«Часовой», сдав дела «Разводящему», рассчитывал услышать приказ и вернуться в строй. Но приказа на это не получил, хотя в отставку, или, как говорилось, «в чистую» уволен не был.

Не теряя, однако, сознания своего долга перед родиной и мысленно повторяя про себя, ставшие уже тогда для меня священными, слова: «Служу трудовому народу!», я посчитал себя «в запасе», лишаясь тем и жалования, и пенсии, и прочих «благ служебных».

Положение это окончательно определилось, когда в Париж, с большим опозданием, прибыла специально для финансовых переговоров комиссия советских финансовых экспертов. После обсуждения поданного мною товарищу Л. Б. Красину доклада о всей моей деятельности за время войны эксперты получили от меня дополнительно ответы на все поставленные ими мне вопросы.

Прошло, однако, много времени, но никто о принятии меня в советское гражданство мне не сообщал.

Неужели же меня все-таки не используют для установления наших отношений с Францией на тех новых началах, при которых Франции будет предоставлена, — как мне тогда думалось, — самая ценная для нас в то время роль финансиста? Для себя ведь другого занятия, как государственная служба, да еще военная или дипломатическая, я не представлял, а несмотря на все признанные, по словам Л. Б. Красина, мои заслуги, вопрос о моей работе еще решен не был.

Долго считал я высшей несправедливостью чувствовать себя «не своим» среди приезжавших из Москвы советских товарищей и только много лет спустя постиг, что с этого-то долголетнего экзамена моей преданности революции и начался самый трудный отрезок «длинного пути от царского полковника до советского генерала».

— Что поделаешь? — отшучивался я при упорных допросах, чинившихся мне теми близкими родственниками, которые еще сохраняли со мной отношения, — от «гусей отстал», хотя они и продолжают меня пощипывать, «а к лебедям не пристал». Но где-то в глубине души я все же хранил стойкую, не поддававшуюся никаким наветам надежду когда-нибудь к лебедям пристать.

Оставшиеся к нам расположенными «благомыслящие» французы из прежних друзей, прослышав о нашем затруднительном положении, не преминули выразить нам свое сочувствие заманчивыми, на их взгляд, предложениями то командовать в когда-то близкой мне французской армии чуть ли не дивизией, то получать самые выгодные «присутственные жетоны» за скрепление своей

подписью дутых балансов на заседаниях «правлений» промышленных предприятий. Взамен предлагаемых благ требовалось только нанести визит префекту полиции и раздобыть для себя французский паспорт, благо советского я все еще не смог заслужить. Недальновидны были эти друзья, превращавшиеся уже от одной моей усмешки в непримиримых врагов...

Мефистофели, однако, не переведутся на земле, и как раз в переживавшиеся в те дни тяжелые минуты полной отчужденности, безработицы и все сильнее угрожавшей нищеты повстречался мне подобный «соблазнитель».

Я знавал его, этого высокого молчаливого брюнета, скромным директором «Общества Аллэ и Камарг». А теперь господин Марлио так разбогател, что стал одним из представителей так называемых «двухсот семейств».

— Как же так, генерал, вы остаетесь без дела? — сказал он. — Мне понятно, что вам не хочется переходить на частную службу в наше общество во Франции, но я предлагаю создать для вас вполне самостоятельное положение в Америке, в наших филиалах. Вот и пришла мне в голову мысль натравить Соединенные Штаты на Японию. А почему бы вам, бывшему участнику русско-японской войны и военному дипломату, не принять участия в подобной пропаганде? Никто лучше вашего сделать этого не сумеет. Подумайте только, какие нам прибыли сулит подобная война. Она нас из любого кризиса вытянет. А для вас уж в деньгах отказа не будет, и отчета от вас никто не потребует. — И при этих словах обычно мрачный Марлио разразился неподдельным мефистофельским смехом.

«Только бы не попасть в лапы этих господ, — подумал я, — и сохранить во что бы то ни стало свою независимость. Когда-нибудь в Москве обо мне вспомнят. Когда-нибудь пригожусь я своей родине... А пока буду продолжать считать себя не в отставке, а в запасе».

Оказавшись в силу обстоятельств временно не у дел, я попал в тиски прозаичного вопроса личных денежных дел, разрешить который можно было лишь чисто «хирургическим» путем.

Эта ненавистная мне своей обывательщиной проза и принудила меня решиться на коренную перемену нашего образа жизни и наладить свое новое существование.

Прежде всего надлежало расплатиться с накопившимися за семь лет долгами, а для этого ликвидировать нашу парижскую квартиру и остаток уцелевших еще ценных вещей. Одни за другими, они пошли на продажу: часть поступила в «Hôtel des Ventes», специально занимавшееся продажей вещей с молотка учреждение, другая часть просто покупалась знакомыми и незнакомыми лицами на дому.

Одной из первых истин, усвоенных нами с Наташей после революции, уже при Временном правительстве, явилось сознание, что все находившееся в России наше движимое и недвижимое имущество потеряно навсегда и безвозвратно и что рассчитывать мы должны только на самих себя, обеспечив прежде всего существование близких, которые от нас зависели. Наташа, не задумываясь, ликвидировала свои драгоценности. На вырученные от продажи деньги она создала пожизненную ренту своей матери, а на остаток в тридцать тысяч франков купила домик с огородом вне Парижа, в тихом Сен-Жермене.

Скопидомство вообще несвойственно русской натуре, да и две пережитые войны приучили меня не считаться с интересами домашнего очага. Мне, например, казалось совершенно естественным обратить, ради экономии казенных денег, мою собственную парижскую квартиру в служебную канцелярию. Нечего и говорить, что через четыре года войны только протертый до дыр бобрик, сплошь покрывавший полы, напоминал о прежних приемах русского военного агента во Франции.

Совершенно иные чувства вызывало постепенное разрушение нашего гнезда на Кэ Бурбон, созданного моей женой Наташей. С ним были связаны неповторимые минуты нашей встречи, нашей последней предвоенной весны. Но мы чувствовали, что удержать за собой эту громадную квартиру, с высоченными окнами и потолками, сохранившимися от дворца генерал-интенданта короля Людовика XIV, президента Жаско (вероятно, хорошего мошенника), нам будет не под силу. Буржуазия хоть и обратила прежние залы и салоны в обычные комнаты, но не смогла изменить их размеров, оказавшихся недоступными бюджетам квартирантов: центральное отопление квартиры, стоившее до войны шестьсот франков в год, стало обходиться после войны до трех тысяч франков

в месяц. Главной причиной этой дороговизны явилось, конечно, обесценивание союзниками французского франка: его паритет стал в пять раз ниже довоенного времени. Я был свидетелем, насколько французы, несмотря на свою скуповатость, не считались с ценами при поставках Англией и Америкой необходимого сырья, руководствуясь исключительно интересами войны.

«Неужели же, — думалось мне, — после победы Франция должна будет платить своим союзникам, хотя бы даже и за уголь, по такому расчету, который ляжет тяжелым бременем на народ!»

«Немчура заплатит!» — утешали себя надеждой легкомысленные французы — подписчики на внутренние займы, предназначавшиеся для восстановления разрушенных войной областей. Французы как будто нарочно отказывались от немецкого предложения платить репарации в форме восстановления ими разрушений, совершенных во время войны, с тем чтобы создать предлог для беспримерного в истории ограбления собственного населения в пользу спекулянтов и потерявших всякую совесть промышленных дельцов. «Внутренние займы» по восстановлению военного ущерба с успехом заменили «русские займы».

Мой, еще недавно скромный и честный, контролер Жиллэ, оказавшись в министерстве по репарациям, выдавал без всякого стеснения под разрушенные дома ссуды, превосходившие в десять раз действительную стоимость потерь. Не раз вспоминалась мне и книга экономиста Нормана Энджеля «Великие иллюзии», в которой доказывалось, что победоносная война ставит подчас победителя в более тяжелое экономическое положение, чем побежденного.

Во Францию вступил новый властелин — американский доллар, стоивший вместо прежних пяти — двадцать пять франков. Его обладателям, наехавшим заокеанским гостям, мы и сдали в наем дорогое нам жилище на Кэ Бурбон.

Сдача в наем квартиры чужим людям была только первым этапом разрушения нашей прежней жизни. Пришлось пойти и на расторжение контракта за наем помещения и продажу всей обстановки. Так оно и получилось: нашелся посредник-армянин, приведший своих «клиентов», сразу, так сказать «оптом», купивших все: коллекции

вееров, табакерок и фарфора, старинную мебель и бронзу, ковры и даже дорогие по воспоминаниям мелочи-безделушки.

Из насиженного и любимого гнезда мы взяли только носильные вещи, туалетные и письменные принадлежности, рояль и самую необходимую мебель, которую перевезли в наше новое жилище.

Освобожденные как от собственности, так и от долгов, мы продали все, кроме свободы. Она-то, конечно, и была всего ценнее в стране, «где золото стало молитвой».

Каждый возраст имеет свою прелесть, и напрасно люди зачастую боятся состариться, не учитывая, сколь много красот не замечали они в молодости, сколь ценен приобретенный ими опыт в жизни — этот ненаписанный, но нередко самый интересный роман. История человеческой культуры изучается не только по учебникам, а также и по окружающим тебя старинным памятникам.

Каждый дом в таком старинном городке, как Сен-Жермен, имел свою историю, наложившую печать покоя и примирения с прошедшими по этим улицам политическими бурями, взлетами и падениями ушедших в вечность поколений.

Само путешествие в Сен-Жермен, отстоящий всего на двадцать три километра от Парижа, уже в наше время казалось допотопным: это ведь была первая построенная во Франции железная дорога. Поезд, дойдя до берега Сены, останавливался, вздрагивал от толчка подходившего к нему сзади второго паровоза, после чего, окутанный паром и дымом, со свистом перелетал через мост и погружался в полный мрака туннель. Когда пассажиров бывало много и перегруженный поезд замедлял свой ход, то они зачастую так и не доезжали до вокзала, расположенного в глубокой выемке при выходе из туннеля, выходили из поезда и шли пешком. Железнодорожная линия здесь и кончалась. Потом надо было долго взбираться по громадной гранитной лестнице и только тогда выйти на площадь прямо к вековой стоянке сен-жерменских извозчиков.

Восседая на высоких козлах своих старых колясок, запряженных столь же старыми «россинантами», покрытыми для порядка, и во всякую погоду, попонами, сен-

жерменские извозчики с большим упорством, чем их парижские коллеги, боролись с презренными, по их мнению, автомобилями и с удивлением посматривали на приезжих, не соблазнявшихся предложениями совершить традиционную прогулку по Сен-Жерменскому лесу.

— Какой это лес и что вообще стоят эти французские деревья! Они ведь вдвое ниже русских! — ворчала неугомонная Наташина мамаша, обрусевшая француженка, всю жизнь вздыхавшая о нашей «мила Москва».

История Сен-Жермена начиналась уже с предвокзальной площади, с которой Людовик Святой отправлял в поход первых крестоносцев; здесь же проливалась кровь на рыцарских турнирах. Свидетельствовал об этом, правда, лишь безвкусно реставрированный королевский замок, окруженный глубоким рвом, заросшим то тут, то там кустами чудного белого жасмина и персидской сирени. Парижане рвали эти цветы, проходя вдоль контрэскарпа, соединявшегося с замком подъемным мостом.

Через высокие ажурные позолоченные ворота можно было войти в сохранившийся во всей своей красоте королевский парк — образчик планировки, созданный Ленотром. Идет посетитель по широкой слегка подымающейся в гору аллее, обсаженной вековыми липами, и не подозревает, что через несколько шагов перед ним откроется одна из тех панорам, с которыми может сравниться лишь панорама, открывающаяся с наших московских Ленинских гор. Париж, как и Москва, — на ладони, и, так же как и Москва-река, причудливо извивается Сена. Вдоль ее высокого берега, на три километра, тянется чугунная узорчатая решетка. Тут когда-то прогуливались кавалеры в светлых камзолах, в белых чулках и башмаках с красным каблучком, дамы в напудренных париках и наполеоновские маршалы.

Время и исторические события разрушили старый дворец. От него уцелела лишь комната, где родился объединитель Франции, «le Roi Soleil» — «Король Солнце», Людовик XIV; солнце, как эмблема, входило в рисунок королевского герба. Практичные французы устроили здесь гостиницу для приезжавших из Парижа влюбленных парочек. Историческую известность комнаты подняло подписание в ней Сен-Жерменского мирного договора в 1919 году.

Об эпохе Людовика XIV напоминали и мраморные доски на домах его приближенных. Как же было не поинтересоваться в таком городе историей и того полуразвалившегося домишка, что мы приобрели еще в лето 1918 года, когда под угрозой бомбардировок дома срочно продавались за гроши.

Французы большие охотники до документов, и сама купчая крепость приобретенного нами владеньица упоминала о всех прежних владельцах нашего нового имущества, начиная с того момента, когда этот домишко, принадлежавший монастырю маркизы де Мэнтенон, морганатической супруги Людовика XIV, был национализирован и продан с торгов революционными властями.

Прислоненный к скалистому склону горы, составлявшему его четвертую стену, наш домик, сложенный из добытого в той же горе камня, высился местами до трех, местами до четырех этажей, каждый в две-три комнаты. Одна из них большая, другая малюсенькая, полы то деревянные, то каменные, ни одна из ступеней сложенной винтом лестницы не была похожей на другую.

— Неужели придется жить в этой дыре? — сказал я Наташе, когда в первый раз входил в закопченную комнату нижнего этажа, служившую курятником, а впоследствии обращенную в нашу уютную гостиную. От сырости со стен текла вода, а деревянные половицы были покрыты вековым слоем окаменелой грязи.

— Да, непременно, и ты увидишь, что когда-нибудь мы будем здесь очень счастливы, — ответила она.

Вид из окон каждого этажа тоже различный. Внизу, из-за окружавшей огород каменной стены, можно было любоваться только дорогими нашему сердцу цветами и посевами. Всякий зеленый росток молодых всходов, как и бутон распускавшейся розы, служил для нас наградой за потраченный труд, но уже из-за ставней второго этажа открывались широкие просторы мирных долин.

В детстве перед казенным домом в Иркутске протекала красавица Ангара, в юности перед окном моего рабочего кабинета заходило и всходило солнце за величавой Невой, и даже на войне, в Маньчжурскую кампанию, я всегда старался занять хоть и полуразрушенную, но выходившую на поля одинокую китайскую фанзу. Да

и мог ли я мечтать, что на старости лет буду писать эти строки перед виднеющимися через окна золотыми куполами священного Кремля, переносясь мысленно в далекое прошлое родной Москвы и снимая шапку перед ее настоящим.

Кому же могло прийти в голову соорудить этот полный беспорядочной живописности наш сен-жерменский домик? Для богача он был слишком беден, для бедняка — несоразмерно просторен. Еще более таинственными оказались тянувшиеся под домом глубокие подземелья, заканчивавшиеся большим сводчатым залом. Местные жители обращали наше внимание на замурованные проходы в стенах. За одним из них находился какой-то загадочный подземный бассейн, в который через небольшой пролом посетители, забавы ради, бросали камешки, за другим, по словам старожилов, скрывались подземные ходы, которые шли до самого замка и чуть ли не до Сен-Жерменского леса.

Вскоре по документам городской мэрии мне удалось установить, что домик № 59 по улице де Марейль был построен Иаковом II, последним английским королем из династии Стюартов, который за свою приверженность к католицизму был вынужден бежать во Францию к своему «кузену», как именовали тогда друг друга короли, — Людовику XIV. Последний, построив себе Версаль, предоставил Иакову II Сен-Жерменский дворец. Повидимому, развенчанный король был хозяйственным парнем: престол-то потерял, богу молился, но золотую корону с алмазами, брильянтами и прочими драгоценностями с собой из Англии захватил. «Пригодится, — видно, думал он, — про черный день!» — и, не доверяя ни французам, ни католическим «отцам», возведшим его в ранг «святых», решил припрятать свои «камешки» в укромное место. В лесу, окружавшем в ту пору город, у подножия горы, он построил прочный домик, поселил в нем своего личного камердинера-англичанина и наказал замуровать, да поглубже, в подземелье, драгоценный клад.

Немало, видно, прежних владельцев нашего домика пытались разыскать этот клад, но в наши дни напоминали о нем только две еще сохранившиеся, уже опустевшие ниши. В одной из них, на высоте человеческого роста, спрятано было, повидимому, оружие. Невольно захоте-

лось проверить эту легенду, и, подобрав кусок сохранившейся на краю ниши известки, я свез его для изучения в Парижскую академию наук. С этого дня мои слабые познания в археологии обогатились сведениями о том, что строительные материалы, изменяясь в своем составе, наиболее точно определяют возраст старинных зданий, а доставленный мною кусок известки дал мне право вспоминать о том англичанине, что при свете факела трудился свыше двух столетий тому назад над надежным сокрытием клада развенчанного повелителя.

Теперь факел в моих руках заменяла ацетиленовая лампа, под ослепляющим светом которой я обращал это мрачное подземелье в источник нашего прожиточного минимума.

Мало кому известно, что одной из важных отраслей экспортной промышленности Франции являлись шампиньоны, разводившиеся в бесчисленных подземельях, которыми проточены все окружающие Париж возвышенности. Из их недр в свое время брался тот камень, из которого строили дворцы и лачуги столицы, и трудно действительно бывало себе представить, пролетая в машине по загудронированным шоссе, что там, под тобой, где-то в глубине, кипит жизнь в освещенных электричеством туннелях. По ним катились по рельсам вагоны с перегнившим конским навозом, копошились тысячи мужчин и женщин, укладывавших этот драгоценный, перепрелый материал на грядки. Потом в грядки закладывались куски «грибницы» — уже высохшего навоза, оплетенного белыми корневыми нитями шампиньонов. Но, для того чтобы получить грибы, необходимо было изолировать грядки от воздуха и света, штукатурить стенки туннелей вручную смесью глины и песка, проливая немало поту на эту несложную на первый взгляд работу. Немного приносила она самому рабочему, но любой капиталист, даже такой, как Ротшильд, не брезговал иметь в своем портфеле акции подобных безубыточных предприятий.

Предприимчивость для русского человека — не заслуга. Это его природное свойство, и, не собираясь стать капиталистом, я все же, ознакомившись с этой промышленностью, решил испробовать свои силы,

Книги о культуре шампиньонов я все прочел, но решил доучиться у соседа-крестьянина — «мэра» ближайшей от нашего домишка деревни. Старик славился в округе знанием этого дела и потому не удивился, когда в один из воскресных дней я пришел к нему за советом.

— Посмотрим! — не то усумнившись, не то заинтересовавшись моей инициативой, заявил «мэр» и после обеда обещал зайти. Когда же он увидел наш чистенький дворик, покрытый аккуратно сложенными штабелями навоза, политого и приготовленного для переноски в подземелье, когда оценил качество уже уложенных частично грядок и чистоту приготовленного подземелья, — он подал мне руку и сказал:

— Вы хороший работяга! Надо вам помочь, милый господин! Я приведу с собой своего сына и дам вам адрес для покупки грибниц.

Когда же на следующее воскресенье, попивая красное вино, эти еще так недавно чужие для меня люди работали при свете ацетиленовой лампы, я почувствовал, что они как будто для меня закадычные друзья. Не в этом ли уважении к труду, не только к своему, но и постороннему, заключается одна из самых привлекательных черт французского народа?

Не прошло и трех месяцев со времени окончания работ по закладке грибницы, как, войдя в подземелье, я неожиданно почувствовал себя счастливым. Оно превратилось в настоящее звездное небо. Таким представлялись те белоснежные гнезда шампиньонов, что, подобно созвездиям на небесном своде, выделялись на темном фоне уходивших в самую глубину светложелтых песчаных грядок — источников нашего житья-бытья еще на долгие месяцы.

Помню, как бережно, по всем правилам сбора грибов, наполнили мы первую корзину с драгоценными грибами, цена на которые непрерывно росла, и, отправившись в Париж, решили продать их хозяину ближайшего к вокзалу ресторана. Там же, вспомнив старину, на вырученные деньги хорошо пообедать.

— Угостить угощу, — обрадовался давно не видавший меня хозяин, — но грибов ваших, как они ни хороши, ни за какие деньги не возьму. Неужели вы не знаете, что мы с вами из-за них рискуем в тюрьму попасть! Вы должны найти на «Центральном рынке», этом чреве

Парижа, «концессионера» и на его имя отправлять грибы. Только он, и только он, за небольшую комиссию (я уже знал, что без «комиссионных» во Франции ни одно дело не делается), имеет право продавать каждое утро поступающий к нему товар с торгов и вырученные деньги записывать вам на приход. Это вернее всякого банка, — успокаивал меня мой старый приятель.

За этот год заработал я около тридцати тысяч франков, но здоровья потерял в своем подземелье, вероятно, тоже на немалую сумму: всем известно, что лечение в капиталистическом мире представляется, пожалуй, самой дорогой роскошью.

Несмотря на эти доходы, обложенные, разумеется, налогами, утро воскресного дня в нашем домишке в Сен-Жермене начиналось совсем не по-праздничному. По обыкновению, мы бывали разбужены неистово дребезжавшим и столь для нас страшным входным колокольчиком. Это было целое мудрое сооружение: звонкий колокольчик прикреплялся к пружине, соединенной проволокой, пропущенной через каменную стену ограды нашего «поместья». При открывании двери колокольчик скромным позвякиванием извещал о приходе посетителей, указывал на проникновение во дворик допущенного, хоть и не всегда желанного гостя. «Гости» эти приносили обычно повестки от сборщиков налогов и податей. С потерей мною «дипломатической неприкосновенности» эти синие, желтые, а особенно, самые страшные, — красные повестки угрожали потерей последнего нашего убежища.

В этих казенных бумажках отражалась не только вся застывшая государственная система Франции, но бросались в глаза и некоторые характерные черты ее народа, воспитанного веками на феодализме и перевоспитанного на принципах частной собственности буржуазной республики.

Французская поговорка «Chacun pour soi et Dieu pour tous» — «Каждый за себя — бог за всех» уже показывает, сколь были дороги для французского обывателя его личные интересы, охранять которые он был обязан сам, — никто ведь не придет ему на помощь и уж, конечно, не его правительство. Оно — его личный враг, сдирающее с него три шкуры податями и налогами. Обойти,

надуть свое собственное правительство — это величайшее для французского обывателя искусство и заслуга. Понятие о родине подменялось понятием о домашнем очаге, который обыватель готов был защищать с яростью собственника.

Нужно отдать справедливость правителям французской республики в том, что они знали свой народ и умели в собственных своих интересах использовать все не только сильные, но и слабые его стороны. Лукавству и природной смекалке французского крестьянина они противопоставили хитроумную систему его порабощения податями и налогами, постичь которую нам было очень мудрено. Кому действительно могло прийти в голову, что в XX веке сохранялся еще принцип, установленный при первых королях Франции, когда налог взимался не с лиц, пересчетом которых в те времена, вероятно, не занимались, а с плит и очагов, на которых готовилась пища.

В нашем доме проживала мать Наташи, но так как она имела свою отдельную кухоньку, то и налоги на нее накладывались, как на нашу квартирантку. Особо платился налог на «двери и окна», потом на землю, на постройку, на «доход», определявшийся по усмотрению самих чиновников, и уже независимо ото всех этих государственных налогов город Сен-Жермен имел право взимать местные налоги чуть ли не по тем же объектам.

Честь и достоинство гражданина расценивались по той аккуратности, с которой он вносил свои франки и сантимы в небольшую закоптелую кассу сборщика податей.

Лучше было попасть под суд за мошенничество, чем оказаться в числе неплательщиков налогов, возраставших по окончании войны с непомерной быстротой. Просить отсрочки да рассрочки бывало тоже нелегко: для этого надо было просидеть подолгу на деревянной скамейке, выдерживая полные презрения взгляды мужчин и женщин, стоявших в очереди у кассы. Все понимали, что дожидаться приема у вершителя судеб — сборщика податей, выносившего безапелляционные решения, — человек с деньгами не станет, а без денег — он и не *человек*.

— Ах, monsieur, — сказала мне как-то хозяйка табачного магазина — моя поставщица папирос, — дал бы только бог жизни богатым, ведь они одни дают нам возможность зарабатывать...

«Боже! Как далека еще Франция от революции!» — подумал я в эту минуту, но я ошибался: сын этой женщины уже вступил в ряды еще только недавно сформировавшейся Французской коммунистической партии, и мы познакомились с ним в годину всеобщей забастовки.

Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на французский рабочий класс причиняло много тревоги блюстителям существовавшего во Франции политического строя.

— Дайте мне револьвер! Дайте мне его скорей! — взывал в негодовании навещавший меня «порядка ради» префект сен-жерменской полиции господин Кальмет. — Я сам готов расстрелять вашего соседа, барона Гинзбурга, и вашу бывшую поклонницу, графиню де Борегар! Подумайте, для борьбы с уже поднявшими голову коммунистами я организую «спортивное общество» для молодежи — это отвлечет ее от «вредной» пропаганды, а эти богачи отказывают мне, префекту, в денежной субсидии. Сами ведь себе смерть готовят, подлецы!

От этого представителя власти как-никак зависело продление моей «carte d'identité» — «вида на жительство», выдававшегося без затруднений только тем русским, которые обладали «нансеновскими» паспортами для эмигрантов. У нас же на руках оставался никому уже не интересный дипломатический паспорт на громадном листе прекрасной бумаги с императорским гербом.

От меня префект просить денег на свои затеи не посмел, и уж за одно это стоило его угостить рюмкой доброго коньяку, к которому он был крайне неравнодушен.

— Mon général, — изливал свою душу господин Кальмет, — вы себе не представляете, сколько у меня запросов о вас из Парижа! За последнее время вас просто считают «l'oeil de Moscou» — «глазом Москвы»...

Для меня это уже не было новостью. В одну из последних своих поездок в Париж мне пришлось встретиться со своим братом, Павлом Алексеевичем.

— Послушай, Леша, — неожиданно заявил он, — я должен сообщить тебе решение собранного нами семейного совета, на котором мы решили тебя из семьи исключить.

— Шутишь ты, что ли? — засмеялся было я.

— Нет, нет! Это вполне серьезно. Нашей матери поставлен ультиматум: или она прервет с тобой отношения, или, как мать «большевика», должна отказаться от посещения церкви на Рю Дарю.

— Да как же вы собрались привести это в исполнение? — уже волнуясь, спросил я твердо стоявшего на своей позиции брата, с которым провел все свое беззаботное детство и юность.

— Хотим опубликовать наше решение в газетах.

— Ну, уж это не по-дворянски! — снова стал я шутить. — Одни лишь московские купцы да купчихи объявляли в газетах о своем непричастии к делам обанкротившихся сынков!

Брат остался непреклонен и после этого лишь единственный раз пожелал меня увидеть: это было за несколько часов до его кончины.

Семья просила меня на его похоронах не присутствовать.

И вернешься вот после подобных переживаний в свой домишко в Сен-Жермен.

С кем же действительно, как не с единственным верным своим другом, и было поделиться тяжкими думами и неизбывной тоской по родине?

— Безвыходных положений нет! — не раз прерывала мои размышления жена моя Наташа. — Ты томишься и страдаешь молча оттого, что от тебя все отступились: «правые» — весь твой прежний мир — покрывают тебя грязнейшей клеветой, а левые еще не убеждены, что тебе можно верить. Мое мнение такое: раз ты болен любовью к родине и не внемлешь ее опорочиванию врагами, раз ты глух к искушениям — то напиши, кто ты такой, напиши книгу. «Слова — вода, а писанное пером — не вырубишь топором». Напиши книгу о правде, — правде о себе. Вот и все. Это сразу поставит всех и вся, начиная с тебя, на свое место. Это расчистит атмосферу: клеветники «справа» убедятся, что, мол, они тебя кроют за дело, ну а советские люди увидят, что ты просто чистый сердцем и совестью русский человек, готовый пожертвовать всем ради любви и служения родине.

Слова жены, признаюсь, не сразу меня убедили, — я еще не был уверен, что справлюсь с созданием такой книги, тем не менее я начал упорно над ней работать.

Так в 1927 году родилась книга. Сначала она была написана по-французски, и я мыслил привлечь ею на нашу сторону колебавшихся французских друзей, а главное — в России меня узнают и поймут.

В том же году, когда я уже имел счастье работать в рядах наших товарищей в парижском торгпредстве, мне довелось прочитать отрывки из моей книги наезжавшим из Москвы моим будущим коллегам-писателям. Отзывы их меня приободрили.

Особенно настаивал на появлении книги наш безвременно погибший писатель, Александр Николаевич Афиногенов.

— Книга страшно интересна и полезна, — твердил он, — только с установкой вашей я не совсем согласен. Не для вразумления французов и похоронивших уже себя заживо белоэмигрантов нужна она, а для поучения нашей молодежи.

Я схватил бумагу и тут же, за десять лет до появления первого издания в 1941 году моей книги в Москве, набросал следующее предисловие:

«ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Посвящается комсомолу.

Дорогие мои юные читатели, молодые творцы социалистической родины, вам посвящаю я эти строки.

Я знаю, что в вас надежда первой в мире стройки новой жизни, и твердо верую в творческие силы вашего поколения, чуждого тех вековых навыков и предрассудков, от которых мне, вашему старшему товарищу, было нелегко освободиться.

Большая часть моей жизни протекала среди того мира, который мы у себя в России похоронили навсегда, а правители западных стран Европы из последних сил пытаются спасти. Мир этот долго жил, и если мы под руководством Ленина и Сталина сумели создать наш новый, советский мир, то большинство трудностей, которые нам приходится преодолевать на пути к светлому идеалу коммунизма, имеет свои корни в пережитках, предрассудках и преступлениях старого мира.

Нет ничего абсолютного на свете. И старый русский мир имел свои красоты и свои радости; важно знать,

ценой каких жертв эти красоты покупались и какой противовес им составляли горе и темнота народные. Я этой книгой хочу дать вам оружие для борьбы с теми друзьями старого строя, которые могли бы использовать в своих преступных целях ваше неведение.

Мне хотелось также сделать небольшой вклад в историю ближайшей к нашим дням эпохи. Народ не должен забывать своего прошлого. И как бы ни были велики исторические потрясения, как бы ни была мрачна эпоха русского царизма, в особенности последних лет его существования, мы не вправе вычеркнуть ее из истории нашего великого народа; людям же, как я, пережившим эту эпоху, надо иметь мужество рассказать о ней правду и этой правдой объяснить, что дает человеку родина. Человеку, как и березе, легче расти на родной земле, и величайшим несчастьем для него является потеря им корней на своей родине.

Затем мне казалось, что некоторые приемы воспитания, образования, мой личный военный и дипломатический опыт могут быть использованы строителями нашего молодого государства хотя бы для того, чтобы не повторять ошибок отжившего старого русского мира.

Хотел я предупредить вас еще об одном. Не страшитесь найти в этом отжившем мире положительные типы людей, любивших и тогда свой народ больше жизни и павших смертью храбрых за честь своей родины.

Я счастлив и умру счастливым, веря в новый мир, веря в наш новый идеал.

Если эта книга сможет логически объяснить вам, отчего я так чувствую и думаю, — цель моя будет достигнута.

А. Игнатьев».

И когда, по приезде в Москву, я освоился с обстановкой и дорогими мне аудиториями нашей молодежи в академиях, во вверенной мне инспекции иностранных языков, мне вспомнились слова молодого писателя, и я вновь извлек из пыли, казалось, уже ненужных архивов свою книгу и приступил к ее переводу и доработке. Многие события я видел уже глазами советского генерала и гражданина моей социалистической родины.

Вместе с городским костюмом и накрахмаленным воротничком скинешь, возвращаясь из города в Сен-Жермен, все людские предрассудки, привинтишь к наружному медному крану кишку для поливки и, давая водяной прохладой жизнь поникшим от дневной жары своим питомцам — и помидорам, и морковкам, и огурцам, — вдохнешь, вдохнешь вместе с ароматом роз и гвоздик радость жить и работать на земле. Земля благодарна за всякое твое к ней внимание, за всякий окученный кочан, за всякий выполотый сорняк и воздает тебе десятерицей за твой труд.

После обеда трудовой день бывал для меня окончен, но Наташа, с наступлением темноты, вооружившись свечкой и мотыгой, выходила на «охоту», спасая овощи от вылезавших из всех щелей врагов — улиток. Долго еще то в одном, то в другом конце огорода мелькала ее свеча и доносились торжествующие возгласы о числе раздавленных улиток: «Двести!.. Триста!..»

А я, усаживаясь за необыкновенно мягкий и глубокий на нижних октавах рояль Pleyel, мысленно благодарил родителей, мучивших меня смолоду гаммами и скучными экзерсисами. И тогда, в Сен-Жермене, я считал долгом разогреть пальцы, прежде чем приступить к исполнению величественных бетховенских сонат.

— Ты «Четвертую» сыграй! «Четвертую»! Люблю ее за ясность и прозрачность гармонии! — просила сидевшая подле меня Наташа.

Из всех наших картин сохранился лишь портрет кисти неизвестного художника XVIII века. Милый взгляд голубых очей женщины, придерживающей рукой спадающее с плеча платье, как и звуки творений великого музыканта заставляли забывать все горькое, что накапливалось за день на душе, и вселяли веру в лучшее и радостное будущее.

Глава восьмая

НА ПОБЫВКЕ

Шел уже шестой год со дня передачи мною всех дел товарищу Красину и четвертый год работы в торгпредстве, а между тем моя просьба о переводе меня на работу в Россию так и оставалась безрезультатной. Даже пас-

порт советский долго пролежал не в моем кармане, а в сейфе полпредства.

Капитал знаний — наилучший капитал, и накопленная мною за время первой мировой войны осведомленность о французской промышленности принесла свою пользу.

Положение наше было в ту пору не из легких. Несмотря на признание Францией нашего правительства, злостная против нас кампания в прессе становилась день ото дня все яростнее. Детердинг со всеми большими и малыми нефтяниками — с одной стороны, и «Комитэ де Форж» — комитет металлургов — с прежними владельцами Урала и Донбасса — с другой, взяв на службу белогвардейских писак всех мастей и рангов, добивались все же, как это ни странно, если не полного закрытия, то по крайней мере прикрытия дверей не только перед нашим экспортом, но даже импортом. И вот для борьбы с этим злом я и пригодился, получив вскоре назначение председателя специально нами созданного Франко-Советского торгового общества.

Возьмешь, бывало, в руки присланную для образца коробку наших спичек, прочтешь на ней название какой-нибудь фабрики в Минске или Смоленске, и повеет на тебя ветром с родной стороны. Она ведь вот тут, совсем недалеко. Вчера еще на Северном вокзале, провожая товарищей, возвращавшихся в Москву, я прочел на международном вагоне надпись: «Париж — Негорелое». Ах, сесть бы в этот вагон и хоть на миг, хотя бы одним глазком взглянуть на дорогую родину!

— Подумай, какое это будет счастье услышать кондуктора, открывающего дверь в купе и произносящего одно слово: «Москва!»

Как часто в горестной разлуке
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе... —

повторяли мы с Наташей всякий раз, с трепетом сердечным слушая по вечерам в Сен-Жермене по радио бой часов кремлевской башни и ставший уже родным «Интернационал»:

Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.

И даже в этих словах чуялась какая-то надежда, что и для нас когда-нибудь будет светить и нас будет греть солнце родины.

К этому времени мы уже жадно вчитывались в каждую строку «Правды», в наши иллюстрированные журналы, слушали доклады в скромном клубе нашего торгпредства. А откроешь на следующий день французскую газету или начнешь принимать в своем служебном кабинете посетителей и ощутишь тот чуждый, буржуазный мир, который понятия о нас не имел и в большинстве случаев даже не желал иметь.

Я особенно был увлечен идеей раскрыть перед французами все экономические выгоды от сближения их промышленных кругов с нашей еще не окрепшей, но величественной по размаху стройкой. Я по опыту знал, что бороться с клеветой надо показом, а не рассказом, и с этой целью решил вызвать интерес к поездке в СССР среди оставшихся у нас в Париже немногочисленных друзей, способных смотреть не назад, а вперед.

Одним из таких новаторов, и притом человеком выдающейся энергии и работоспособности, оказался Люсьен Вожель — журналист, художник, театральный критик. На гостеприимной загородной вилле Вожеля, где встречались люди всех политических оттенков, я, по счастливой случайности, сблизился и с Полем Вайяном Кутюрье.

Мировой кризис, тяжело отражавшийся на французском рынке, толкал французов отправиться на поиски «золотого руна» в Советский Союз.

Вожель вместе с тем понимал, что для оценки всего происшедшего в России важно знать, с чего началась новая стройка, что было раньше на месте какого-нибудь завода, протекала ли в этой долине река, или только ручеек, переходили ли через него вброд, или по такому же хорошему мосту, как теперь? Если Игнатьев согласился бы все это объяснить той небольшой, но избранной группе журналистов, писателей, врачей, промышленников, которые отправятся в поездку по России, да взял бы, кроме того, на себя скромную, но ответственную должность переводчика, да написал бы еще одну-две хороших статьи, — он сделал бы очень важное и для Франции и для Советского Союза дело.

В полпредстве нашем отнеслись к подобному проекту сочувственно, но о французской визе хлопотать отказались:

— Сами, Алексей Алексеевич, похлопочите, у вас везде есть приятели, — сказал советник.

И вот снова оказался я в знакомом кабинете генерального секретаря французского министерства иностранных дел, на Кэ д'Орсэ.

— Милый генерал, — сказали мне там, — нам вас так жалко. Ведь дальше вашей границы вы не проедете. Там вас и расстреляют. Зачем вы это делаете? В конце концов визу на выезд мы вам дадим, но на возвращение во Францию вам придется хлопотать в нашем посольстве в Москве.

«Не очень-то я здесь стал желательным», — подумалось мне.

Наш отъезд в Москву стал, конечно, известен такому постоянному осведомителю белоэмиграции о советских делах, как газета Милюкова «Последние новости», и послужил лишним предлогом облить меня грязью.

Мать пожелала меня видеть.

Грустной была наша встреча на нейтральной почве, во второклассном французском ресторанчике. Обрадованный желанием свидеться, я все же был огорчен, что мама не решилась принять блудного сына у себя на квартире.

— У меня к тебе просьба, — сказала она, — привези мне из России мешочек родной земли. Не хочу, чтобы на мой гроб бросали французскую землю...

По возвращении в Париж после нашей поездки мы, конечно, мешочек с землей доставили, и Софья Сергеевна еще долгие годы выдавала, в знак особого благоволения, по чайной ложечке родной земли на похороны все более малочисленных, уходящих на тот свет, своих друзей.

День нашего отъезда из Парижа несколько раз откладывался, и в конце концов нам с женой не суждено было услышать одновременно голос московского кондуктора. Наташа, в роли переводчика, выехала накануне с группой промышленников, стремившихся завязать с Советским Союзом торговые отношения и посему не приглашенных ехать в одном и том же вагоне с «незаинтересованными экспертами», каковыми мнили себя спутники Вожеля.

Ничто все же не могло меня огорчить в счастливый день отъезда. В приподнятом настроении я подъехал вечером к старому, хорошо знакомому Северному вокзалу, приказав носильщику нести чемодан в международный вагон «Paris — Moscou» — «Париж — Москва».

Слова эти я с особенной гордостью подчеркнул и пошел к турникету пробивать лежавший у меня в кармане билет. Но едва вступил я на платформу, как какой-то господин, уже, видимо, поджидавший моего приезда, пригласил меня войти в стоявший тут же небольшой вагон местного сообщения, на котором я успел лишь прочитать надпись: «Брюссель».

Носильщик мой, ничего не подозревая, прошел вперед и скрылся в толпе. Протестовать, объясняться с задержавшим меня джентльменом было излишне: «шпики», как их именовали по-русски, «флики» по-французски — все эти необходимые блюстители порядка распознавались, к великому их собственному огорчению, с первого же взгляда.

Сижу я, запертый в купе второго класса с опущенной этим агентом занавеской, и думаю горькую думу: неужели в последнюю минуту сорвалось? Что же думает Вожель? Он, вероятно, и не подозревает о моей горькой судьбе.

Некоторым утешением явился принесенный носильщиком чемодан, но поезд не двигался, и хотя военному человеку подобало быть выдержанным и терпеливым, но все же сидение на Северном вокзале показалось мне тяжким. Единственным утешением явился лязг сцеплений моего вагона, доказывавший, что я все же уезжаю. И вдруг поднявшиеся в эту минуту крики с крепкими русскими словечками объяснили, почему меня упрятали в отдельный вагон. Через приподнятый край вагонной занавески я убедился, что кричала небольшая толпа белоэмигрантов, из которой, вслед нашему поезду, подымались малодружественные кулаки.

Французы, видимо, решили показать свою полную «политическую объективность». Отойдя на приличное расстояние от Парижа, мчавшийся экспресс внезапно остановился, двери моего купе открылись, и французы, и поддерживая и подсаживая, проводили меня по железнодорожному полотну, уже в полной темноте, до международного вагона. Там меня ждали приветливые лица моих спутников, теплые рукопожатия.

После вынужденного одиночества в течение нескольких часов отрадно было очутиться если не среди друзей, то во всяком случае с дружественно настроенными к моей родине людьми, ехавшими с искренним намерением рассеять туман невежества и лжи, окутавший за рубежом СССР.

Поезд мчался. Мир клеветы, злобы и ненависти к моей родине, в котором пришлось прожить столько лет, остался позади.

К нашей границе мы подъехали на второй день под вечер. Иностранцы открывали окна, выскакивали на площадки вагонов, чтобы не пропустить и заснять знаменитую арку с надписью — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Мне было отрадно увидеть наших пограничников в темнозеленых гимнастерках и таких ладных русских сапогах.

Как встретит меня родная страна? Узнает ли? Не разочарует ли?..

Там, в нашем парижском торгпредстве, я давно уже чувствовал себя как дома, дирижируя хором:

Так ну же, Красная,
Сжимай же властно...
Свой щит мозолистой рукой...

Слова эти особенно приходились мне по душе. А вот тут, выходя из вагона, мне показалось, что я вхожу не в свой родной старый дом, а в какой-то новый и совсем мне не знакомый. Только от носильщиков, да и то в необычно чистых фартуках, повеяло старинкой. Но что это за люди в белоснежных кителях и фуражках нового образца с какими-то вышивками, заменившими на фуражках кокарды, а главное без бород, без усов, с наголо выбритыми головами? Они вежливо расспрашивают о содержании бесчисленных чемоданов моих спутников. Один везет целый склад консервов: «В России же нечего есть!» — объясняет он, другой — большую походную кровать, третий — «tub» для умывания.

Новые досмотрщики совсем не похожи на прежних таможенных чиновников. Но какие звания они носят, как следует величать этих скромных военных с маленькими трехугольничками и кубиками не на стоячих, как

в старину, а на отложных воротниках? А речь-то всех этих людей — наша, родная, русская. И когда, после осмотра багажа, я, не торопясь, направлялся к своему русскому поезду, то уже чувствовал себя освоившимся.

Коротки наши июньские ночи, и первый луч солнца открыл мне то, что казалось самым дорогим хотя бы только потому, что этого за границей не сыщешь: наши милые полевые цветочки — и розовая кашка, и причудливые колокольчики, и даже назойливые желтые лютики, покрывавшие разноцветной пеленой откосы железнодорожного пути, — украшали и будут всегда украшать нашу русскую жизнь, заставляя забывать и о снежных метелях и о крещенских морозах.

А вот и мои родные белоствольные березы.

«Да, — думалось мне, — стоило все перенести, что выпало на долю, лишь бы дожить до этого утра!»

Первой большой остановкой оказалась Вязьма. Иностранцы еще спали, а я, прежде чем выйти на перрон, долго не мог оторвать глаз от запрудившей его толпы. Кто же эти люди? Я их не узнаю. Ведь Вязьма — это ближайшая соседка нашему Ржеву, и глаз мой с детства привык к виду крестьянской толпы в разноцветных кумачовых косоворотках, грузных сапожищах, в платочках, босиком. А теперь все одеты иначе. Женщины в ботинках. Вместо картузов — кепки. Нет ни усов, ни бород. Толпа не гудит.

Когда, по возвращении в Париж, пришлось встретить одного престарелого русского генерала, задавшего мне вопрос: «А что же думает народ?» — то я, вспомнив о проезде через Вязьму, ответил: «Того народа, о котором вы в Париже думаете, — его нет! Есть другой, новый, советский народ!..»

— Вот этого-то мы и не учли, и в этом была наша ошибка! — горько вздохнул этот старый царский служака.

Меня всегда тянуло в Москву, как в освященный вековой историей центр русской жизни, но я бывал в этом городе только наездом и сохранил лишь воспоминания времен юности.

— Вы Москвы не узнаете, — твердили мне в Париже наши советские товарищи. Однако, чтобы до конца понять происшедшие перемены, надо было увидеть их своими глазами. И понятно, что как ни представлял я себе то разрушение старого, то созидание нового, что должна была принести с собой революция, — все на каждом шагу меня поражало. Я радовался, что мне предстоит поездка по стране... Но прежде чем уехать, я решил возобновить завязавшиеся в Париже знакомства и установить новые. «Позвоню, что ли, в Наркомвнешторг двум-трем товарищам, бывшим парижским сослуживцам. Да и с такими писателями, как Всеволод Иванов, Сейфуллина, Лавренев, Новиков-Прибой, произведения коих уже появились в переводе Наташи на французском языке, можно будет познакомиться, а Лидин, Никулин, Афиногенов, Тычина и Корнейчук уже побывали у нас в Сен-Жермене».

Интересно и полезно будет показать иностранцам свою страну, но чувствовать себя самого в ней чужим было бы нестерпимым.

Не успели мы расположиться в гостинице, как постучали в дверь, и на пороге появился славный молодой человек с двумя большими пакетами в руках.

— С приездом, Алексей Алексеевич, — сказал вошедший, в котором я узнал одного из бывших скромных служащих парижского торгпредства.—По распоряжению начальства привез вам гостинчики. Французов угостите. — И он стал разворачивать банки с икрой, портвейн и яблоки. Принимайте иностранцев, как советский представитель.

С этой минуты, и навсегда, мне стало ясно и легко на душе. И, как когда-то «в строю», шаг стал твердым и уверенным. Я шел в ногу, ровнялся по передним и не отставал, как многие из моих бывших друзей, от нашей шагающей исполинскими шагами вперед советской действительности.

С первого же выхода на улицу я понял, что, для того чтобы можно было интересно жить, надо смело сравнивать настоящее с прошлым: были булыги, на которых, идя в караул, все ноги, бывало, поломаешь, а теперь асфальт. Чуть не угодил я раз на «брандуру» за то, что по городу с песнями эскадрон водил, а теперь в тихий летний вечер несутся с бульваров родные звуки песни, и с песней же шагают плечом к плечу роты красноармейцев.

На каждом шагу встречались перемены.

Настоящее выигрывало от сравнения с прошлым, а то из прошлого, что справедливо пощадила революция, стало еще дороже.

Кто на свете может казаться более наивным, чем туристы! Сколь поверхностными, а порой даже смехотворными бывают их суждения о чужих краях, а потому придать описанию нашего путешествия документальный характер потребовало больших усилий.

Наполеон находил, что скромный чертеж говорит ему больше, чем пространный доклад, и потому Вожель правильно поступил, снабдив свой журнал не только чертежами, но и бесчисленными фотоснимками.

Как, например, можно было разрушить ложную пропаганду, убеждавшую весь мир, что за полным отсутствием обуви большинство населения СССР ходит еще босиком? В ответ Вожель, вооружившись самым совершенным «Кодаком», вышел на Тверскую, присел на колено и стал снимать ноги прохожих, полагая, что подобный фоторепортаж, помещенный в журнале, убедит читателя лучше всяких слов в том, что в Москве существуют те же образцы летней обуви, что и в Париже.

— Знаем, знаем, — встретили его впоследствии парижские друзья, — Игнатьев раздобыл в одном из театров реквизит для подобных фотоснимков.

Впрочем, переехав границу СССР, все участники экспедиции почувствовали, что это не только граница государств, но и двух разных миров и что задача по уяснению советского мира французским читателем, в течение многих лет вводимым в заблуждение буржуазной прессой, будет непомерно трудной.

Ничто не сближает больше людей, чем совместные путешествия, особенно когда они преследуют общую цель, а потому и плывя по Волге на пароходе «Лермонтов», и весело трясясь на крестьянских телегах, и восторгаясь чудной батареей прессов на первом из осмотренных заводов — Сталинградском тракторном, мы никак не могли подозревать, что среди нас, участников поездки, есть враг в лице державшего себя несколько особняком французского писателя Шадурна. Казавшийся поначалу самым пылким энтузиастом всего виденного «в стране чудес», как сам он именовал СССР, вдруг, неожиданно

для всех, он прервал путешествие и уехал обратно в Париж, где стал писать о нас всякие пасквили.

Новинки тогдашней техники — комбайны на необъятных полях Зернограда, и вторгавшиеся в самое море нефтяные скважины в бухте Ильича, и первая установленная при нас турбина Днепрогэса,—все приводило моих спутников в неподдельный восторг, а мое сердце наполнялось той гордостью, которая доступна лишь победителям. Вот чем может стать наша страна, вот на что способен наш народ!

Правда, пробитые пулями то тут, то там зеркальные витрины магазинов, а местами и целые здания, разрушенные снарядами, говорили об еще не залеченных ранах гражданской войны, однако новая жизнь уже вступала в свои права.

— Ну, как вы нашли вашу страну? — забрасывали меня вопросами французы по возвращении моем в Париж.

— Дом еще недостроен, но фундамент заложен на крепких бутах. Когда все будет готово, — второго такого здания вы в мире не сыщете.

— Но откуда же у вас найдутся для этого капиталы? — пробовали отстоять свои позиции «фомы неверные».

— Коллективный труд сам создает ценности,—заканчивал я обычно подобной истиной разговоры о новой России.

Ознакомление с новыми фабриками, заводами и совхозами, которыми страна обогатилась за годы советской власти, раскрыло мне самому глаза на многое, что еще так недавно казалось неосуществимой мечтой.

— Для того чтобы ценить настоящее, — нужно знать прошлое, а для того, чтобы верить в будущее, — нужно знать настоящее! — повторял я себе. Да и возможно ли жалеть об изжитом прошлом, когда видишь преобразования настоящего, и как не верить в будущее, «историческая перспектива» которого уже начертана гением Сталина, и как не преклоняться перед стойкой политикой и мудрой программой большевистской партии, неуклонно ведущими наш народ и страну вперед, к новым и новым победам.

Иностранцы уехали, но я не считал свою задачу законченной.

Повидать удалось за последние недели немало городов и весей, о существовании которых, к стыду моему, я знал только по учебникам географии.

«Вернусь, — думал я, — в Париж, а там меня и спросят: вы лучше нам про ваши дома в Петербурге расска-

жите, да про имения! — Французы ведь народ дотошный. И, наоборот, сколь будут убедительны статьи, в которых я опишу места, где не только дорожка, а каждая тропинка мне известна, где я могу встретить людей, еще помнящих мое прошлое! Бывший помещик да в собственном бывшем имении побывал, — уже это одно рассеет клевету о будто бы продолжавшихся преследованиях в России «бывших» людей».

Захватили мы с Наташей из Москвы старичка-фотографа и в тот же вечер, усевшись в поезд на Ржевском вокзале, прибыли на ту станцию, с которой я уехал военным агентом в Париж семнадцать лет тому назад.

— Чертолино! — объявила, проходя мимо нас, девушка-кондуктор.

«Чертолино», — прочел я надпись на деревянном здании столь знакомого мне вокзала. Он был построен на земле бывшего родового игнатьевского имения Чертолино, среди чудного леса пустоши Ерши в тот год, когда я получил офицерское звание. Помню, как инженеры, строившие железную дорогу, предлагали назвать станцию по имени моего отца, но он возразил: «Игнатьевых может не стать, а Чертолино с карты не вычеркнешь!»

Кто бы мог думать, что это самое Чертолино и в историю войдет как памятник доблести наших гвардейцев, овладевших в героической борьбе этим сильным опорным пунктом немцев на Ржевском направлении в Великую Отечественную войну.

— Ну, уж теперь ни о чем жалеть не приходится. Чертолино разрушено — оно пало на поле чести! — сказала его бывшая владелица, моя матушка, скончавшаяся девяноста четырех лет от роду в Париже, в 1944 году.

Но в тот день, когда, не веря глазам своим, стоял я перед чертолинским вокзалом, я старался прошлого не вспоминать, не ждать, как встарь, темносерой тройки с моим другом, кучером Борисом, а попросту нанять телегу.

Чтобы не нарушать паровозными свистками деревенской тишины, вокзал построили за пять верст от усадьбы. Таковы уж были «барские» прихоти дней моей юности.

— Нет ли подводы с чертолинского совхоза? — стал я задавать вопросы толпе, запрудившей, к великому моему удивлению, в этот ранний час когда-то неизменно пустынную железнодорожную платформу.

«Другой стал народ!» — снова, как и в Вязьме, подумал я.

Нам посчастливилось, и через несколько минут мы уже двинулись в путь, но не в спокойной, хоть и скрипевшей, бывало, телеге на деревянных густо смазанных дегтем осях, а на железном ходу, в телеге, показавшейся мне особенно тряской. Впряженную в нее высокую серую кобылу я приметил еще на вокзале, подобно тому как отличали в старое время чертолинских лошадей от низкорослых крестьянских.

— И чего это вам вздумалось в наши края заехать? Похвастать нам особенно пока нечем. Напрасно вы даже фотографа везете! — рассуждал человек, правивший кобылой, сидя бочком на краю телеги, по-крестьянски свесив ноги. Он представился нам директором совхоза, Аркадием Федоровичем Колесовым. Мы же назвались «туристами», искавшими пейзажи для кинокартин.

— А неужели у вас ни тарантасика, ни дрожек для разъездов нет? — осторожно спросил я, ударившись лишний раз о спинку телеги.

— Да все по соседним деревням еще до организации совхоза разобрали, — не придавая, видимо, значения дрожкам да колягскам, проворчал Колесов, но тут же с энтузиазмом продолжал знакомить нас с тем, что было ему всего дороже. — Из разрушенного хозяйства мы уже создали совхоз, в котором объединены целых три имения: игнатьевские Чертолино и Зайцево, да лавровское Боровцыно. Совхоз существует всего второй год, и нам, разумеется, всем заново приходится обзаводиться, — не торопясь повествовал он. — Одной запашки-то сколько! Когда-то тут, при графах Игнатьевых, как видно, было образцовое хозяйство, но, говорят, бездоходное, прихотей много бывало. Одних лошадей выездных до двадцати на барской конюшне стояло. Графа покойного, говорят, мужики уважали, а вот вдову его недолюбливали. Больно строга была, всякую щепку учитывала.

Раскрывать после этого свое подлинное лицо становилось все труднее.

Где-то в стороне чернела не существовавшая ранее деревня, потом на горизонте появились силуэты каких-то жилищ.

Чем ближе подъезжали мы к усадьбе, тем дорога была менее разбита и под колесами то тут, то там постукивали

какие-то камешки. Десятки лет прошли с тех пор, когда за рубль с подводы карповские и смердинские крестьяне соглашались вывозить на эту дорогу мелкую гальку из речки Сижки. Другого камня в округе не было, а без него на наших дорогах, как говаривал отец, пристяжные в осеннюю распутицу до самого центра земли провалиться могли. Теперь есть надежда, что дорога будет построена по-настоящему: по обеим ее сторонам различаю кучки щебня, завезенные откуда-то издалека по железной дороге.

Но вот большой пруд, сохранившееся с дедовских времен здание сыроварни и поворот в тенистую аллею с четырьмя рядами тополей, ведущую прямо к дому. Он построен в стиле русской избы с резьбой, ставнями, балконами и террасами и соединен крытыми галереями с двумя одноэтажными флигелями. В правом флигеле, подле которого сохранился большой куст пахучего жасмина, размещалась кухня и службы, а в левом — жили гости, гувернантки и «друзья», которых мы, конечно, и в мыслях приживалами не почитали. Над каждым из коньков дома красовался сектор круга. Этот мотив повторялся во всей резьбе, так как круг отображал солнце — характерную часть древнего русского орнамента. Теперь «вееров» не стало, равно как исчезли и те два вековых дуба, что, подобно парным часовым, охраняли фасад этой величественной избы. На заросшем лугу перед домом хотелось восстановить в памяти прежние дорожки, площадку тенниса, клумбу с пахучим табаком...

«Цветы и дорожки, оранжерейные персики и ананасы, все это, — повторял я про себя, — одни ненужные барские затеи. Во что же все это действительно обходилось моим родителям? Из-за этих так называемых красот жизни Чертолино ведь, подобно всем решительно северным имениям, не приносило дохода, а, наоборот, стоило больших денег».

Страстно хотелось поскорее все обегать да осмотреть. Но наш милый хозяин уговаривал пойти отдохнуть. Он предоставил свою комнату моей жене, а меня с фотографом повел на сеновал.

— Сено уж очень в этом году замечательное, — приговаривал он.

Вот заветное для нас, детей, место — конюшня, большое деревянное здание на кирпичном фундаменте, — скотный двор, рига, а вот поодаль и сенной сарай,

И третьи петухи, и свирель пастуха, выгонявшего коров, да и сама тишина — чертолинская тишина! Все заставило за эти недолгие часы вспомнить не о самых, конечно, интересных, но о таких чистых и светлых днях юности.

И когда я, наконец, дождался пробуждения моих спутников и вышел на обширный усадебный двор, я не в силах был обмануть хоть одним словом такого гостеприимного и славного человека, как Аркадий Федорович.

— А вот и Карпово, а вон там и Кузнецово, — сказал я, поглядывая вдаль.

— Вам, что же, приходилось здесь бывать? — спросил меня новый хозяин Чертолина.

— Не гостем бывал я здесь, а сыном старого хозяина. Я — такой-то, вот мой советский паспорт.

Колесов взглянул в паспорт, с улыбкой вернул мне его и предложил пойти в дом попить чайку. Когда же я объяснил цель нашего приезда: правдивую печатную пропаганду за границей о нашем строительстве и достижениях, — он обещал лично познакомить меня со всем хозяйством.

Осмотр начался с дома. В гостиной разместился театр с занавесом из пестрого ситца. В бывшей спальной — школа, в столовой, где когда-то служили истовые молебны, — продуктовая лавка.

Из окон, так же как и встарь, хорошо видны чертолинские дали, так же виднеется московская «пятиглавка», большие квадраты зреющей ржи и изумрудный воронцовский луг... Только полосатые поля крестьянских яровых исчезли. Осуществилась заветная мечта крестьянина — конец трехполки! Наступил новый важный этап Октябрьской социалистической революции — коллективизация сельского хозяйства.

Возвращаясь вместе с нами с притаившейся поодаль от усадьбы, под горой, мельницы и проходя мимо черного покосившегося сарайчика, Колесов заметил:

— Это ведь кузня была? Но зачем было ее так далеко строить? Большое ведь неудобство для кузнеца из усадьбы сюда на работу ходить.

— Из опасения пожара в летнее время, — объяснил я. — А Ванька кузнец с красавицей Дуняшей жили тут же в просторной избе. Вот, взгляните, в траве еще видны остатки каменных бутов.

По предложению Колесова, побывал я и в Зайцеве, где он предвкушал удовольствие устроить мне встречу с оставшимся на винокуренном заводе нашим бывшим служащим Василием Петровичем.

— Вот будет для него сюрприз! За хорошие выходы спирта старик представлен к награде, — объяснял нам Аркадий Федорович.

Успех встречи превзошел его ожидания. В рано состарившемся от излишних проб живительной влаги человеке трудно было распознать прежнего говоруна-винокура, но и он в свою очередь решительно отказался меня признать.

— Лексей Лексеич — не ты! Не ты! — упорно и на все лады повторял Василий Петрович.

— Да что же ты, твердишь «Лексей Лексеич», а не расцелуешь его вот этак, — и его старушка жена крепко меня обняла.

— А я боялся, как бы ты не «емигрант»! — сконфузившись, объяснял старик, когда мы через несколько минут сидели в знакомой мне его квартирке в нижнем этаже величественного каменного зайцевского дома.

— Уж ты меня прости, старика, — заключил Василий Петрович. — Мы всегда тебе рады. Приезжай сюда погостить.

В Москве меня ждало новое служебное назначение в парижском торгпредстве и сборы в обратный путь во Францию.

Среди стольких переживаний и впечатлений памятным остался и последний вечер, проведенный накануне отъезда на Красной площади.

Было близко к полуночи. Я сидел на каменных ступенях Лобного места. Могучие современные рефлекторы ярким ровным светом вскрывали красоты Спасской башни и кремлевских стен, а вправо от меня величественно выделялся Мавзолей создателя новой России и нового мира — Владимира Ильича Ленина.

Я слушал величественный бой часов, игравших «Интернационал», и с волнением думал о том, сколько раз на чужбине я мечтал о Москве, представляя себе Красную площадь, зубчатые стены Кремля. Моя мать хотела иметь хотя бы горсточку родной русской земли, я же

хочу жить на ней, дышать ее воздухом, верно служить своему народу; и в этот поздний час, в тишине безлюдной площади, я уже твердо знал — близок день, когда я навсегда вернусь в Советский Союз, и с гордостью ощутил себя советским гражданином, равным среди равных и свободных людей.

Глава девятая

НА ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕХОДЕ

Было еще совсем темно, когда, на пути из Москвы, при переезде французской границы нас, крепко спавших в купе международного вагона, разбудил стук в дверь и яркий свет электрического фонарика.

— Таможенный досмотр! — объяснили двое мужчин в знакомых мне издавна французских кепи.

— Citoyens de l'URSS! Граждане СССР! — как бы хвастаясь знанием еще редко употреблявшегося титулования нашей страны, заявили вошедшие, возвращая нам наши паспорта. Они с любопытством разглядывали забитые до потолка чемоданами, корзинами и кошелками полки нашего купе. Особенно их, видимо, заинтересовали торчавшие из кошелок бутылки.

— Неужели в России есть вино? — расспрашивали они.

— Как же, как же! — ответила проснувшаяся Наташа, — и не хуже вашего. Посмотрите, мы и варенье везем. Сколько следует за него пошлины? А вот и яблоки — коричневые, вот и крымские. Попробуйте, таких у вас нет!

Тогда и я в свою очередь решил использовать необычно вежливое отношение таможенников и без обиняков поставить вопрос о том запретном товаре, каким являлся во Франции табак. Но и он их не смутил, хотя папиросами были забиты все мои карманы.

— Курите на здоровье и вашу родину поминайте. Ах, если бы вы только знали, какого вздора наслушались мы про вашу страну! — заявили таможенники, покидая нас.

«Большевики» давно перестали устрашать простых людей во Франции.

Глубоко скрытую симпатию к советским людям проявляло в ту пору большинство мелких служащих. Экономи-

ческий кризис 1930 года и непрерывный рост цен на продовольствие заставляли все чаще обездоленных судьбой обращать свои взоры к Стране Советов, в которой день ото дня непрерывно возрастало благосостояние народа.

Я уже привык, что не только на пассажиров с номерами «Юманите» в руках, но и на контролеров, проверявших железнодорожные билеты при ежедневных моих поездках из Сен-Жермена в Париж, можно было рассчитывать как на верных друзей нашей советской родины. Тайный пароль у меня с ними был простой: простригая билеты, они всегда проходили мимо меня, не требуя билет.

«Мы вас знаем, вы — с нами», — как бы безгласно подтверждали генералу с розеткой Почетного Легиона в петлице эти железнодорожники — члены самой крепкой в ту пору профсоюзной организации.

Подобные знаки внимания со стороны «малых сих» поднимали дух, позволяли смотреть поверх не прекращавшейся травли.

Попробуешь, бывало, взять у вокзала такси, а получаешь дерзкий ответ на русском языке: «Такого-то и растакого-то русские шофера не возят!» Раскроешь эмигрантскую газету и прочтешь статью, посвященную нашему возвращению из Москвы: «Странная болезнь Игнатьева» — озаглавлена она. «Когда один из лечащих врачей высказал предположение об отравлении, Игнатьев ухватился за эту версию и считает, что в Москве было ему подсыпано в пищу толченое стекло. Он убежден, что дни его сочтены».

И в это море клеветы на Советский Союз было брошено слово правды. Вскоре после нашего возвращения в газетных киосках появился номер журнала «Вю», с богатым репортажем и фотоиллюстрациями нашего строительства и серией статей участников поездки. Этот журнал произвел в Париже большую сенсацию. Номер трижды перепечатывался, распространялся по всем провинциям и колониям Франции и за границей. Такова была жажда простых людей знать правду о СССР.

На родине я ощутил себя в едином строю с твердо ставшим на путь социализма советским народом. Смешно и вместе с тем стыдно бывало мне слушать подлую ложь о Советской России людей бывшего «привилегированного» класса, покинувших родину навеки и ставших ее предателями.

В каких бы странах я ни бывал, с кем бы ни встречался, я никогда не терял ощущения родной земли под ногами, а уж теперь, по возвращении из России, мне в Париже стало невтерпеж.

Лицо города представляют не одни ведь только здания, но и люди, их населяющие, и вот люди, с которыми я только что мельком, на протяжении всего нескольких недель, встречался в Москве, стали мне более родными, чем парижские друзья, с которыми я прожил уже более двадцати лет, но с которыми мне не о чем было больше говорить.

Многие из них сами, впрочем, первыми закрыли перед нами двери, и я помню, сколь мы были удивлены, получив как-то приглашение на обед от бывшего редактора литературного отдела газеты «Фигаро» Глазера.

— Это дружеский обед, — парадно не одеваются! (то есть во фраки или смокинги), — предупреждал по телефону хозяин, интересуясь увидеть русского человека, бывшего царского офицера, вернувшегося из России «во здравии и благоденствии».

Квартира Глазера находилась в самом аристократическом квартале, неподалеку от Елисейских полей, но она, как бы следуя примеру своих хозяев, полиняла. Не тронулись с места ни банальные современные кресла стиля «под Людовика XIV», ни традиционные створчатые стеклянные двери, отделявшие салон от столовой, но и обивка кресел и роскошные шелковые занавесы повыцвели, а двери уже давно не сдвигались. Ни пальм, ни растений в угловых вазонах уже не было, и только несколько брошенных на обеденный стол невзрачных цветков напоминали о поздней осени и о любимых когда-то хозяйкой этого дома красивых орхидеях.

Со стены из старинной овальной рамы глядела на нас прелестная молодая брюнетка, в которой уже с трудом можно было узнать хозяйку.

— Как хорош этот «Фламмэнг»! Вы как живая! Настоящая фарфоровая куколка! — рассыпалась в комплиментах одна из гостей, еще более разоренная, как я уже знал, чем хозяйка.

— Вы же должны его помнить? — обратилась она ко мне. — Фламмэнг в молодости ездил в Россию и написал прекрасный портрет вашей вдовствующей императрицы.

— Как же, как же. В красном платье. Он стоял у нас

в офицерской столовой. Но с тех пор слава, а еще больше деньги — нажива, погубили, как и многих других, искусство этого большого мастера. Он, правда, разбогател, но все женщины на его портретах одинаково красивы и, увы, одинаково банальны.

— Мне всегда говорили, что таланты у всех великих художников и писателей проявлялись в дни их бедности.

— Это большое утешение, — съязвила уже совсем не по моде одетая одна из переживших свою славу популярных артисток.

— Ну, на войне, — продолжал я, — Фламмэнг искупил свои грехи перед искусством. Он показал себя настоящим патриотом, и я был немало поражен встретить старика за работой в окопах под Реймсом.

— Но ты, мой друг, не заметил, — возразил хозяин, — что он, увы, «потерял» руку, а это все равно, что журналисту потерять перо. Молодой художник Скотт и тот его забил.

И разговор продолжал вращаться вокруг теней прошлого, подобных писателю Полю Бурже или драматургу Бернштейну, давно оторвавшихся от жизни, шагавшей уже по новым и неведомым им путям.

— Да, вот вспоминаешь былое, и горько становится думать, сколько друзей теряешь. Вот ты, Алексей, — обратился Глазер ко мне, так что все обедавшие смолкли, — мы все считали тебя другом Франции, ну а теперь оказалось, что ты вовсе не друг!

И, демонстративно повернувшись ко мне, он стал ждать моего ответа.

— Это неверно, мой милый, не я изменил Франции, а она мне изменила. Я увлекался ею, как увлекаются красивой, полной тонкого остроумия женщиной, и я не виноват в том, что она отвернулась от меня и пошла с врагами моей родины или, что то же, — с моими злейшими личными врагами. Теперешние правители Франции перестали считаться с собственным трудовым народом, который для меня дорог и для которого дорога моя родина.

И во время этой горячей реплики я заметил побагровевшее от возмущения лицо какого-то седеющего элегантного господина в модном смокинге, с большой розеткой Почетного Легиона в петлице.

«Враг! — решил я про себя. — Наверно, фашист какой-нибудь!»

Но не успел я смолкнуть, как почтенный джентльмен, нарушая всякий этикет, стал стучать ножом по стакану, просить у хозяина слово.

— Ты ошибаешься, — обратился он к Глазеру, — генерал был слишком к нам снисходителен и не сказал поэтому и четверти того, что он про нас думает. Франция! Да в какой же стране научные лаборатории могут стоять без работников, а госпитали уже веками не ремонтироваться и не отвечать самым скромным медицинским требованиям? А мог ли ты себе представить в прежнее время в Париже студентов, освистывающих почтенных профессоров, чересчур, по их мнению, требовательных! Что можно думать о стране, где царит невежество и процветает разврат? Что же может думать генерал, вернувшись из своей страны, где процветает социальный прогресс во всех областях науки и знания. Я спрашиваю тебя...

— Да кто же это такой? — улучив минуту, шепотком спросил я свою соседку по столу.

— Это наш знаменитый хирург, профессор Женневе, — тоже тихонько ответила она.

— Ну, о социальном прогрессе во всех областях знания в России еще говорить трудновато, и Алексей не станет это оспаривать, — не унимался Глазер.

— Напротив, — поддержал я профессора. — Самое значительное из достижений нашего нового строя — это сам человек! Новые понятия вызвали в нем, — и это самое главное, — новое мышление. Каждый советский человек мыслит по-новому. В этом-то и заключается истинный успех. Ведь для того, чтобы строить и созидать, нужен прежде всего энтузиазм, а создается он сознательным отношением к труду, и потому наш советский человек способен преодолеть любые трудности и достичь под руководством большевистской партии побед на любом фронте.

Надышавшись советским воздухом и протирая сам себе не раз глаза при виде всего того нового и великого, что свершилось на моей родине, я особенно был счастлив вернуться во Францию уже не частным лицом, а официальным представителем наших торговых интересов — представителем Всесоюзной торговой палаты, имеющим право говорить во весь голос. И мне посчастливилось.

Трибуной для выступлений служили международные ярмарки в сумасбродном шумном Париже, в суровом и

сонливом от богатства Лионе и столь отличном от других городов — ярком солнечном Марселе.

В каждом из этих городов ярмарочные помещения занимали целые кварталы специально выстроенных с этой целью зданий, в которых располагались стенды сотен, и самых крупных и более скромных, французских и иностранных фирм. Мы выступали от лица Наркомвнешторга и оборудовали всякий раз специальный павильон со стендами от всех наших торговых объединений. Выставлявшиеся на них советские товары говорили лучше всяких слов о промышленном развитии нашей страны.

Открытие ярмарок производилось особенно торжественно прибывающим нередко для этого самим президентом французской республики.

И вот, подготовив все для встречи высоких посетителей, стоим мы как-то у входа в наш павильон со вновь прибывшим из Москвы моим молодым начальником торгпредом, а он волнуется: как бы не пропустить среди толпящейся вокруг павильона публики официального кортежа, продвигавшегося во Франции из-за торопливости и суеты обычно «на рысях».

— Не беспокойтесь, — говорю я. — Мне не впервой, и «махальные» мои уже давно на местах.

Руководители выставки, услышав незнакомое слово, промолчали, а мне и в голову не пришло, что «махальные», составлявшие неотъемлемую принадлежность всех смотров и парадов, с появлением телефонов, как и многое другое, вышли из моды. Что не машут руками при приближении начальства выставлявшиеся редкой цепью солдаты, и что давно уже не раздается перед командой «смирно!» традиционный оклик ближайшего к месту смотра «махального»: «Едут!»

Мое начальство, впрочем, хорошо посмеявшись, оценило и на этот раз предусмотрительность старого строевика.

— А у нас ведь действительно все, как на параде! — улыбнулся торгпред, окидывая взором наш ярко освещенный павильон и пожимая руку моему бесценному помощнику, художнику Н. П. Глущенко.

Наш павильон прежде всего выделялся между заграничными стендами тем, что отличало уже тогда нашу молодую советскую страну от «европейских старушек». Ни одной ведь из них в голову не могло прийти показывать на площади в какие-нибудь триста — четыреста квадрат-

ных метров все изменения в экономике страны, все главные отрасли ее народного хозяйства, от замены трактором старорусской сохи до величественной стройки Днепрогэса и великанов Донбасса, Уралмаша и Кузнецка, от кустарной игрушки и оренбургской «паутинки»-платка до коллекции шарикоподшипников и электрических выпрямителей.

Продать товар, перехватив покупателя на тот же товар у соседа, — вот чем жили стендисты окружавших нас торговых фирм. Какое им было дело до других товаров, до промышленных интересов и финансов их собственной страны! И они дивились, как это на советском стенде все мы помогали друг другу, как усердный седенький человек, наш эксперт по пушнине, стирал пыль с выставленного по соседству с ним первого советского велосипеда, как я — старший среди товарищей — помогал давать объяснения и по икре, и по минералам, и по мехам, и по литературе. Посетители не скрывали своего восторга от четкости в отделке и от образцовой чистоты на наших стендах.

Мощная блистающая глыба антрацита, разноцветные стаканчики с продуктами нефти и возвышавшийся чуть ли не до потолка хлебный элеватор, за застекленными окошечками которого золотились различные сорта хлебов нашей страны, — все эти три экспоната, располагавшиеся обычно поближе к входу, сразу вызывали уважение к нашей мощи, а ярко освещенный, где-то в глубине павильона, громадный застекленный ледник с жирными семгами и саженными осетрами манил к столикам для потчевания зернистой икрой. Она вошла в моду в Париже только в советское время, как и многие другие наши товары: об одних — как о карельском мраморе — просто забыли, хотя о нем должна была напоминать величественная гробница Наполеона, подаренная Франции Россией, а о других, как об апатитах, даже и не слыхали.

Надо было и мне стать советским человеком, чтобы полюбить свою родину действительно по-новому, чтобы по-новому оценить всякий гвоздь, выкованный трудом нашего русского рабочего. Объединявшее всех нас чувство единой советской семьи заставляло меня не раз вспомнить о прошлом, как о тяжелом кошмаре.

И как бы дружественно ни были настроены народные массы, что в течение многих дней с утра до ночи двигались через наш павильон, мы все же чувствовали себя людьми с какого-то отдаленного и не понятного для них

мира. И потому еще дороже были те горячие рукопожатия, которыми, по воскресным дням, рабочие Сен-Этьенского района выражали в Лионе чувства к своим собратьям в Ленинграде и Москве.

Не забудутся никогда и те небольшие стройные отрядики пионеров с красными галстуками, которым мы устраивали приемы в нашем павильоне в Марселе. Конфеты съедались, но бумажки с надписью «Красный мак» или «Арктика» хранились на память в рабочих семьях, как драгоценная святыня.

Не таких ли же прелестных представителей нашей юной смены мы только что видели в Крыму, в Артеке! Там тоже было море и такое же, как здесь, солнце, но там родилась уже новая жизнь, а здесь тот волшебный край, которым всегда представлялась мне французская Ривьера, был превращен очередным кризисом — верным спутником капитализма — в разрушенное и покинутое кладбище.

Вдоль всего побережья стояли с забитыми дверьми и закрытыми ставнями царственной роскоши виллы и дворцы. На запущенных аллеях торчали бесчисленные вековые, но уже высохшие пальмы, с чудесных выходивших на море террас свешивались пожелтевшие ветви когда-то волшебно ярких роз и глициний. Повсюду надписи «A vendre» — «Продается», но никто этих недвижимостей не покупал: подобные красоты стали недостижимыми для бывших богачей из-за непосильных расходов по содержанию и налогов. Пляжи без нарядных дамских туалетов. Рулетка с кучками серебра вместо, как встарь, золота. Магазины — без товаров, рестораны — без посетителей, шоссейные дороги — без автомобилей, море — без яхт, нарядных лодок и катеров.

Канны, Ницца, Монте-Карло, Кап-Мартэн, Кап-Ферра — все эти прелестные уголки напоминали своим запустением прогоревшую, никому уже не нужную и всеми покинутую красавицу.

Я понял, что той Франции, которую я знавал в юности, уже не существовало и что не найти в ней человека, который открыл бы наглухо забитые ставни хотя бы в одном из отелей и создал бы подобие нашего «Артека». Как были бы рады провести на Ривьере каникулы те парижские дети, которые видят солнце и по сей день только через щель заплесневелых улиц древнего IV парижского «аррондисмента», где мы проживали.

В самом Париже, еще раньше, чем на Ривьере, стали закрываться железные ставни прежних особняков.

Меркла слава многих старых модных магазинов. Никому уже не нужны были дорогие дамские туалеты и мужские одежды. Требовался стандартный, бьющий в глаза шик новейших заморских мод.

Вместо брильянтов и чернобурых лисиц, выставлявшихся когда-то в богатых витринах элегантной Рю де ла Пэ, появились магазины с бутафорскими витринами, заставленными фальшивыми драгоценностями и дешевыми безделушками.

Тонкое остроумие таких «diseurs», как Майоль или Фюрси, отжило свой век. Их заменили бесчисленные «дансинги» с американскими песенками под звуки джазбандов.

Никого не стали удовлетворять и скромные по оформлению, но полные юмора пьесы французских театров, составлявшие когда-то главную прелесть парижской жизни.

Пустовали и умирали в предсмертной агонии один за другим и тихие старинные рестораны. Их заменяли освещенные ярким ослепляющим светом громадные залы с зеркалами и оркестрами, дансингами и плохой кухней или небольшие, наспех оборудованные ресторанчики всех наций, кроме французской: венгерские, английские, американские и даже китайские. Среди них «почетное» место заняли русские эмигрантские, развлекающие посетителей балалайками и танцами со втыкающимися в паркет кавказскими кинжалами.

«Все кануло в вечность, как в прозрачной сказке», — выводил под гитару исхудалый блондинчик:

Занесло тебя снегом, Россия...

— Занесло... Занесло... — слышался шепот вокруг.

Не пробраться к родимым святыням,
Не услышать родных голосов...

— Не тревожьтесь, без вас снег разгребут! — бурчал на них из-за угла какой-то соотечественник, не то сочувствуя большевикам, не то их проклиная.

Парижские кафе и те после первой мировой войны изменили свое лицо: места отдыха и развлечения от напряженной и нервной городской жизни превратились в пристанища для спекулянтов и конторы для дельцов, торговавших с русскими эмигрантами чуть ли не самой башней Эйфеля.

Вечером 6 февраля 1934 года после службы я вышел из торгпредства, предложив Наталье Владимировне, вместо обычного возвращения в Сен-Жермен, задержаться в городе взглянуть на объявленное в утренних газетах шествие «бывших комбатантов», участников первой мировой войны. Бедственное положение, в котором очутились все малоимущие классы парижского населения, само по себе объясняло желание предъявить правительству требование об увеличении заработной платы и снижении налогов, а целые страницы газет, повествовавшие об ограблении авантюристами типа пресловутого Ставиского вкладчиков уже не каких-то мелких частных банков, а целых правительственных ломбардов, взывали к справедливому возмущению всех тех, кто, по их собственным понятиям, проливал кровь «за лучшее будущее человечества».

Выборы 1932 года, приведшие к власти радикалов и социалистов, никого не удовлетворили, и политическая атмосфера, постепенно сгущаясь, становилась невыносимой. При всякой попытке реформ крупный капитал напоминал о своей мощи переводом крупных сумм в заграничные банки, подрывая платежную способность собственного государственного банка и в один прекрасный вечер лишая правительство денег даже для оплаты жалованья чиновникам. Наутро для правительства «поправее» деньги уже находились.

Важно входившие, но не засиживавшиеся в своих кабинетах министры — игрушки в руках столь же мне хорошо знакомых с войны поставщиков пушек и моторов — напоминали своим безвольем и предательством интересов трудящихся наших собственных министров Временного правительства.

Очередная замена на посту председателя совета министров Шотана, такого, как мне казалось, скользкого вьюна, загадочным Даладье — не то фашистом, не то социалистом — нарушила правило министерской чехарды. Трудно было с утра понять, «правее» стал новый кабинет или «левее» прежнего, и никто этим особенно не интересовался, если бы весь Париж не был окончательно сбит с толку неожиданным и полным таинственности увольнением в отставку префекта полиции Кьяппа.

Этот покровитель мошеннической банды Ставиского, стяжавший всякими подачками большую популярность среди своих подчиненных, был типичным авантюристом.

Кумовство, тесные связи с крупными капиталистическими кругами, дерзкая смелость под маской слащавой вкрадчивости — вот что помогало таким людям занимать во Франции много ответственных постов не только в частных обществах, но и в правительственных кругах.

Наше торгпредство на Рю де ла Вилль л'Эвек находилось в двух шагах от министерства внутренних дел и дворца президента республики, и потому, когда мы вышли на улицу, нам сразу стало ясно, что город, вполне еще спокойный в полуденный перерыв, уже приведен в осадное положение: под мирными вековыми липами Елисейских полей стояли спешившиеся взводы конной республиканской гвардии в своих наполеоновских касках с конскими хвостами и блестящими палашами на набеленных поясах. Уличное движение было прекращено, да и пешеходы куда-то скрылись.

Мы беспрепятственно дошли до большого кафе на Рон Пуан на Елисейских полях, оказавшегося переполненным посетителями, ожидавшими, подобно нам, шествия комбатантов войны.

Оживленная шумная беседа за притиснутыми из-за тесноты один к другому столиками была неожиданно прервана истошным криком: «Vive le roi!» — «Да здравствует король!»

Все обернулись к входной двери, большинство вскочило с мест, кое-кто поддержал аплодисментами этот совсем непонятный и нелепый возглас.

— Да смотри же! Этот хулиган — тот самый тип, что пытался во время выставки на нашем павильоне флаг содрать! — шепнула мне Наташа, между тем как этот немолодой уже человек с перекошенным лицом и котелком на затылке, с колодкой боевых орденов на пиджаке продолжал испускать страшные по одной своей непонятности проклятия: «Стервецы! Скоты! Наших расстреливают!»

«Кого — «наших»? — хотелось спросить, — и о чем же думают все эти окружающие нас французы? Кто они — роялисты? И куда девалась полиция?»

Мы вышли на Елисейские поля и, не торопясь, направились вслед за прошедшей уже на площадь Согласия колонной манифестантов. Оттуда раздавались напомнившие войну редкие пулеметные очереди.

Не успели мы, однако, пройти и половины расстояния, как навстречу нам понеслись без оглядки, охваченные

паническим страхом, сперва одиночные молодчики, а затем и группы людей без шляп, с прилизанными по моде на затылок волосами.

Да ведь это те же самые стервецы, что мы встречаем постоянно в вагоне из Сен-Жермена, играющими в «белотт» и с презрением поворачивающимися ко мне спиной. В одном из них, особенно наглом, я в свое время признал сынка нашего соседа, разбогатевшего на перепродаже военного лома. Да и не про них ли вспоминал на обеде у Глазера профессор Женневе?

Пробравшись мимо освещенных пожаром окон морского министерства, горящих киосков и перевернутого кем-то автобуса, мы, опрашивая встречных, с трудом выяснили происшедший здесь эпизод: оказалось, что фашистские молодчики из отрядов «Летучей охраны» открыли огонь по манифестантам, которые пытались пройти в палату и передать свои справедливые требования насмерть перепуганным депутатам.

— А каково ваше впечатление о беспорядках «шестого февраля»? Я ведь вас встретил в тот день на Шан Элизе, — задал мне неожиданно неприятный вопрос начальник иностранного отдела префектуры полиции.

Это был хорошо меня знавший по службе во время войны отставной майор Эйду. Для урегулирования положения некоторых наших работников мне частенько приходилось бывать у него по просьбе торгпредства.

— Вот я большого роста, а вы маленького, — пробовал я отшутиться, — и потому вы меня заметили, а я не имел удовольствия вас приметить.

Но Эйду не успокаивался; очень уж он был заинтригован и потому, с необычной быстротой удовлетворив все мои ходатайства, он опять вернулся к моим впечатлениям о «шестом феврале».

— Самое отвратительное. Лучшими типами явились, пожалуй, ваши собственные «флики», исполнявшие по крайней мере свой долг, обходя, например, осмысленно и осторожно таких невольных посторонних зрителей, как мы с женой. А вот вспоминая вашу так называемую «золотую молодежь», позвольте вам сказать, что она способна столь же легко показать пятки немцам, как и вашим собственным Gardes mobiles [1].

---

[1] Военизированная полиция

— Ах, вы правы, генерал. Мы приходим в отчаяние от нашего нового поколения. Никакого сознания гражданского достоинства, — вздыхал этот верный слуга «двухсот семейств».

— Жоффр был, пожалуй, прав, — напомнил я Эйду,— когда, сокрушаясь о тяжелых людских потерях, он предсказывал, что после войны во французской нации образуется пропасть, которая неизвестно какими элементами будет заполнена.

Заполнил эту пропасть французский трудовой народ, ответивший на неудавшийся фашистский «путч» сначала демонстрацией и забастовкой, а через несколько месяцев круто повернувший влево руль внутренней политики своей страны.

За свой век мне пришлось быть свидетелем многих забастовок. Припоминаю даже, что лишение света и воды Петербурга в 1905 году впервые открыло мне глаза на мощь рабочего класса. И все же, до весны 1936 года, в Париже, я не представлял себе, сколь сильна может быть революционная пролетарская дисциплина — эта верная союзница всякого забастовочного движения.

Как по приказу главнокомандующего, разом закрылись ворота фабрик и заводов, опустились серые железные ставни банков и магазинов...

Из закопченных фабричных окраин
Вышел на улицу новый хозяин...

А после полудня позвонил мне на службу в торгпредство один из «старых хозяев», совсем еще молодой директор крупного предприятия — покупателя наших товаров.

— Простите, господин Игнатьев, нашу неаккуратность. Мы никак не можем во-время попасть к вам. Представьте, мы с утра продолжаем сидеть и смотреть в окно через улицу на наше собственное управление, в которое доступ нам закрыт, и оттуда мы ни одной справки получить не можем. На заводе происходит то же самое: рабочие заняли все цеха и охраняют наши станки от повреждений чьей-либо вражеской рукой...

Судя по несвязной речи моего обычно хладнокровного клиента, он, казалось, больше был изумлен, чем озлоблен. Кому в этот день принадлежали и станки и заводы, определить было мудрено.

Забастовка коснулась и ресторанов, без которых, однако, большинство рабочих и служащих обойтись не могло, так как они заменяли им столовые.

— Как быть? — сказал я Наташе, прочитав на вывеске нашего обычного ресторана «Бернар» надпись: «Закрыт по случаю забастовки». — Пойдем на вокзал Сен Лазар, там в буфете найдем что-нибудь закусить.

Оказалось, впрочем, что мы и до угла улицы не дошли, как услышали возгласы знакомых нам «гарсонов» ресторана «Бернар», собравшихся в крохотном соседнем «bistrot», трактирчике, на заседание забастовочного комитета.

— Сюда, сюда, — звали они меня, — мы не можем отпустить нашего генерала без завтрака.

А я лишний раз почувствовал, что не мне оказывают внимание, а моей советской родине.

Последним видением Парижа 1936 года явился для меня национальный праздник 14 июля.

Меня не раз тянуло в такие дни смешаться с парижской толпой и послушать на грубоватом, но таком сочном «argo» меткие оценки парижанами и правителей и существующих порядков. Что думают о России, доходит ли до этих столь легко воспламеняющихся людей ее горячее дыхание?

В этом году, уложив чемоданы перед отъездом в Москву, я решил пойти на площадь Республики, где должна была состояться организованная впервые во Франции легальная демонстрация Народного фронта.

Я оказался среди бурлящего моря трудящегося парижского люда, окружавшего высокую, наспех обитую, деревянную трибуну. Ни одного полицейского «ажана», ни одного военного, и очень мало знакомых, из которых одни титуловали меня «Mon général!», а другие, тут же — «Camarade!»

Они потащили меня на трибуну, где Марсель Кашен, Морис Торез и Габриель Пери горячо жали мне руку, где лицемерно любезный Леон Блюм не преминул сделать мне очередной комплимент, а Эррио, забыв совсем еще недавнее прошлое, как будто со мной и не расставался.

— Vive la Russie! Vive les Soviets! — доносились до меня с разных сторон приветствия. И эти слова не только радовали, но и налагали на плечи какую-то новую и, как мне казалось, серьезную ответственность.

Когда, девятнадцать лет тому назад, в день «Переми-

рия» первой мировой войны мне кричали: «Vive la Russie!», я ощущал ту отраду, что испытываешь на пиру, когда на нем поминают добрым словом уже отсутствующего гостя. А вот теперь, на трибуне Народного фронта, на меня смотрят как на равноправного участника этого праздника. Их праздник уже был и моим праздником.

Вправо и влево от трибуны, высоко над головами шедших непрерывным потоком колонн были подняты портреты великого Сталина.

Я был горд за свою советскую родину. Куда девались проволочные заграждения Клемансо? Что осталось от всех военных и политических авантюристов? Великие идеи Ленина—Сталина стали достоянием трудового народа Франции. Моя родина притягивала к себе взоры и надежды угнетенных людей. Понятия свободы и справедливости стали неотделимы от представления о Стране Советов.

Ни дипломатического паспорта, ни военного звания я еще не имел, но как гражданин своей страны я никогда не держал так высоко голову, как на этом французском народном торжестве.

Парижский трудовой люд превратил свой национальный праздник в праздник победы Народного фронта, на котором французские коммунисты сумели организовать народные массы и показать их политическую зрелость.

Да, это была победа! Мимо трибун шли революционные бойцы, готовые вести борьбу за права трудящихся. Массовость демонстрации лучше всего подтверждалась громадными плакатами, открыто объяснявшими, каких фабрик, заводов или магазинов, администраций или учреждений являлись делегатами проходившие манифестанты.

— Арестуйте! Штрафуйте! Увольняйте! Мы вас уже не боимся! — говорили краткие надписи «Рено», «Ситроен», «Прентан»...

Грозно сжимают кулаки проходящие участники манифестации, и неподдельное восхищение вызывают девушки, в пестрых платьицах и шелковых чулочках браво шагающие в их рядах.

Рабочие заявляют о своем человеческом достоинстве перед полновластными их «патронами» — хозяевами. Они грозно предупреждают, что доселе священное слово «патрон» может быть не только повержено, но и стерто из памяти будущих поколений. Такое могучее выражение воли миллионов трудящихся стало возможным потому, что их

объединяла в борьбе против империализма и фашизма Французская коммунистическая партия, идущая по пути, указанному ей Великим Октябрем и вождем трудящихся всего человечества товарищем Сталиным.

— Ну, — сказал я Наташе, добравшись лишь поздно ночью до своей комнаты, — я покидаю эту страну, с которой за четверть века успел породниться, со спокойной душой. Я верю во французский народ. Я верю в его будущее!

Глава десятая

НАГРАДА

Нельзя жить без мечты, и с минуты передачи мною всех дел товарищу Красину мечтой моей жизни было возвращение на военную службу в ряды Красной Армии.

С детских лет воспитали меня на «военных уставах», и военная выучка во всех делах меня выручала.

Неужели же не найдется для меня работы по старой моей специальности? Каким счастьем было для меня передать весь свой опыт службы во Франции первому советскому военному атташе в Париже.

Но годы шли, и я уже терял надежду на удовлетворение моих повторных ходатайств, как неожиданно в середине апреля 1937 года меня вызвал к себе наш заместитель торгпреда Александр Степанович Синицын.

По его радостной улыбке я уже понял, что на этот раз он меня вызывает не по торговому делу.

— Вот, прочти! — и он передает мне текст расшифрованной телеграммы.

«Товарища Игнатьева командировать немедленно в Москву на короткий срок в распоряжение Наркомата Обороны. Молотов».

— Зайди в полпредство к военному атташе, получи визы, сдай дела, да и с богом. Поздравляю тебя, Алексей Алексеевич!

От счастья у меня дух захватило...

Двадцать седьмого апреля, рано поутру, подъезжал я уже к Вязьме и, как обычно, через вагонное окно жадно всматривался в окружавшую природу. Белоснежные березки, покрывавшиеся зеленеющей листвой, показались

мне на этот раз особенно приветливыми и уже старыми знакомыми.

Не берусь судить, в силу каких причин русская земля мне всегда казалась легче французской, — почему-то по ней легче было ходить. И как-то необычайно легко дышалось в этот приезд в Москве, и встречные люди казались как-то по-новому любезными.

Особенно радушно встретил меня незабвенный Владимир Петрович Потемкин, только что покинувший свой пост полпреда в Париже.

— Как я счастлив, что ваши мечты осуществились. Это ведь достойная награда за все, что вы сделали в вашу бытность во Франции и что мне так хорошо известно.

— Да, вы правы, — ответил я, — награды не знаю выше доверия.

— Вот вы его и заслужили, но не думайте, что это одной лишь сдачей подведомственных вам миллионов Красину. Были же в русской армии и кроме вас честные офицеры, которые не тронули бы казенных денег. Ну, а уж остаться с нами, после того как мы вас сразу к себе не взяли, — вот это и раскрыло нам на вас глаза!

Так с этой поры и до самой кончины Владимир Петрович остался самым близким, душевным мне другом.

После почерневшего от времени парижского военного министерства меня в Москве приятно поразило здание бывшего Александровского военного училища, заново отремонтированное под Наркомат Обороны.

В управлении кадров после долгого разговора о будущей службе меня спросили, чего бы я сейчас желал?

— Пропуск на первомайский парад, — заявил я.

— Желание это будет исполнено, — ответил мне ясно и коротко начальник с несколькими золотыми наугольниками на рукаве и малиновыми ромбами на отложном воротнике. Эти воинские отличия показались мне, штатскому, или, как говаривалось в старой армии, «вольному», столь же недоступными, как красная генеральская подкладка в дни моей кадетской юности.

«Для высшего комсостава. Быть только в военной форме», — прочел я накануне первомайского парада на ожидавшемся с таким нетерпением красивом пригласительном билете. «Как же я пойду в штатском? — разду-

мывал я. — Ведь это нарушение формы одежды». Но делать было нечего, пришлось идти в штатском.

Ослепляющее наше русское весеннее солнце придавало особенно праздничный вид и коням с белыми бантиками на ногах, запрудившим площадь перед «Метрополем», и обгонявшим меня стройным пехотным колоннам от Рождественки до Красной площади. Путь был недалекий, но прошел я его не скоро, вызывая изумление на всех контрольных постах, внимательно рассматривавших вполне несоответствовавшие друг другу предметы: пригласительный билет с надписью: «быть только в военной форме», расписочку из Наркомвнешторга о сданном заграничном паспорте и владельца этих документов — крупного дядю в мягкой фетровой шляпе.

— Проходите, проходите! — А у трибун опять то же:

— Проходите!..

«Да куда же дальше идти?» — подумал я, очутившись уже перед самым Мавзолеем.

— Вот сюда, сюда! — И я оказался на брусчатой мостовой за малиновым бархатным канатом, отделявшим перед Мавзолеем площадку с надписью:

«ДЛЯ ВЫСШЕГО КОМСОСТАВА»

«Какая честь! Какая честь!» — подумал я.

Не успела часовая стрелка на Спасской башне дойти до десяти, как на трибунах раздались громкие долго не смолкавшие рукоплескания. Десятки тысяч глаз устремились на Мавзолей. То подымался по ступеням Мавзолея нескорым, размеренным и в то же время легким шагом Иосиф Виссарионович Сталин.

Я не спускал глаз с легко протянутой полусогнутой руки великого вождя. В этом жесте — и скромно выраженная благодарность за проявленные чувства и полная спокойствия уверенность, что окрыляет наш труд.

Этот сталинский жест вселял в холодные ноябрьские дни 1941 года в проходившие перед Мавзолеем ряды бойцов веру в победу, поднявшую дух всего нашего народа на потрясшую весь мир высоту!

Когда ровно в десять утра на рыжем белоногом коне из Спасских ворот к построенным безупречными квадратами войскам коротким галопом выехал Климент

Ефремович Ворошилов, я подумал: «Не было у нас таких парадов в старой армии!» Тогда фронт объезжался шагом, что уже одно бесцельно утомляло войска и навевало скуку.

Но вот доносятся до уха слова команды:

— На пле-чо! Первый батальон прямо! Прочие напра-во!

Сколько лет я этих слов не слыхал!

И затрещали барабаны, и ударил мощный сводный оркестр, заглушавшийся поминутно «ногой» проходивших одна за другой пехотных частей.

Снимаю шляпу перед алыми знаменами, напоминающими о героических днях гражданской войны, но, чу! Только что сыгранный оркестром марш переносит мысль на далекие поля Маньчжурии: это ведь марш сибирских стрелков! Ах, если бы они знали, что перенесенные ими обиды незаслуженных поражений будут когда-нибудь отомщены вот этими проходящими в двух шагах от меня молодыми ребятами с винтовками наперевес.

Но что же это за невиданная в мире диковина?

За безупречно прошедшими каре пехоты в защитных касках показываются темные линии марширующих в столь же замечательном порядке штатских людей, подвесивших винтовки на боевых ремнях через плечо. Впереди гордо несет знамя старец с седой бородой, а на лицах проходящих уже немолодых мужчин читаешь сознание исполняемого ими какого-то высокого почетного долга. Сомнений нет: это — рабочие, бывшие красногвардейцы, и взгляд их, так же как и всех, кто находится сейчас на трибунах, устремлен в одну точку, к тому, кто приветствует достигнутое в великих трудах единение рабочих и крестьян. Они, рабочие, напоминают мне о тех днях, когда столь мало людей в мире верило в торжество Великой Октябрьской социалистической революции.

Но вот и пехота и рабочие батальоны прошли, стих оркестр, а сердце сильнее забилось.

— Тра-тра-та-та-та... — Это наш старый, знакомый кавалерийский сигнал «Рысь!» Неужели появившаяся у Исторического музея конница перейдет в рысь?

Перешла, и глаза впиваются в прекрасных коней, в отличную посадку комсостава.

На рысях же проходит и артиллерия в конных запряжках: первая батарея на рыжих. «Неужели вторая

пройдет на вороных? Так и есть. А третья — на гнедых? Быть не может!» — думаю я. И радостно становится, что русские военные традиции сохранены.

Долгий и несмолкаемый грохот артиллерийских и танковых дивизионов, равно как и рокот воздушных птиц возвращают меня к действительности, и хочется снять шляпу не только перед знаменами, заслуженными в боях, но и перед рабочими и техниками, превратившими мою родину из кабальной — в могучую, гордую, независимую от заграницы страну.

Парад окончен. Но как раз тут начинается еще то, что без слов говорит о происшедших за двадцать лет переменах в сознании людей. С обеих сторон красного здания музея на площадь стали вливаться неудержимыми потоками колонны ликующего народа.

Плакаты, реявшие над колоннами демонстрантов, говорили о труде, а звуки гармоник и народных оркестров отражали радость жизни.

Шли интеллигенты, шли рабочие, шли старики, и девушки, и матери с детьми на руках. Молодые не знали черных пятен прошлого, но и мы, молодые душою старики, их в подобные минуты забывали, сливаясь в тот единый народный монолит, который показал свою твердость как в дни войны, так и в годины труда, созидающего светлое будущее нашей бессмертной родины.

«Так вот она, новая, революционная дисциплина! — подумал я. — Не она ли руководила и мной все двадцать лет революции?»

Я родился под счастливой звездой и желаю тебе, мой читатель, быть столь же счастливым, каким чувствовал я себя в это радостное первомайское утро!

ОГЛАВЛЕНИЕ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

КНИГА ПЯТАЯ

Редактор *А. Воинов*

Оформление художника *И. Кричевского*

Технический редактор *Ж. Примак*

Корректор *А. Типольт*

*

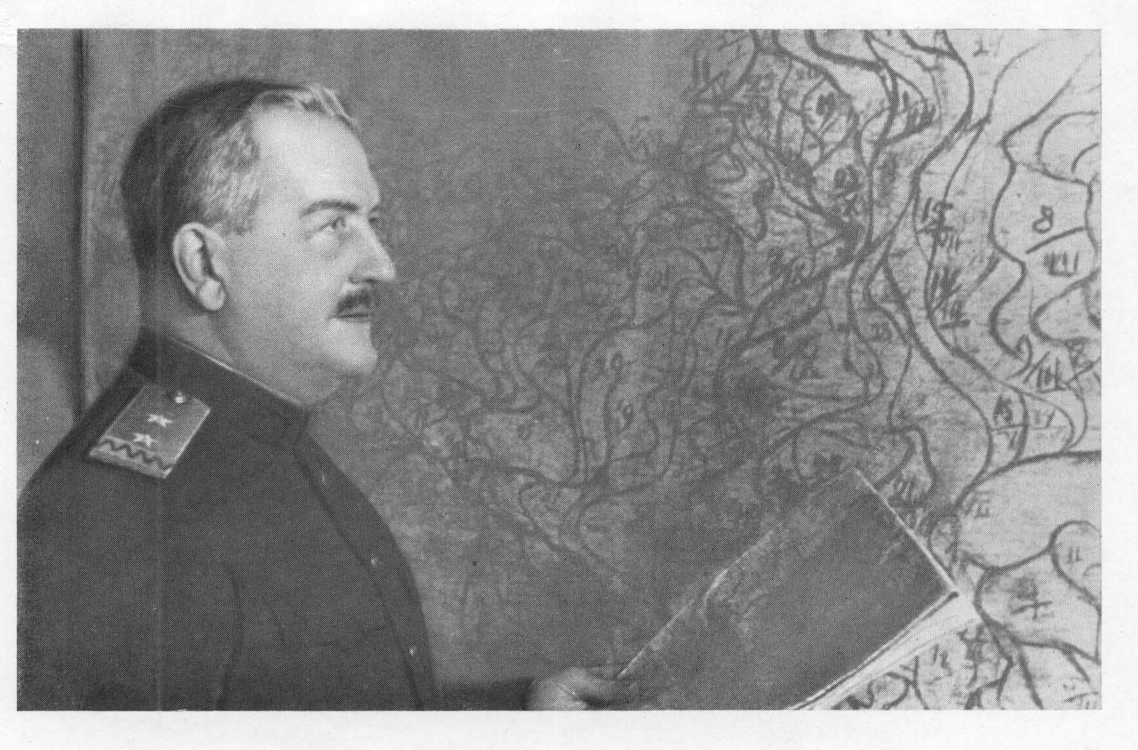
Сдано в набор 23/X 1954 г. Подписано в печать 12/III 1955 г. А-00492. Бум. 84×108 1/32. 28 1/4 печ. л.=23,16 усл. печ. л. 23,72 уч.-изд. л. + 3 вкл.=23,87 л. Тираж 75 000. Заказ № 1711. Цена 9 р. 25 к.

Гослитиздат
Москва, Ново-Басманная, 19

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 2-я типография «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.



Встреча в Марселе русских войск, прибывших во Францию. В центре А. А. Игнатьев.



А. А. Игнатьев в 1947 г.

6 р. 25 к.

ГОСПОЛИТИЗДАТ
1955